

Н О В Ъ Й
М И Р

1

1955

Н О В Ъ Й
М И Р

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 1

Январь, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВТОРОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА	3 7
КУБАНЫЧБЕК МАЛИКОВ — Вся власть Советам! Стихи. Перевод с кир- гизского Марка Соболя	10
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ — Екатерина Воронина , роман	11
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ — Юность , поэма	67
ИЛ. ДУБИНСКИЙ — В таёжной деревне . Из записок комбайнера Миха- ила Бровкина	74
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — Два стихотворения	122
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Спокойнее вдвоём , стихи	123
СЕРГЕЙ СМИРНОВ — Гвоздика , стихи	125
ГОВАРД ФАСТ — Сайлас Тимбермен , роман. Перевод с английского Е. Гольшевой и Б. Изакова	126
ЧАЗЫМ ХИКМЕТ — Новые стихи . Перевод с турецкого М. Павловой	185
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ДЕВЯТЬЯРОВ — На подъёме	198
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ТОМАС МАНН — Чехов . Перевод с немецкого Л. Рудной	212
ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ	
НА ВТОРОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. (Цифры и факты)	227
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. КАРАГАНОВ — Каноны и творчество	235

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	256
Г. Соловьёв. Горький — организатор передовой литературы.— Л. Михайлова, А. Турков. Герои рассказов.— П. Сажин. Талантливые повести.	
<i>Политика и наука</i>	272
Кандидат архитектуры А. Перемыслов. За принципиальность в журнале архитекторов.— Кандидат сельскохозяйственных наук С. Воробьёв. Первые успехи.— Генерал-майор И. Зубков. Военное наследство декабристов.— П. Балданжапов. На пути к социализму.— Кандидат юридических наук Г. Морозов. Гангстерские синдикаты в Нью-Йорке.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ВТОРОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза горячо приветствует Второй Всесоюзный съезд советских писателей и в его лице всех представителей могучей литературы страны победившего социализма.

Коммунистическая партия высоко ценит большую роль советской литературы в воспитании нового человека, в укреплении морально-политического единства советского общества, в борьбе за построение коммунизма.

За годы после Первого съезда писателей советская литература добилась значительных успехов. Созданы художественные произведения, в которых правдиво отражены пафос строительства социализма, беспримерные подвиги советских патриотов в суровые годы Великой Отечественной войны, трудовой героизм нашего народа в борьбе за послевоенное восстановление хозяйства. И никогда ещё литература не имела такого широкого круга доброжелательных и отзывчивых читателей, как наша советская литература.

Бурный экономический, политический и культурный подъём советских республик привёл к расцвету литератур народов СССР. Развитие и взаимное обогащение национальных литератур происходит в тесном содружестве писателей всех братских республик. В Советском Союзе создана многонациональная художественная литература большого исторического значения, воплощающая передовые идеи нашего времени.

За эти годы вырос международный авторитет советской литературы, неизмеримо увеличился круг её читателей за пределами Советского Союза, особенно в странах народной демократии. Советская литература завоевала признание миллионов зарубежных читателей тем, что она всегда выступает в защиту интересов трудящихся, в противовес человеконенавистнической империалистической идеологии отстаивает идеи гуманизма, борьбы за мир и дружбу между народами, проникнута оптимистической верой в светлое будущее человечества.

В своей творческой деятельности советские писатели вдохновляются великими идеями борьбы за коммунизм, за подлинную свободу и счастье народных масс, против всякого угнетения и эксплуатации человека человеком. Лживому и лицемерному буржуазному лозунгу «независимости» литературы от общества, фальшивым концепциям «искусства для искусства» наши писатели с гордостью противопоставляют свои высокие идейные позиции служения интересам трудящихся, интересам народа.

Второй Всесоюзный съезд писателей призван обсудить важнейшие творческие вопросы, наметить пути дальнейшего движения нашей литературы к новым высотам.

Великие задачи стоят сейчас перед нашей страной, перед советским народом. На основе успехов, достигнутых социалистической промышленностью и сельским хозяйством, осуществляются грандиозные мероприятия, направленные на дальнейшее всестороннее развитие социалистической экономики и культуры, которое необходимо для укрепления социалистического общества и постепенного перехода от социализма к комму-

низу. На всё более широкой международной арене развёртывается и переходит в новую, более высокую стадию соревнование между социализмом и капитализмом, агрессивные и реакционные круги которого готовы насильственным путём помешать росту сил социализма и стремлениям народов к освобождению от гнёта капитала и колониального угнетения. В этих условиях неизмеримо возрастает общественно-преобразующая и воспитательно-активная роль советской художественной литературы.

Художественная литература, как и все другие виды искусства, призвана вдохновлять советских людей на творческий труд и на преодоление всех имеющихся на этом пути трудностей и недостатков, на великое дело построения коммунизма.

Советский народ ждёт от своих писателей, что они создадут правдивые и яркие образы наших славных современников, которые решают колоссальные задачи непрерывного роста тяжёлой индустрии — основы дальнейшего развития всего народного хозяйства и гарантии неприступности рубежей нашей Родины; наших современников, которые воздвигают гигантские электростанции, совершенствуют методы строительства, осваивают миллионы гектаров целинных земель, борются за подъём всего сельского хозяйства и лучшее удовлетворение растущих потребностей трудящихся в продуктах и товарах народного потребления.

ЦК КПСС призывает писателей к глубокому изучению действительности на основе творческого овладения марксизмом-ленинизмом, позволяющим видеть во всей сложности и полноте подлинную правду жизни, как она складывается в современных международных условиях, в условиях развёртывающейся борьбы между лагерем империализма и лагерем социализма и демократии, понимать процессы развития, которые происходят в нашей стране и которыми руководит Коммунистическая партия, понимать закономерности и перспективы роста нашего общества, вскрывать жизненные противоречия и конфликты. Советский народ хочет видеть в лице своих писателей страстных борцов, активно вторгающихся в жизнь, помогающих народу строить новое общество, где все источники общественного богатства польются полным потоком, где вырастет новый человек, психология которого будет свободна от пережитков капитализма. Наши писатели призваны воспитывать советских людей в духе идей коммунизма и коммунистической морали, способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности, полному расцвету всех творческих задатков и способностей трудящихся. Долг советских писателей — создавать искусство правдивое, искусство больших мыслей и чувств, глубоко раскрывающее богатый душевный мир советских людей, воплощать в образах своих героев всё многообразие их трудовой деятельности, общественной и личной жизни в неразрывном единстве. Наша литература призвана не только отражать новое, но и всемерно помогать его победе.

Важной и почётной задачей литературы является воспитание молодёжи, молодых рабочих, колхозников, интеллигентов, воинов Советской Армии в духе любви к труду, бодрости, бесстрашия, уверенности в победе нашего дела, в духе беззаветной преданности социалистической Родине и постоянной готовности дать сокрушительный отпор империалистическим агрессорам, если они попытаются нарушить мирный труд наших народов.

В период, когда агрессивные империалистические круги вновь собирают и возрождают силы разгромленного германского фашизма, советская литература не может стоять в стороне от борьбы против реакционных сил старого мира. Советская художественная литература призвана со всей революционной страстью воспитывать и укреплять патриотические чувства советских людей, укреплять дружбу между народами, содействовать дальнейшему сплочению могучего лагеря мира, демократии и социализма, воспитывать чувства пролетарского интернационализма и брат-

ской солидарности трудящихся. Долг советских писателей — ещё выше поднять знамя борьбы за сплочение всех миролюбивых сил в интересах безопасности народов, разоблачать и клеймить преступные планы империалистов, угрожающих развязать новую мировую войну.

Продолжая лучшие традиции русской и мировой классической литературы, советские писатели творчески развивают метод социалистического реализма, основоположником которого был великий пролетарский писатель Максим Горький, следуют традициям боевой поэзии Владимира Маяковского. Социалистический реализм требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в её революционном развитии. Быть на высоте задач социалистического реализма — значит обладать глубокими знаниями подлинной жизни людей, их чувств и мыслей, проявить проникновенную чуткость к их переживаниям и умение изобразить это в увлекательно доходчивой художественной форме, достойной действительных образцов реалистической литературы, — и всё это дать с должным пониманием великой борьбы рабочего класса и всего советского народа за дальнейшее укрепление созданного в нашей стране социалистического общества, за победу коммунизма. В современных условиях метод социалистического реализма требует от писателя понимания задач завершения строительства социализма в нашей стране и постепенного перехода её от социализма к коммунизму. Социалистический реализм даёт возможность проявления широкой творческой инициативы, выбора разнообразных форм и стилей в соответствии с индивидуальными склонностями и вкусами писателя.

Отступления от принципов социалистического реализма наносят ущерб развитию советской литературы. Наша литература во многом ещё отстаёт от бурно развивающейся жизни, от запросов читателя, выросшего политически и культурно. Отдельные писатели не проявляют должной требовательности к своей работе, выпускают посредственные и слабые произведения, обедняющие советскую действительность. Мало создано за последнее время ярких и художественно выразительных образов, которые служили бы вдохновляющим примером для миллионов читателей. Нет ещё монументальных художественных произведений о героизме российского пролетариата и ленинской партии в период первой русской революции и Великой Октябрьской социалистической революции; мало книг о нашей Советской Армии — верном страже мирного труда советских людей. Всё ещё серьёзно отстаёт литературная критика и литературоведение, которые призваны разрабатывать богатейшее наследие классики и обобщать опыт советской литературы, содействовать идейно-художественному росту нашей литературы.

На развитие нашей литературы отрицательно повлияли проявившиеся в ряде произведений тенденции к некоторому приукрашиванию действительности, к замалчиванию противоречий развития и трудностей роста. В литературе не находит должного отражения борьба с пережитками капитализма в сознании людей. С другой стороны, некоторые литераторы, оторванные от жизни, в поисках надуманных конфликтов, писали халтурные произведения, допускали искажённое, а иногда и клеветническое изображение советского общества, огульно охаивали советских людей.

Активно поддерживая всё новое, передовое, способствующее движению нашего общества вперёд, советские писатели должны со всей силой и страстностью бичевать пережитки старого, собственнического мира в сознании людей, бичевать людей равнодушных и косных, помогать вытравлять из нашей жизни всё антиобщественное и обветшалое, мешающее быстрому росту социалистического хозяйства и культуры.

Партия призывает писателей к смелым творческим дерзаниям, к обогащению и дальнейшему развитию всех видов и жанров литературы,

к повышению уровня художественного мастерства с тем, чтобы в полной мере удовлетворять всё возрастающие духовные запросы советского читателя.

У советских писателей имеются наиболее благоприятные условия для творчества. У них есть миллионы читателей — друзей, о которых могли только мечтать лучшие писатели прошлого, читателей взыскательных, сознательных и зрелых, любящих свою литературу.

Советская литература, являясь для зарубежных писателей вдохновляющим примером и источником опыта в борьбе за новое передовое прогрессивное искусство, вместе с тем сама обогащается, используя в своём развитии и совершенствовании лучшие достижения иностранных прогрессивных писателей. Наши литераторы могут и должны в ещё большей степени использовать ценный опыт зарубежных друзей в борьбе за высокое художественное мастерство.

В решении почётных и ответственных задач, стоящих перед советской литературой, важное значение имеет деятельность Союза писателей, который за истекшие 20 лет превратился в мощную общественную организацию, построенную на принципах коллективного руководства, сплачивающую все творческие силы литераторов, партийных и беспартийных.

Советская литература и советские писатели идейно росли и закалялись в борьбе с различными чуждыми влияниями, с проявлениями буржуазной идеологии и пережитков капитализма. Главное внимание Союз советских писателей и впредь должен уделять идейной направленности советской литературы, идеологическому воспитанию и росту художественного мастерства писателей, решительно бороться с отклонениями от принципов социалистического реализма, с попытками увести нашу литературу в сторону от жизни советского народа, от актуальных вопросов политики Коммунистической партии и Советского государства, бороться с рецидивами национализма, космополитизма и других проявлений буржуазной идеологии, с попытками толкнуть литературу в болото обывательщины, безидейности и упадочничества. Советская литература призвана служить делу трудящихся как самая передовая литература в мире и быть на вершине мирового художественного творчества.

Постоянной заботой Союза должна быть забота о том, чтобы наши писатели всегда жили жизнью народа, его интересами и чаяниями, были активными участниками созидания коммунистического общества, видели и знали наших современников, реальных героев — строителей коммунизма.

Одной из важнейших задач Союза советских писателей является постоянная помощь начинающим писателям в их творческом росте, обогащение советской литературы молодыми талантами.

Залогом новых достижений советской литературы будет дальнейшее идейное сплочение всех активных писательских сил, смелое развёртывание в среде писателей принципиальной критики и самокритики, товарищеское обсуждение творческих вопросов.

Центральный Комитет Коммунистической партии желает успешной работы Второму съезду советских писателей и выражает твёрдую уверенность в том, что наши писатели отдадут все свои силы беззаветному служению советскому народу, создадут произведения, достойные великой эпохи строительства коммунизма.

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА**



ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Второй Всесоюзный съезд советских писателей шлёт свой горячий привет Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза.

Мы, представители многонациональной литературы нашей великой Родины, приносим свою благодарность родной Коммунистической партии за её мудрую заботу о неустанном движении нашей литературы вперёд, к новым достижениям и победам.

Советский народ, вдохновляемый и руководимый Коммунистической партией, неустанно развивает тяжёлую индустрию — основу социалистической экономики, всемерно укрепляет могущество Советского государства; впервые в истории мира в нашей стране на благо людям начинается служить несметная энергия атомного ядра; в короткий срок создаются одна за другой гидроэлектростанции на самых полноводных реках — Волге, Оби, Ангаре; в течение одного лишь сельскохозяйственного года подняты целинные, давно или никогда не паханные земли общей площадью более 17 миллионов гектаров. Всё это происходит в стране, где учатся все, где число студентов вузов дошло до двух миллионов человек.

Братские народы Советского Союза достигли бурного расцвета и подъёма всех своих материальных и духовных сил. Трибуна нашего съезда была трибуной братского содружества художников слова, творящих на разных языках, но объединённых единой целью — борьбой за построение коммунизма, за мир и дружбу между всеми народами.

Сбылись слова нашего Горького о том, что «второй съезд советских литераторов будет украшен многими десятками литераторов Запада и Востока, литераторов Китая, Индии...» Прогрессивные писатели всего мира, наши друзья и гости из стран народной демократии, из капиталистических стран, принесли нам своё слово дружбы и приветов, вместе с нами подняли голос за жизнь против смерти, против происков тёмных сил, готовых втянуть народы в войну.

Разлагающийся капиталистический мир стремится свергнуть человечество в состояние духовной нищеты, моральной деградации. Литература империализма пытается принизить человека, возбудить низменные инстинкты, зачеркнуть вдохновенный горьковский лозунг: «Человек — это звучит гордо!»

Непоколебимой верой в человека и в светлое будущее человечества овеяны произведения нашей литературы с первых лет её возникновения. Простым людям всех стран стали близки и дороги образы её героев — борцов за счастье всего человечества. Сила нашей литературы — в кровной её связи со всей жизнью, со всеми мыслями, чувствами и подвигами народа, с героической борьбой Коммунистической партии.

Советская литература неотделима от целей Великой Октябрьской социалистической революции. История нашей многонациональной литера-

туры представляет собой картину развития социалистического строя, картину народной борьбы, исполненной больших трудностей, картину больших побед, добытых в суровой борьбе.

В своих романах и повестях, пьесах и пьесах, в стихах и песнях советские писатели стремятся выразить правду действительности в её революционном развитии.

В новом Уставе Союза писателей СССР, принятом на Втором Всесоюзном съезде, мы сказали о высоком назначении литературы социализма:

В условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму неизмеримо возрастает общественно-преобразующая и воспитательно-активная роль советской художественной литературы.

Советская литература призвана в высокой художественной форме раскрывать красоту и величие идей коммунизма, действительно бороться с пережитками капитализма в сознании людей, воплощать в образах своих героев всё многообразие их трудовой деятельности, общественной и личной жизни, смело показывать жизненные противоречия и конфликты. Советская литература не только отражает новое, но и всемерно помогает его победе.

Советская художественная литература призвана со всей революционной страстью воспитывать патриотические чувства советских людей, укреплять дружбу между народами, содействовать дальнейшему сплочению могучего лагеря мира, демократии и социализма, утверждать идеи пролетарского интернационализма и братской солидарности трудящихся.

В этих словах нашего нового Устава выражены не только наши стремления, но и то, чего уже достигла советская социалистическая литература. За эти черты нашей литературы и любит её народный читатель — строитель коммунизма. Благодаря этим чертам многие книги нашей литературы на всю жизнь — в годы мира и в годы войны — становятся другом и спутником советских людей.

Мы, делегаты Второго съезда писателей СССР, хорошо знаем, что, несмотря на все свои достижения, наша литература ещё далеко не достаточно осуществляет своё высокое призвание. Стремительно развивающаяся действительность страны социализма требует своего воплощения в монументальных произведениях, в образах большой художественной силы. Нужно хорошо знать и пламенно любить историю нашей героической партии, нашего нового общества. Нужно уметь глубоко раскрывать борьбу нового против старого, отжившего, утверждая красоту и величие коммунизма, смело показывая жизненные противоречия и конфликты. Только упорный и бескорыстный труд, каким является труд подлинного художника слова, в соединении с большой культурой и большим мастерством может приблизить нас к осуществлению духовных запросов и требований нашего народного читателя.

Социалистический реализм — новый шаг в истории художественного развития человечества. Это понимают сегодня люди во всех странах света, куда только проникает слово советского писателя. Влияние идей и образов нашей литературы во всём мире растёт с каждым годом.

Наш Второй Всесоюзный съезд советских писателей прошёл под знаком самой суровой критики и самокритики. Призыв к высокой идейно-художественной требовательности объединяет писателей разных поколений, разных национальностей. Но мы сделали для народа меньше, чем мы можем и должны сделать!

Писать так, чтобы молодёжь и дети брали себе в товарищи наших литературных героев, ставили их в пример! Писать так, чтобы читатель-труженик следовал за нашим героем в мир творчества и борьбы за утвер-

ждение величественного нового строя разумных и прекрасных человеческих отношений!

Писать так, чтобы в самых далёких странах для обездоленных людей наше слово звучало, как слово друга и брата, поддерживающее в трудной борьбе, звучало, как гимн свободе!

Метод социалистического реализма предполагает богатство писательских индивидуальностей, стилей, соревнование различных творческих течений. Нужны неустанные поиски новых и новых художественных средств для наилучшего выражения великой правды наших идей, богатства и многообразия нашей жизни.

Второй съезд советских писателей, критикуя слабости и недостатки нашей литературы, призвал всех литераторов Советского Союза ещё глубже развивать лучшие традиции классической русской литературы, литератур братских народов СССР, а также мировой литературы, смело утверждать сложившиеся традиции нашей советской социалистической литературы, творчески изучать ценный опыт художественного мастерства наших зарубежных друзей.

Советские писатели обязаны решительно улучшить всё дело выдвижения и воспитания новых литературных кадров, осуществляя в этой важнейшей работе горьковские заветы и традиции.

Второй Всесоюзный съезд советских писателей заверяет Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза в том, что большой отряд советской интеллигенции — деятели литературы, сплочённые вокруг Коммунистической партии, готовы умножить свои творческие усилия и выполнить требования народа.

Второй съезд советских писателей является важной исторической вехой в развитии нашей литературы. Писатели полны решимости коренным образом улучшить деятельность своего Союза писателей, усилить самокритику в своих рядах, покончить со всеми проявлениями самоуспокоенности и зазнайства, бороться за высокую требовательность к мастерству. Писатели полны решимости вести постоянную борьбу со всеми отклонениями от социалистического реализма, с проявлениями чуждой буржуазно-националистической и космополитической идеологии, с влияниями буржуазного натурализма и формализма.

Одними думами, одними чувствами с родным народом, с партией живут и работают советские писатели.

Мы отстаиваем дело мира во всём мире и хотим служить его победе всеми силами души. Нынче небо мира опять заволокло мрачными тучами. Но если совершится злодейство и будет развязана новая мировая война, советские писатели отдадут в помощь социалистическому Отечеству свои дарования, своё искусство, свои жизни так же беззаветно, как они отдавали их в прошлой войне против германского фашизма, закончившейся разгромом гитлеровской тирании.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и её Центральный Комитет!

Да здравствует коммунизм!

ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ



КУБАНЫЧБЕК МАЛИКОВ

★

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

С киргизского

День выходной. Шагает тишина
со мной по классам и по кабинетам
и входит в зал, где школьник у окна
картину пишет... Надпись мне видна:
«Вся власть Советам!»

«Вся власть Советам!» В памяти — Нева,
октябрьским озарённая рассветом...
Начало эры. Ленина слова —
«Вся власть Советам!»

Здесь, на картине, вновь Ильич живёт,
над всей землёю, без конца и края,
с трибуны той в грядущее, вперёд
стремительную руку простирая.

Народ, народ, народ со всех сторон —
счастливые, взволнованные лица,
и слава революции знамён
на них багряным отблеском ложится.

Мне через годы снова слышен клич,
гремящий в Смольном под высоким сводом:
— Вся власть Советам! — говорит Ильич. —
Трудящимся — земля! И мир — народам!

По людям видно — жили тяжело,
но в самый первый день советской власти
вот здесь к народу с Лениным пришло
веками ожидаемое счастье.

И потому мы не свернём с дорог
под ярким солнцем — ленинизма светом,
и потому киргизский паренёк
готовит полотно: «Вся власть Советам!»

Перевод Марка Соболя.



АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

★

ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Шосёлок Кадницы двумя ярусами расположился на правом, высоком берегу Волги, в сорока километрах от Горького.

От пристани к посёлку дорога идёт лугом, полным комаров и сырых пьянящих запахов. Меж кустов ежевики, шиповника, черёмухи блестят небольшие озёра. За лугами темнеют громады приволжских лесов.

Речонка Кудьма, мелкая и несудоходная, с глубокими омутами и придонными холодными родниками, опоясывает гору, на которой стоит село. На берегу её разбросаны лодки, висят на кольях сети. Сразу за шатким деревянным мостиком начинается подъём в гору, вначале отлогий, затем всё более крутой. Бревенчатые хибары и двухэтажные каменные дома тесно прижимаются друг к другу, образуя извилистые улочки, разделённые садами и огородами. С горы, где и сейчас стоит ветхая церковь, открывается широкий вид на Волгу. Здесь она ещё не так бескрайна, как за Камским устьем. Но, уже приняв Оку и медленно неся свои синие воды меж правым, высоким, лесистым берегом и левым, луговым, она являет собой могучее и незабываемое зрелище.

Возле церкви — глубокие рвы, поросшие редкой травой и мелким кустарником. В четырнадцатом веке татары казнили здесь русских пленных, что создало жестокую славу этому месту и дало ему название «Казницы».

Много позже тут возникло поселение. Жители его изготовляли из дуба и липы кадки, или, как их тогда называли, кадницы. Однако это занятие, изменившее одну букву в романтическом названии села и навсегда закрепившее за ним новое — Кадницы, было временным и побочным. Главным было бурлачество. Ярмарки — рядом, сначала Макарьевская, затем Нижегородская, а на подходах к ним — самые тяжёлые для судов перекаты: Голошубинский, Кадницкий, Кирпичный, а под Нижним — знаменитый Телячий Брод.

Весной, при начале великого поста, тысячи бурлаков из ближайших уездов Нижегородской губернии и северных уездов Пензенской приходили сюда на бурлацкий базар. Оброчные крестьяне, городская голытьба, беспаспортные бродяги — нищие, оборванные, полуголодные люди — шумели, волновались, посылали десятников к нанимателю, спорили, не соглашались, хотя все знали, что примут хозяйские условия: нужно отработать прошлогодний долг — кабалу — и деваться всё равно некуда. Быть бы уж всему хоть по-старому, а не плоше.

Получив увольнительные виды и напившись в последний раз хозяйского вина, бурлаки посуху отправлялись вниз, к стоянкам судов: в Астрахань, Самару, Хвалынский, присоединяясь по пути к сотням тысяч таких же нижегородских, пензенских, вятских, симбирских, тамбовских, рязанских, ярославских и иных губерний мужиков, которых нужда гнала сюда, на Волгу-матушку, широкую дорогу — долгий путь...

Нечем платить долгу — ехать на Волгу, где хоть и каторжна работа и изнурительна лямка, оставляющая на груди тёмный рубец, а всё же, несмотря на всё это, нет ни помещика, ни бурмистра, ни своей постылой нищей избы, а есть простор и воля, и заунывная бурлацкая песня, и Астрахань—Разбалуи-город, где арбузы и дыни ничоём и куда прохаживать или проезжий ни зайти, везде его принимают, вида не спрашивают, всё к его услугам — и вино и женщины, были бы только деньги... И не знаешь, с чем отсюда придёшь, с рублём или с костылём, пробираясь до дому христовым именем, а то и вовсе не придёшь, подохнешь где-нибудь на пустынном волжском берегу — тянешь лямку, пока не выруют ямку, а зато помотришь, как перед зелёной громадой Жигулей замирает сердце купчины-хозяина, кладёт он земные поклоны — пронеси, мол, господи, это место, а то налетят молодцы-разбойнички и отзовутся ему тогда кровомозольные бурлацкие деньги... Здесь, на Волге, забитый крепостной мужик видел своё государство-державу не в фуражке пьяного урядника, а обнимал всю её одним взглядом, и народы и людей, её населяющих, и леса тверские, костромские, муромские, ярославские, и Оку, проносящую свои воды через всю коренную Россию, и Каму, текущую с самого Урала, и мордву, черемисов, татар, чувашей, и хлебные губернии Нижнего Поволжья, и дороги на Среднюю Азию у Самары и Сызрани, и царицынские, смыкающиеся с Доном степи, и персов, и кавказцев в Астрахани... И рядом с этим многообразием — волжский пейзаж, тысячевёрстные просторы, величественные в своей простоте и безыскусственности, где рождается широкая и раздольная русская песня и где столетиями формировался характер волгаря — человека разгульного и деловитого, непосредливого и работающего, всегда устремлённого к новым местам и землям.

Бесчисленные поколения кадницких бурлаков, в течение столетия топтавших бурлацкую тропу — бечевник — от Астрахани до Нижнего, породили знаменитых на Волге кадницких лоцманов, знавших реку и в половодье и в межень как свои пять пальцев. Отправляясь в плавание, лоцманы брали с собой жён и детей: будущий волгарь знакомился со своей кормилицей-рекой с пелёнок. Именно из Кадниц произошли наиболее известные на Волге лоцманские, а с развитием пароходства и капитанские семьи: Бармины, Вахтуровы, Сутырины, Неверовы, Лихины, Маметьевы. Со временем появились на Волге и другие сёла, поставляющие кадровых речников: Доскино, Голошубиха, Шава, Бахмут — лоцманов, Луговой Борок — водоливов и шкиперов, Ундеры и оба Услона возле Казани — грузчиков-татар, Сергачи и Брамзино — грузчиков-русских, Козьмодемьянск и Промзино — плотогонов... Но слава родины волгарей осталась за Кадницами и по сей день.

Среди капитанских семей одной из стариннейших была семья Ворониных. Предки их пришли с тамбовской реки Вороны. Ещё недавно были живы старики, которые помнили Никифора Воронина, известного в своё время волжского лоцмана, прошедшего сквозным рейсом от Нижнего до Астрахани один из первых на Волге пароходов.

Отец Никифора до шестидесяти лет ходил «шишкой» — передовым в лямке. Опытный бурлак, он умел выбирать тропку и, не оглядываясь, чувствовал, кто тяги не дотягивает. Всю жизнь ходил в лямке, в лямке и умер.

Шли однажды бечевой в Костычах по тяжёлому, обрывистому берегу, утопая в глубокой, вязкой грязи. Верховой ветер — горыч — гнал по воде валы с беляком, сносил судно вниз, бечева тащила за собой бурлаков. Но торопился хозяин, спешил к ярмарке с дорогим рыбным товаром. Перекинув лямки вместо груди на спину, измученные бурлаки обращались лицом к уносимому ветром судну, наваливались всем корпусом на лямку, крепко уцепившись руками за бечеву, жалобно распевали:

Ох, матушка-Волга,
Широка и долга,
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало.

Расшиву вытянули. Только старик Воронин уже не поднялся. Тут же на берегу его и похоронили. А когда пришли в Нижний, хозяин вычел из Никифорова заработка стоимость пути, который не дошёл его отец. Никифор знал хозяйские порядки: с одиннадцати лет плывал артельным кашеваром, с пятнадцати впрягся в лямку, а потом за ловкость-повёртливость перевели в корщики — подручным лоцмана. Но не промолчал — характером был отчаянный, рискованный, озорной, не чета другим бурлакам, которые только в плёсе буяны, а дома бараны.

Узколицый, рябоватый, с волосами соломенного цвета, перехваченными со лба на затылок чёрным, блестящим от пота ремешком, он посмотрел на хозяина серыми разбойничьими глазами и, зловеще улыбаясь, спросил:

— Чужой бедой разжиться хочешь?

— Чем недоволен — жалуйся. Есть на то Судоходная расправа, — мирно ответил хозяин. Потом повернулся и громко, чтобы все слышали, добавил: — Чего не скажет бурлак при расчёте! Тоже ведь по-человечеству надо...

— В вашей-то... расправе богатый не бывает виноватый! — крикнул Никифор, наступая на хозяина.

Эти дерзкие слова, может быть, и простились бы Никифору — время на ярмарке горячее, не до какого-то бурлака здесь. Но, ткнув хозяину в бороду зажатыми в кулаке остаточными деньгами, Никифор добавил:

— Смотри, не подавиться бы тебе этим...

За эту угрозу и был он тут же наказан линьками.

Когда Никифор встал, хозяин жалостливо вздохнул:

— Вот и поддали тебе, малый, ума в задние ворота... Не сладки они, видать, боцманские капли...

Застёгивая штаны, Никифор ответил:

— Ничего... Только и мы знаем... Знаем, чему, где и как тому быть надоть...

Хозяин имел право наказывать только в плёсе, а не на берегу. Но Никифор жаловаться не стал. Только через год, в ярмарку, нашли этого купца в Кунавине, возле публичного дома, оглушённого и раздетого до нитки. Следствие по делу вели, но ничего не дознались — место глухое, что ни ночь, то караул кричат. Да и купцу наука: есть на Покровке и поблагороднее заведения, не ищи, где дешёво!

Никифор три года где-то пропадал, пока не доставили его в волость из Хвалынска как «бесписьменного». Поговаривали, что разбойничал он в Жигулях, но улик не было. Поддержали его в волости и, примерно наказав — теперь уже не линьками, а розгами, — отпустили. А разбойничья слава с ним осталась, хотя ему же и на пользу: не было случая, чтобы тронули его в Жигулях... За это да за лихость и решительность

хозяева отличали его перед другими лоцманами, платили по двести пятьдесят рублей серебром за навигацию; когда же пошли по Волге пароходы, Никифор меньше пятисот рублей не брал.

Со временем он стал известен как наилучший на Волге лоцман: знал на реке каждый пережат, каждую обмелину, каждую карчу. Трое его сыновей с малых лет плавали с ним. Никифор их учил:

— Волга — река мудрёная. В ину пору — мать, в другую — мачеха. Стрежень меняется что ни весна. Судовой ход нынче здесь, а на будущую весну, смотришь, его повернуло эвон куда, а тут намыло песчаную косу... Так что смотреть надо! Попади только судно на мель, а там уж песок станет крутиться да замывать, что никакая сила потом не вытащит посудину...

Сам Никифор за всю свою лоцманскую жизнь ни разу не посадил судно на мель: был смел, но осторожен. Хозяев он не боялся, был с ними дерзок, в плёсе вовсе не признавал. Презрительно говорил о них:

— У хозяина совести да разума мало, а корысти и глупости — этого довольно... Лезет на пережат — авось, думает, протрусь, зачем убыточиться, распауживаться... Смотришь — и сел на мель в самых воротах. Сам нейдёт и другим судам загородил дорогу... И низовым и верховым...

Большая путина, от Астрахани до Нижнего, продолжалась обычно шесть недель. Никифор Воронин проходил её за пять, а то и за четыре. Поэтому и любил с ним ходить бурлаки и судорабочие, хотя и им спуску не давал. Боялись его в плёсе и хозяева, и капитаны, и рабочие.

Одевался Никифор чисто. Всегда в новой красной рубаше, синем суконном кафтане, сапогах и кожаной фуражке из юфти, сшитой на манер охотничьего картуза. Только и было проку от больших его заработков. Любил вино, женщин, загуливал иной раз почище другого купца, особенно на ярмарке. Тогда угощал всех подряд, всё пропивал с себя, ругал и бога и власть, дрался с людьми, потому что в бога не верил, власть ненавидел, слабых и робких презирал... Душа его рвалась куда-то, а куда — он и сам не знал... Не было ни конца, ни краю, порядок был строг и незыблем, не было дороги ни конному, ни пешему... Вон Михайла Сутырин, тоже кадницкий, изобрёл коноводную машину. А как был крепостным графа Шереметьева, так им и остался. Воли и той не дождался...

А что проку в ней, в воле этой?! Вместо плётки — мошна, вместо господского дома — лабаз! Стены кирпичные, с железными затворными ставнями. Облепили лабазы эти всю землю — поди выковырай!..

Да нет уже и тех людей! Тихо стало в Жигулях, совсем присмирел народ. Свистят, гудят пароходы, задушили бурлацкую песню, заглушили лихой разбойный окрик...

С годами старел и всё больше ожесточался Никифор. Душа просится в понизовье, к Жигулям, в Астрахань... Ан нет! Знай, лоцман, свой участок, тыкайся по нему, как кутёнок, из угла в угол. Да и лоцман теперь уже не то. На пароходе первая фигура — капитан. А для того надо грамоте знать и экзамены выдержать. А что в ней, в грамоте, — на реке буквами ничего не написано. Да и с лоцмана экзамен требуют, и хозяин над тобой — лоцманская контора, и всё по бумажкам да по картам... Тоска, тоска!.. И чистая публика на пристанях, и дамы в шляпках, и господа в мундирах, и купцы в котелках, и так же крючники-горбачи таскают кули по девять пудов, и в церквах звонят — рвут душу, точно хоронят кого... Нет уж той Волги! Обмелела, как обмелели люди, перегородилась участками, как огородили мужика запретами, уставилась бакенами, как жизнь чиновниками, запачкали её нефтью, поразогнали рыбу...

В 1887 году Никифор Воронин вышел в отставку и последние девять лет своей жизни прожил безвыездно в Кадницах. Был ворчлив, придирчив, с другими стариками не знался. Иных презирал за хвастливость, за враньё, других за то, что уступили молодым, в собственном дому стали приживальщиками. Маленький, но какой-то удивительно лёгкий и стройный, с седыми насупленными бровями, в картузе и тужурке, аккуратно застёгнутой на все пуговицы, выходил он на берег Волги и долго стоял там, вглядываясь в проходящие пароходы, потом шёл обратно, энергично постукивая своей палочкой по каменистой тропке, ведущей к дому.

Жена и оба старших сына умерли, остался младший — Василий. Хотя и учил его Никифор, понимал — теперь нельзя без этого, но не любил: уж больно тих, смирен, безответен. Плавает третьим помощником на пассажирском пароходе, дослужится перед смертью до капитана — что толку!

— Ну как, Василий, — зло насмешничал Никифор над сыном, — всё лижешь хозяйскую задницу?

— Так ведь служить надо, папаша, — почтительно отвечал Василий, — каждый человек, значит, на своём месте.

— Месте? Кто же это место указал? Бог? Государь-император? Хозяин? Эх вы, люди! Кому служите-то, а? Отвечай!

— Обществу, значит, государству.

— Обществу? Государству? — притворно удивлялся старик. — Так вы его давно по амбарам растащили, государство-то.

И с неожиданной злобой, мелко и сильно постукивая маленьким кулачком по столу, говорил:

— Думать надо: для чего на свете живёте, живитесь для чего? Спать в тепле, жрать сладко? Так и сверчок за печку лезет и муха на сахар ползёт... Человек всё может, а его по рукам, по ногам... Человеку голова дана. Понимаешь?.. Го-ло-ва! А вы в неё псалтырь вколотили, а самого заместо лошади... Жизнь на хозяйские получки поделили? От субботы до субботы...

— Что ж теперь делать, папаша, — отвечал Василий, томясь этим, как и всяким иным разговором с отцом, — так уж, видно, назначено...

— Назначено! — передразнивал старик. — Дурак ты!

В жёны Василию Никифор сосватал шестнадцатилетнюю дочь капитана Мореходова — Екатерину, красивейшую девушку посёлка. Хоть и не любил старик Мореходовых — новой поросли сорняк, да и не по нутру ему было сватовство, — будь бы Василий молодец, так и сам бы девку себе добыл, но ничего не поделаешь: своя кровь. А там пусть смотрит: будет ему костыль или костылём по затылку.

Сосватать сосватал, а на свадьбе учинил скандал: напился пьяным и бросился на свата с палкой. Пришлось Василию с товарищами его связать, хоть и материл его отец из бога в душу, проклинал и грозился убить...

Не по-людски жил человек, не по-людски и умер. Как стал чувствовать смерть, ночью приказал раскрыть все окна-двери и всё прислушивался к пароходным гудкам, угадывал, чей такой пароход идёт. Дело осеннее, у Екатерины ребёнок грудной, плачет она от злости, только ни слова не говорит: хоть и с норовом была, а свёкра боялась... Всю ночь чего-то бормотал старик, прислушиваясь к реке, а утром подошла к нему Екатерина, а он мёртвый... Вытянулся, борода задралась вверх, руки вдоль туловища, пальцы вцепились в одеяло, лицо искажённое, сведённое судорогой, точно кто приходил ночью и душил его, старого...

Глава вторая

Когда Василий приехал, отца уже схоронили. Да и отпустили Василия всего на два дня. Надо было возвращаться обратно на судно.

К тому времени Василий стал уже капитаном. Плавал на судах «Купеческого пароходства», всё больше по местным перевозкам, на коротких расстояниях, с заходом почти во все прибрежные селения. Когда это пароходство ликвидировалось, перешёл в общество «Волга», принадлежавшее крупным нижегородским купцам и промышленникам. Хозяева ценили его за трезвость и аккуратность, команда уважала за тихий, справедливый нрав.

Жизнь его из года в год текла спокойно и равномерно. Летом в плавании, зимой в Жуковском затоне, что против Кадниц на той стороне Волги, всё равно что дома. Нелегко было каждый день, зимой, отмеривать через реку четыре версты туда да четыре обратно: Василий был хоть не высок, но тучен, да и стал со временем страдать ревматизмом и одышкой. Но он ходил: привык к дому, к семье, любил жену.

Екатерина Артамоновна, женщина домовитая, не в пример другим кадницким жёнам, не плавала с мужем: вела хозяйство, воспитывала детей. Дом её был из самых больших в посёлке — любила пристраивать и расширять его. Он стоял на косогоре; первый этаж, выложенный из красного кирпича, казался с одного края полуподвалом, на котором несколько неуклюже громоздился второй этаж — продолговатый, отштукатуренный сруб с резными наличниками и ставнями. Наружная дверь, выкрашенная в яркожёлтую краску, всегда была заколочена — в дом входили через крытый двор. Шаткая лестница вела наверх, в две парадные комнаты, всегда полутёмные: окна были затянуты чёрными железными сетками от комаров. Только белел кафель громадной, во весь простенок, печи: да поблёскивали на стенах стёкла многочисленных фотографий, в большинстве групповых: команды судов и классы речных училищ. В первом этаже размещались кухня, кладовые и несколько маленьких комнат, в них и жили.

В 1916 году, неожиданно, от болезни сердца, скончался Василий Никифорович. Екатерина Артамоновна осталась вдовой на сороковом году жизни с пятью детьми-погодками: старшему, Ивану, двадцать два года, младшему, Семёну, — семнадцать.

Долголетняя привычка самостоятельно хозяйничать дома развила в Екатерине Артамоновне несколько деспотические черты характера. Умная, деятельная, насмешливая, она держала семью в своих крепких руках, не терпя возражений, всё делая по-своему.

Она выдала замуж трёх дочерей, младший сын, Семён, жил при доме. И с некоторым, хотя и затаённым, чувством тревоги ожидала возвращения старшего сына, Ивана. С четырнадцатого года служил он в военном флоте, затем до двадцать первого года — у красных, в Волжской военной флотилии. Всех-то теперь жизнь раскидала в разные стороны. Не разберёшь, кто правый, кто виноватый. А Иван служит по мобилизации, в партию не записан, придёт домой, женится и будет жить так, как жил его отец, той именно жизнью, которую представляла себе Екатерина Артамоновна как настоящую и единственную.

Когда после демобилизации Иван вернулся домой, она прискакала ему невесту. Но Иван жениться отказался, хотя девушка была, по мнению матери, всем хороша: красивая, хозяйственная, из хорошей кадницкой семьи. Это сопротивление её воле в сыне, который всегда был самым тихим и послушным из всех детей, не удивило Екатерину Артамоновну. Сбылись её тайные опасения, перевернулась жизнь наизнанку, тянет за собой и её дом, крушит, ломает всё.

Но людям она в этом не хотела признаться.

— Чужой, не родственник, — говорила она про Ивана, — набаловался, поди, в разных портах с гулящими девками, вот и страшна ему семья-то.

Иван был в мать: высок, худощав, с несколько мелковатыми, но правильными и красивыми чертами смуглого, обветренного лица. Синие точки порохового ожога придавали этому солдатскому лицу мужественность и суровость. Но спокойным, уравновешенным характером и многословием походил на отца.

— Ведь настоящего человека тебе нашла, — уговаривала его Екатерина Артамоновна, — сам-то ведь ты овца, чистая овца. Первая же девка тебя окрутит. Помяни моё слово.

Вышло не так, как предсказывала Екатерина Артамоновна, но и не так, как того, может быть, ожидал сам Иван.

В 1921 году, во время голода в Поволжье, он плывал старшим рулевым на пароходе «Урицкий». На корме, в толпе беженцев, сидела крестьянская девушка в лаптях, толстых онучах и рваном полушубке. Хотя за эти месяцы Иван вдоволь нагляделся на голодных людей, измученный и несчастный вид этой девушки чем-то тронул его. Может быть, оттого, что она была одна, ни с кем не разговаривала и, казалось, то впадает в полубоморок, то пробуждается от него. Когда он прошёл мимо неё, она подняла глаза и посмотрела на него тем далёким, отчуждённым и разрывающим сердце взглядом, каким смотрят на людей умирающие животные. И когда он потом опять прошёл мимо неё, она снова посмотрела на него.

С сердечной грубоватостью солдата он положил ей на колени кусок хлеба и воблу, весь свой суточный паёк.

— Ешь давай!

Потом он заговорил с ней. Без родных, без знакомых она ехала неизвестно куда.

— Все в деревне померли, — повторяла девушка, и по её ширококултому, как у мордовки, лицу пробегала судорога ужаса.

Ей было на вид лет семнадцать-восемнадцать, и, несмотря на страшные меты, которые наложил на неё голод, в нежных очертаниях шеи, в измученных, но ясных глазах проглядывала беззащитная чистота девственности.

Весь этот день Иван чувствовал на себе её взгляд и понимал, что он для неё единственный человек, хотя бы просто потому, что никто больше не мог оказать ей помощи и сочувствия здесь, где были только люди, сами нуждающиеся в помощи и сочувствии.

Мысль об этой девушке, одиноко сидящей на тёмной корме среди вздыхающих, стонущих, ворочающихся людей, не давала Ивану покоя. Этот человек, простым матросом дравшийся под Свияжском, Казанью и Самарой, ходивший с Маркиным на «Ване-коммунисте» против Колчака по Каме и Белой, участвовавший в наступлении на Царицын и затем, в двадцатом году, в составе десанта громивший англо-белогвардейские войска в Энзели, — этот мужественный и молчаливый человек, видевший смерть и кровь, вдруг почувствовал себя ответственным за жизнь и судьбу случайно встреченной им голодной и незнакомой девушки. И сознание того, что он бессилён что-нибудь для неё сделать, угнетало его...

С этим чувством Воронин на следующий день поднялся в рубку и принял вахту.

Начиналось прекрасное, тихое утро. Небо было чистое, только по одному его краю ползли редкие облака. В рубке продувал ветерок, но река была совершенно гладкой. Чуть зеленоватая вода блестела свежим серебром утреннего солнца, местами чернела тёмными пятнами

разводьев. Далеко впереди берега двумя мысами подходили друг к другу, образуя узкие ворота, окутанные редким туманом, поднимавшимся с дальних гор.

Воронин вглядывался в родные места. Пароход только что прошёл Лысково. Сзади ещё чернела на берегу лесная биржа, на противоположном берегу белели стены древнего Макарьевского монастыря. Но вот скрылись за поворотом реки и пристань, и монастырь, и опять пошли луга, пески и кустарник слева, горы и лес — справа. Привычная картина: створы, перевальные столбы, бакены, домишки бакенщиков, деревни, пристанёшки, лодки, сети, встречные пароходы и плоты... Мальчики с удочками в руках, в засученных штанах. Стоят по шиколотку в воде неподвижно, как маленькие чёрные столбики... По откосу движется подвода. Маленькая лошадёнка идёт, дёргая головой, бодро помахивая хвостом. В её движениях чувствуется, что уже лето, появились слепни и мухи, и они больно жалят, но лошади приятно итти по раннему холотку, и она, всю зиму жевавшая сено, уже чувствует запах молодой зелёной травы, а солнце начинает пригревать, и лучи и тепло его приятно щекочут шерсть...

Этот с детства знакомый, просторный и могучий волжский пейзаж, чистый, ясный, пронизанный сияющим солнечным светом, так не вязался с тем, что видел Иван несколько дней тому назад там, внизу, откуда вывозили они голодающих, так противоречил тому, что творилось сейчас на корме и палубах, где лежали эти наполовину мёртвые люди, так протестовал против того ощущения беспомощности, которое испытывал Воронин при мысли об этой девчонке, что он вдруг принял самое неожиданное, но у таких людей, как он, бесповоротное решение. Это было то мгновенное движение души, когда человек, подчиняясь только голосу своей совести, совершает самые непонятные и нелепые, на первый взгляд, поступки. Когда пароход подошёл к Кадницам, он отвёл Настю (так звали девушку) в дом, к матери.

— Пусть поживёт. На обратном рейсе заберу, — сказал он Екатерине Артамоновне и оставил ей все деньги, какие имел, и паёк, выпрошенный у боцмана на месяц вперёд.

Раньше Екатерина Артамоновна не потерпела бы подобного своеволия. Но после отказа Ивана жениться на присватанной ею невесте она избрала по отношению к старшему сыну особую линию поведения, выразившуюся в насмешливой покорности всему, что он делает. Она говорила о нём и разговаривала с ним не иначе, как с иронически-испуганной улыбкой, зловещей на этом лице, каждая черта которого выражала властность и нетерпимость.

Бросив на Настю быстрый взгляд, в котором смешивались презрение к этой побирушке, злорадство по отношению к непокорному сыну и гордое сознание правильности собственных предсказаний, Екатерина Артамоновна насмешливо поклонилась Ивану и кротко произнесла:

— Слушаюсь, сынок-батюшка, слушаюсь, милостивый.

Когда за Иваном захлопнулась дверь, Екатерина Артамоновна выпрямилась и несколько минут молча разглядывала Настю, стоящую перед ней в безучастной позе человека, которого голод лишил даже способности пугаться.

— Доигрался парень...

Эти два слова положили начало семейной драме, одной из тех, которые нередко разыгрываются под сенью самых мирных и безмятежных с виду домов.

Беспощадная к людям, которых она не любила, Екатерина Артамоновна обладала ироническим складом ума, сразу подмечая в людях

слабые стороны и делая их предметом своих злых насмешек. К Насте она с первого же взгляда прониклась неистребимым презрением, сразу увидев её неразвитость, забитость, что и не замедлила обратить в предмет своего упорного и жестокого издевательства.

Екатерина Артамоновна ничем не попрекала Настю, не сказала ей ни одного грубого слова. Но величала она её не иначе, как «пассажирка-барыня».

— Ну, как, госпожа пассажирка-барыня, — кланяясь, обращалась она к Насте, — дала корове-то аль нет ещё?

Когда все садились обедать, она, делая вид, что не видит приткнувшуюся к углу Настю, обводила всех деланно-испуганным взглядом и спрашивала:

— А где же наша пассажирка-барыня? Что-то к столу не идут, не прогневались ли? — И потом, будто только заметив её, облегчённо вздыхала: — Ах, здесь, ну и слава богу!

Если к ним заходила какая-нибудь соседка, она, бесцеремонно указывая на Настю, говорила:

— Вот у нас и новый человек в доме. Не знаю только, как звать по нынешнему-то времени. Жена, невеста или любовница... Мы-то ведлы люди тёмные, дальше Пьяной просеки от села не хаживали, а они («они» — это был Иван) по заграницам плавали, всё насквозь прошли, всё знают...

Это мелочное издевательство было особенно неприятно именно в Екатерине Артамоновне, женщине умной, рассудительной и по-своему справедливой. Повидимому, иногда она сама сознавала это. Тогда, неожиданно для всех, она оставляла Настю в покое, несколько дней не разговаривала с ней, не замечала, будто той и не существует. Встречаясь с Настей, она смотрела прямо, точно сквозь неё, отсутствующим взглядом. Но это продолжалось три-четыре дня, а затем она снова принималась за прежнее с ещё большим ожесточением, точно навёрстывая упущенное.

Какой бы трудовой жизнью ни жили кадничане, они резко выделялись из общей массы полуголодных грузчиков, бурлаков и матросов царской купеческой Волги. Относительное материальное благополучие капитанских семей, грамотность, связи с торговым и промышленным миром Волги — всё это проводило довольно заметную грань между жителями Кадниц и окрестным крестьянским населением, изнывавшим от малоземелья, податей и неурожаев. Это были своеобразные мещане, живущие на селе и тем более проникнутые кастовыми, цеховыми предрассудками, во власти которых и была Екатерина Артамоновна.

Революция сломала привычный уклад жизни, перевернула все эти представления и понятия. Матрос из Голошубихи, ставший начальником пароходства, или крестьянин-бедняк из Шавы в роли председателя уездного ревкома олицетворяли для Екатерины Артамоновны крушение старого мира больше, чем что-либо другое. Люди кругом тоже жили этим новым порядком. Что же, их дело! Но чем сильнее стучалась жизнь в её дом, тем крепче запирала Екатерина Артамоновна двери. Для неё Настя попрежнему была голь, нищенка, ни кола, ни двора, ни ложки, ни плошки. Невесте откуда появилась эта «мордовка», как называла она её за скуластое лицо, и, кто знает, может стать невесткой и такой же, как она, хозяйкой накопленного поколениями и её лично трудами добра. Она была уверена, что Настя, не вытерпев издевательств, сама уедет. И в то же время в ней жило совсем иное, противоположное желание: увидеть Ивана мужем этой деревенщины и этим — наказанным за своё непослушание. Такие деспотические натуры при всём своём уме бывают до нелепости последовательны в стремлении доказать своё.

Но Насте некуда было уходить. Лучше такая жизнь, чем голод. Она понимала, что Воронин её жалеет и что это единственный человек на свете, за которого надо держаться. Может быть, она надеялась, что Иван женится на ней. Это была здоровая крестьянская девушка с кирпичным цветом скуластого лица и большими красными руками, покорная и работающая.

Ничего серьёзного и не произошло бы. Иван вернулся по окончании навигации домой, не думая о женитьбе на Насте. Но когда он в первый же день приезда увидел обращение матери с Настей, в нём пробудилось унаследованное от неё же упрямство, правда, скрытое под спокойной и невозмутимой внешностью.

— Хватит, помиловались, — сказала ему Екатерина Артамоновна, — всех-то беженцев не перекармишь, да и самим жрать нечего. Отправляй-ка свою кралю.

Иван молчал.

Со всё возрастающим раздражением она продолжала:

— Не было ещё такого, чтобы у всех на глазах мамзелей содержать. Не купцы мы, не Кашины и не Башкировы. Время не то, да и тебе это не к лицу, хватит с меня сраму на старости-то лет. Или отправляй, или женись, — добавила она с усмешкой.

Тогда он объявил, что женится на Насте.

— Женись, дело твоё, не мне с ней жить, тебе! — спокойно ответила она тоном человека, заранее знавшего, что именно так и случится.

Невесёлая это была свадьба. Екатерина Артамоновна даже вина не пригубила. Сидела с окаменевшим лицом, на котором точно было написано: «Против я или не против, а долг свой исполняю. И свадьбу справила, и, почитай, полдома отделила, и бельё постельного дала. Ведь не то что простыни, рубашки своей нет — голы! Так что меня люди попрекнуть ничем не могут. А вот встанем из-за стола, и живите, голуби, как хотите. Я вас не знаю, и вы меня не знаете».

Так они и стали жить. Мать с младшим сыном, Семёном, — на одной половине, Иван с женой — на другой. Екатерина Артамоновна во дворе и то поставила заборчик: «Это, мол, ваше, а это моё». Впрочем, заборчик был ни к чему: через два месяца после свадьбы Иван отправился в плавание шкипером баржи и забрал с собой жену. Она проплавала с ним всю навигацию, зиму они прожили в затоне.

— Богато живут — с плота воду пьют, — насмешливо говорила Екатерина Артамоновна. — Ну, да ничего. Не научила мамка, так научит лямка.

Так, может быть, и не вернулся бы Иван в Кадницы. Но осенью 1923 года, ночью, на барже, Настя почти за месяц до срока родила дочь. Роды были тяжёлые, неожиданные и мучительные. Шторм рвал баржу с якорей. Ко всеобщему удивлению, и мать и дочь остались живы. Девочку назвали Екатериной — в честь бабушки. Пришлось вернуться в Кадницы.

Глава третья

Двумя годами позже родился сын Кирилл и ещё через семь лет — младший сын, Виктор.

Екатерина Артамоновна относилась к внукам хорошо, но ровно: сама имела пятерых детей, да кроме этих трёх, было ещё восемь внуков. Но Катю она отличала среди всех, и в душе Екатерина Артамоновна гордилась: почётное для потомственного речника выражение «под лодкой ро-

дилась» было применимо к внучке в буквальном его смысле. Кроме того, отец каждую навигацию брал девочку с собой в плавание. К четырнадцати годам Катя избороздила с ним Волгу, Оку и Каму и знала их не хуже иного лоцмана. Это тоже внушало тайное уважение бабушке: хотя та и считала себя потомственной речницей, но дальше Нижнего нигде не бывала.

Но всё то, что было ненавистно Екатерине Артамоновне в свёкре Никифоре, а потом непонятно и необъяснимо в сыне Иване, теперь всё больше олицетворялось в этой длинноногой и по-матросски длиннорукой девочке, смуглое скуластое лицо которой так поражало своими тонкими чеканными чертами, а глаза — небольшие, серые — смотрели насторожённо и испытующе.

Как и прадед и отец, недомовита и несемейственна. Дома и то ходит в своём красном галстуке — точно в гости пришла. Со школьниками на чужих огородах работает, помогает, а на свой и палкой не загонишь. Возилась осень с подбитой вороной, выхаживала, а к собственной птице или к корове и не подступится. Книжки по ночам напролёт читает, а письмо своим родным написать не допросишься. Зиму живёт в деревне, лето с отцом на пароходе, команда — те же мужики, а говорит и одевается чисто, по-городскому. Конечно, и Кадницы уже не те. Поразъехался народ, кто в город, кто на другие реки — в Сибирь и Среднюю Азию. Раньше, бывало, летом в посёлке пусто, а теперь наоборот — студенты приезжают на каникулы. Время-то, конечно, вперёд идёт, а всё же должна девочка к дому приучаться, жизнь-то ей где придётся жить?!

А всё мать! Не смотрит за детьми, не воспитывает...

Но странно: при внучке Екатерина Артамоновна никогда не выговаривала невестке. Чувствовала катин насторожённый взгляд из-за книжки и сдерживала себя. А ну их к лешему!

— Уж больно ты глазлива, Екатерина, — с сердцем говорила бабушка, — смотришь, как жандарм какой...

— А как я смотрю? — серьёзно спрашивала Катя и так прямо и пыливо смотрела на бабушку, что та отворачивалась.

— Сказала тебе: как жандарм. В душу человеку смотришь. И ни к чему это — кроме плохого, ничего там нет хорошего.

— Жандарм здесь са-а-всем ни при чём, — медленно, растягивая слова, говорила Катя и отворачивалась в книжку. Четырнадцать лет девке, а голос хриповатый, как у молодого матроса. Самара, ну, чистая Самара!

— Уж я-то знаю... Перевидала в своей жизни всякого, не беспокойся, — ворчала Екатерина Артамоновна единственно для того, чтобы сказать последнее слово.

Катя внимательно смотрела на бабушку и, точно угадывая её желание сказать последнее слово, молча отворачивалась. Это что ещё такое? Будто снисхождение делает!

Как-то она спросила Катю:

— Скажи, сударушка: какое ты обо мне понятие имеешь?..

— То есть?

— Как ты, одним словом, обо мне понимаешь, я знать желаю.

— О тебе?

— А то о ком же! Какая я, на твой вкус: хорошая или плохая?

Наморщив лоб, Катя некоторое время думала. У Екатерины Артамоновны невольной замерло сердце: уж эта всё скажет, не поведется...

— Хорошая! — решительно, точно убеждая в этом самоё себя, ответила Катя.

— И на том спасибо, — поджала губы старуха, — уж какая есть...

Однажды прибежал домой Кирилл и закричал:

— Катька на ту сторону поплыла!.. Уж не видно её. Наверно, потонула..

— За мужиками бежать, — всполошилась Екатерина Артамоновна, — с баграми собирать, с лодками мужиков... Чего стоишь, как столб, — с ненавистью закричала она на оцепеневшую Анастасию Степановну, — распустила дочку!..

Но не успели они и выскочить на улицу, как в дом, как ни в чём не бывало, вошла Катя, босая, с туфлями в руках и мокрыми волосами.

Быстрым взглядом она обвела смотревших на неё родных, ничего не сказала и, что-то напевая, прошла в свою комнату.

Уже вечером, за ужином, бабушка сказала:

— На моём веку человек шесть так-то вот поплавали. Которых на другой день нашли, которых — через неделю.

Катя молчала.

— Раз на раз не приходится, — продолжала Екатерина Артамоновна. — Вот...

— Извини, бабушка, — перебила её Катя и повернулась к матери. — Мама! Ты мне дай завтра два рубля, у нас на подарок учительнице собирают, у неё день рождения.

— Непочтительная ты, Екатерина, неуважительная, — с упрёком сказала бабушка. Но уже о том, что Катя переплыла Волгу, больше не заговаривала.

Но бывали вечера, когда в доме, казалось, царило полное согласие. Это случалось тогда, когда бабушка рассказывала о Волге.

Катя росла так же, как росли дети всех исконных волгарей. Едва научившись ходить, уже бесстрашно бегала по самому краю баржи, не боясь свалиться за борт, — вода была для неё тем же, что дерево для таёжного паренька или лошадь для казачонка. Язык речников, все эти слова — чалка, кнехт, травить, яр, проран — усваивались вместе со словами «отец» и «мать». Навсегда остались в её памяти бесчисленные города, деревни, перекаты, пристанёшки, очертания берегов, избушки бакенщиков. Она выучилась грамоте, читая на бортах названия встречных судов. По ним же узнавала географию и историю своей страны: нет такого города, такого деятеля в России, имени которого не носило бы какое-нибудь волжское судно... Волга вошла в её сердце, как запахи и ощущения детства...

Обхватив ноги руками и уткнув голову в колени, так что на них падали её длинные каштановые волосы, она сидела в маленькой бабушкиной каморке, на широком сундуке, обитом потемневшими от времени полосками железа, ощутимыми даже под ковриком, накинутым на его полукруглую крышку.

Бабушка в короткой выпущенной кофте и широкой, неопределённого покроя юбке сидела на кровати с рукоделием в руках — вязала шерстяные носки в подарок сыновьям и внукам. Чуть глуховатая, она говорила несколько громче, чем нужно, с видимым удовольствием прислушиваясь к звукам собственного голоса.

Вся в прошлом, она постепенно создала себе кумир в образе покойного мужа, приписывая этому тихому человеку все добродетели, положенные, по её мнению, настоящему мужчине, которых, кстати сказать, при жизни не замечала.

— Строгий был, нравный, — говорила она о нём, и лицо её принимало благолепное выражение. — Не любил бабский персонал на судне. Другим не позволял и себе тоже. Вот и не пришлось мне свет-то повидать.

И, говоря так, она действительно верила, что всю жизнь прожила по указке мужа и чувствовала над собой его сильную руку.

Но Кате неинтересно было слушать про деда Василия. Он представлялся ей серым, скучным, строгим, как некоторые капитаны на пассажирских судах, которые только появляются в рубке, а затем исчезают, молчаливые, равнодушные, подтянутые...

Зато тот, другой, прадед Никифор, возникал перед ней быстрый, колючий, весь в ярких красках, с чёрной бородой, в кумачовой рубаше, похожий на Степана Разина, портрет которого она видела в книге.

— Разбойник был,— убеждённо говорила про него бабушка. И Катю удивляло, что слово «разбойник» она произносит так же, как сказала бы: плотник, маляр, кузнец...

— ...Разбойник, непутёвый... Первый на Волге лоцман, а талант свой в землю зарыл, одним словом... Деда твоего всё допрашивал: для чего, мол, люди на свете живут? Всё правды доискивался... А кто её, правду-то, сыскал?

Она строго поджимала губы. Но Катя улавливала на её лице тень растерянности и недоумения, точно она сама хочет узнать то, чего не пришлось узнать деду Никифору.

Катя мучительно искала свои собственные слова, чтобы объяснить бабушке, для чего люди на свете живут, но не находила таких слов и говорила то, что привыкла говорить в школе и на пионерском сборе:

— Люди живут на свете для того, чтобы быть полезными обществу.

И заранее хмурилась, зная, что бабушке её слова кажутся наивным ребячеством.

— Польза — пользой, а счастье-то всякому подай... — отвечала бабушка. — А в чём оно, счастье-то? Раньше людям счастье было в богатстве. Каждый к этому стремился, к богатству, значит, для того работали, тужились... А нынче вон куда богатых-то позаслали, и не сыщешь. Вот и спрашивается: для чего люди будут работать? Хлеба ради? Так иной кусок слаще, а иной горше... А ежели всё время крылья обрезать, так всё и остановится...

— Бабушка, — говорила Катя, — а помнишь, ты сама рассказывала про нашу учительницу, Елизавету Александровну. У неё отец был богатый человек, а она уже тридцать лет у нас здесь учительницей...

— То — другое дело, — качала головой Екатерина Артамоновна, — такие случаи раньше бывали, только редко. И всё больше с образованными... А нынче всё перемешалось...

— А вот ты говоришь: остановится всё. А как же новые заводы-гиганты, стройки, как колхозы и совхозы и вообще всё?.. Вот в Горьком новый автозавод, в Сталинграде — тракторный... Вот мы с папой пройдем первым рейсом по Волге и всегда увидим новое... Как же ты говоришь — остановится?..

— На заводах новых я не бывала, — поджимая губы, отвечала Екатерина Артамоновна, — слышать — слыхала, но не бывала и сказать не могу... А насчёт колхозов, так вот он, Голошубинский-то, рядом... Хватает, слава те господи, беспорядков...

Катю поражало это упрямство, это нежелание видеть то, что и так, само по себе, ясно и понятно каждому.

— Если бы ты знала цифры, то не говорила бы так! Сейчас наша страна производит всех продуктов в пять раз больше, чем при царском строе. Честное слово, бабушка, это удивительно... Тебе кажется, что ты всё знаешь, а другие люди ничего не знают...

Некоторое время Екатерина Артамоновна молча шевелила спицами, потом, опустив вязанье на колени, говорила с неожиданной проникновенностью:

— Так ведь я, Катюша, жизнь на одном месте прожила. А Россия-то, она вон какая! А ведь как в старину говорили: что ни город, то новгород, что ни деревня, то обычай... А про наших нижегородских так: нижегород — либо вор, либо мот, либо пьяница, либо жена гулявица...

Она смеялась, мелко трясясь дородным телом, вытирая платочком выступившие на глазах слёзы.

Но слушать её рассказы о далёких временах, о волжской старине Катя любила. Реальный мир Волги в рассказах бабушки был окрашен в несколько фантастическую дымку, мешался с легендами, побасёнками, преданиями о бурлаках, купцах, лоцманах, которые она хранила в своей цепкой памяти в великом множестве. Катя, сама великолепно знавшая Волгу, для своих лет начитанная и развитая, видела все домыслы бабушкиных рассказов. Но не поправляла, не хотела нарушать спокойное и плетительное течение её речи.

В эти зимние вечера, когда занесённые снегом Кадницы казались отрезанными от всего мира, в душе Кати с особой силой пробуждалась тоска по Волге, по её запахам, запахам воды, тумана, сырой древесины на плотах...

В преддверии весны, когда на реке уже твердел и оседал снег и на чёрной ледяной, ведущей к затону дорожке показывалась первая полынья, на Катю находили приступы тоски.

Она сидела тогда в своей комнате и часами смотрела на уплывающую в белёсом тумане заснеженную реку...

Бабушка всегда чутко угадывала это катино настроение и в тревоге кружила по дому, не решаясь зайти к Кате, только тихо, чтобы она не слышала, шипела на Анастасию Степановну:

— Екатерина-то болеет, а вам и дела нет... Заблажит девка, потом поздно будет...

Катя сидела одна и смотрела на реку, на горизонт, на облака... Она видела там нежноголубое ледяное поле, снеговые острова, голубые просторы Ледовитого океана, нарты с собаками, олени упряжки, чумы и юрты, затёртые во льдах неведомые корабли с обледенелыми мачтами...

Она закрывала глаза, потом снова открывала их и видела неведомый город с высокими домами, куполами церквей, причудливыми башнями, рыцарями в шлемах и серебряных латах, с длинными пиками и широкими мечами...

Потом эта картина сменялась другой: поезда, пароходы, излучины рек, фабричные трубы, непроходимые леса и горы — всё то, что видела она в своих долгих странствованиях по Волге или что воображала, сидя на корме или в рубке и глядя на уплывающие берега...

Катя сидела и думала обо всём — о себе, о товарищах, мечтала о чём-то, воображала себя кем-то, кого-то мысленно жалела, кого-то осуждала, совершала какие-то поступки...

Думала она и об отношениях людей в их доме. Ей было жаль мать, хотелось в чём-то понять бабушку, угнетало сознание своего бессилия, неуменья заставить всех в доме любить друг друга...

Часто, лёжа ночью в постели, она разыгрывала решительный разговор с бабушкой, придумывая свои и бабушкины ответы, представляя себе, как подействует это на бабушку, и всё в доме станет хорошо... Но наступал день, и Катя не находила повода для разговора. Бабушкино отношение к матери было облечено в форму такого тонкого издевательства, что Кате не к чему было придаться. Она была ещё слишком мала, чтобы во всём разобраться и найти для разговора нужные слова. Это угнетало её, тем более, что бабушка держалась с ней, как с умным человеком, который понимает глупость и никчёмность собственной ма-

тери. Она не говорила этого прямо, но в её улыбке и обращении было что-то неприятно-сообщническое...

Однажды Катя шла из школы. На Волге тронулся лёд, и у Кати было то оживлённое настроение, которое всегда приходило к ней весной, на пороге каникул, навигации и плавания с отцом.

Размахивая сумкой с книгами, Катя вбежала в кухню и увидела мать. Она сидела за кухонным столиком, подперев голову рукой, и по её широкому скуластому лицу текли слёзы. В углу сидел маленький Виктор, что-то делал, молча тараща на мать любопытные глаза.

Катя в первый раз в жизни видела, как плачет взрослый человек, мать, и ей сделалось и больно, и страшно, и стыдно за всё, что происходит в их доме.

— Мама, ну, что ты, мама, — говорила она, трогая мать за плечо, — ну, что случилось?

— Опостылело всё, опостылело, — точно про себя, бормотала Анастасия Степановна. — Господи, за что? Пятнадцать лет... Что ни сделай, всё плохо... Что ни сделай...

Катя выбежала из дома. Бабушка стояла в огороде. При виде её у Кати замерло сердце. Очень много надо ребёнку, чтобы начать со взрослым человеком неприятное объяснение, тем более, если этот человек с детства внушал страх и почтение. Всё же она твёрдым голосом, каким привыкла говорить у себя в школе на пионерских сборах, когда выговаривала кому-нибудь, сказала:

— Бабушка, ты долго будешь маму обижать?

Екатерина Артамоновна обернулась и, выпрямившись, несколько минут молча смотрела на Катю. Но Катя выдержала этот взгляд. Теперь, когда она произнесла слова, которые так долго не могла произнести, ей вдруг стало легко, как и тогда, когда она, переплыв середину Волги, вдруг отчётливо увидела на противоположном берегу кустарник и поняла, что наверняка доплывёт.

Опираясь на лопату, Екатерина Артамоновна продолжала смотреть на Катю. Таким Катя никогда не видела её лица: серое, замкнутое, чужое. И взгляд её был полон презрения и укора, точно Катя жестоко обманула её, её доверие и любовь.

Махнув рукой, бабушка сказала только одно слово: «Иди!» — и отвернулась.

С этого дня ещё тяжелее стало в доме. Екатерина Артамоновна замкнулась в себе, ни с кем из домашних не разговаривала, а на Катю и вовсе не смотрела. Мать ходила ещё больше испуганная. Только коренастый белобрысый Кирилл, удивительно похожий на мать, жил неутомной жизнью сильного, драчливого двенадцатилетнего мальчика да маленький Виктор, худенький и бледный, ни на кого не обращая внимания, ходил по комнатам.

Все эти годы Иван Воронин мало бывал дома: с апреля по октябрь — в плавании, зимой — в затонах. Он знал, что в семье неладно — жена запугана, дети её не слушаются, бабушка исподволь воспитывает в них неуважительное отношение к матери. Надо было уезжать из Кадниц, но он не знал, как быть с матерью: оставлять её на старости лет одну — нехорошо, взять с собой в город — значит опять всё то же.

Так много лет не мог Иван ничего решить.

Когда Катя кончила семилетку, он понял — дальше тянуть нельзя. Надо дочери продолжать учение. Да и вообще уже пора устраиваться с семьёй в городе.

Он сказал об этом матери.

Екатерина Артамоновна пристально посмотрела на сына и отвернулась.

— Куда дом-то брошу,— сказала она,— да и Нижний не за горами. Езжайте, свидимся.

Летом 1938 года Воронин с семьёй переехал в Горький.

Глава четвёртая

Воронин плавал теперь капитаном буксирного парохода «Амур», вёл по Волге баржи. Катя каждую навигацию плавала с ним. Весной 1940 года она сказала отцу:

— Папа, ты позволишь мне в эту навигацию взять с собой мою подругу, Соню Шапову?

На его морщинистом, обветренном, но попрежнему чеканном лице, усеянном синими точками порохового ожога, появилось то отсутствующее выражение, по которому Катя всегда определяла его недовольство или несогласие...

— Можно бы,— сказал он,— да ведь знаешь как... Посторонние люди на судне...

— Я на будущий год не поеду,— не обращая внимания ни на его тон, ни на выражение лица, продолжала Катя,— буду в институт готовиться, так что — взамен... А. впрочем, если хочешь, то мы обе поедём только на один рейс.

— Посмотрим,— сказал отец.

— Нет, папа, ты мне скажи сейчас. Я должна сказать Соне определённо. Могу я обещать или нет? Да — да, нет — нет!

— Ладно, обещай,— сказал отец, как и всегда заканчивая соглашением разговор с дочерью.

Девочки явились на пароход вечером. Катя — высокая, одновременно угловатая и гибкая, в своей белой кофточке и синих спортивных брюках, туго схваченных у щиколотки резинкой, загорелая, скуластая, с густыми, коротко подстриженными каштановыми волосами, деятельная и быстрая. Соня — небольшая блондинка с добрыми голубыми глазами и обращённой ко всему миру приветливой, немного стеснительной улыбкой.

«Амур» причаливался к огромной гружёной барже, чтобы вывести её на рейд, где формировался весь воз, который предстояло буксировать вниз, к Куйбышеву.

Огромный диск заходящего солнца отражался в реке чешуйчатым огненным столбом. По реке тянулись караваны: снизу — с нефтью, сверху — плоты. У речных вокзалов дымили нарядные пассажирские пароходы. Тянулись баржи. Сновали катера, баркасы. Быстро проносились спортивные лодки, длинные и узкие, с такими же длинными и узкими вёслами, ритмично мелькавшими в воздухе. На стрелке, в том месте, где Ока сливается с Волгой, темнел осере́док — маленький голый островок. За рекой в вечерней дымке растилась необозримые луга с редкими конусообразными стогами сена, издалека похожими на выложенные детьми песочные пирамиды. Полоски лесных насаждений, узкие, неестественно аккуратные, точно нарисованные в школьном учебнике, обозначали дороги. Над фабричными трубами, высокими, тонкими, неожиданно вставшими на ровном поле, висели в воздухе, постепенно разреживаясь и подымаясь вверх, клубы чёрного дыма...

Предвечерний туман скрадывал детали этой картины, оставляя для глаза только её общие контуры; всё блестело и переливалось в ослепительном золоте заката.

Катя обежала судно. Всё так же, как и в прошлом году. Так же хлопочет команда, готовясь к отвалу. На корме сидят и разговаривают женщины, сушится на верёвках выстиранное бельё, бегают дети, из камбуза доносится вкусный запах борща и гречневой каши. Кок, Елизавета Петровна, так же плавно несёт своё дородное, но всё ещё гибкое тело. Она, как всегда, босиком. У неё стройные ноги казачки с крепкими загорелыми икрами. Она приветливо улыбается Кате, обнажая два ряда белых блестящих зубов.

— Здравствуйте, Елизавета Петровна,— сухо отвечает Катя и идёт дальше... Катя не любит Елизавету Петровну: глаза лживые, улыбка лицемерная!

Хлопочет и суетится первый штурман Сазонов, маленький, белобрысый, вечно озабоченный человек.

— Что хорошего, Александр Антоныч?— спрашивает его Катя.

— А что хорошего,— отвечает Сазонов.— Дождей нет, воды нет, будем раков давить.

И он долго жалуется на команду — понабрали кого попало, такой бестолковый народ — и на пароходство: дали некомплектное обмундирование — брюки есть, фланелек нет, и отчётность усложнили, целые дни только и пишешь бумажки да составляешь отчёты, и в портах простои и безобразия...

Катя ищет своего старого приятеля, рулевого Илюхина, и находит его в кубрике. Это сгорбленный человек лет под шестьдесят, с седоватыми усами. Сколько помнила себя Катя, Илюхин всегда плавал с отцом. Он баловал Катю и иногда на тихом, безопасном плесе давал ей штурвал, впрочем, не снимая с него своей руки. Поэтому Катя несколько заискивала перед ним. Она знала, что он завтра даст ей немного постоять у штурвала, но хотела заранее заручиться его согласием.

— Я к тебе завтра, Иван Иваныч, приду на вахту,— дипломатично сказала Катя.

— Чего же, приходи,— ответил Илюхин, продолжая починять ботинок,— только вот вахтенный новый...

— Кто? — В прошлом году Илюхин стоял вместе с первым штурманом Сазоновым, и Сазонов разрешал давать Кате штурвал: она помогала ему составлять отчёты. Если Илюхин несёт теперь вахту с отцом, то всё пропало: отец никогда не допустит её к рулю.

— Второй штурман новенький,— сказал Илюхин, затягивая зубами нитку.

— Как его фамилия?

— Сутырин, Сергей Игнатьич...

— Сергей Игнатьевич,— машинально повторила Катя. Сердце её оборвалось: новый человек, кто его знает, может быть, и в рубку не пустит...

Она ещё долго ходила по судну, присматриваясь к новым лицам... Она злилась, ругала себя девчонкой: подумаешь, какое ребячество — подержаться за штурвал, но чувствовала, что не может успокоиться и что сейчас для неё самое главное в жизни это быть уверенной, что завтра ей дадут штурвал...

Но второго штурмана она не нашла, он был на берегу, и Катя отправилась спать, не дождавшись его.

Они с Соней легли в каюте отца. Каюта тоже была такая же, как и в прошлом году. Только к знакомому запаху табака, мокрого от дождя шинельного сукна и свежевывстиранного белья примешивался теперь запах заново выкрашенного дерева, тот запах, который бывает на судне после ремонта. И Кате, как всегда, было приятно на этой

узкой, жёсткой койке под тонким, покусывающим тело шерстяным одеялом.

— Завтра увидишь настоящую Волгу,— сказала она Соне.— Если мы в ночь выйдем, то завтра днём будем за Камским устьем, а там — настоящая Волга.

— А здесь у нас разве не настоящая Волга? — удивилась Соня.

— Здесь, конечно, тоже Волга, но там совсем другое. Там в три раза шире. А потом, как зайдём за Ульяновск, перед Куйбышевом, начнутся Жигули, это так красиво, ты даже не представляешь себе. А потом уже перед Саратовом и до самого Сталинграда пойдут степи и совсем дикие берега.

— А у тебя отец какой строгий,— сказала Соня,— я даже не думала. И все его боятся. Только и слышишь: «Капитан сказал».

— Да нет! У него характер обыкновенный, но он капитан, понимаешь! Если он чем-нибудь подорвёт свой авторитет, то никакой дисциплины не будет...

Судно вдруг вздрогнуло. Затарахтела машина. На палубе раздались торопливые шаги и громкая команда: «Убрать носовую, убрать кормовую...»

— Отвал! — возбуждённо произнесла Катя, подымаясь на постели.— Соня, отвал! Одевайся быстро, выйдем...

— Ну, куда? Я не пойду,— сонно проговорила Соня.

Пароход ещё раз вздрогнул, машина заработала сильнее, раздался долгий гудок, послышались удары плиц по воде, огни берега за окном стали медленно уходить в сторону... Судно шло на поворот...

— Опоздала,— с огорчением проговорила Катя, садясь обратно на кровать,— и всё из-за тебя. Вот уж, действительно, соня.

Но Соня ничего не ответила. Она уже спала.

Спала Соня и на следующее утро. Катя же дождалась, пока заснёт вернувшийся с вахты отец, оделась, потихоньку вышла из каюты и поднялась в рубку.

Пароход спускался вниз по течению. Мимо проплывали знакомые берега, деревни, пристанёшки, брандвахты путейцев. То и дело навстречу попадались пароходы, теплоходы, буксировщики, баржи, почти все знакомые, чаще свои, волжские, иногда камские и окские...

На вахте стояли рулевой Илюхин и незнакомый Кате второй штурман. Катя молча, с обдуманной заранее независимостью, кивнула ему и, обращаясь к Илюхину, сказала с подчёркнутой сердечностью:

— Здравствуйте, Иван Иванович, доброе утро!

— Здравствуй, здравствуй, — не оборачиваясь, ответил Илюхин. — Вот, Сергей Игнатьевич, познакомься, капитанова дочка.

— Как же, знаю,— с неожиданным для Кати смущением в голосе проговорил Сутырин.— Знаю.

Протягивая руку, Катя внимательно посмотрела на него.

Это был высокий, полный, несмотря на свои двадцать пять лет, человек, медлительный, неуклюжий. В его широких плечах, стянутых узким чёрным кителем, чувствовалась могучая, добрая и спокойная сила. Толстое, добродушное лицо лишь с первого взгляда казалось пожилым. Волосы росли только на верхней губе и подбородке, а щёки были чистые. Карие глаза смотрели немного смущённо, будто он извинялся за то, что занимал так много места в рубке. Сутырин снял фуражку, и Катя увидела коротко, под машинку стриженную большую мальчишескую голову, посаженную на короткую, по-детски полную и белую шею.

— Как же, говорили,— снова сказал Сутырин, улыбаясь Кате широкой улыбкой.

Этот человек, с его обликом и манерами коренного волжанина, сразу напомнил Кате ветлужских плотовщиков, больших, сильных людей с их на вид неуклюжей, но спорой повадкой, протяжными песнями, с их добродушием и неожиданной злостью.

Прямо глядя ему в глаза, она решительно, без обиняков, как бы ставя условием своей благожелательности к нему исполнение своего требования, спросила:

— Штурвал дадите?

— Как это так, штурвал?— озадаченно переспросил Сутырин, и лицо его сразу изменилось. Но это резкое изменение не обмануло Катю. Она уже уловила самое характерное в лице Сутырина.

Резко вычерченная линия, проходящая по его лицу сверху вниз, разрезала пополам морщины на лбу, затем, точно незаживающий рубец, рассекала нижнюю губу и, наконец, раздвигала небольшой мягкий подбородок. И эта черта была как раз тем, что так резко меняло лицо Сутырина. Когда он задумывался, эта линия обозначалась резче, морщины на лбу двумя столбиками дужек сходились к переносице, делая его лицо старым и хмурым.

Попрежнему не оборачиваясь, Илюхин сказал:

— О прошлом годе Екатерина Ивановна, как плавала с нами, так практиковала... Плётс знает и штурвал держит... Вот, может, только отвыкла вовсе...

— Нет, я не отвыкла,— сказала Катя.

Морщины на лбу у Сутырина разошлись, и лицо сразу помолодело.

— Ну, что же, — улыбаясь, сказал он, — посмотрим, какой вы судоводитель.

Пароход продолжал свой быстрый и уверенный ход...

Фадеевы горы, Бармино, Фокино... Ребятишки купаются у берега: девочки, ухватившись за канат якоря пристанёшки, мальчики, заплывая почти до середины реки, смешно взмахивают в сажёнках тонкими руками. Коровы, спасаясь от жары, стоят в воде, лениво отмахиваясь хвостами от мух и слепней. Землечерпалки страшно скрипят, их черпаки, совершая свой мерный круг, поблёскивают на солнце. Когда пароход проходит мимо пристани, его волны раскачивают стоящие там мелкие судёнышки, и оттуда тревожно звонят, просят убавить ход, потому что суда слабо учалены и волной их может оторвать...

— Нет у нас расписания сбавлять для вас ход, — как всегда, ворчит Илюхин.

Но Сутырин говорит в трубку: «Тихай!..» И из трубки доносится ответ механика: «Тихай!..» Пароход сбавляет ход, машина работает медленнее, плиты реже стучат по воде...

Пароход минует пристань и снова набирает скорость. Рядом с ним движется по воде радуга от брызг колеса... Ветер белыми барашками пробегает по воде. Огромные песчаные косы, как куски пустынь, вдаются в реку... Впереди — землесос с длинными, чёрными, змеевидными трубами, по которым отсосанный песок перемывается на новое место.

— Машинка работает, а мелко,— говорит Илюхин.

— Да, уж сто восемьдесят,— деловито отвечает Катя, всматриваясь в отметки,— если такая жара постоит, то всё!

— Ничего,— говорит Сутырин,— сделают попуск, спустят воду из Рыбинского водохранилища, вот и будет глубина.

Катя смотрит вперёд, руки её на штурвале. И хотя рядом с её рукой — рука Илюхина, ей кажется, что он держит свою руку на штурвале только для виду, а судно ведёт она сама. Она смотрит вперёд, а Илюхин изредка и, как кажется Кате, тоже больше для порядка говорит:

— Не сваливайся, следи за управлением... Вон в яру куст, на него и держи... Влево не ходи, выбирай ход короче, вон зеленя, на них и направляй... На створы не пойдём, срежем, укоротим путь... Держи, не мотайся... Теперь можно повалиться вправо... Переходи на красный бакен, там стрежень, нам выгоднее.

Кате кажется, что она только для виду слушает Илюхина. Ведь она сама отлично знает, как вести судно. Не только по обстановке, по обстановке — это пустяк: бакены, створы, перевальные столбы, вывески с отметками глубины и ширины судового хода. А вот она знает десятки разных примет и правил, по которым опытный лоцман и без обстановки поведёт судно...

И Кате кажется, что ей больше ничего в жизни не надо, только вот стоять за штурвалом, чувствовать знакомое подрагивание судна, слушать давно известные ей, но каждый раз по-особому приятные замечания старика Илюхина.

— Эй, на пароходе! Который час? — кричат колхозницы с берега.

— Час им скажи, — ворчит Илюхин, — работать надо, а не время спрашивать.

Но Сутырин, добродушно улыбаясь, берёт рупор и кричит:

— Половина десятого!..

— Хлеба нынче замечательные, — говорит Илюхин. — Коня пусти в рожь — не увидишь...

И снова берега и берега. Над водой вьются чайки — значит здесь много рыбы... Ведь вот уже Сура...

— Самая лучшая стерлядь — сурская, — говорит Илюхин, — вот ещё бельскую хвалят... Только, по мне, лучше сурской нет...

Идёт встречный пароход. Илюхин сам становится к управлению. Сутырин натягивает верёвку гудка, даёт продолжительный сигнал, берёт белый флажок — отмашку, выходит на мостик и машет флажком встречному пароходу, показывая, с какого борта суда будут расходиться.

У встречного парохода сначала показывается тонкая струя дыма, а потом уже слышен ответный гудок. На мостик тоже выбегает человек, даёт отмашку, и фигурка его на мостике кажется совсем крошечной.

И Катя знает, что, как только встречный пароход пройдёт, Илюхин и Сутырин ещё долго будут говорить о нём, переберут всю его команду, и кто на нём сейчас капитаном, и кто плавал до него капитаном, и где этот пароход последний раз ремонтировался, и какими событиями вошёл в изустную летопись реки... И если капитан хороший, то похвалят:

— Не он судна боится, а его судно боится.

А если плохой, то скажут презрительно:

— Осенью первый в затон...

Эти разговоры она слышит каждый раз, сама всё знает про этот, например, пароход «Златовратский», но каждый раз эти разговоры интересны ей, она слушает их и сама вставляет что-нибудь, хотя Илюхин и замечает ей при этом ворчливо:

— Ежели судно ведёшь, так уж не разговаривай.

Река делает резкий поворот в сторону, за ним виден ещё поворот, но уже в другую сторону. Катя боится, что сейчас Илюхин опять отстранит её от штурвала. Но он продолжает спокойно сидеть, и Катя уверенно ведёт пароход по линии, которую она мысленно проложила от одного выступающего угла берега до другого.

— Выйдет из тебя рулевой, — говорит Илюхин.

— Будет женщина-капитан, — добродушно улыбается Сутырин.

И Катя молчит, гордая этой похвалой.

А река всё катит и катит свои синие волны. Плывут назад берега. Пароходы дают резкие, сначала всё нарастающие, потом всё стихающие гудки, и далёкое эхо повторяет их...

Вот и Козьмодемьянск. На оживлённом рейде переформируются плоты, спущенные с Ветлуги. На берегу — высокие трубы лесопильных заводов...

И опять в рубке начинаются разговоры о плотях, об их буксировке, о глубинах, о каналах, о новых морях, которые должны ещё появиться на Волге, и как будут тогда плавать, о начальстве, зарплате и премиальных, о простоях в портах... Катя слушает эти разговоры, тоже возмущается тем, что в портах медленно грузят суда и как это плохо и для государства и для команды, и те же мысли о том, почему начальство не изменит этого, только верит всяким очковтирательским рапортам, приходят ей в голову, и ей кажется, что не было зимы, не было перерыва в навигации и вообще она всю жизнь только и плавает на «Амуре»...

— Гляди-ка, — говорит Илюхин, показывая на новую избушку бакенщика, — бакенщик-то Захарыч в новой избе, и радио у него... Это всё сынишка! Сынишка у него в техникуме учится. И деревья посадил...

Катя смотрит на новую избу, и это событие кажется ей тоже очень значительным. Ведь столько лет здесь стояла чёрная ветхая избушка, и на тебе — построили новую...

На воде крупная рябь — «рубец». Начинается тяжёлый каменистый пережат. Илюхин опять сам становится к штурвалу. Катя не обижается, ведь если что случится, он может под суд пойти.

Впереди буксир с тремя баржами, счаленными в один ряд — в три пыжа... Сутырин выходит на мостик, даёт отмашку. Буксир не отвечает.

— Это он нарочно, — волнуется Катя, — хочет, чтобы мы сами решали. Вахтенный — перестраховщик.

— Есть такие, — ворчит Илюхин, — сам ползёт и другим дороги не даёт.

«Амур» даёт сигнал за сигналом, но впереди идущий буксир не отвечает. Весь длинный пережат приходится плестись за ним... Когда наконец его обходят, Катя выбегает на мостик и кричит виднеющимся за стёклами рубки людям:

— Эй, где самолёт обогнали?

И, приставив большой палец к виску, машет растопыренной ладонью, показывая вахтенным, что они лопухие...

Глава пятая

Соня первый день робела и стеснялась в незнакомой ей обстановке, но потом, как все добрые, благожелательные люди, со всем освоилась и со всеми подружилась. Но если Катя находилась больше в рубке, то Соню привлекала корма, где играли дети, сидели и судачили возле камбуза женщины, жёны штурманов и механиков, кок Елизавета Петровна, матрос Ксюша — толстая квадратная девушка с грубым лицом и толстыми босыми ногами.

Катя подружилась с Соней в девятом классе. До этого ей казалось, что Соня дружит с Кларой Сироткиной. Свою нелюбовь к Кларе Катя распространяла и на Соню, и потому жалостливость Сони, её стремление всем помочь, услужить казались Кате тоже лицемерными.

Но именно из-за Клары Сироткиной они и подружились.

Клара Сироткина дважды оставалась на второй год, а потому была самой старшей в классе. В её медленной повадке, ленивой улыбке, выражении выпуклых бараньих глаз, во всём её облике взрослой, рано развившейся девушки была оскорбительная степень превосходства, точно

она знает то, чего не знают остальные ребята, причастна к тому, что для других является ещё тайной. Она дружила со старшеклассниками, с которыми когда-то училась, за ней уже ухаживали, она жила во взрослом, недоступном для других ребят мире. Кате была противна вызывающая тупость, с которой Клара стояла у доски и, ничего не решив, спокойно, как ни в чём не бывало, садилась на своё место. Она отлично видела её неискренность, расчётливость, хитрость глупого и ограниченного человека. Её возмущало, что Клара всегда очень ловко отлынивает от общественных обязанностей, даже тех, которые выполняются коллективно, всем классом, точно она имеет право не делать того, что делают все...

И Катя на собраниях или просто в классе всегда говорила об этом прямо, без обиняков. И хотя каждый раз в больших глазах Клары появлялись испуг и смутнение и Кате это было противно, она продолжала допекать Клару, которая, по её мнению, была злом, и она считала себя обязанной с этим злом бороться.

— Знаешь, Катя,— как-то сказала ей Соня,— а ведь ребята думают, что ты завидуешь Кларе.

— В чём это я ей завидую? — презрительно спросила Катя.

— Я знаю, что ты ей не завидуешь, да ей и не в чем завидовать. Но ребята так говорят,— ответила Соня.

Её спокойный и какой-то очень благожелательный тон удивил Катю. Она посмотрела на эту маленькую беленькую девочку и сказала:

— Всегда иди своей дорогой, и пусть люди говорят, что хотят. Знаешь, кто это сказал? Карл Маркс. Вот кто.

— Это он, конечно, правильно сказал,— согласилась Соня.— Но ведь это относится к капиталистическому обществу. А мы должны людей воспитывать.

— Но ведь ты её подруга, почему ты её не воспитываешь?

— Нет,— сказала Соня,— мы вовсе не подруги, просто живём в одной квартире. Я сама знаю, что Клара не совсем хорошая. Но если мы будем её от себя отталкивать, то она станет ещё хуже.

Катя хотя и не согласилась с Соней, но серьёзность и твёрдость, с которыми та высказала своё мнение, понравились Кате.

Она стала приглядываться к Соне, и как-то незаметно они подружились.

Отец Сони работал грузчиком в порту, мать — кладовщицей на автозаводе. Детей было шесть человек, Соня — старшая. Жили бедновато, все в одной большой комнате, в перенаселённой коммунальной квартире. Соня много работала по дому, и Катя втайне удивлялась её стойкости и неиссякаемому веселью. Сама Катя свой дом не очень любила.

После школы Соня не собиралась больше учиться, решила поступить на работу.

— Начну работать, подыму маленьких, а потом опять пойду учиться,— улыбаясь, говорила она.

— Тогда уже будет поздно, всё забудешь,— отвечала Катя и пренебрежительно, как всегда говорили они о подобного рода вещах, добавила: — и замуж, конечно, выйдешь.

— Кто меня возьмёт? — притворно вздыхала Соня и опять улыбалась, но не своей шутке, а тому, что была хорошенькой и знала это.

Соне было действительно трудно учиться ещё пять-шесть лет. Кате это казалось несправедливым. Почему она и другие имеют эту возможность, а Соня нет.

— Будешь получать стипендию,— убеждённо говорила она,— ведь сейчас ты её не получаешь, а всё-таки вы живёте.

— Что стипендия! — деловито говорила Соня, и её голубые глаза смотрели в одну точку.— Семье надо помогать. Надо было мне после

семилетки в техникум итти, сейчас была бы уже специальность.. Ну, ничего, пойду в контору работать. Чему-нибудь выучусь, не такая уж я бестолковая...

— Нет,— решительно говорила Катя.— Мы вместе поступим в Водный? Хочешь?.. Будем учиться и работать. Ведь многие совмещают учёбу с работой. Вот и мы так будем. И я тебе буду помогать: мне ведь деньги не нужны будут... Или будем жить коммуной... Хочешь?

«Амур» подолгу стоял в портах. Катя и Соня бродили по улицам приволжских городов. Катя, всё это много раз перевидавшая, спешила показать Соне самое интересное, ревниво присматриваясь, нравится это ей или нет, точно показывала что-то ей лично принадлежащее. Но то, к чему она так привыкла за годы своих странствований по Волге, теперь, когда она впервые всё это показывала другому человеку, вдруг как-то по-новому открылось ей самой...

Милые сердцу маленькие пыльные городки с тихими, выложенными булыжником улицами, где на уютных деревянных домиках вдруг видишь таблички: Заготзерно, Доротдел, Сберкасса, Дом колхозника... Неизменный сквер на площади, где стоит бронзовый Ленин — в будничном костюме, с галстуком, заправленным за старомодный жилет...

Громадные города с запахом горячего асфальта и сгоревшего бензина, с гигантскими массивами новых домов, — уже занавески висят на окнах и ящики с цветами стоят на решётчатых балконах, но на улицах ещё нет тротуаров, и люди ходят по насыпям канав, вырытых для водопровода и канализации... Огромные четырёхэтажные универсальные магазины из бетона и стекла и рядом с ними — низкие кирпичные стены гостиных дворов, где разложены на прилавках блестящие галантерейные товары, но пахнет столетним запахом купеческой москательи: верёвками, овчинами, дёгтем и олифой... Мемориальные доски на валах старинных укреплений и башнях кремлёвских стен... Белые колонны театров и клубов, колокольни церквей, минареты мечетей, срубы в деревнях Верхней Волги и белые мазанки Сталинградской. Места, названия которых овеяны поэзией русской истории: село Отважное, Молодецкий курган, Утёс Степана Разина, Караульный бугор, Ермаково, Кольцовка, Усово...

Россия, уходящая и возникающая, преображённая и навсегда утвердившаяся, вставала перед ними во всей своей бескрайности и многообразии...

— Вот жалко, мы от Горького вверх не пошли,— говорила Катя,— увидела бы ты Рыбинское водохранилище, Московское море и канал Волга—Москва...

— Неужели море?

— Море. Меньше, конечно, чем настоящее, но море, берегов не видно... А ты знаешь, скоро вообще вся Волга перегордится плотинами, и будет несколько морей... И канал будет между Доном и Волгой, пароходы будут ходить прямо в Азовское и Каспийское моря...

Но как ни интересны были эти блуждания по городам, хотелось плыть и плыть дальше, смотреть на реку, на берега.

— А почему мы так долго стоим? — спрашивала Соня.

— Не готовы баржи к буксировке, — объясняла Катя. — Вообще проstoi — самый ужасный бич речного транспорта. Ведь грузовые пароходы неделями стоят, честное слово...

— А почему?

— Неорганизованность, понимаешь? Плохо руководят движением, начальства много, а толку мало, — внушительно говорила Катя, повторяя слова, слышанные ею от речников.

Ещё мало разбираясь в причинах этих простоев, Катя, как и все речники, ненавидела их лютой ненавистью. Простоев расстраивали людей, снижали их заработок, из-за них судно не выполняет плана, отстаёт в соревновании с другими судами. И хотя у отца было такое же бесстрастное, как всегда, лицо, Катя видела, что он эти простои тяжело переживает, и страдала за него...

Приближалась Казань. Солнце палило немилосердно. Реже стали леса. Вдоль берегов тянулись сплошные известковые карьеры и каменоломни. Виднелись дачные и рабочие посёлки. Расположенная на невысоких холмах, Казань сияла и переливалась пёстрой массой домов с подымающимися между ними колокольнями и минаретами...

В Казани пароход стоял десять дней: опять не были готовы баржи к буксировке.

В первый же день Катя с Соней объездили на трамвае весь город, поехали и на второй день и на третий, потом надоело: им казалось, что они всё осмотрели. И они скучали на судне, как скучала вся его команда.

Шли дожди. Они противно стучали в стёкла рубки. Вода на реке — чёрно-стальная, серая, со сплошной рябью от быстро падающих капель... На небе — чёрные с серым отливом тучи, с просветлёнными краями. В глущине их иногда гремел гром и виднелись белые вертикальные молнии. Потом тучи становились иссиня-фиолетовыми и низко опускались на землю. Река вспыхивала красным, багряным цветом.

Противно было стоять на рейде. Люди скучали, бездельничали.

Кроме Сутырина, новенькими на пароходе были маслёнщик Женька Кулагин и матрос Барыкин.

Женька был парень лет двадцати, стройный, худощавый, с вьющимися, точно прилипшими ко лбу каштановыми волосами, опрятный и щеголеватый. Говорили, что он отбывал тюремное заключение не то за хулиганство, не то за кражу и только год, как освобождён.

Бойкий и говорливый, он становился вдруг угрюм и неподвижен, и его мрачное, потемневшее лицо, опущенные плечи и насупленный взгляд изобличали состояние тяжёлой подавленности. В такую минуту к нему боялись подходить.

В свободные от вахты вечера он сидел на палубе, пел песни, рассказывал что-нибудь, а иногда часами лежал на койке, не вставая, уткнувшись лицом в подушку, и ни с кем не разговаривал. Он лучше всех на судне играл в шахматы, но мог в середине игры без всякой к тому причины бросить недоигранную партию, смешать или свалить на пол фигуры. Своими насмешками он доводил человека до драки, а через час делился с ним продуктами или отдавал тельняшку.

Больше всего издевался он над молодым матросом Барыкиным, новичком, первую навигацию плававшим на судне, неповоротливым парнем из глухой заволжской деревни, вихрастым, лупоглазым, с глуповатой ухмылкой на лице, которой он как бы говорил: «Не такой уж я дурак, каким вы меня считаете. Меня не проведёшь, я похитрее вас». Давно не стриженные волосы космами выбивались из-под фуражки, которая хотя и была форменной, но на Барыкине как-то сразу смялась и приняла вид деревенского картуза.

При виде Барыкина у Женьки на лице появлялось лукавое и хищное выражение; карие, обрамлённые синей тенью глаза разгорались неприятным блеском.

В первый же день, когда Барыкин появился на судне, Женька с тем деловым видом, который он умел принимать, когда это ему было надо, сказал:

— Возьми, Барыкин, лопату, стань на нос и разгоняй туман. Рулевого ничего не видно. Быстро! Капитан приказал!

Барыкин, знаящий пока только то, что на судне надо беспрекословно выполнять приказания начальства, тем более если они подкреплены именем капитана, схватил лопату, встал на нос и начал изо всех сил размахивать ею к великой потехе всей команды, пока вахтенный начальник не прекратил всё это. Даже капитан сделал Женьке внушение, но и оно не помогло. И, странное дело, как только Женька обращался с чем-либо к Барыкину, у того появлялась на лице недоверчивая ухмылка, обозначающая «меня не прозедёшь», но в конце концов он делал то, что приказывал ему Женька.

Заставлял он его осаживать кнехт, и Барыкин полчаса стучал кувалдой по огромной чугунной тумбе; заставлял чистить кирпичом якорь или давать отмашку двигающемуся по берегу паровозу, посылал в котельную с мешком за паром.

Все эти проделки не удивляли Катю. Эти скверные обычаи речников по отношению к новичкам были ей знакомы с детства. Поражала её жестокость, которую проявлял при этом Женька, его упорство в преследовании Барыкина, какая-то утончённая издёвка, безжалостная и отталкивающая, поражало хищное, жестокое выражение, которое появлялось на лице у Женьки.

Однажды она сказала ему:

— Вы, наверно, думаете, что это смешно, а это вовсе не смешно... а глупо.

— Дураков учить надо, — ответил Женька и вдруг, потемнев лицом, добавил: — А вы хоть и капитанова дочь, а не в своё дело не вмешивайтесь.

— А вы меня тоже не учите, вмешиваться мне или не вмешиваться.

Женька со злобой посмотрел на Катю и отошёл. Но после этого старался издеваться над Барыкиным обязательно в присутствии Кати и при этом с вызовом на неё поглядывал.

Почему-то всё сходило с рук Женьке. В нём была удачливость человека смелого, беззастенчивого и наглого.

— Я вам не Барыкин, — говорил он, как бы утверждая этим своё превосходство над другими и то, что его так просто не возьмёшь. На боцмана он вообще не обращал никакого внимания, первого штурмана слушал для виду и считался только с капитаном и с механиком Дьячковым, своим начальником. Но и в этом тоже был особый оттенок, точно он говорил: «Я слушаюсь тебя потому, что мы оба люди умные и понимаем больше других. И поскольку я уважаю тебя, ты должен уважать и меня». За своё послушание и исполнительность требовал особого отношения к себе, будто делал начальству какую-то милость.

В Москве у него была старуха-мать, где-то на Дальнем Востоке — брат, полковник. Но Женька редко говорил о своих родных.

— В Москву мне нельзя, не пропишут. А к брату зачем же? Он полковник, член партии, а тут брат из каталажки. — И усмехался зло и отчуждённо.

— Отпетый, — говорил про него Илюхин.

— Так ведь как сказать, — качал головой Сутырин, — нервный он, неуравновешенный, от этого всё и происходит.

— Всегда вы, Сергей Игнатьевич, всех защищаете! — возмущалась Катя. — Если он нервный, то и пусть будет нервным, а почему он других задевает, чего он привязался к Барыкину?

— Дома у него своего нет, вот он один и скитается, — со своей обычной спокойной интонацией сказал Сутырин. — Людей надо жалеть, Екатерина Ивановна.

— Он-то не жалеет! И потом, вовсе не всех надо жалеть.

— Почему же это не всех? — добродушно спросил Сутырин.

— Убийцу вы бы не пожалели. Или фашиста, например.

— Ну, это другое дело, — сказал Сутырин. — Какой Женька убийца или фашист? Так просто, психоватый парнишка — и всё. Наладится у него жизнь, и всё войдёт в колею.

— Значит, вы оправдываете его отношение к Барыкину?

— Обычай такой. Я, помню, сам пришёл на судно мальчишкой ещё, тоже через это прошёл. Традиция такая. Плохая, конечно, традиция, а страшного ничего нет. Злее будет Барыкин.

И он смеялся, видимо представляя себе, как Барыкин лопатой разгонял туман.

Сутырин и нравился и не нравился Кате. С ним было легко, спокойно, он прекрасно знал Волгу, многое о ней рассказывал, ни в чём никому не мог отказать, всем улыбался своей добродушной улыбкой. Это нравилось Кате. Но снисходительность Сутырина ко всему удивляла её. Все возмущаются простоями в портах, а он ничего, как будто так и надо. Провинится в чём-нибудь матрос, Сутырин только скажет: «Ох, и неловок ты, брат». И он не то что не понимал людей. Нет, он их понимал. Иногда его точные определения человеческого характера поражали Катю. Но, понимая людей, он не возмущался и не восторгался. Вот такой человек есть, и ладно! Так он и с Женькой — нервный, неуравновешенный, и всё!

— Знаете, Сергей Игнатьевич, — сказала Катя, — мне иногда кажется, что вы оппортунист.

Она ждала, что Сутырин обидится, но он только удивлённо поднял брови.

— Оппортунист? Это почему же я оппортунист?

Это слово Кате самой казалось не совсем подходящим, но другого слова она не находила.

— Вы со всем миритесь и всё оправдываете... Вы мягкотелый какой-то. На ваших глазах Кулагин издевается над человеком, а вам это безразлично...

И, посмотрев на Сутырина, с неожиданной жёсткостью добавила:

— Вы сами, наверно, его боитесь.

Он засмеялся.

— Так уж и боюсь...

— Да, да! Если бы на ваших глазах убивали человека, вы бы тоже, наверно, не ввязались. Прошли бы мимо, и всё.

— Уж вы скажете, — улыбнулся Сутырин. — Кулагин-то ведь никого не убивает.

Спокойствие Сутырина злило Катю, и она старалась посильнее задеть его. И оттого, что это ей не удавалось, она злилась ещё больше.

— Лучше убить физически, чем убивать морально, — изрекла Катя.

— Всех людей не переделаешь, Екатерина Ивановна, — миролюбиво отозвался Сутырин.

— Нет, переделаешь! Надо переделывать, перевоспитывать. Во всяком случае, не надо давать поблажки тем, кто не хочет считаться с другими людьми, — сказала Катя, вспомнив при этом Клару Сироткину.

— Я думал, из вас капитан выйдет, — засмеялся Сутырин, — а теперь вижу: педагог...

Обиженная этим замечанием, Катя насупилась, потом сердито сказала:

— Кто бы из меня ни вышел, я никогда ничего не буду замазывать... Потому что это неправильно... Вот и всё!

Глава шестая

Во время своих долгих плаваний Катя твёрдо усвоила себе правило: никогда не говорить с отцом о команде, это могло бы выглядеть наущничеством. Поэтому она никогда не говорила с ним о Женьке. Но самому Женьке при любом случае выказывала своё отношение, тем более, что, как вдруг оказалось, Женька влюбился в Соню.

Как ни поразительно было подобное обстоятельство, но это было так. Сначала Катя не понимала ни смущения Сони, ни того, что в её присутствии Женька становился то неожиданно тихим и задумчивым, то, наоборот, шумел и рисовался больше обычного. Но потом поняла и то и другое. Да и Соня призналась ей, что это действительно так.

— Нравится он тебе? — насмешливо спросила Катя.

— Что ты! — покраснела Соня. — Я его боюсь. И... мне его немного жалко.

Всё возмутилось в Кате. Ведь Соня ещё ребёнок... Катя не думала о том, что Соне те же семнадцать лет, как и ей самой. Она взяла Соню в это плавание и чувствовала себя ответственной за неё. И вообще, мало ли что можно ожидать от такого человека, как Женька... Катя не могла вынести взгляда, каким смотрел Женька на Соню, его смущение казалось ей наигранным, ничего, кроме грязного, у этого человека в голове не может быть...

Пароход прошёл Тетюши, Майну и подходил к Ульяновску. Огромный двухкилометровый железнодорожный мост висел над рекой. Длинные, бесконечные плоты тянулись по реке, деревянные избушки на них казались крошечными. Катя и Соня стояли на носу, неподалёку сидел Женька. Катя объясняла Соне, как надо вести судно по реке.

— Сверху надо итти посредине реки, по стрежню, — говорила она и смуглой, загорелой рукой показывала Соне, где проходит стрежень. — Понимаешь? Там течение сильнее, и оно помогает движению. А вот снизу наоборот — ближе к берегам, тиховодами, там встречное течение слабее. Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула головой Соня, но Катя перехватила её брошенный на Кулагина насторожённый взгляд.

— Теперь так, — громко, чтобы отвлечь внимание Сони от Женьки, продолжала Катя, — если берег крутой, то он ходовой, глубокий, можно итти. А вот если песок заструженный, выдаётся в воду мысами, — ходу нет, мелко. И чем мельче, тем больше дрожит судно...

Лицо Сони вдруг изобразило беспокойство. Она схватила Катю за руку.

— Смотри, смотри, кошка!

На крутом берегу, в бесчисленных круглых ячейках, гнездились стрижи. Они беспокойно метались во все стороны, оглашая окрестность тревожным щебетом, — невесть откуда появившаяся кошка шныряла взад и вперёд, стараясь вползти в гнёзда и вытащить притаившихся там птенцов.

— Ах, как жалко, — сказала Соня, прижимая руки к груди, — поест она птичек, — и долго смотрела на уплывающий берег и на встревоженных птиц.

— Паршивая кошка, — сказала Катя, — и откуда она здесь взялась? Наверно, где-нибудь близко деревня или бакенщик живёт. Ну, да ничего, птенцов она не достанет. Эти гнёзда очень глубокие... А вот смотри: видишь, вода быстро крутится? Это суводь, место опасное, здесь судно может потерять управление, надо итти быстро. Такая суводь бывает обычно за большими горами...

— Положим, не только за горами, — сказал вдруг Женька.

Но Катя даже не повернулась в его сторону и, придерживав Сою за локоть, не позволила обернуться и ей.

— А вот видишь, — продолжала Катя, делая вид, что не слышит Женьки, но чувствуя на себе его злой, напряжённый взгляд, — видишь, такая белая гребнистая полоска на воде? Это «спорная вода»... Она получается, когда течение резко изменяется, поворачивает в другую сторону...

— Не только при этом, — опять сказал вдруг Женька.

Катя повернулась к нему.

— А ведь вас, Кулагин, никто не спрашивает.

Женька несколько озадаченно посмотрел на Катю и, наливаясь краской, дерзко сказал:

— А вы что за недотроги такие, с вами и поговорить нельзя? Садились бы на пассажирский пароход, да и ехали.

— Это не ваше дело, — сказала Катя, — и вы вообще всегда вмешаетесь не в своё дело... Пойдём, Соня, отсюда, здесь мешают...

Весь день, до самого Ульяновска, Катя чувствовала на себе тяжёлый взгляд Кулагина, и тревога не покидала её. От этого человека можно всего ожидать. Но это была странная тревога. Ей хотелось, чтобы что-нибудь случилось, она ждала какого-то поступка от Женьки, и вся напугалась, готовая к отпору.

В Ульяновске стояли три дня. В город высоко было подыматься, да Катя уже бывала там. Она только раз сводила Сою в дом Ульяновых. Остальное время они провели на пароходе.

Стояли прекрасные летние дни. Солнце пекло невероятно, не хотелось тащиться до пляжа, и девочки, как и вся команда, купались тут же, возле судна.

Катя хорошо прыгала в воду. Прошлым летом на городских соревнованиях по прыжкам она заняла первое место среди девушек. В ней была прелестная угловатость подростка, обещавшая незаурядную красоту в будущем. Рядом с Соней Катя походила на мальчишку, узкобедрая, длинноногая, с маленькой грудью и выпирающими ключицами.

Соня по лесенке спускалась в воду, а Катя, забравшись на самую высокую точку форштевня, прыгала отсюда, широко распластав в воздухе руки. Потом они вылезали и сидели на корме в своих мокрых купальных костюмах, и вода с их голых колен и из-под маленьких резиновых шапочек капала на быстро высыхающие доски палубы.

Катя не увидела, а почувствовала чей-то тяжёлый, направленный на них взгляд. В дверях стоял Женька и смотрел на Сою. И хотя здесь, на корме, сидели и купались и другие матросы и мотористы, женькино присутствие и тот взгляд, которым он посмотрел на Сою, казались Кате оскорбительными.

Катя встала.

— Пойдём, Соня, на пляж. Здесь, видно, нам уж не дадут спокойно покупать.

И они ушли переодеваться в каюту, сопровождаемые тяжёлым взглядом Кулагина.

В Ульяновске подошёл срок выдачи заработной платы команде. Катя помогла Сазонову составить ведомость, вышла из его каюты и уселась на палубе, на скамеечке, стоявшей у самого окна капитанской каюты. Сазонов пошёл к капитану подписывать ведомость. Катя слышала короткие вопросы отца по ведомости, довольно путанные ответы Сазонова, потом отец сказал:

— Может, задержим выдачу до отвала?

— Так ведь опять неприятность, Иван Васильевич, — сказал осторожный Сазонов.

— Ни за кого я не боюсь, только вот за Кулагина,— сказал отец,— опять чего-то хмурый ходит. Выдать бы завтра, а ведомость сегодняшним числом оформить.

— А вдруг инспекция. В Ульяновске стоим, не на какой-нибудь пристанёшке...

— Ну ладно,— сказал отец.— Только скажи Сутырину, пусть доглядит за ним.

Зарплату выдали. Но Сутырин недоглядел за Женькой, и тот явился из города выпившим. После отвала он вышел на палубу уже совершенно пьяный, подошёл к Соне, сидевшей рядом с Катей, и поманил её пальцем:

— Соня, на одну минутку, Соня!

Соня растерянно посмотрела на Катю.

— Не ходи! — громко сказала Катя.

— На одну минуточку, чего боишься? — сказал снова Кулагин.— Я только одно слово скажу, и всё.

— Идите в кубрик, Кулагин, и проспите лучше,— громко сказала Катя.

Он точно не слышал её и шагнул к Соне.

— Ведь как человека прошу, подойди на минутку.

Но когда он сделал этот шаг, Соня в страхе прижалась к Кате. Кулагин махнул рукой, повернулся и быстро пошёл прочь...

И через минуту Катя почувствовала то смятение, которое вдруг возникает на пароходе при неожиданном происшествии, смятение, которое начинается ещё прежде криков или сигналов бедствия... Она сразу поняла: Женька! — и оглянулась. На корме в последнюю секунду перед ней мелькнула в воздухе фигура человека, бросившегося за борт, и тут же, в воде, но уже метрах в пятидесяти позади парохода вынырнула его голова... Катя вскочила, подбежала к корме, сорвала и бросила в воду спасательный круг и в чём была, только сбросив на ходу сандалии, метнулась в воду... И тут же она почувствовала, что кто-то бросился в воду вслед за ней. Вынырнув, она отряхнулась и увидела рядом Сутырина... Пароход был далеко, он уже останавливался, с него спускали шлюпку... Катя посмотрела вперёд — Женька плыл к берегу. Течение сносило его, и они все почти одновременно, тяжело дыша и отфыркиваясь, вышли на берег...

Поддерживаемый Сутыриным, Женька шёл, шатаясь, и пьяным, прерывающимся голосом бормотал:

— Серёжа, оставь! За что? Всё равно жизни нет, оставь!

— Ну, успокойся, успокойся,— говорил Сутырин,— ну, чего ты в самом деле...

Катя шла за ними и думала: а для чего он, собственно, бросился в воду? Ведь топиться он не собирался. Просто пьяная блажь... И никакой жалости к Женьке она не испытывала.

Тут же Женьку списали на берег.

— Нет у меня времени больше с тобой возиться,— сказал Воронин,— расстанемся друзьями.

Женька стоял перед ним, опустив голову, ничего не отвечая.

Перед тем как спрыгнуть в лодку, которая должна была отвезти его на пристань, он оглянулся, ища глазами Соню. В руках у него был маленький узелок — все его вещи. Но Сони на палубе не было. Она сидела в каюте, плакала и боялась выходить...

— Допрыгаешься ты так-то когда-нибудь,— спокойно сказал Воронин дочери.

— «Человек за бортом»,— попыталась отшутиться Катя.

Она видела, что отец недоволен. И потом ей весь день казалось, что все на пароходе недовольны, точно она виновата в том, что случилось с Женькой...

Пароход шёл дальше, и жизнь на нём продолжалась своим чередом. Так же несли вахту матросы, штурманы, рулевые. В машинном отделении двигались огромные блестящие шатуны, с шумом вращая коленчатый вал... Никто не говорил больше о Кулагине, но Кате всё казалось, что все осуждают её. И она не знала: правильно она вела себя с Кулагиным или неправильно?..

Обхватив колени руками, Катя сидела вечером на палубе, невидимая за большой бухтой каната, и смотрела на реку...

Прошли Новодевичье. Далеко на горизонте встала чуть заметная полоска — Жигули! Их продолговатая гряда становилась всё отчётливее и отчётливее. Волга круто поворачивала на восток...

Караульный бугор... Кабацкая гора... На зелёных склонах высятся нефтяные вышки, красные и белые баки нефтяных промыслов. Жигули в сплошном зелёном цвете, только белеют в нём пятна оголённых утёсов, причудливые очертания выветрившихся известняков... Тени деревьев переламываются в воде...

Всё знакомое, привычное, беспредельно глубокое и щемящее сердце, как детство, как родной дом.

Солнце только что зашло. У берегов вода сине-голубая, а в середине реки она идёт широкой кирпично-красной полосой... Купол неба синий, синий. Ближе к краям он постепенно краснеет и переходит в яркокрасные облака, как бы прослоённые чёрными линиями вдоль и красными лучами заката поперёк.

Неужели из-за неё Кулагин бросился в воду? Теперь, когда его не было на пароходе, она жалела его. Он стоял перед её глазами со своим маленьким узелком, жалкий, подавленный, ищущий глазами Соню и не находящий её... Куда же он пойдёт один в незнакомом городе?

Чем же она оскорбила, обидела его?.. Почему, когда она говорит правду, люди обижаются на неё? Она вспомнила осуждающий взгляд бабушки тогда, на огороде, смятение Клары Сироткиной на собрании... И теперь Женька! В чём же она виновата? А может быть, ей только так кажется... Механик Дьячков сказал про Женьку: «Психой парень и больше ничего...» Ведь тогда и с бабушкой и с Кларой она была права. Ведь когда ей самой указывают на её недостатки, она не обижается...

Звук голосов, приглушённых стёклами рубки, но в вечерней тишине отчётливо слышимых, донёсся до неё. Она прислушалась. Разговаривали отец, Сутырин и Илюхин...

— Вот у меня дед,— говорил отец своим медленным, глуховатым голосом,— в своё время — лоцман!.. Тоже буян был. А почему? Лихость некуда было девать, потому и буянил.

— Буянство — не лихость,— сказал Илюхин и закашлялся знакомым Кате долгим, надрывистым кашлем.

— Полный! — крикнул Сутырин в трубку.

— Тоже в гражданскую лихие люди были,— снова сказал отец,— так ведь Россию поднимали, переворачивали наизнанку... Помню, был у нас один такой лихач... Фуражку снесло, так он под пулями за ней поплыл. Кругом так и цокает, так и цокает, а он плывёт... И ежели вдуматься, так его эта лихость — на пользу: связи бойцы смотрят, думают — ничего смелого человека не берёт, а белые смотрят и тоже думают: мол, если у красных такие бойцы, значит плохо наше дело. И выходит, эта его лихость — на пользу.

— И достал? — спросил Сутырин.

— Достал.

Илюхин снова закашлялся и сказал:

— А куда же ему без фуражки?.. В драке всегда так: богатый бережёт рожу, а бедный — одёжу.

— А уж нынче, — продолжал отец, — человеку, особенно какому молодому, есть куда силу девать. Горбач девять пудов таскал, лихой был, а к тридцати — в могилу. А девушка вон на кране одной рукой пять тонн подымает, все триста пудов.

— Выходит, значит, сила в уме, — сказал Сутырин.

— Выходит так... Уж по мне тот лихой, кто душе полный простор даёт и людям на пользу. А это, в воду прыгать или финкой махать... в душе, значит, пусто!.. Вон комсомольцы: в мороз-стужу города строят, заводы... Россию с просёлка на рельсы, ну-кося, подыми-ка!..

— Да уж, — сказал Илюхин, — который мешает — извини, значит, подвинься...

Притаив дыхание, Катя слушала этот разговор. В ночной тишине по-особому журчала вода за кормой, колёса стучали тихо и равномерно. Впереди покачивались на волнах белые и красные огоньки бакенов. Встречные суда возникали созвездием разноцветных огней, и ночь далеко и тревожно разносила рёв их гудков. Берега сливались с водой, только белели в них известковые отложения.

— Всё из-за Барыкина, — снова услышала Катя голос отца и удивилась тому, что он всё знает, хотя никогда не говорил и не показывал этого. — Не в том дело, что разыгрывал, можно и посмеяться. Так ведь над чем? Заставлял человека работать впустую. Это уже никуда! Работа — дело святое, над этим смеяться никак нельзя.

— Да уж, натворил, — засмеялся Сутырин, — заставил поплавать и меня и Екатерину Ивановну...

А всё же он хороший, Сутырин! Большой, добрый, сильный и в то же время — слабый... Кате почему-то казалось, что каждый может обидеть Сутырина, и ей хотелось защитить его, предостеречь от чего-то... Славный он человек!..

— Конечно, и Екатерина моя не сахар, — сказал Воронин, — но девка честная, справедливая... Уж этого от неё не отнимешь...

— Это так, — сказал Илюхин, — душевный человек.

— Смелая! — опять засмеявшись своим добрым смехом, сказал Сутырин.

У Кати от волнения к горлу подкатил комок, и сердце сжалось от благодарности и любви к этим людям, так хорошо думающим о ней...

— Ещё более того, прости эти проклятые в портах действуют, — сказал Илюхин, — ну, прямо разлагают народ, и всё тут... Хуже безделья для человека ничего нет...

— Замучила неорганизованность, — согласился Воронин, — да ведь всё на это не свалишь. Надо было давно Кулагина на берег списать... Дело нетрудное... Нет, думаю: такому приткнуться не просто, опять в тюрьму попадёт... Потому и не списывал, жалел, значит... А жалости одной мало. Поговорить бы надо, найти к душе дорогу, а вот не умеем мы ещё этого делать... Екатерина что, рубит по-молодому, так и спрос с неё какой — семнадцать лет... А мы вот тогда чухаемся, когда происшествие произошло, а надо бы пораньше...

Навстречу прошёл большой пассажирский пароход, освещённый огнями своих кают, палуб, ресторанов. Люди стояли, облокотившись о поручни, слышался их смех, звуки радиолы. Пароход прошёл, оставив на воде длинный волнистый след...

И снова тёмные берега, огоньки бакенов, гудки пароходов. Звёзды низко висят над землёй... Далёкая неведомая жизнь стоит за всем этим... Как понять эту необъятную жизнь? Что сделать, чтобы под этим голубым

и звёздным небом люди не страдали, не сомневались, хорошо относились друг к другу? Что нужно для этого, как надо правильно жить и правильно вести себя?..

А пароход всё шёл вперёд, и белые гребни буруна длинными усами расходились от него в обе стороны, оставляя на воде пенистые полосы...

Глава седьмая

Женя Кулагин не попал в тюрьму, никуда не сгинул. После случая на «Амуре» его не допускали на суда. Он вернулся в Горький и поступил грузчиком в порт.

В порту он подружился с молодым крановщиком Николаем Ермаковым, которого уважал и даже втайне побаивался за огромную физическую силу и грубоватую требовательность, свойственную человеку, убеждённого, что его дело самое важное не только для него, но и для всех других людей.

Его-то и привёл с собой Кулагин к Соне в тот день, когда в первый раз пошёл к ней.

Просто зайти к Соне Женька долго не решался. Но парень он был ловкий и сделал так, что его пригласили. И пригласил не кто иной, как отец Сони, бригадир грузчиков, Максим Фёдорович Шапов, небольшой, кругленький, седоватый человек с красным лицом и такими же, как у Сони, большими добрыми голубыми глазами. Был он говорун и балагур, хитроват лукавой и простодушной хитрецей нижегородского грузчика, побаивался женьку, пил не много, но от угощения не отказывался.

В получку Женя завёл Шапова и Ермакова в пивную. Выпили, потом пошли провожать старика. По дороге Женя сказал, что знаком с дочерью Максима Фёдоровича — Соней, плавал с ней на пароходе «Амур», хорошо знает её подругу, Катю, и её отца, капитана Воронина. При этом он поглядывал на Шапова, пытаясь определить — рассказывала дома Соня о том, что произошло на «Амуре», или не рассказывала. Но на лице Максима Фёдоровича, ставшем от вина ещё краснее и умильнее, не появилось ничего такого, что могло бы встревожить Женю.

Максим Фёдорович, хотя даже в хмелю побаивался жены, всё же завал ребят к себе... Во-первых, ребята, как-никак, его угостили, должен и он их уважить... Во-вторых, ребята молодые, ежели их отпустить — могут загулять, у Кулагина этого в кармане вон ещё пол-литра, а это нехорошо, тем более — Николай Ермаков! Он, Шапов, перед его матерью в ответе... Ермакова Мария Спиридоновна — помощник начальника участка, потомственная речница и человек, каких мало! Так что пусть уж ребята посидят в семейном доме тихо, благородно...

Соня сначала была ошеломлена появлением Женьки, но потом всё обошлось. Молодые люди вели себя смирно. Оба они были в синих костюмах, сиреневых рубашках без галстуков и маленьких кепках с модными по тому времени крошечными козырьками.

— Так-то, молодёжь, — говорил Максим Фёдорович, стараясь не оробеть перед женой, — так-то, молодёжь... Вот дочка моя десятилетку кончает, среднее образование законченное, как говорится...

Соня сидела за столом в домашнем синем платье, белокурая, хорошенькая. Надо было поддерживать разговор, и она пыталась заговорить с Николаем Ермаковым. Но тот сидел, мрачно насупившись, отвечал односложными, отрывистыми фразами и не глядел на Соню, точно боялся смотреть на неё. Это почему-то смешило Соню и нравилось ей. И вообще ей понравился этот коренастый парень могучего сложения, толстогубый, широкоскулый, с большим «утинным» носом. Тёмные волосы, длинные спереди и коротко остриженные сзади, двумя прядями падали ему на лоб

и глаза. Николай обеими руками, проводя ладонями по вискам каким-то женским движением, откидывал их назад и бережно прихлопывал на макушке. Иногда он делал это одной рукой, широко растопырив пальцы, постепенно собирая волосы в горсть и приглаживая их широкой ладонью.

Мягкое движение, такое неожиданное в грубом на вид парне, тоже понравилось Соне. И оттого, что Николай смущался, ей стало совсем весело и хотелось ещё больше смутить его. С неожиданным для самой себя лукавством она поглядывала на него, улыбалась, и чем больше хмурился и смущался Николай, тем упорнее смотрела она на него и тем лукавее улыбалась.

Женька Кулагин был сначала оживлён, свободно и даже несколько развязно разговаривал с Максимом Фёдоровичем и с матерью Сони, высокой, худой, озабоченной женщиной, шутил с ребяташками, которые, разинув рты, смотрели на гостей. Но потом замолчал, видя, что Соня не обращает на него внимания, отвечает ему нехотя и, чтобы подчеркнуть свою холодность, всё время улыбается Николаю. Лицо Женьки пошло красными пятнами, в глазах замелькал так хорошо знакомый Соне недобрый огонёк. Но ей это вовсе не было сейчас страшно, как было страшно тогда, на пароходе...

Разговором овладел Максим Фёдорович. В ту пору завершалась реконструкция и механизация волжских портов, и это больше всего волновало его.

— Конечно, всех процессов механизация, — хитровато улыбаясь, говорил Максим Фёдорович, — естественным делом прогресс, так сказать, по общему развитию страны. Нашего брата, грузчика, значит, побоку. Это верно... Как в старину говорили: лучше слыть дураком, нежели бурлаком... Да ведь и при машине человек нужен. Опять же — квалификация. Куда её денешь?

— Ничего, папаша, — развязно похлопал его по плечу Женька, — на наш век работы хватит. Была бы шея...

— Грузчики будут переучиваться на механизаторов, — хмурясь, сказал Николай.

— И верно, — радостно согласился Максим Фёдорович, — не в попы, так в звонари. — И, подмигивая, добавил: — А может, из кобыл да в клячи. — Но теперь такой вопрос, — снова начал он, — разве на всех-то грузчиков хватит кранов? Куда людей, спрашивается, будем девать?

— Кроме кранов, есть другие механизмы, — сказал Николай, — механизмов хватит. Была бы охота учиться.

— Это уж как водится. Только на факте-то мы видим обратное. Вот взять, к примеру, твою мать, Николай... — Он сделал почтительное лицо. — Известнейший на Волге человек — Ермакова Мария Спиридоновна. Шутка сказать, из потомственнейших. Эту куда хошь! Нынче таких-то мало осталось. Но опять же скажем: не ценят. Была почти что начальником порта, а теперь перевели на участок...

— У матери четыре класса образования, — сказал Николай, подымая упавшие на уши концы волос и аккуратно прихлопывая их на макушке ладонью, — с четырьмя классами теперь нельзя руководить портом, потому что — механизация.

— Верно, согласен... Начальство знает, что к чему. Да ведь и начальство теперь всё больше из институтов, из училищ разных. Оттирают нашего брата, практического, значит, специалиста...

— Специальность теперь одна: машины надо знать, механизмы, — угрюмо и нетерпеливо сказал Николай, оглядываясь на Соню и на Женьку. — Мать и сама это понимает...

— Вот как вы, молодёжь, — покачал головой Щапов. — Вам-то легко, так вы бы и о нас подумали, о стариках... Я ведь, Коля, и родителя твое-

го знал... Первой силы крючник был по всему Нижнему. Какие, бывало, на ярманку силачи-фокусники приезжали — всех забивал... Вот какой был! Под телегу подлезет — телегу с людьми подымет. Такой человек был, такой человек...

Максим Фёдорович пьяно всхлипнул и полез за платком.

— Здравствуйте, расчувствовался,— сказала мать.

— Зачем ты, папа, расстраиваешься,— ласково сказала Соня,— всё это было и прошло.

— Я к тому, доченька,— сказал Максим Фёдорович, вытирая глаза,— что до срока погиб человек, надорвался. Ему бы только жить и жить... Вот ты, Николай, крановщик, одним словом, и образование у тебя и дальше пойдёшь, и вот дочка моя тоже десятилетку кончает, законченное среднее, и ты...-- он ткнул в Женьку и замялся, видимо забыл, как того зовут,— ты тоже вот к делу пристраиваешься... А вот я в семье восьмой был. А братья, значит, здесь, в Нижнем, крючниками-горбачами. Ну, я к ним и пришёл. Мне-то с братьями хорошо было — вынесут тяжёлое место. А ежели молодой—один, ставь четвертную, тогда вынесут место... Место-то, оно, ежели, к примеру, взять кипу хлопка,— двести килограммов, а как тогда на пуды считали — двенадцать с половиной пудов... Вынеси её из трюма — двадцать четыре ступеньки! А механизация — ярмо, болванка. Вот и инвалид в пятьдесят лет... На нынешней-то работе крепкого человека не износит, а раньше инвалид... Задний лабаз — двести пятьдесят метров, сбросишь груз, а кажется, что он всё ещё на спине... Бочка цемента тоже двенадцать пудов — попробуй-ка! И никаких восемь часов не знали, обработали судно — вот тебе и смена! Бывало, по трое суток домой не отпускают.

— А правда, были силачи — по тридцать пудов подымали?— спросил Женька. — И не только что подымали, а на спине из трюма вытаскивали?

— Потаскаешь, когда по четыре рубля за тысячу пудов платили,— сказал Максим Фёдорович. — Сезонные-то хоть дома, в деревне, какое-никакое хозяйство имели, а зимогоры? Те, которые, значит, и лето работали и зиму, тем как? Вот и маялись. На пристани не только что асфальта, а и булыжника не было. Грязи — океан-море, проложат от причала к лабазу дощечки, выплясывай на них, с грузом-то на хребту...

— Что лошадь, что человек, всё едино было,— сказала мать.

— Вот именно... А родительница твоя, Николай, в своё время большим человеком была. Одна из первых. В партию-то она, знаешь, когда поступила? Как Ленин умер, в двадцать четвёртом году. Нынче-то у нас сорок первый пошёл? Вот и посчитай, сколько лет.

Николай ничего не ответил, только ещё больше нахмурился. И Соня понимала, что он хмурится оттого, что при нём говорят о его родителях, и хоть хорошо говорят, а ему неудобно. И это в Ермакове тоже очень понравилось Соне. Желая переменить разговор, она спросила:

— А вы давно на кране работаете?

— Четвёртую навигацию,— ответил Николай, не глядя на Сою.

— Он у нас с первых же порталных кранов,— сказал Максим Фёдорович.— Помню, первый кран осваивал...

— А это, наверно, сложная работа,— сказала Соня,— и страшная.

— Чем же страшная? — усмехнулся Николай.

— Высоко,— засмеялась Соня.

— Ничего там страшного нет,— сказал Николай и первый раз посмотрел на Сою, но тут же отвернулся.

— Я бы ни за что не полезла на кран, ни за что,— сказала Соня, со стыдом сознавая, что кокетничает, в то же время чувствуя, что иначе го-

ворить не может. Сама вдруг смутившись, она глупо спросила:— А вы с него ни разу не падали?

Николай опять покосился на неё, но ничего не ответил.

В следующий раз молодые люди пришли с Сутыриным. «Амур» зимовал в Горьком, Женька ездил на судно оформлять свои документы, зазвал Сутырина к себе, познакомил с Ермаковым, а потом привёл и к Соне.

— Смотрите, совсем барышня,— удивился Сутырин, здороваясь с Соней, красивой, оживлённой, приодевшейся к приходу молодых людей,— а где же Екатерина Ивановна?

— Если бы я знала, что вы придёте, я бы её позвала,— ответила Соня, краснея при упоминании о Кате, которой она не рассказала ни о Женьке, ни о Николае. — Она ведь очень занятая, Катя. В этом году в институт поступает, потом в райкоме всё время и ещё в бассейне — тренировки, она ведь пловчиха знаменитая, в Москву поедет...

— Да, уж плавает она хорошо,— сказал Сутырин, с доброй насмешливостью поглядывая на Женьку.

— Вот именно,— равнодушно, точно его это не касается, сказал Женька. Потом спросил: — Так сообразим? Я на ногу быстрый.

Сутырин и Ермаков замялись, Ермаков отошёл к окну, Сутырин, улыбаясь, вопросительно посмотрел на Соню.

— Только красное,— догадавшись, чего хотят гости, и входя в роль хозяйки, решительно сказала Соня.

— Красное так красное,— вздохнул Сутырин.

Женька недовольно сморщился и отправился за вином.

Соня начала накрывать на стол. Проходя на кухню, она встретила в коридоре Клару Сироткину.

Клара дальше девятого класса учиться не стала, работала на торговой базе счетоводом.

— Что это у тебя за гости? — спросила она.

— Так, знакомые,— ответила Соня и, решив, что если пригласить ещё одну девушку, то будет веселее, сказала: — А ты зайди, посидим...

Клара пришла и стала помогать Соне накрывать на стол. Она медленно двигалась по комнате, и на лице её была спокойная и снисходительная улыбка человека, умеющего принимать гостей, но принимающего их в доме, где ничего нет. Клара велела Соне убрать дешёвые гранёные стопочки, которые та поставила на стол, и принесла свои рюмки, все одинаковые, тонкие и красивые. И свои ножи и вилки и очень красивые маленькие тарелочки. Как опытная и умелая хозяйка, она всем распоряжалась, красиво разложила на тарелках колбасу, сыр, очистила селедку. Потом всех рассадил так, что сама очутилась рядом с Сутыриным. Соня сидела между Николаем и Женькой.

Ошеломлённый этим великолепием, Сутырин сидел красный, смущённый, испытывая волнение от близости этой красивой, спокойной, полногрудой девушки, смотревшей ему прямо в глаза внимательным и вместе с тем волнующим взглядом.

Женька нервно смеялся, болтал всякую чепуху, иногда смешную, иногда непонятную.

Николай Ермаков на этот раз уже не глядел таким бирючком. Ему, видно, не понравилась Клара, и он, не скрывая этого, не обращал на неё никакого внимания, разговаривая только с Соней и Кулагиным.

— Скучища, чёрт побери,— говорил Женька,— не люблю я зиму эту проклятую. Ни дела, ни заработка, тычемся по участку из угла в угол... Тоска берёт.

— Зато нам работы хватает,— сказал Сутырин,— судно приготовить, отремонтировать. Дай бог...

Клара внимательно слушала, о чём говорят за столом, особенно — Сутырин. Тогда она переставала есть, превращалась вся в слух, с очень серьёзным видом просила повторить или объяснить ей что-либо, ею непонятое. Сутырину приятно было и повторять и объяснять, приятно, что она не скрывает того, что не понимает, приятно, что спрашивает его об этом, приятно, что он предстаёт перед ней таким знающим и умным. Ему казалось, что она серьёзная, вдумчивая девушка и её вопросы объясняются именно умом и пытливостью. Когда Сутырин объяснял, она серьёзно и напряжённо слушала, а потом понимающе кивала головой и говорила:

— Интересно... Теперь я буду знать.

Потом решили пойти в Клуб водников на танцы.

Клара переоделась и вышла нарядная, в длинном зелёном платье, в котором она, напудренная и подкрашенная, казалась совсем взрослой женщиной. Когда же она надела беличью меховую шубку, из-под которой низко свисал длинный подол платья, то показалась Сутырину похожей на какую-нибудь известную московскую актрису.

В клубе все билеты на танцы были уже проданы.

— Ну, что ж, Николай,— сказал Женька,— иди к директору. Тебе-то должны дать. Портрет твой здесь висит.

— Я не пойду,— хмуро и решительно ответил Николай,— билетов нет, значит нет.

— Эх ты! — сказал Женька.— Пошли, Серёжа, достанем.

Кулагин и Сутырин ушли и через некоторое время вернулись с билетами.

Зал был переполнен, как всегда под воскресенье.

Клара танцевала только с Сутыриным. И они выделялись в толпе, он — высокий, огромный, очень представительный в своей штурманской форме, она — тоже полная, красивая, нарядная.

Подбежал молоденький лейтенант и пригласил Клару. Она с удивлением посмотрела на него и отказала. И когда лейтенант отошёл, она свой удивлённый взгляд перевела на Сутырина, как бы приглашая и его поудивляться тому, что этот самонадеянный человек пригласил её, когда всем должно быть ясно, что ни с кем, кроме Сутырина, она танцевать не может и не будет.

И Сутырин, испытанный, когда подошёл лейтенант, острый и неожиданный приступ ревности, с нежностью и благодарностью посмотрел на Клару.

Николай Ермаков не умел танцевать и стоял возле стены, мрачно поглядывая на оживлённый зал.

Соня два раза протанцевала с Женькой, и все смотрели на них. Женька — стройный, красивый, с точно прилипшими ко лбу завитками каштановых волос, Соня — беленькая, очень изящная в белом с красными цветами простеньком платьице, с маленькими ножками на высоких каблучках. Но Соне казалось, что все смотрят на них потому, что Женька танцевал как-то уж слишком особенно, чересчур лихо, выделял замысловатые фигуры, и ей было неудобно обращать на себя внимание.

Когда музыка смолкла, Соня сказала Женьке:

— Давайте устроим перерыв... А то неудобно... Николай один.

Но, став возле Николая, Соня уже от него больше не отходила. Сразу ею овладело то самое игривое настроение, которое было у неё, когда она сидела рядом с ним за столом, радостное ощущение того, что Николай смущается и боится её, и что она в чём-то сильнее его, и что если она ему

прикажет, то он может здесь сделать что-то необычайное, а если она запретит ему это делать, то он и не сделает... Она смотрела на него, как на свою собственность, и ей, всегда такой доброй и услужливой, захотелось вдруг быть хуже, чем она есть, вздорной, капризной, и видеть, что она и такой нравится Николаю.

Она никуда не отпускала его от себя. Он захотел курить — она пошла вместе с ним. Но там было дымно, накурено, она капризно сморщилась. Недокурив, он ушёл с ней оттуда. Ей хотелось, чтобы Николай всё время для неё что-то делал. Она сказала: «Пить хочется», но не сдвинулась с места. Он пошёл в буфет, всех растолкал и принёс ей бутылку воды и стакан. И она нарочно медленно пила: ей было приятно, что Николай стоит рядом с бутылкой в руке и смотрит на её стакан и ждёт, когда надо будет ей подлить, и загораживает её своими широченными плечами.

Потом Соня сказала, что устала стоять. Все стулья у стены были заняты, и даже когда заиграла музыка и с них поднялись танцующие, на каждом стуле остался знак того, что это место занято: носовой платок, газета, шаль. По гневному лицу Николая Соня поняла, что он сейчас просто освободит для неё место и будет скандал. Испугавшись, она сказала:

— Я не хочу здесь сидеть, все ноги отдавят... Пойдёмте в читальню.

— Да она ведь сейчас закрыта.

— Нет, нет, открыта, — настаивала Соня, чтобы только увести Николая, хотя знала, что читальня действительно уже закрыта.

— Ну вот, ведь говорил, — с досадой сказал Николай, когда они подошли к закрытым дверям читальни. — И здесь место не достали и там упустили.

«Когда мы поженимся, — подумала вдруг Соня, — я отучу его говорить: «я так и знал», «я ведь говорил». И она даже не удивилась тому, что так просто подумала о нём как о женихе.

— Пойдём тогда мороженое есть, — предложил Николай, — в буфете место есть наверняка.

— Вряд ли в буфете осталось мороженое, — возразила Соня.

— Обязательно осталось, — упрямо настаивал Николай.

Мороженого не было.

Соня, не дав ничего сказать Николаю, весело проговорила:

— Вот и хорошо. У меня от мороженого всегда горло болит, пойдемте смотреть, как танцуют.

И посмотрела на Николая.

Он тоже посмотрел на неё и покраснел. На её месте он бы обязательно сказал: «А ведь я говорил, что уже нет мороженого».

Она взяла его под руку и почувствовала, как неумело и напряжённо держит он свою согнутую в локте руку, на которую она опиралась, и как идёт грудью вперёд, прокладывая ей дорогу, и всё это с хмурым и грозным видом, который говорил, что хоть он, Николай, и исполняет неприличную и неприятную для себя обязанность, но если кто-нибудь заденет Соню, пусть даже слегка и невзначай, то он убьёт того на месте.

Женька танцевал с разными девушками, потом опять подошёл к Соне и пригласил её. Отказаться было неудобно. Соня пошла, кивнув и улыбаясь Николаю...

Они танцевали сначала молча, потом Женька сказал:

— Соня, я тебя сейчас спрошу об одной вещи. Обещай сказать правду.

У неё сжалось сердце, и она поняла, что именно сейчас, в разговоре с Женькой, всё для неё решится.

— Обещаю, — тихо ответила она, отворачивая голову как бы в танце, а в самом деле для того, чтобы не видеть взволнованного лица Женьки, его плотно сжатых губ.

— Тебе нравится Николай?

Она некоторое время молчала, боясь сказать правду и этим обидеть Женьку. Но она попрежнему чувствовала, что всё зависит сейчас от её ответа Женьке. И она неожиданно твёрдо и громко произнесла:

— Нравится.

Он ничего больше не сказал. После танца отвёл её к Николаю. И больше они его в этот вечер не видели.

Глава восьмая

Война!

Катя служила в госпитале, дежурила в палате, таскала носилки с ранеными.

Из вагонов в автобусы раненых перегружали ночью в затемнённом свете вокзальных фонарей. Раненые стонали, кричали, ругались, скрипели зубами, другие вовсе не шевелились, как мёртвые. На это страшно было смотреть, но надо было доставить раненых в госпиталь — там им будет легче. Когда больной рвался с носилок, Катя сильной рукой удерживала его на месте. Но рука была девичья, заботливая, и больной успокаивался.

Персонал госпиталя находился на казарменном положении. После изнурительного дня приходилось подыматься ночью, идти на сортировку и размещение больных, ехать на приёмку или эвакуацию, занимать свой пост при воздушной тревоге. Катя вскакивала с постели и через секунду выглядела так, точно уже выпалась. Она научилась делать своё дело быстро, ловко, без суеты и шума. Катя твёрдо знала, что самое главное сейчас — это выполнять свой долг, независимо от обстоятельств, а если надо, то и вопреки им.

В госпитале не хватало белья — она сама стирала его для своих больных, приносила, что могла, из дому, доставала книги, газеты, ничего не просила, никому не жаловалась. Но когда задержали починку кроватей в её палате, Катя, ничего не добившись у своих прямых начальников, пошла к начальнику госпиталя Болгаревскому.

Начальник госпиталя, представительный, важный, с холемым и в то же время измученным лицом, насупившись, выслушал Катю, потом обернулся к сидевшему на диване подполковнику из округа и сказал:

— Вот с каким персоналом приходится работать.

Некоторое время он критически разглядывал Катю, отыскивая в её внешности упущения против положенной формы, к чему был особенно непримирим, так как сам всю жизнь был сугубо гражданским человеком.

Но ничего не нашёл. Перед ним стояла стройная девушка в гимнастёрке, юбке и кирзовых сапогах, с короткими вьющимися каштановыми волосами, округлым, чеканным лицом и серыми пронизательными глазами.

Удовлетворённый этим осмотром, он хотя и наставительно, но довольно спокойно сказал:

— В дальнейшем по таким вопросам обращайтесь к начальнику отделения. Идите.

— Хорошо, — ответила Катя, не двигаясь с места. — Но дайте, пожалуйста, приказание, чтобы починили кровати. Больные боятся на них лежать.

Начальник госпиталя с раздражением посмотрел на Катю и снова повысил голос:

— Я вам, кажется, ясно сказал: больше не нарушайте порядка. Идите.

— Хорошо, — сказала Катя, попрежнему не двигаясь с места, — я не буду нарушать порядка. Но слесарь как раз в госпитале. Если ему сейчас прикажут, то он починит.

Когда она наконец вышла из кабинета, Болгаревский, извиняясь перед подполковником из округа за плохую воинскую выучку подчинённого ему персонала, сказал:

— Все эти девочки — со школьной скамьи. Ни опыта, ни практики, а об элементарной военной дисциплине и говорить не приходится...

Потом вздохнул и поднял трубку телефона.

— А с кроватями действительно плохо...

Начальник отделения, военврач третьего ранга Зайцева, толстенькая хлопотливая женщина в неуклюжей военной форме, с коротко подстриженными седыми прямыми волосами, обиделась на Катю.

— Я могла бы, Воронина, добиться для вас взыскания, — сказала она волнуясь, — этого я делать не буду. Но я гожусь вам в матери и скажу: нет ничего хуже, чем жаловаться на других. Это низко и недостойно, особенно вас, комсомолки и девушки интеллигентной...

— Я ни на кого не жаловалась, — вспыхнула Катя. — Я ходила насчёт кроватей. И видите: кровати починили. А к вам я обращалась десять раз и всё безрезультатно. Надо прежде всего думать о больных.

— Значит, я не думаю?

Оскорблённая упрёком Зайцевой, Катя грубо ответила:

— Может быть, и думаете, но не получается.

Зайцева с укором посмотрела на неё.

— Ваше счастье, Воронина, что мы одни. Вы забываете, что здесь военное учреждение и военная дисциплина.

— Во всяком случае, никто не дал вам права обвинять меня в наущничестве, — с обидой сказала Катя.

— Ну, хорошо, хорошо, — чувствуя себя виноватой, сказала Зайцева, — не будем обижаться друг на друга, а будем вместе работать.

В сущности, она была хорошим человеком, знающим врачом, но плохим организатором — суежилась, быстро раздражалась, хваталась за всё сама, волновалась, бегала, никогда не сидела на месте.

— Знаете, Мария Николаевна, — тоже смягчаясь, горячо сказала Катя, неожиданно называя Зайцеву по имени-отчеству, — знаете... люди умирают, страдают, при чём тут наше самолюбие? Какая разница, к кому я пошла? Важно, чтобы больным было лучше.

Мария Николаевна посмотрела на Катю и отвернулась, скрывая вдруг выступившие на глазах слёзы. Двое её сыновей, мальчики, как и эта Катя, вчерашние школьники, были на фронте. И кто знает, не лежат ли они сейчас в госпитале, где такая же вот чистая и добрая девичья душа, волнуясь, негодуя и нарушая устав, добивается, чтобы починили ножки у их кроватей, чтобы на этом страшном и, может быть, последнем одре им было легче лежать.

Катя привыкла к виду крови, к стонам раненых, почувствовала силу своего убеждения и научилась находить нужные слова. Она была строга, немногословна, умела сразу определять характер больного, обращаться с вновь прибывшим так, точно знала его давным-давно, сразу угадывать настроение всей палаты. Больные были разные: одни — спокойные, терпеливые, сочувствующие врачам и сёстрам, другие — капризные, требовательные. Здесь, на грани смерти, она видела всё, что можно увидеть в человеке: страх, жалкий в своей откровенности и беспомощности, предсмертную тоску, равнодушие, состояние полнейшей протрации или, наоборот, решимости, когда воля человека подымает его

над страхом смерти; обречённости, когда человек жаждет смерти, как избавления от страданий.

Больные рассказывали о себе, о своих семьях. Катя умела слушать, во-время вставить замечание, сдержанно выразить удивление, сочувствие. Если надо было прервать больного, чтобы выйти, делала это так, чтобы по её возвращении он снова продолжал свой рассказ. Больные верили ей и подчинялись. Эти люди, молодые, пожилые, совсем юные, самых различных профессий, национальностей, из разных городов и областей, олицетворяли для неё Россию, страдающую, борющуюся, героическую, и сердце её наполнялось той беспредельной любовью к людям, которая даётся познанием глубины и неисчерпаемости жизни.

Катя редко бывала дома и когда приходила, то ощущала его, как потерянный и вновь возникший из далёкого, туманного детства.

С улицы во двор вёл узкий проезд, углы которого были отбиты грузовыми машинами. В широком дворе с двумя флигелями внутри и многочисленными дровяными сараями попрежнему стояла — и, наверное, всегда будет стоять — странная смесь запахов: вкусный, сладковатый запах печенья из пекарни и кислый — квашеной капусты из зеленой лавки. Попрежнему двор был оживлён гомоном детворы...

Но что-то было не то, что-то было другое. Стояли ящики с песком, висели багры и лопаты. Многих жильцов дома не было — ушли на фронт, появились новые — эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Минска, Харькова... И квартира была другая, пустая, холодная, чем-то чужая и далёкая от той жизни, которой жила теперь Катя.

Мать работала на швейной фабрике, Кирилл учился в Саратове, в танковой школе, Виктор, ученик шестого класса, один хозяйничал дома.

Приходили письма от бабушки. В них обсуждалось всё, что читала она в газетах и слушала по радио.

«Ничего,— писала бабушка,— придёт солнышко и к нашему окошечку. Остёр топор, да и сук зубаст».

Бабушка умудрялась как-то помогать своим, посылала картошку, овощи, тёплые носки и варежки. Она стойко перенесла гибель старшего внука, Андрея. Только уже много позже в одном письме приписала: «Нет нашего Андрюши».

Отец служил капитаном парохода в Волжской военной флотилии, базирующейся на Горький и обслуживающей Сталинград. Осенью 1942 года его пароход несколько раз приходил в порт. Иван Васильевич звонил в госпиталь, и Катя, отпросившись у дежурного врача, приезжала к нему. Отец ещё больше похудел, осунулся, но в форменной одежде, с суровым, чеканным лицом походил на того солдата, каким смутно вставал он в катиной памяти из далёкого-далёкого детства. Она прижималась к нему, целовала в худую, морщинистую, тщательно выбритую щёку, ощущая запах мокрого шинельного сукна и махорки, так знакомые ей по госпиталю.

— Ну, ну, — говорил он, неловким движением трогая её волосы, — ладно, ладно, как живёте-то, что мать?

— Всё хорошо, живём хорошо, мама работает, Виктор здоров, — отвечала Катя. И глаза её, влажные от слёз, блестели; она не решалась вытереть их, чтобы не показать отцу, что плачет.

— Кирилл-то пишет?

— Пишет, пишет, всё хорошо, — говорила она, хотя от Кирилла уже давно не было писем.

Катя заглядывала отцу в глаза и спрашивала про Сталинград.

— Папа, ну, как там, страшно?

— Так вот ведь плаваем, живы,

— Да, да, конечно, — торопливо говорила она, — здесь такие ужасы рассказывают.

— Чего ж, война, — коротко отвечал он.

Ей хотелось быть с отцом бодрой, уверенной, как дома, на службе, в госпитале, но это не получалось — так хорошо чувствовать себя слабой, беззащитной, когда рядом есть тёплая и сильная отцовская рука.

Когда она уходила, Иван Васильевич кивал на свёрток, лежащий на столике каюты, говорил:

— Возьми вот, матери передай.

Это были продукты, скромные остатки его пайка — консервы, хлеб, сахар.

— Папа, ну, зачем? У нас всё есть.

Он равнодушно махал рукой:

— Мне это всё равно ни к чему, бери, пропадёт, засохнет.

Из своих школьных товарищей Катя встречалась только с Соней. Ещё перед войной Катя узнала от неё, что Сутырин женился на Кларе Сироткиной, и была ошеломлена этим известием. Сутырин ей нравился: хороший, добрый человек. Ей приятно было сознавать себя не только равной ему, старшему, но и в чём-то превосходящей его; давать ему советы, даже строго выговаривать и видеть, с какой улыбкой он воспринимает её советы и наставления. И то, что именно он стал теперь мужем хитрой и лицемерной Клары, казалось Кате изменой той дружбе, которая была между ними.

— Что он, слепой? Неужели не видит, что такое эта Клара? — презрительно улыбаясь, спросила Катя.

— Значит, любит, — сказала Соня.

— Тем хуже для него.

— И она его любит.

— Вот уж в это не поверю. Клара никого никогда не может любить. Разве только одну себя...

— Почему ты так говоришь? — возразила Соня. — У неё есть, конечно, недостатки, у Клары. Но Серёжа — хороший человек, и он перевоспитает её.

— Ладно, посмотрим, — сказала Катя, — но как же он попал к тебе? Ты разве давала ему адрес?

И Соне пришлось всё по порядку рассказать.

Катя сразу поняла, что Соне нравится Николай, и насмешливо спросила:

— Он что — такой же, как этот Женька? Как же они оба за тобой ухаживают? На дуэли не дерутся? — Она посмотрела на Соню. — Теперь я понимаю, почему ты пудриться начала... И все вечера у тебя с нового года заняты...

И то, что Соня так долго всё от неё скрывала, показалось тогда Кате очень обидным. Но она старалась говорить возможно равнодушнее:

— Мне всё это безразлично. Но Клару я не люблю и этого Кулагина тоже. Ты поддерживаешь с ними компанию, дело твоё. А уж меня извини...

Тогда это охладило их дружбу. Потом подошли выпускные экзамены. Катя начала готовиться к поступлению в институт, Соня каждый вечер проводила с Николаем...

Но теперь эта размолвка казалась такой глупой, такой ничтожной. Каждый винил только себя. Соня — за то, что всё скрыла от подруги; Катя — за то, что не поняла первой сониной любви, заставлявшей её тогда всё это скрывать.

Соня работала теперь в порту крановщицей.

— На Сталинград работаем, — с гордостью говорила она.

Она как-то сразу повзрослела, немного огрубела в своей телогрейке и валенках, у неё появился этакий грубоватый, лаконичный портовый говорок. Но попрежнему была приветлива и в шапке-ушанке, из-под которой падали на плечи белокурые локоны, по-особенному милостива. С присущей ей сердечностью рассказывала:

— Серёжа Сутырин в армии. Клара работает на складе по снабжению. У них ведь сыночек — Алёша, беленький, толстенький, не ущипнёшь, весь в Серёжу... От Жени Кулагина давно ничего нет, а Коля... Коля пишет...

Катя обнимала Соню за худенькие плечи.

— Ну, скажи правду, ты ведь на кран пошла из-за своего Николая, хочешь заменить.

Соня не умела врать, но и стеснялась говорить правду.

— Вот ещё, — отвечала она, улыбаясь, — надо ведь работать. Вот отец и устроил меня в порт.

— Ладно, ладно, ври больше...

И Кате это очень нравилось в Соне. Какая молодчина! Не пошла ни в канцелярию, ни в счетоводы, ни в секретари-машинистки, а прямо на кран!

— А тебе не трудно?

— Нет! Первое время немножко было боязно — всё казалось, что кого-нибудь по голове крюком задену, а теперь привыкла — и ничего... Знаешь, Катя, это так здорово! Весь город видишь, поворачиваешься вместе с башней, и весь город проплывает: дома, сады, Кремль, в общем всё, и Волга, и Ока, Сормово видно и аэродромы... И так каждую минуту, каждую минуту...

— Про кран мне не говори, — ревниво сказала Катя, — я на нём сто раз бывала. Каждую минуту башня не поворачивается. Каждые пять минут — это другое дело...

— Вот честное слово, — Соня прижимала руки к груди, — хоть не за минуту, а за две минуты делаем. А есть крановщики — и за полторы минуты. Честное слово! Ведь война! Пришло судно, его раз-раз, быстро надо нагрузить. Во-первых, груз военный, во-вторых, бомбят... Слушай, Катя! А почему ты не переведёшься в порт? Ведь тоже на оборону работаем. Теперь уже, знаешь, всех, кто раньше на речном транспорте работал, всех обратно возвращают. А ведь ты наверняка могла бы работать диспетчером, ведь ты всё знаешь...

— Нет, — вздохнула Катя, — пока не кончится война, я не уйду из госпиталя.

Она тосковала по воде, по гудкам пароходов, по скрежету кранов. Но ещё сильнее тянуло в палату, к больным, к обязанностям, которые вошли в жизнь и стали частью жизни. И, тряхнув волосами, добавляла:

— Вот только если выгонят...

Глава девятая

Проходил сорок третий год. В залах Сталинграда народ увидел грядущую победу. Наступил тот перелом в войне, который далеко отодвинул её тяжёлое начало и приблизил в сердцах людей её окончание.

Всё устремилось на запад: войска, заводы, эшелоны, эвакуированные. Опять в сводках Совинформбюро замелькали названия знакомых городов, теперь их уже не сдавали, а возвращали и освобождали. Госпитали тоже двигались на запад, но тот, в котором служила Катя, остался в Горьком. Только тяжелобольных в нём уже не было, главным

образом — выздоравливающие. Персонал с казарменного положения сняли, и свободного времени стало гораздо больше.

В ночь под первое января Катя была свободна от дежурства. Они решили с Соней встретить вместе новый, тысяча девятьсот сорок четвёртый год.

Катя раздобыла немного спирта. Мать смешала его с водой, настояла на сушёных ягодах — получилась наливка.

— Напьемся сегодня назло Гитлеру, — сказала Катя, разливая вино по рюмкам. — Ну, за победу!

Соня, Анастасия Степановна и Виктор тоже встали, и все молча и торжественно выпили...

Мать и Виктор легли спать. Катя и Соня взобрались на огромное сооружение, не то диван, не то кресло, которое в семье Ворониных называлось «гусаной», по ассоциации с большой, неуклюжей, давно вышедшей из употребления баржей для перевозки леса.

Катя лежала, перевесив ноги через ручку кресла, заложив руки за голову, её каштановые вьющиеся волосы закрывали ей лицо, голова её немножко кружилась, хотелось лежать вот так вот, о чём-то думать и слушать Соню.

— Расскажи мне про Николая, — попросила Катя.

— Ну, что я тебе расскажу?

— Ну, какой он, что он тебе пишет?

Послышался шелест бумаги. Соня откуда-то достала пачку писем.

— Вот, смотри, что он пишет... Только я тебе всё читать не дам...

— Что, боишься?

— Нет, не могу читать, — вздохнула Соня, складывая письма.

— Неужели обиделась? Я ведь в шутку, — сказала Катя, притягивая к себе Соню и целуя её. — Пошутить нельзя...

— Да нет, — сказала Соня, снова перебирая письма. — Тут нет ничего интересного... «Домой не ждите, пока не возьмём Берлина»... В общем всё про войну... Нет, я тебе не буду читать, он в письмах неинтересный...

— А в жизни интересный?

— Очень интересный!

— Чем же?

— Всем!

— Ну, чем?

— Понимаешь, он очень серьёзный человек. Сильный. Никого не боится. И справедливый. Он в пехоте служит, а Женька Кулагин, наверно, в разведке...

— Да, — согласилась Катя, — Женька, наверно, разведчик. Это по нему... Погоди, у меня спина затекла...

Катя повернулась и легла на правый бок, обняв одной рукой Соню. Прядь её волос свесилась с кресла и касалась пола.

— А ты его любишь?

— Люблю. Всё время о нём думаю. Работаю — думаю. Дома сижу — думаю. Сплю — во сне вижу. Ну, что про это рассказывать?

— Нет, нет, ты рассказывай. Мне интересно.

Но как ни хорошо говорила Соня о Ермакове, Кате он казался чем-то похожим на Женьку Кулагина, может быть, потому, что дружил с ним и она в своём воображении связывала их вместе. Но когда она думала о Женьке Кулагине и представляла его себе в военной шинели, с автоматом или гранатой, то он ей казался совсем другим, не таким, каким он был тогда на пароходе, а гораздо лучшим...

— Скажи, Катя, неужели тебе никто не нравится? — спросила Соня.

— Никто.
 — Никто-никто?
 — Никто.
 — А ты нравишься кому-нибудь?
 — Не знаю, наверно... Только, знаешь, таким, которым все нравятся...

— Но ведь столько людей ты видишь...

— Для меня больные — только больные. И больше ничего не может быть. Я их всех должна одинаково любить и относиться ко всем одинаково... Вот, знаешь, мне иногда кажется: красивый, интересный, умный... А ведь неизвестно, что из этого получится. Вдруг окажется, что любви нет, и он будет страдать, а ему и так страданий хватает... И вообще... Конечно, можно и в госпитале полюбить. Но если это позволить, то с некоторыми нашими бабами такое начнётся... Так что это правильно: на работе нельзя заводить никаких романов. Госпиталь есть госпиталь.

Тишина стояла в доме и на улице. Громко тикали часы на кухне. Слышалось равномерное дыхание Анастасии Степановны.

— И вообще, знаешь, — сказала Катя, — сейчас война. Конечно, можно и в войну полюбить. Но это должна быть такая любовь, чтобы не было ни перед кем стыдно, понимаешь?

Двадцатилетняя девушка, выполняющая неизбежную в госпитальных условиях чёрную работу, может, конечно, многое утратить в своём романтическом представлении о любви.

Но в Кате были всем видимые чистота сердца и ясность ума, которые сдерживали мужчин и препятствовали лёгкости отношения к ней. В открытом взгляде её серых глаз не было ничего, подающего надежду, поощряющего к ухаживанию.

Она, конечно, многое понимала. Но за всем тем, что она делала, Катя видела то великое и значительное, частицей чего она чувствовала себя. И к людям, к их достоинствам и недостаткам она подходила с этой же меркой.

Санитарка Лаврикова была уличена в тайном романе с одним выздоравливающим солдатом. Но, по мнению Кати, она была честной женщиной: она была одна, не имела ни мужа, ни детей и этого солдата по-настоящему любила. Врач Писарева, которая послала на фронт своему мужу развод и вышла замуж за начальника медчасти округа, хотя и сделала всё открыто и официально, была в катином представлении шлюхой: она недостойно, за глаза оскорбила мужа, воюющего на фронте, лишила своего ребёнка отца, разбила и чужую семью — и сделала всё это по голому и грубому расчёту.

Катя так и сказала на собрании персонала:

— Лаврикова нарушила правила внутреннего распорядка, и все её здесь ругают. А военврач Писарева растоптала нашу, советскую, мораль, и никто ей не сказал ни слова. И это неправильно и нечестно.

По этому поводу был потом длинный и неприятный разговор в кабинете начальника госпиталя Болгаревского.

Возле стола, с каменным выражением красивого, но, по мнению Кати, порочного лица, стояла Писарева.

— Медсестра Воронина, — сказал Болгаревский официальным голосом, — вы служите в военном госпитале и должны знать, что приказы командования не обсуждаются. Персоналу на собрании был объявлен мой приказ о санитарке Лавриковой, а вы, вместо того чтобы принять его к сведению, завели недопустимый и, кстати сказать, глупый и баб-

ский разговор. Ставлю вам это на вид, медсестра Воронина. Для первого раза.

— Слушаюсь, — ответила Катя. И тут же добавила: — Я только высказала своё мнение.

— Оно никого не интересует. Вы незаслуженно оскорбили врача Писареву и будьте любезны извиниться перед ней.

Катя подумала, потом сказала:

— Извиняться я не буду. Мне не в чем извиняться. Если я в чём-нибудь виновата, то наложите на меня взыскание, а извиняться я не буду. Болгаревский, которому, видно, самому был неприятен этот разговор, нетерпеливо спросил:

— Но вы понимаете, что поступили неправильно?

Кате вдруг стало обидно, что этот занятый и усталый человек вынужден тратить время и нервы на пустяки.

— Приказ, конечно, я не имела права обсуждать, — сказала она.

Торопясь закончить этот неприятный разговор, Болгаревский счёл такой ответ удовлетворительным и обернулся к Писаревой:

— Ну вот, видите.— Когда Писарева вышла, он после некоторого молчания сказал: — Вы замужем, Воронина?

— Нет.

— Гм... Чего же вы лезете в чужие семейные дела?

Она серьёзно спросила:

— Вы имеете в виду Лаврикову, товарищ начальник?

Он поднял на неё усталые глаза.

— Знаете, Катя, я очень хотел бы, лет так через десять, увидеть вас в роли руководителя медицинского учреждения, где девяносто процентов персонала — женщины.

— Я не собираюсь быть врачом, товарищ военврач второго ранга.

— Ваше счастье, — устало, но совсем уже миролюбиво произнёс Болгаревский.

Катя теперь чаще бывала в театрах, в кино. Иногда, в редкие свободные вечера, сотрудники госпиталя устраивали скромные вечеринки в складчину, на которые один приносил четвертинку спирта, другой — полбуханки хлеба, третий — несколько картошек, четвёртый — сто граммов топлёного масла. Собирались обычно у врача-хирурга Евгения Самойловича.

Этот небольшой рыжеватый человек в очках, лет сорока, ленинградец, был придиричив и ворчлив в операционной, но добр и покладист в быту, очень участлив к людям, немного чудаковат и не столько остроумен, сколько смешон: не успевал открыть рот, а уж все смеялись. Он жил возле госпиталя. В его большой и пустой комнате царил подкупающая неустроенность одинокого мужчины, непрактичного, беззаботного, любящего общество, особенно женское, но ко всем одинаково внимательного и, может быть, одинаково равнодушного. У него всегда находилось вино, хотя сам он не пил, был патефон и пластинки, хотя сам он не танцевал.

Однажды — это было в феврале 1944 года — он пригласил Катю прийти к нему вечером.

— Приходите, — сказал он, обнимая её за плечи, как всегда обнимал всех, с кем ни разговаривал, независимо от пола и возраста, — посидим, поговорим... — И с бравым видом непьющего человека добавил: — Выпьем!

Вся компания состояла из четырёх человек: Евгений Самойлович, Катя, врач Зоя Васильевна, заведующая хирургическим отделением, и майор-танкист Юрий Александрович Мостовой, ленинградский знакомый

Евгения Самойловича, только сегодня прибывший в город с фронта в командировку. Его приезд и явился поводом для вечеринки.

Мостовому было на вид лет двадцать пять, двадцать шесть, не больше: среднего роста, широкий в плечах, с тонкой талией, перехваченной командирским ремнём, со многими орденами и медалями на груди. Косая прядь чёрных, как у цыгана, волос падала ему на лоб, придавая несколько ухарский вид его красивому и умному лицу, на котором Катю сразу поразили глаза: карие, нагловатые, насмешливые. Он много и шумно пил, подтрунивал над доктором, принимавшим его насмешки с кроткой и доброй улыбкой человека, готового всё простить этой сильной, цветущей и разгульной юности. Он сразу начал ухаживать за Катей. Она любила умных людей, и этот человек ей сразу понравился. Он излучал, казалось, аромат войны. Не той войны, которая была перед глазами Кати в образе раненых, увечных людей, лишений и невзгод тыла, а войны наступления и победы, вера в которую жила в сердце Кати, как и в сердце каждого советского человека. Он приехал сюда за «материальной частью», как он выражался. Катя часто видела, как танки пригоняли на станцию и грузили на платформы. В открытых люках сидели танкисты в кожаных шлемах. И она смотрела на Мостового, как на одного из этих мужественных людей. И в то же время в его бесшабашности, в блеске его глаз она чувствовала нервную приподнятость и устремлённость мужчины и понимала, что, будь на её месте здесь другая, он так же ухаживал бы и за ней, потому что он вырвался всего на несколько дней оттуда, где нет женщин, или их мало, или нет возможности с ними встречаться. И она прощала это ему, оправдывала его перед лицом смерти, которая ежечасно стоит там перед его глазами.

Он настаивал, чтобы Катя выпила, но она не любила вина.

— Вы выпьете! — повторил он, наклоняясь и заглядывая ей в глаза.

— Я не буду пить, — ответила Катя и отвернулась.

Он взял её за руку и повернул к себе.

— Пустите, вы мне делаете больно, — сказала Катя, пытаясь освободить руку.

— Выпьете, тогда отпущу, — сказал он смеясь.

— Отпустите, тогда я выпью, — сказала Катя.

— Запила наша Катюша, — сказал Евгений Самойлович после того, как Катя выпила свою рюмку, и строго добавил: — Ты особенно не расходишься.

Танцуя, Мостовой, не отрываясь, смотрел ей в глаза. Ей было душно в его объятиях. Он пытался незаметно поцеловать её. Она отворачивалась, ощущая волнение этой тайной борьбы. И то, что эта борьба была тайной, то, что она с тревогой поглядывала на сидящих за столом, опасаясь, не заметили ли они чего-нибудь, уже как-то сближало их.

— Я не буду больше с вами танцевать, вы не умеете вести себя, — сказала Катя Мостовому, когда они сели в углу, возле патефона.

Мостовой ничего не отвечал, только улыбался и, не отрываясь, смотрел на Катю. Коротко подстриженные тёмнокаштановые волосы беспорядочными завитками обрамляли её лицо, слегка округлое, но с тонкими и правильными чертами: небольшой точёный нос, твёрдый рот с сухими потрескавшимися губами, узковатые глаза, серые и блестящие. Всё это было чётко, привлекательно и в сочетании с неправильным овалом и грубоватым загаром придавало лицу то своеобразие и выразительность, которых не бывает на идеально правильных лицах, где есть чем полюбоваться, но ничто не запоминается.

Взволнованный близостью этой прелестной девушки, он вдруг наклонился и, взяв её маленькую крепкую руку, сказал:

— Я больше не буду этого делать, ладно?

Катю тронул этот жест, и она улыбнулась Мостовому.

На столе, рядом с патефоном, лежал томик Куприна. Перелистывая его, Мостовой оживился. Ему очень нравился «Гамбринус», но его в сборнике не было.

— Прекрасный рассказ, — говорил он, — вы помните? «Человека можно искалечить, но искусство всё перетерпит и всё победит». Правда, здорово?

Кате тоже очень нравился «Гамбринус». Совпадение их вкусов обрадовало её. Этот рассказ может любить только по-настоящему добрый и хороший человек.

Они заговорили о других книгах. Им казалось, что они читали их давным-давно и всё это пришло из далёкого мирного детства, и они ощутили то вечное и нетленное, что жило в сердце каждого из них и за что они боролись. И когда Мостовой говорил, с него соскакивал налёт ухарства. Он много знал, гораздо больше Кати, и этим покорял её. Катя была в том возрасте, когда больше всего привлекает превосходство ума и знаний. Книги, о которых они говорили, сближали их, как будто они вместе когда-то их читали.

Он проводил её до дома. Они шли по тихому, затемнённому городу. Редкие патрули останавливали их, проверяли документы. Кате была приятна почтительность, с которой патрульные обращались к Мостовому, и его сдержанное достоинство военного человека, понимающего порядок и уважающего обязанности этих людей.

Они долго сидели на скамейке за вторым флигелем. Лучи прожекторов бродили по небу. Мостовой вспоминал родных, оставшихся в Ленинграде, в блокаде, и рассказывал о боях, в которых участвовал, о происшествиях фронтовой жизни. Здесь, наедине с Катей, он держался почтительно, даже робко.

Он взял её руку в свои.

— Через неделю я уеду, и мы с вами, наверное, больше никогда не встретимся.

Она не отняла своей руки. Этот чужой человек вдруг стал ей близок и дорог, как будто она знала его давным-давно. Прощаясь, он поцеловал её. Это был первый в её жизни поцелуй любви, и в эту ночь она долго не могла уснуть.

Глава десятая

Утром Катя встала с мыслью о Мостовом. Ещё в потёмках она быстро поела на краю стола, освещённого коптилкой, и убежала в госпиталь. Она знала, что Мостовой придёт туда.

Вечером они были в театре. Давали «Фронт» Корнейчука. Кате льстило обращённое на неё и на Мостового внимание. В том, что происходило на сцене, ей чудился кусок жизни человека, который сидел рядом с ней, она чувствовала его напряжённое внимание и понимала его. И равнодушие Мостового к взглядам, которые бросали на него женщины, подкупало и трогало её, она хотела быть для него той единственной, которую он ищет и ждёт. И она, представляя себе, как он проводит её, с волнением ожидала конца спектакля. Они снова будут сидеть в саду на скамейке, и лучи прожекторов будут бродить по небу...

На другой день в госпиталь неожиданно позвонила Соня. Катя услышала в трубке её дрожащий, взволнованный голос, и у неё упало сердце... Несчастье...

— Коля... Коля ранен... Ранен... Он в госпитале...

— Где, в каком госпитале?

В трубке послышалось всхлипывание.

— Не знаю... Пишет: «Скоро выпишусь, приеду, пустяки». Но, понимаешь, если его демобилизовывают, значит, это что-то очень серьёзное... Я должна немедленно ехать к нему.

— Куда же ты поедешь? Где этот госпиталь?

— Не знаю. Вот только есть полевая почта... Катенька, может быть, ты узнаешь, где это...

— Хорошо, дай мне номер, я постараюсь узнать. И, пожалуйста, не волнуйся и не паникуй. Раз он пишет, что приедет, значит жив. Понятно?

— Да, это так, — грустно сказала Соня. — Но что с ним? Может быть, он тяжело ранен...

— И вовсе не тяжело. Если бы он был тяжело ранен, то не писал бы тебе, а сразу бы приехал... Или, наоборот: сразу написал бы тебе всю правду... Уж я эти дела хорошо знаю.

— Так ты думаешь — ничего страшного?

— Абсолютно ничего. Ведь он не пишет, насовсем он приезжает или не насовсем?

— Нет, пишет: скоро приеду, и всё.

— Вот видишь... После госпиталя часто дают временный отпуск, особенно сейчас...

Соня опять заплакала.

— Мне всё равно, какой он вернётся. Но мне его жалко, ведь он будет мучиться.

— Случись что-нибудь серьёзное, всё это было бы по-другому. И никогда бы он не написал тебе: пустяки... А вообще, я постараюсь узнать. Ну, Сонечка, дорогая, поверь мне, всё будет хорошо, вот, честное слово...

Она положила трубку...

Бедная Соня!.. Сколько ей теперь ночей не спать, пока не вернётся её Николай... И как ни успокаивала она Соню, сама-то Катя знает, что такое — пехотинец попал в госпиталь и его выписывают домой...

И вдруг она со страхом подумала, что и Мостовой через несколько дней вернётся на фронт.

Они виделись каждый день, ходили в кино, просто бродили по улицам, освещённым солнцем. Говорил больше Мостовой, а Катя слушала. Да и что она могла рассказать о себе? В её жизни не было ничего выдающегося: Кадницы, школа, плавание на судах с отцом... Да она и не умела рассказывать... А Мостовой умел. Всё, что он говорил, было интересно Кате, даже тогда, когда он говорил о вещах, которые она знала. Он родился и вырос в Ленинграде, кончил там Политехнический институт, потом специальные танковые курсы комсостава. Он рассказывал ей о Ленинграде, обо всех городах России, где бывал во время войны, а их было много, этих городов, от Ленинграда до Сталинграда и от Сталинграда до Бреста. И во всех этих рассказах, во всём, что рассказывал Мостовой, она видела прежде всего его самого. Он рассказывал об институте, она представляла его себе студентом, в штатской одежде, и ей казалось, что штатская одежда к нему не пойдёт. Она представляла его себе в танке, под огнём, в столкновении с теми людьми, о которых он так смешно рассказывал. Иногда она представляла его себе с женщинами, это было непереносимо, она старалась не думать об этом. Она любит Мостового, он любит её, смотрит ей в глаза, пожирает её руку, и она ни о чём больше не хочет думать...

Так прошла неделя их знакомства. Катя перешла на ночное дежурство. В первый же свободный день Мостовой попросил её прийти к нему, он жил на квартире Евгения Самойловича. Катя знала: в этот день Евгений Самойлович в госпитале и они будут одни.

— Может быть, мы в городе встретимся и пойдём куда-нибудь, — сказала она, отводя глаза и зная, что он будет настаивать на её приходе и она придёт.

— Какая разница, — сказал Мостовой, — зайди после дежурства, ведь это близко, а там мы решим, куда идти...

Она пришла к Мостовому. Не хотела его обидеть, боялась потерять его. Она остановилась в дверях. Он ждал её. Были слова, которых она не запомнила, поцелуи, на которые она не отвечала. Был день, и яркое февральское солнце заливало своим светом эту пустую и неуютную комнату...

Мостовой пробыл в Горьком ещё два дня. Эти два дня всё свободное от дежурства время Катя провела с ним.

— Дорогая моя, — говорил ей Евгений Самойлович, — на вас невозможно смотреть. Вы излучаете счастье.

Потом был вокзал, ночной вокзал военного времени, с его суетой, затемнением, солдатами, офицерами, теплушками, эвакуированными, сверканием рельсов в темноте, тоскливыми гудками паровозов.

Катя шла по перрону рядом с вагоном. Поезд набирал скорость. Она побежала, хотя уже не видела Мостового... Красный огонёк пропал, снова мелькнул и наконец исчез совсем...

И только когда Катя вышла на привокзальную площадь, неожиданно тихую, тёмную, пустынную, она поняла, что его уже нет и, может быть, он никогда не вернётся... Никогда! И с тех пор, как Катя помнила себя, она первый раз заплакала, прислонясь к острой ограде пустынного сквера...

Через три недели после отъезда Мостового Катя получила от него письмо. Бесчисленное количество раз перечитывала она этот вырванный из ученической тетради листок бумаги. Его косые линейки были наивны и напоминали о первом дне в школе, сгибы треугольника делали похожим на развёрнутый бумажный кораблик. Этот трогательный листок, это первое в её жизни письмо любви Катя носила на груди, при каждом движении ощущая шелест бумаги, поминутно вынимая и перечитывая. Она знала его наизусть, но ей казалось, что она что-то в нём не дочитала, что-то не запомнила, в чём-то не разобралась. Она не понимала, что новым каждый раз было только то волнение, которое она испытывала, перечитывая его. Даже во время обхода врача Катя не могла удержаться, вынимала письмо, трогала, хотела убедиться, что оно есть. Иногда, наказывая себя, она оставляла письмо дома и потом весь день или ночь в госпитале жила мыслью о том, что придёт домой и перечитает его...

Мостовой писал, что добрался благополучно, что он думает о ней ежечасно, он полон всем, что было, его единственное желание — снова увидеть её. Он целует её в губы...

Она дрожала, перечитывая эти строки, они освятили всё, что произошло между ней и Мостовым. Она была полна им одним. Мостовой был с нею повсюду, всё напоминало ей о нём. Что бы она ни делала, с кем бы ни говорила, что бы ни читала, он неотступно стоял в её мыслях. Идя на работу или с работы мимо дома Евгения Самойловича, она с трепетом смотрела на знакомые окна. Мостовой жил в её сердце таким, каким был в первый день их знакомства, в театре, в Доме Красной Армии, на вокзале, в саду на скамейке, — нагловатый и внимательный, насмешливый и серьёзный. Она слышала звуки его голоса и ощущала его прикосновение. Ей так хотелось быть рядом с ним, заботиться о нём, быть ему нужной...

Она часто заходила теперь к Евгению Самойловичу и подолгу сидела у него. Всё здесь напоминало ей Мостового — комната, вещи, сам Евгений Самойлович. Этот маленький рыжеватый человек был любопытен, как женщина, и, как женщина, не приспособлен к ношению военной формы. Дома он обычно ходил в стареньком джемпере, в галифе и стоптанных туфлях. Всё здесь нравилось Кате: маленький закопчённый чайник, ручка которого была с одной стороны оторвана и потому наливать из него кипяток мог только один Евгений Самойлович, специальная закрывающаяся ложка для заварки чая — её запор тоже был не в порядке. Каждый раз Евгений Самойлович предупреждал, что с ложечкой надо обращаться осторожно, и ревнивым взглядом следил за ней. И печенье, которое Евгений Самойлович сам изготавливал из хлеба по какому-то своему рецепту, и дешёвые конфеты, которые он получал в пайке вместо сахара. Все эти привычки старого доброго холостяка забавляли Катю, она не представляла себе Евгения Самойловича без них. Когда она сидела здесь, у неё было такое ощущение, что вот сейчас неожиданно откроется дверь и войдёт Мостовая. Это ей иногда казалось таким вероятным, что она прислушивалась к шагам на лестнице и в коридоре...

— Ну, что наш майор, — спрашивал Евгений Самойлович, — всё всюет?

— Он просил передать вам привет.

— Вот и неправда. Ничего он не просил передавать.

Мостовой действительно почему-то ни в одном из своих писем не упоминал о Евгении Самойловиче. Катя сама выдумывала эти приветствия: ей хотелось сделать приятное Евгению Самойловичу и было неудобно за Мостового — ведь Евгений Самойлович так хорошо к нему относился.

И оттого, что ей приходилось говорить неправду, она сердилась.

— Почему вы не верите? Я вам говорю, что передавал.

— А я вам говорю, что не передавал. И вообще: зачем эти приветствия, кому они нужны?

— Он помнит о вас, не забывает.

Наклонив голову, Евгений Самойлович смотрел на неё поверх очков.

— Дорогая моя, там — война. И не к чему ему помнить меня. Скажите спасибо, что он вас ещё помнит.

Она снисходительно улыбалась: разве может Мостовая забыть её? Она даже никогда не думала о том, что его могут убить. Их любовь казалась ей такой могучей и нескончаемой, ничто не могло разрушить её — ни смерть, ни разлука.

Мостовой оставил ей свою фотокарточку, маленькую фотокарточку для документов с чистым косым углом для печати. Она хотела её увеличить, но побоялась оставить в фотографии: вдруг потеряют или испортят. Она вставила её в угол рамки, где были сняты её отец и мать после свадьбы. Отец в форменной тужурке речника сидел на плетёном стуле, мать в белом платье и косынке стояла рядом, положив руку на его плечо. Это была старинная фотография на толстом картоне с золотыми знаками внизу, едва видными за толстым стеклом с гранёными краями. Рядом с ней по-особенному молодо глядел с маленькой карточки Мостовой в своей перехваченной ремнями гимнастёрке с погонями.

Тринадцатилетний Виктор с уважением посмотрел на ордена Мостового и спросил:

— Он лежал в нашем госпитале?

— Нет.

— Откуда ты его знаешь?

— Он мой знакомый.

— А где ты с ним познакомилась?

— Познакомилась. А тебе он нравится?

— А он танкист?

— Да.

— Нравится.

Всё, что расцветало в Кате, изливалось на окружающих её людей. В её поведении, манере двигаться, разговаривать появилась уверенность человека, всё знающего, всем обладающего. Обаяние девушки сменилось обаянием молодой женщины, может быть, ещё в большей степени покоряющим людей. Она стала общительнее, часто присаживалась на кровати к больным. Катю уже не смущали внимательные взгляды, которые бросали на неё мужчины, она была защищена от них своей любовью к Мостовому и бесстрашно встречала эти взгляды, про себя посмеиваясь над ними: эти люди не знали, что у неё есть Мостовой...

Глава одиннадцатая

Николай Ермаков приехал в Горький в июне. Он был контужен в голову и демобилизован. В тот же день они с Соней пошли в загс. Вечером Соня переехала к нему.

Через несколько дней Катя пришла к Ермаковым.

Они жили в больших корпусах нового, только перед войной построенного портового посёлка, в большой трёхкомнатной квартире.

Николая и Соню Катя застала сидящими вдвоём за большим столом в пустой и как-то странно малообжитой комнате. Уже вечерело, но они не зажигали света, и в комнате стоял тот вечерний полумрак, когда за окном ещё чувствуются последние отблески солнца, улица ещё шумит своим дневным шумом, а в комнате уже темно.

— Мать наша на работе, вот и сидим одни, — сказала Соня, улыбаясь и поднимаясь навстречу Кате. — А вот и мой Николай!

Николай в своей пропотевшей гимнастёрке и грубых сапогах, по-солдатски стриженный и обветренный, выглядел одним из тех рядовых пехоты, великих труженников войны, которых Катя так хорошо знала по госпиталю. Но ей было известно, что такое контузия головы, и когда Николай нервно подёргивал своей большой стриженной головой и проводил по ней обеими руками от лба к затылку, точно приглаживая отсутствующие волосы, она думала о том, что он действительно тяжело болен и Соне нелегко придётся... Его немногословие, молчаливость, угрюмость казались ей тоже последствиями контузии, ведь она не знала его раньше. Даже его взгляд показался Кате взглядом больного: то сонным, то лихорадочно блестящим...

И во всей квартире, в обстановке её Катя не почувствовала того праздничного, чего ожидала, той милой и смешной неустроенности, которая должна быть у молодожёнов в первые дни их совместной жизни. Всё было обыкновенно. Соня — в своём рабочем костюме, Николай — в гимнастёрке и галифе.

Но Соня была, как всегда, беленькая, хорошенькая, добрая и оживлённая.

— Сейчас мы тебя угостим, — сказала она, заставляя стол скатертью, — сейчас угостим и поговорим...

— Не надо, — отказалась Катя. — Я только что пообедала.

— Порядок такой, — сказал Николай глуховатым голосом, — надо подчиняться.

Пили чай.

— Ты уж извини, что без вина, — сказала Соня. — Николаю нельзя — так я уж так решила: никакого дома не держать.

— Для гостей можно бы, — заметил Николай.

— Никакого! — решительно сказала Соня. — Вот пусть она скажет. Правда, Катя? Ведь ты теперь медицинский работник.

— Правильно, — подтвердила Катя. — Если уж не пить, то ни одной капли, а иначе и не стоит воздерживаться.

— Вот видишь, Коля, — сказала Соня, — значит, так и решили: шесть месяцев продержаться, как врач сказал, а потом сколько хочешь!

— Ладно, тогда наверстаю, — усмехнулся Николай.

— Я так давно не была в этом районе, — сказала Катя, — даже удивительно стало, когда проходила: порт, причалы, краны.

Николай оживился. Припадая грудью к столу и проводя ладонью по голове, он сказал:

— Вот и я тоже. Как вышел с вокзала, сел в трамвай, смотрю, ну, точно не было этих трёх лет. И порт, и краны, и землечерпалки... И милиционер на том же месте стоит... И народу на пляже... И мостик к пляжу через воложку всё такой же, качается, того и гляди, все в воду попадают...

— Ты расскажи, как ты с соседкой опростоволосился, — сказала Соня.

Николай раздражённо махнул рукой, показывая, что про это неинтересно рассказывать.

— Так уж опростоволосился, — сказала Соня, делая вид, что не замечает ни этого жеста Николая, ни его раздражения, — соседскую девчонку не узнал. Оставил девчонкой, а застал барышней.

— Люди, конечно, изменились, а город всё тот же, — сказала Катя. — Вы из каких мест приехали, Николай?

— Всюду побывал. Сейчас из Польши. Совсем немного до Берлина не дошёл.

— Ну, как там, интересно?

— Чего ж, люди как люди. Рабочий человек — он всюду рабочий человек, его от нашего только что по фуражке отличишь, честное слово. Да и крестьянина от нашего колхозника только что по одежде. А то прямо и лица такие же... Конечно, другое дело — буржуазия. Вот видел я там одного пана. Худой, в шляпе, в очках. Ну, думаю, профессор. А он, оказывается, на лотке торгует. Может, думаю, это по случаю войны. Узнал. Сказывается — нет. Раньше имел маленькую лавочку, теперь лоток, собирается опять лавочку открыть. Мы у них на квартире стояли. И образование имеет, а торговать выгоднее. Вот тебе, думаю, профессор — медяки за прилавком считает. И на это жизнь уходит, вот что обидно...

Почему-то вдруг Катя мысленно сравнила Николая с Мостовым. Конечно, он не такой красивый, не такой образованный и блестящий, как Мостовой... Но что-то есть в нём крепкое, надёжное, основательное, чем-то он больше похож на тех людей, которых она знала, — настоящий волжский грузчик, портовик... Она впервые сравнивала Мостового с кем-то, и ей сделалось стыдно. Она спросила:

— Теперь обратно на кран?

— Вот положенный месяц отгуляю и — на работу.

— Будем на одном кране работать, — блестя глазами, сказала Соня.

— Поступлю под начальство жены, — впервые улыбнулся Николай, — они-то теперь вперёд ушли... Вот хвастается, что за сутки теплоход разгружают.

— За сутки не за сутки, а за трое суток разгружаем, а раньше неделями стояли.

— Да, уж война заставила подтянуться, — сказал Николай. — Только вот смотрю я, попрежнему на рейде суда стоят, ждут причала...

— Всё это выправится, Коля, — сказала Соня, — будет у нас скоростная погрузка — и ты опять первый человек.

— Ладно уж, — нахмурился Николай, — ты не предсказывай.

Соня пошла проводить Катю к трамваю.

— Знаешь, Катя, я такая счастливая, такая счастливая, — сказала она, беря подругу под руку, — ведь он очень хороший, Николай, но больной. Он и раньше был раздражительный, и такая у него была привычка: «я ведь говорил», «я так и знал», а теперь контузия. У него, бывает, так голова болит, так болит! Ну, лучше бы у меня так болела...

— А что врач говорит?

— Говорит: год — только один год! — прожить спокойно, нормально, ну, и питание, конечно, потом не пить, не курить. И будет совсем здоров. И вот, знаешь, Катя, — Соня остановилась и прижала руки к груди, голос её задрожал, — я обязательно его вылечу. Всё буду делать. Вот пусть он меня возненавидит за это, а всё равно я его вылечу...

— Конечно, вылечишь, — сказала Катя. — И не беспокойся — он тебя никогда не возненавидит. Он тебя любит.

— Конечно, любит, — сразу меняясь в лице, засмеялась Соня. — И, знаешь, он делает вид, что ворчит, а на самом деле боится меня, честное слово. Вот сегодня ты заметила про соседскую девочку? Махнул рукой! Я ему уж сколько раз говорила: зачем раздражаешься по пустякам, ведь ерунда всё это. Ну, сказала про соседку, ну, не сказала, разве стоит из-за этого здоровье терять? Вот он махнул рукой, а приду, он скажет: «Я, мол, про девочку эту просто так рукой махнул, ты не обижайся». А я ему скажу: «Когда это ты рукой махнул? Я и не заметила даже».

Они подошли к остановке.

— Знаешь, Катя, — сказала вдруг Соня, — я всё хотела тебе сказать. Только при Николае боялась, расстроится он.

— Что такое? — с тревогой спросила Катя.

— Женя Кулагин убит, — тихо проговорила Соня.

Катя остановилась.

— Откуда ты знаешь?!

— Мне из части товарищи его написали, — с дрожью в голосе ответила Соня.

Катя молчала. Весь Женька в одно мгновение промелькнул перед ней такой, каким был он на пароходе и каким она запомнила его.

— Совсем недавно получила от него последнее письмо, — сказала Соня, — такое хорошее... Вот посмотри.

Она вынула из кармана листок и протянула его Кате.

Катя пробежала глазами по неровным строчкам письма и, возвращая его Соне, задумчиво проговорила:

— Да, хорошее письмо...

— Такой заботливый, такой заботливый... — со слезами в голосе проговорила Соня, бережно складывая письмо в четырёхугольник. — Всё о Николае спрашивал, беспокоился... Он ведь, знаешь, уже лейтенант, орденов полно, вся жизнь у него перевернулась. Как-то писал мне, что самому ему стыдно за себя, какой он был... Видишь, всё понял...

Всё так же задумчиво, не поднимая головы, Катя сказала:

— Да, настоящий человек... Мне сейчас стыдно за то, что я была несправедлива к нему...

— Ну, что ты, — запротестовала Соня, — тогда Женя был неправ...

— Да нет, я вообще, — грустно сказала Катя.

Соня заглянула ей в глаза.

— Ты что, Катя, что с тобой? У тебя что-нибудь случилось?

— Нет, ничего не случилось.

— Твой-то пишет?

Катя отвернулась.

— Пишет...

— Ты, Катюша, об этом не беспокойся, — сочувственно сказала Соня, — я от Николая иногда месяцами писем не получала. Ведь армия...

— Да я и не беспокоюсь, что ты, — поворачиваясь к Соне, засмеялась Катя, — неужели я не понимаю... Ну, пока, — они поцеловались, — он у тебя хороший, Николай, а ты ещё лучше... Ты звони, не забывай...

Катя писала Мостовому почти каждый день, не дожидаясь ответа. Но его письма приходили теперь очень редко. Катя понимала — армия движется вперёд, у Мостового нет времени отвечать, да и её письма подолгу разыскивают его.

Но летом его письма стали совсем редкими, короткими, торопливыми. И письма стали другими. Слова были те же, но что-то изменилось, а что — она и сама не могла понять. А в июне и июле не пришло ни одного письма...

— С ним что-нибудь случилось, — с тревогой и жадной успокоительного слова сказала Катя Евгению Самойловичу.

— Ничего с ним не случилось, — нахмурился он. — Не пишет, и всё. Занят.

И отошёл, сердито бормоча и размахивая руками.

Но однажды Катя поймала на себе его мрачный, испытующий взгляд. И хотя, увидев, что она смотрит на него, Евгений Самойлович отвернулся, Катя успела прочитать в его взгляде нечто страшное и неотвратимое для себя... Неужели с Мостовым действительно что-то случилось и Евгений Самойлович скрывает это от неё?

Вечером она пришла к нему домой и, умоляюще сложив руки на груди, сказала:

— Евгений Самойлович, дорогой, ну, скажите, что с ним, я умоляю вас...

Он вдруг закричал тонким визгливым голосом:

— И ничего не знаю, понимаете? Ничего не знаю! Вот и всё!

И неожиданно, с какой-то странной злобой, добавил:

— Ещё напишет, не беспокойтесь.

Евгений Самойлович оказался прав. От Мостового пришло письмо.

«Может быть, я поступаю, как подлец, — писал Мостовой, — но я не могу связывать тебя. Идёт ещё война, и кто знает, что будет с каждым из нас. Разве ты должна ждать меня? Я никогда ничего не забуду, но жизнь есть жизнь. Прости меня, Катюша...»

Она стояла с этим письмом в руках. Обычный листок бумаги, знакомый почерк и, что бы они ни обозначали, знакомые и близкие слова, потому что в них вставал он, один-единственный...

Боже мой, какая глупость, какая ерунда всё это! Он ранен, обожжён, что же из этого? Ах, какая ерунда! Он ей нужен, какой бы он ни был...

Что же ей делать?! Какое огромное, страшно огромное расстояние разделяет их... Если бы она могла сейчас увидеть его, обнять, прижаться к нему... Вот и пришло это испытание в их жизни... Разве оно сломит их? Надо только что-то предпринять, что-то сделать, и ничего этого не будет, ни письма, ни ужасных слов, ни страшного отчаяния...

Евгений Самойлович шёл из операционной и, увидев Катю с письмом в руках, остановился. Он смотрел на неё, она не опускала глаз. Тронув её за рукав и кивнув на письмо, он сказал:

— Плохо, Катюша?

Она молчала.

— Ничего, ничего, Катюша. Жизнь ещё впереди и... всё ещё будет, всё ещё придёт...

Осенняя внезапной догадкой, она вдруг спросила:

— Давно он с ней?

Он отвёл глаза.

— Когда он мне писал?.. В декабре...

— Кто она?

— Врач... Знаешь, фронт... Увлёкся...

Она медленным движением свернула письмо и положила его в нагрудный карман гимнастёрки. Вскинув брови, как всегда, когда она хотела сказать что-нибудь очень презрительное, Катя медленно проговорила:

— В сущности, этого следовало ожидать.

— Видишь ли...— начал Евгений Самойлович.

Но она перебила его:

— Этого следовало ожидать...— И медленно, с трудом подбирая слова, добавила:— И напрасно вы боялись мне сказать об этом...

Были дни безысходной тоски, отчаяния, обиды. Дни такой безнадёжности, что не хотелось жить. Были длинные ночи без сна, когда нет ни конца, ни краю, когда знаешь, что ничего уже возратить нельзя не потому, что Мостовой не вернётся, а потому, что если бы даже он вернулся, то любовь уже не вернёшь. Страшно было не то, что ушёл Мостовой, и не то, что она отдала ему себя, страшно было, что, несмотря ни на что, он продолжал жить в её сердце.

В напряжённой работе госпиталя никто не замечал её состояния. Каждый был занят своим делом, своим горем. Да и Катя всегда была сдержанна. Стройная и лёгкая, в белом халате, она бесшумно двигалась по палате, попрежнему дежурила, выполняла назначения врачей, возила больных в операционную. Эта привычная жизнь шла и существовала независимо от её состояния. Только иногда Катя ловила на себе взгляд Евгения Самойловича. Но она избегала встреч с ним. Однажды он подошёл к ней. Катя почувствовала, что он сейчас заговорит о Мостовом. Она задрожала, на её лице отразилась такая боль и страдание, что Евгений Самойлович, ничего не сказав, тут же отошёл прочь...

Дежурная комната помещалась на третьем этаже. Иногда, в свободные минуты, Катя смотрела на широкий госпитальный двор. Сверху его деревья казались маленькими и приземистыми, точно прижатými книзу своими купами, окрашенными в бронзовые краски осени. Поблёкшие листья лежали на дорожках и в кюветах.

Больные ворочались на койках, стонали, разговаривали во сне. Катя чуть отодвигала край синей бумажной шторы и смотрела на тёмную ленту реки. Синие огоньки затемнения двигались по ней, уходили в затоны последние пароходы. Их гудки разрезали мрак ночи и пропадали вдалеке. Река жила ночной, осенней, потаённой жизнью...

Кате казалось, что какой-то кусок вырван из её жизни, и она не могла поверить в то, что произошло... До мельчайших подробностей помнила она вокзал, платформу, поезд, но ехала ли она обратно трамваем или шла пешком, вспомнить не могла. Этот провал памяти причинял ей боль в висках. Но ей обязательно надо было это вспомнить, это казалось ей чрезвычайно важным, очень нужным, необходимым. В глубине её сознания мелькали картины её встреч с Мостовым, но всё это подавлялось мучительным желанием вспомнить, как она добиралась домой. Иногда ей казалось, что она ехала на трамвае, но потом она вспоминала, что это относилось к другим случаям, просто она хорошо знала эту дорогу. Но того, как она шла пешком, тоже вспомнить не могла...

Потом она вдруг забыла лицо Мостового. Она помнила его фигуру, одежду, даже взгляд, но черты лица вспомнить не могла. Если бы ей пришлось описать наружность Мостового, она не могла бы этого сделать. Иногда его лицо вдруг отчётливо возникало перед ней. Но это приходило

только на одно короткое мгновение, затем этот образ снова пропал, она никак не могла удержать его в своей памяти. И это тоже причиняло ей мучительную головную боль...

Ей казалось, что она не думает ни о Мостовом, ни о том, что произошло, и её мысли заняты только одним желанием: восстановить то, что выпадало из её памяти...

Однажды, это было в декабре 1944 года, она шла по улице и вдруг увидела впереди себя знакомую фигуру военного... Мостовой! Она остановилась на секунду, потом пошла за ним. У неё колотилось сердце, — эта шинель, чёрные волосы, выбивающиеся из-под шапки, походка, сапоги — всё было точно как у Мостового. Она шла за ним и дрожала при мысли, что он вдруг оглянется и взгляды их встретятся. Что же они скажут друг другу? Она шла за ним, то останавливаясь, то убыстряя шаг, боясь и встретиться и потерять его из виду. Он завернул за угол, она побежала и почти столкнулась с ним, читающим на углу какую-то афишу... Это был не Мостовой...

Такие ошибки повторялись ещё не раз, и всё же она была убеждена, что встретит Мостового. Она не знала, для чего нужна ей эта встреча. Для того, чтобы вернуть его? Или просто увидеть, узнать, жив ли он? Или напомнить ему о себе и напомнить так, чтобы он пожалел о том, что сделал, причинить ему ту же боль, которую он причинил ей?..

Катя пережила всё это.

Кругом были люди, и надо было жить. Мать и Виктор, о которых надо заботиться; отец, для которого она — самый родной и близкий человек; раненые в госпитале, которые нуждались в том, чтобы она, как и прежде, исполняла свои обязанности; товарищи и сослуживцы, перед которыми нельзя было предстать сломленной первой же жизненной неудачей.

Письма Мостового лежали в письменном столе маленькой, перевязанной шпагатом пачкой. Катя больше ни разу не развязывала её. К чему? Всё, что было связано с Мостовым, переболело и кончилось... Остались те воспоминания, которые никогда не проходят, но чем больше согревают они душу, тем больше подтверждают, что любовь ушла. Катя поняла, что не люди существуют для любви, а любовь — для людей: она может принести им счастье, не надо только слепо подчиняться ей...

Один молоденький выздоравливающий лейтенант молча смотрел на неё влюблёнными глазами. Затем прислал ей робкое письмо. Она вернула ему это письмо и мягко сказала: «Не пишите мне больше. Очень прошу вас». Потом в неё влюбился врач-майор, работавший в округе. Он несколько раз провожал её, но был достаточно умён, чтобы увидеть её равнодушие, и перестал за ней ухаживать.

В это время Катя ещё не почувствовала своего одиночества. Сколько кругом сломанных семей, женщин без мужей, детей без родителей, а ведь ей всего двадцать три года, и жизнь ещё впереди. Жизнь ударила её, она выдержала этот удар. Она не думала о любви, надо было делать жизнь, которую делали все кругом... Советский солдат шагал по дорогам Европы, восстанавливались города, великая река возрождалась к новой жизни, Катя снова чувствовала её запахи и звуки...

С мая 1945 года Катя начала готовиться к экзаменам и осенью поступила в Горьковский институт инженеров водного транспорта.

(Продолжение следует)



АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★

ЮНОСТЬ

1

Я в Заречье дорогу
Позабить не могу.
Ты жила на отлогом,
На речном берегу.

Там, где вербу ломала,
Где ходила босой,
Где рябина дремала
Над песчаной косой;

Там, где ласточек стайки
Чуть в лазури видны,
Там, где белые чайки
Взлетали с волны;

Где обычный кустарник —
Чернотал, краснотал,
Где упрямый татарник,
Что огонь, расцвел, —

Там и жили мы вместе,
Ничего не тая..
Проживала там песня
И чайка моя!

2

Ой, родное раздолье,
Синь с волною седой!
Чем хвалились?
Водою!
С чем мы бились?
С водой!

Всюду слышали уши:
Вал высокий шумел.
Всюду видели очи:
Белый парус летел.

Только донная рыба
Проходила по дну,

Только чайки садились
На крутую волну.

Пусть они порыбачат
Возле нас, рыбаков.
Вей сильнее, удача,
От родных берегов!

Пусть о ней мчатся вести,
Пусть узнают края...
Проживала там песня
И чайка моя!

3

Лёгкий ветер насвистывал
У зелёных полей.
Вышла ты в платье ситцевом —
Засвистал посильней:

— Видно, байки да басенки
Больше слушать невмочь...
Ты куда вышла, Настенька,
Крестьянская дочь?

— Ветерочек, не спрашивай,
Не тебе это знать.
Может, платье донашивать,
Может, счастье искать?

Перейду через улицу,
Постою на мосту.
Пусть оно полюбуется
На мою красоту!

4

Низкий дом деревянный.
Плёт.
Реки поворот.
Дальше взгляд оловянный
Незамшелых болот.

Дальше — песенка та же,
Дальше — «ах!» или «ох!»,
Дальше заболоть, скажем,
Да богульник, да мох.

Это всё?
Нет, дружище,
Как тебе не тужить,
Ты идёшь, а не ищешь,
Без чего не прожить!

Ой, родное раздолье,
Синь с волною седой!
Чем хвалились?

Водою!
С чем мы бились?
С водой!

Вот она,
Вот живая,
Славя наши места,
Серебром отливая,
Разлилась красота.

Разлилась на округу
И вошла в бытиё.
Я от имени друга,
Больше —
Брата её,

Словно в сердце вникаю,
Я о ней речь веду,
Говорю,
Сам сверкаю,
Блеска молний не жду!

Вот она с ураганом
До небес поднялась,
Вот с залётным туманом,
Не стыдись, обнялась.

Вот она замолчала,
Миг — и стала иной:
В тростниках зажурчала
Бирюзовой волной,

Что летит и трепещет.
И, понятный без слов,
Открывается вещей
Голос в сонме ветров!

Золотыми лучами
Солнце пищет:
— Люблю! —
...Здесь я утро встречаю
И его окрылю!

5

Всё рассветом дышало
От земли до небес.
Дорогой полушалок
Был накинута на лес.

Начиная от гребня,
Розовела волна.
Далеко за деревней
Разлетелась она

Ливнем брызг яркоалых,
В них купалась лоза...

Утро.
Солнце вставало,
Протирало глаза.

6

Снова в сердце, как струны,
Зазвенели слова.
— Ты жива, моя Юность?
— А как же?
Жива!

Я легка на помине,
Я не камень,
Не клад.
Хорошо, что хоть ныне
Обо мне вспомнил брат!

Я с тобою на свете
Много лет проживу.
Я с тобою —
До смерти,
После смерти —
В молву!

Ты не хмурься!
Я хмурой
Никогда не была.
Я зову тебя Шурой,
Как мама звала.

Все тропинки я знаю,
Где ходили вдвоём,
Я горю,
Не сгорая,
В буйном сердце твоём.

Я летела, и пела,
И бралась за дела.
Ты зови меня смелой,
Я смелой была!

Ведь недаром, недаром
Без тревог и забот
Я на паузке старом
Уходила в поход,

Натыкалась на мели
И влетала сама
В бой, где вихри гремели
И сходило с ума

Необъятное море,
Что, подняв кутерьму,
С небом бешено споря,
Угрожало ему.

Я ходила за плугом,
Я горела и жгла
И хорошего друга
Я к тебе привела.

Все пути с ним связала...
Оглянись!
Погляди!
— Ты мне всё рассказала?
— Нет, не всё!
Погоди!
— Ждать мне нечего!
С детства
Нас давила нужда,
Горе шло по соседству,
По наследству — беда!
Горе вить,
Горе мыкать,
Век носить на горбу,
Подпоясавшись лыком,
Горе шло за судьбу.
Горе шло круговую,
Нет надежды конца:
На войну мировую
Забирают отца.
— Ну-ка, ну-ка, ратники,
Надевайте ватники.
Никуда не денешься,
Носить умеи
Серую шинелишку,
Брезентовый ремень.
Простись со сном и дрёмой,
Уйди от нас, зарёванных,
Заплаканных до выкрика,
Ведь всех-то слёз не выплакать!
Из всех останется одна.
Такая не солжёт
И, если упадёт она, —
Шинель прожжёт!

Мать осталась солдаткой,
Я — считайте — батрак.
Чай мы пили «вприглядку»,
А обедали так:
Тюря с луком, без лука.
И не счесть, сколько дней
Круговую порукой
Были связаны с ней!
И куда подаваться?
Как судить да рядить?
Только по миру, братцы,
Оставалось ходить.

Разлетелась позёмка
И пути размела,
Только всхлипнула громко

Метель у села.
— Сшей-ка, мамка, котомку! —
И сестрёнка пошла...

7

Где ты, чайка, летаешь?
Стукни веткой в окно.
Лучше всех ты из стаи,
Без тебя мне темно.

Широко распростёрла
Два отрядных крыла.
Соловиное горло
Ты откуда взяла?

Как стремительно, сильно
Ты легишь над водой!
На серебряных крыльях
Гаснет луч золотой.

8

Ходит ветер.
То тише,
То сильнее набег.
С нашей старенькой крыши
Перепархивал снег.

А на тусклых оконцах
Рисовал Дед-Мороз.
Вдруг весёлое солнце
Ослепило до слёз,

Словно вечером майским
Сошло на карниз.
И «Вставай! Поднимайся!»
Играл гармонист.

И навеки упрямо
Взвился кумач.
— Ты не плачь больше, мама,
Ты больше не плачь!

Зову этому внемля,
Ты слёзы убей!
Ты помещика землю
Бери, не робей!

Ты, выдавшая муки
В жизни чёрной и злой,
Подними свои руки
Высоко над землёй.

Подними их,
Натруженные
Непосильным трудом,
Подними их,
Заслуженные
Перед высшим судом!

Покажи их
Поклявшимся
Победить или пасть,
Покажи их
Поднявшимся
За советскую власть!

9

Звёзды, небо проклюнув,
Отблеснят до утра...
Мне с тобой, моя Юность,
Прощаться пора.

Новой утренней ранью
Мы встречаем зарю.
Не «Прощай!» —
«До свиданья!»
Я тебе говорю.

Я тебя, дорогую,
Провёл по земле.

...Вижу юность другую,
Гостящей в Кремле.

Под всемирной грозою,
Павшей нам на роду,
Юность Лизы и Зои
Шла в могучем ряду;

Юность Саши,
Олега,
Юность светлых идей,
Всюду вставших над вском,
Настоящих людей.

Юность севших за парту,
За столы,
На скамью,
Где впервые на карте
Видят ту,
Что пою:

Всю — с великой отвагой,
Всю — с великим огнём,
Всю — до красного флага
Над Московским Кремлём!



Ил. ДУБИНСКИЙ

★

В ТАЕЖНОЙ ДЕРЕВНЕ

Из записок комбайнера Михаила Бровкина

30 и ю л я. Вот уже две недели, как я живу в Бурундуках, небольшой, затерянной в глухой сибирской тайге колхозной деревушке. Несколько десятков лет назад сюда, в лесную глухомань, пришли крестьяне из Смоленщины. Их пригнало безземелье. Здесь земли было сколько угодно, но ею владел другой, могучий и суровый хозяин — тайга. Хочешь — расчищай десятину. Мало — бери десять. Между тобой и землёй нет ни помещика, ни кулака. Ты можешь валить, жечь, корчевать тайгу, всё, с чем ты сумеешь справиться, — твоё.

И сейчас ещё пни и колоды — следы той далёкой схватки человека с тайгой — таятся в хлебах, подстерегая комбайнеров.

В нынешнем году меня послали со стареньким комбайном «Коммунар» в Бурундуки. Здесь комбайн появляется впервые.

Петя Горячкин — мой штурвальный — уже вырос из своих голубых посконных штанов и такой же грубой рубахи, но от этого он кажется ещё моложе. В зиму 1941 года его отец был убит под Москвой. С двенадцати лет Петя уже работал на лошадях. Как старший мужчина, он почитался хозяином дома, опорой семьи.

Сегодня мы завершили наладку машины. Я проверяю работу механизмов. Петя проворачивает шкив барабана. У меня он один помощник, а у него их много. Тут почти вся бурундуковская детвора. Малыши, как воробьи на проводе, уселись на тележке хедера, беседуют вполголоса, не спуская глаз с Пети. Каждый из них ждёт малейшего его знака, чтобы поддержать цепь, повернуть ремень, принести воды. Десятилетний горбун Спирька подносит вёдра с горючим. Днём он подменяет своего деда Антона — сторожа тракторного парка. Палка, на которую Спирька опирается при ходьбе, в два раза длиннее его. У него тонкое птичье лицо с карими пронизывающими глазами и плоским, поджатым ртом.

За деревней, на перевитой корневищами дороге, грохочет телега. Из-за поворота показывается рыжая лошадёнка и красный околыш армейской фуражки бригадира тракторной бригады и колхозного парторга Кости Стрельцова. Вскоре он, коренастый, с загорелым лицом, с пшеничными бровями и смеющимися светлыми глазами, появился у комбайна. На нём мягкие сибирские чирки, защитные брюки и гимнастёрка. С фуражки свисает накомарник с чёрной сеткой из конского волоса.

— Добрый день! — обратился он ко мне. — Вчера как ни воевал в МТС, но цепями для вас не разжился.

Это известие было для нас печальным — цепей нам не хватало. Костя уже направился к конторе, я залил горючее и завёл мотор. Машина работала чётко. Я добавил обороты, и вдруг раздался треск — полетела цепь. Свернувшись змеей, она легла у левого колеса. Около неё с раско-

лотой ступицей зарылась в траву огромная звёздочка транспортёра вороха.

Мы долго искали причину поломки. Петя, задумавшись, ходил вокруг комбайна, высказывая то одну, то другую догадку.

Вдруг до нас донеслись крики и визг, гулко повторённые тайгой. По зелёной улице мчалась длинная тележка хедера, обсыпанная визжащей детворой. Несколько босоногих подростков, уцепившись за дышло, волокли этот небывалый в Бурундуках весёлый поезд. За ним с громким лаем неслась резвая стая деревенских собак. Эту забаву придумал внук деда Авдея Шатрова — Алексаха, он же прославленный бурундуковский Чапай.

Подкрались сумерки — лёгкие и прозрачные сумерки тайги. С реки хлынула мошкара, зазвенели тучи комаров. Над деревней плыл туман. Он нёс острые ароматы тайги. Деревня уже спала. Лишь возле конторы бренчала балалайка и слышались девичьи голоса.

31 июля. Секретарь райкома Анатолий Фёдорович Осинников неожиданно появился сегодня в Бурундуках на потрёпанном газике. Гвардейского роста, плечистый, в защитном пыльнике, без фуражки, он на голову возвышается над своими собеседниками — председателем колхоза Парамоном Сомовым и партгором Костей Стрельцовым.

Я слышу звучный баритон Анатолия Фёдоровича:

— Хлеб вы, конечно, уберёте. У вас жнейки, знаменитые жницы... Вы получили комбайн. Но есть опасения...

Сомов и Костя насторожились.

— ...как бы у вас убранный хлеб не пропал...

— Как так? — недоумевают председатель колхоза.

— Очень просто. Раньше вы могли хранить хлеб в снопах, в зародах, а сейчас он будет у вас в ворохах. Не совсем сухой, а то и сырой... Особенно в первые дни.

— А мы писали в район насчёт сушилки, — заявляет Сомов.

— Этой бумажкой вы много не засушите, — перебивает его Анатолий Фёдорович.

— Мы думаем так, — предлагает Костя. — Со старого чуркача у нас валяется бункер...

— Вот, вот... — взмахивает рукой Осинников. — А то чуть зевнёте, и от комбайна будет вам один вред, а не польза. Весь хлеб погубите. На трудодни останется лишь мякина. А для нас сейчас важнее всего важного — хлеб.

— Это, конечно, — кивает головой Сомов.

— Соберите молодёжь, ваших дедов, ну, конечно, деда Шатрова, он мужик деловой. Обсудите. Что-нибудь и надумаете.

На лице Кости озабоченность. Он, конечно, прикидывает уже в голове, как легче и скорей соорудить сушилку. А вскоре Костя отходит в сторону и, достав из кармана клочок бумаги, начинает что-то на нём набрасывать. Лицо Сомова встревожено: в колхозе десятки незаконченных дел да на столе в конторе целый ворох непрочитанных директив, а тут подошла новая и неотложная забота.

До уборки остаются считанные дни, а большого полотна нет, его ещё ладят в МТС. И цепи надо менять больше чем наполовину. Мы решили привести пока в порядок старые цепи.

От поскотины, сердито бранясь, идёт дед Авдей Шатров. Он в новых резиновых сапогах и в чёрной поношенной фетровой шляпе. Вот он поравнялся с комбайном — небольшой, но присадистый и плотный. Густо обросшее его лицо возбуждено. Повернувшись к избе своей невестки Таисьи, дед зашумел:

— Таись-ка-а-а! Иди ищи своего бычка! Мово волки задрали.

Оказывается, ночью волки у самой поскотины зарезали четырёх телков. Ульяна Михайловна, жена деда Авдея, и их младший сын, Андруха, привезли своего телка с выдранной лопаткой и рваным боком.

Сбежался народ. Пошли толки, пересуды. Малыш Васька, сын па-стуха, прозванного Бараканчиком, дёрнул косоглазую старушку за юбку и с тревогой спросил:

— Баба, а где наш бык?

Старушка развела руками.

— Тоже, видать, лежит где-то вверх копытами.

Вскоре действительно и бабкиного бычка приволокли.

В толпе проскрипел голос деда Ерёмки Худых:

— Стале быть, обратно волки!

Дед беспрерывно шевелил челюстями, жуя душистую смолку. Был он в потёртой заячьей шапке и в нагольном тулупчике без застёжек. Согнувшись, поддерживал полы тулупчика скрещёнными на животе руками.

— Сколько раз я, однако, говорил, — скрипел он, — загоняйте скотину на ночь в ограду. Вот я, стале быть, не ленюсь...

— Эх ты, «Шашлык», — перебил его дед Авдей, — хоть бы ты не гайкал. Без тебя тошно...

Деда Ерёмку Худых прозвали «Шашлыком». Однажды на большом градусе он ввалился в избу. Жена накрыла на стол. Но Ерёмка, разбушевавшись, смахнул на пол все чашки. «У людей, — шумел он, — бульоны да шашлыки, а меня кондёром потчуеть. Вари, ведьма, шашлык!» С тех пор это прозвище так и присохло к нему.

Постояв с народом, обсуждавшим происшествие, мы вернулись к комбайну. Потом, нагружённые цепями и звёздочкой транспор-тёра, пошли в кузницу. И здесь также горячо обсуждались ночные события. Больше всех кипятился кузнец Роман, страстный охотник. Были здесь и дед Шатров, и колёсник колхоза мариец Касьян, и бывший кузнец, председатель сельсовета Кузьма Горячкин, дед Пети, моего штурвального.

Кузнец, потягивая махорку и всё время теребя свою прокопчённую, без козырька, кепку, похожую на берет, сетовал:

— Некогда даже сходить за мясом. А без мяса я не человек. И собак кормить нечем!

И тут же впадал в приятные воспоминания:

— Вот летось завалил я несколько зверей. Выйду в час ночи, а со-бака уже впереди. Иду по её лаю. А зверь тут как тут. Сам кормился и добрых людей не обносил.

Колёсник Касьян заговорил о каких-то таинственных огоньках тайги. Рассказал о человеке, который будто, найдя клад, умер от радости. Но затем разговор принял деловой характер. Стали прикидывать, как лучше наладить гать на Шукино. Там уже вовсю убирали рожь.

— Я буду не я, — сердито поднял голос председатель сельсовета Горячкин, — если не расшевелю народ на ту гать. Подумать только: в лесу живём, а лесу нету! А сушилка! Давеча приезжал к нам насчёт неё сам секретарь райкома. Я Парамону сто раз говорил: раз дали ком-байн — без сушилки загубим хлеб.

Кузнец Роман взял костин чертёжник и протянул его Горячкину. Это был набросок проекта сушилки. По этому поводу и был вызван в кузницу дед Шатров.

Мы принялись за посадку цепей, а кузнец — за нашу повреждённую звёздочку. В кузнице тяжело дышали мехи. Из горна вырывался золотой

вихрь шумного пламени. Стремительные зёрна огня веером неслись к потолку, чтобы тут же медленно опуститься крупинками серого пепла. Кузнец сильными ударами молота плющил раскалённый прут, превращая его в узкую ленту. Быстрые взмахи молота чередовались с ловкими ударами прутом о наковальню. Мелькали в воздухе руки кузнеца. Крупные капли пота скатывались с его лица и падали на горячий металл.

После обеда поставили цепи. Долго проворачивали комбайн от руки. Вслушивались во все стуки. Поставили залеченную звёздочку. Я завёл двигатель и взялся за рычаг. Пускал комбайн на малом газу и на больших оборотах. Вокруг толпились любопытные. Дед Шатров, осмотрев машину, с сомнением спросил:

— Однако работать будет?

Опять пришёл вечер. Но солнце стояло ещё высоко — особенность севера. Возвращались пёстрой группой с косьбы женщины. Весело переговариваясь, они обступили комбайн и следили за спокойным вращением мотовила. Жаль, что не было ещё большого полотна, — эффект получился бы полный.

Над тайгой стлалась золотистая дымка: где-то горел лес.

Опять возле конторы играла гармонь, брэнчала балалайка. В их весёлую мелодию вплетались звуки скрипки. Все польки и барыни, кадрили и вальсы исполнялись скрипачом на один манер. Молодёжь танцевала. На брёвнах, дымя козьими ножками, сидели старики.

Подошла Соломонида — дочь деда Шатрова. Статная, рослая, крепкая. Лицо по-девичьи свежо, платок повязан по-бабьи. По дороге она прихватила невестку, Таисью. Из четырнадцати детей Шатрова Солка, как её все зовут, — двенадцатая, из девочек — самая младшая. Мать её, Ульяна Михайловна, любит говорить: «У меня их целая лесенка».

Солка старается держаться в тени. Приехал как-то в отпуск из армии брат Гриши-счетовода, Семён Буслай, бывший пчеловод колхоза. Дружба Солки с Семёном началась ещё в школе и окрепла, когда они стали комсомольцами. Свой отпуск Семён Буслай проводил больше с Солкой, в семье Шатровых, чем в своём доме. Без свадьбы они стали мужем и женой. Семён уехал. За полтора года от него пришло лишь одно письмо. Теперь Солка — баба без мужика, но с ребёнком. Брат её Илья — бригадир, другой, Кирилл, — тракторист, третий, Андрюха, — почтальон-кольцевик, отец — член правления. Фамилия Шатровых известна всем в районе. Но как бы часто Солку ни отмечали за её работу в колхозе, она чувствовала, что ей лучше держаться в тени.

Из конторы показался председатель Парамон Сомов. С ним — Илья Шатров и Костя, тракторный бригадир. Сомов подошёл к музыкантам, взял у Гриши гармонь. Откинув резким движением головы прядь светлых волос, напозавших на глаза, он широко растянул мехи двухрядки. Ему мешала рука, исковерканная осколком, но всё же в уверенных и сильных его приёмах видна была хватка бывалого гармониста. За мощными переливами двухрядки ступевалась балалайка Пети Горячкина. И скрипка притихла.

Танец оборвался. Парамон, передав гармошку, встал. Девушки обматывались платочками. Сразу запахло земляничным мылом.

К Солке подошёл тракторист Хома Павлюк.

— Солка, — спросил он, — что ты мне скажешь?

— Ничего не скажу, Хома. Нечего мне тебе сказать.

— Эх, Солка, Солка, — вздохнул Хома, — не видишь, не понимаешь.

— Ну, товарищи, — поднялся Костя, — до дому, до хаты. Завтра чуть свет — в поле!

7 августа. В ожидании полотна несколько дней просидел на бураевском заезде дворе. Сегодня приехала ещё одна подвода из Бурун-

дуков. Лошадьми правил тракторист Хома. От него я узнал, что на щукинских полях рожь срезана колхозницами вручную, а ячмень уже можно жать.

Хома успел побывать в МТС, получил там запасные части для тракторов и зарплату трактористам. Ему же поручено захватить на обратном пути Солку. Она привозила в больницу сынишку и теперь сидела со мной на заезжем дворе.

Вчера проходило совещание комбайнеров. В районный клуб съехались комбайнеры всех трёх МТС и двух совхозов района. Большинство — молодёжь. Многие с фронтовыми орденами, немало — с орденами за уборку. Есть и Герои Социалистического Труда.

Выступал Осинников — секретарь райкома. Трибуна ему была тесна. Он неторопливо ходил по сцене, впереди президиума, и спокойными жестами подтверждал свои доводы. На пиджаке у него три ряда орденских колодок. Он скорее беседует, чем говорит речь. Кажется, что это старший в доме советуется со своей большой семьёй.

Раньше он был учителем, потом замполитом, потом директором МТС. Сельское хозяйство он знает хорошо. После его речи руки ещё больше начинают тосковать по работе. Скорее на поля, скорее к машине, чтобы врезаться с ней в гушу богатого жнивья!

Прихрамывая, вышел на трибуну Демид Гармаш — замполит директора МТС.

— В ведро, — говорит он, — хлеб ещё сырой, а когда жнивья созреют — так и жди слякоти. Дорога каждая секунда. Прохлопаешь — будешь доставать хлеб из-под снега. Это уж так у нас, в Сибири.

Сегодня днём полотно наконец получил и собрался ехать с Хомой, но напоззла чёрная густая туча. Налетел сильный ветер. Неровные, косматые струи дождя захлестали по окнам. Хома достал из мешка хлеб, огурцы, туес с простоквашей и стал чаёвничать. Высокий, плечистый, угрюмый, как и его отец, возчик горячего Павлюк, он всё это делал молча, не торопясь, ни на кого не обращая внимания.

Об отце Хомы, Павлюке, ходит такой рассказ. Когда Хома учился на курсах МТС, Павлюк, явившись в Бураево, вызвал сына и стал сердито ему внушать: «Довольно тебе, Хомка, дурака валать. Ты крупные дырки уже выучил, а мелкие узнаешь потом, дома. На дворе ни клочка сена, ни полена дров!» Хома начал ему возражать: «Как же я, не зная мелких дырок, буду работать на тракторе?» А Павлюк своё: «Говорю тебе — не до мелких дырок теперь, нужно возить сено и дрова!»

Хома сдался и, не закончив курсов, уехал с отцом.

Когда товарищи спрашивали Хому, как он думает без знаний работать на тракторе, он махал рукой:

— А бог! А девки! А хорошие люди!

Солка стала кормить мальчика грудью. Она наклонилась над ним, и её смуглое, в веснушках, лицо преобразилось — оно как бы лучилось изнутри.

В окна застучал крупный град. Хозяйка, старуха, по старинке веря в силу примет, выставила в полуоткрытую дверь деревянную лопату. Но град забил ещё ожесточённое.

Спустя некоторое время прояснилось. Хома вышел к лошадям. Солка с сочувствием повела о нём речь. С малолетства он рос на чужих руках. Его мать умерла ещё в царскую войну, когда отец был на фронте. Затем отец его, Павлюк, взял другую бабу, Гашку. Пожив с ней несколько лет, бросил её. А та с горя почти ослепла.

— Вы знаете Дарью Демидовну? — спрашивает меня Солка. — Это с ней Павлюк сошёлся во время войны. Он ходил в председателях, а

Дарья Демидовна была кладовщицей. Конечно, они не разванивались, не молодые. Встречались по тайности. Это у неё, конечно, не первый мужик. Ещё до Павлюка был другой председатель, и его она отбила от семьи. Дашка такая!

На улице утихло. Мы собрались уезжать. Хома, старательно усадив Солку на ходке, заворчал:

— Кони замучены, да и дорогу развезло, а тут ещё кладут полотно. Полотно может и Гришка привезти.

За поскотиной ещё белели россыпи крупного града.

Дорога до Кошелей идёт лесом. Омытые дождём, стоят торжественные сосны. Величественно застыли лиственницы. Ясным хороводом разбежались по опушкам прозрачные берёзы.

Иван-чай высоко поднял над поникшей травой стебли с яркими цветами. Желтел тонкий ягель. Уже вкрапливались в тайгу первые краски осени. Тут и там бледным золотом мерцала листва.

Вновь стало пасмурно. Начало накрапывать. Дождь становился всё гуще и холодней. Под большой лиственницей три девушки, укрывшись от дождя, весело пели. Сквозь сетки накомарников задорно блестели их глаза. На девушках — короткие юбки и длинные штаны. Так спасаются в тайге от мошкеры. Около весёлых ягодниц стояли огромные берестяные туеса с голубицей.

Хома заботливо укутывает Солку плотной дерюгой. Солка, смущённо улыбаясь, смотрит на него благодарными глазами.

Дождь полил сильней. Я предложил остаться в Кошелях. Но Хома сказал, что лучше заночевать в Брусничном. У него там живёт тётка. Я поправил сено, укрывавшее полотно, и слез. Решил переждать в Кошелях.

8 августа. Чуть свет я отправился в путь. По раскисшей дороге было тяжело идти. Над тайгой и над полями полз тяжёлый туман.

Вправо от дороги раскинулись пышные серебристо-зелёные овсы. Вдали видны ржаные поля. Гигантская сухая лиственница, похожая на лиру, в тумане как будто ожила и плывёт в недосигаемую даль. Почти из-под самых ног с шумом поднялась пара косачей. Скрипел в тайге кобчик.

Своих вчерашних спутников я застал в Брусничном. Мы поехали дальше. Возле Бурундуков нам встретилась рослая женщина.

— Гляди, Хомка, твоя матка, «ё-моё», идёт да ещё покуривает, — сказала, смеясь, Солка.

— Ну её, однако, в болото! — угрюмо ответил Хома.

Наш ходок поравнялся с женщиной. Это была Дарья — мачеха Хомы, третья жена Павлюка. «Ё-моё» было её поговоркой. Дарья поздоровалась первая, склонив заискивающе голову. Я посмотрел ей вслед. Она шла, покачивая своими гладкими боками и широкой спиной.

Солка раздумчиво сказала:

— Какое ей, однако, уважение — Дарья Демидовна! Не Дашка, не Демидовна, как наших баб зовут.

— Пока она не пошла в кладовщицы, — объясняет Хома, — и она была Дашка. А как заступила на склады, так и стала Дарья Демидовна.

9 августа. Девятое августа, а мы ещё не на полях. А в прошлом году я начал уборку шестого августа.

Колхозницы ушли убирать рожь вручную. Солка отправилась вместе с ними. Возле школы два старика ставят новый забор. Весело скрипят ходки. Подвозят брёвна для будущей гати. Предсельсовета Горячкин расшевелил всё-таки Сомова. У заправки Костя ладит сеялку, а Хома и Кирюха — «чуркач», трактор, работающий на берёзовых чурках. Из

хаты Павлюка доносится однообразное пение. Почерневшая от мазута телега с задранными вверх оглоблями стоит у ворот, а перед хатой красуются яркожёлтые подсолнухи и пронзительно яркие мальвы.

Сегодня мы подцепили зерноуловитель. Завели на место большое полотно. Двигатель мощно рокочет, и от одного движения руки машина начинает жить. Умно слаженные механизмы приходят в согласное движение. Урчит мотор, ровно дышит его выхлопная труба, гудит вентилятор, мягко шелестит приводной ремень, позванивает питающий транспортёр, ухаёт барабан, свистят крылачи, переливчато журчат бесконечные цепи, шепчет свою бойкую песнь острая пила, и всё это безостановочно мчит.

Мы обкатывали комбайн до самого вечера.

Ночью я вышел на улицу. Над тайгой ползли огромные тучи. В прогалинах между ними сияло далёкое небо. Мерцали одинокие звёздочки.

Вдруг в торжественное звучание ночи ворвался дикий, полный смертной тоски крик. Возник ещё и ещё раз — и затих. Только эхо долго ещё перекатывалось по сумрачной тайге. Замолкла гармонь. Раздался топот бегущих ног, послышались тревожные голоса, лай охотничьих собак.

Вся деревня с криком «Волки!» ринулась к тайге. Помчался с людьми и я. Мы бежали во мраке, по тропинкам, по густой, не скошенной ещё траве, через валежник, через пни и колоды. Впереди нас неслись собаки. Мы едва поспевали за ними с ружьями, арапниками, стёжками. Собаки, перемахнув через гать, рвались вперёд.

У ровка лежала растерзанная туша огромной коровы. Мы столпились вокруг неё. С криком подбежал дед Худых. Это была его корова. Дед, в одних исподних, с толстой палкой в руке, засуетился, ощупывая тушу.

— Я ведь говорил, — сказал Павлюк. — Теперь они повадятся лупить наших коров.

10 августа. День пасмурный. Тайга окутана тяжёлой пеленой тумана. Но вот на небе появляются синие разводы. И тусклая с утра тайга сразу же меняется. Впереди выступает зелёная стена молодого сосняка. Дальше — темнозелёная гущина. А над самым горизонтом вздымается тёмносиний вал чернолесья. И стоит заиграть солнечным лучам, как весь этот суровый хвойный океан становится ярким и многокрасочным.

Вдруг краски опять расплылись, сникли. Тайга стала дымчатой, выступают лишь отдельные стволы, макушки деревьев. А над ними возвышаются одинокие кроны лиственниц-великанов и сосен-богатырей.

Моя хозяйка Ульяна Михайловна, выгнав корову, садится чаёвничать. На ней длинный аккуратный передник. Светлые глаза её необыкновенно теплы. Она спрашивает:

— А есть такие самостоятельные комбайны, что ходят без всяких тракторов?

Я сказал, что есть и даже очень близко, в Брусничном. Михайловна ахнула.

— Какое только приснащение не придумает теперь человек! А раньше, при старой жизни, серпом жали, цепом молотили!

Скрипнула дверь. Вошёл Вася, сынишка пастуха Бараканчика. Рассказывают, что однажды Вася вернулся из кино домой весь в слезах. «Чего плачешь?» «Как же? Картина-то не кончилась. Чапай не выплыл, значит не кончилась». Вася протискался на второй сеанс. Посмотрев снова картину, побежал домой в слезах. «Опять не выплыл, не выплыл! Деньги берут, а конца не показывают». «Да они всё показали», — попробовали утешить его. «Нет, не всё. Я знаю. Он не такой, чтоб потонуть. Чапай бы выплыл!»

У Васи хорошее, неглупое лицо. На голове выгоревшая от солнца светлая копна волос. Над лбом забавное завихрение. Он стал у дверей, заложив руки за лямку штанишек. Спрашиваю его:

— Как дела, Вася?

— Папка получил вот такую кадушку, — показывает он ручонками, — такой вот высоты, такой вот ширины — гороха и столь зерна, — растопыривает он свои пальцы, — пять мешков.

В сумерки пришла с работы Солка. Она в длинных заплатанных штанах, в короткой юбке, в мягких чирках, очень удобных для таёжных тропок. На ней выцветшая гимнастёрка со следами погон. Она скинула накомарник, бросила на стол сумочку из-под харчей.

Подходя к сыну, Солка сняла гимнастёрку, не стыдясь, обнажила круглые плечи и, подхватив ребёнка, заворковала над ним. Прильнув к материнской груди, мальчик жадно сосал. Потом, довольный, блаженно припал к тёплым коленям матери.

Солка вдруг заявила:

— Плохо Марина работает. Выжинает серёдку и оставляет края. Завтра я ей покажу, как надо жать!

Под окнами прошёл её брат Илья. За плечом у него ружьё. Впереди — огромный пёс. Они направляются в тайгу, в Щукино.

Щукинские поля несколько лет назад отошли к бурундуковскому колхозу «Новый сибиряк», а сами щукинцы разбрелись кто куда. Они из года в год ослабляли борьбу с тайгой, и всё, что было отбито у неё десятилетиями, заросло в два-три года. Только недавно бурундуковцы вновь отвоевали у тайги щукинские поля.

Тайга — извечный враг здешних крестьян. Она с первых дней заселения угрожала им своими дебрями, зимой — чёрными туманами, пургой, летом — буйными ливнями, градом и грозами, медведями, волками, слепнями и паутами, комарами и всесильной, неистребимой мошгарой.

Все ближайшие деревни — Бурундуки, Кошели, Брусничное — отвоёваны у тайги лишь сорок—пятьдесят лет назад переселенцами.

Илья кличет Белого Боба, и собака послушно бежит за ним в ночь. Белый Боб — крупная собака, волкодав с несомненным наличием в жилах волчьей крови. Он бел как снег. Единственное чёрное пятнышко — кончик носа. У него стройные ноги, аккуратная голова, широкая грудь, длинный, пушистый, белоснежный хвост.

Попив с Солкой чаю, я пошёл в контору. Там собралась вся деревня. Воздух посинел от махорочного дыма. Молодёжь, как водится, устроилась на самых задах. За председательским столом, немного важничая, сидел Парамон Сомов. Оказывается, приехал лектор из района делать доклад о новостройках Сибири. Когда Парамон дал ему слово, Авдей Ермолаевич Шатров, поправив усы, важно, по-хозяйски, кинул в зал:

— Что ж? Послушаем, как он рассказывает.

Дед Шатров, член правления, не без оснований полагал, что Парамон, мол, из другой деревни мужик и его бурундуковцы слушают лишь как председателя, а уж его, Шатрова, коренного старожила, своего, деревня лучше понимает.

Пока докладчик говорил, тишина стояла поразительная.

После доклада Авдей Ермолаевич протянул лектору свой кисет. В Бурундуках это почитается знаком особого почёта. Увидав меня, дед протянул кисет и мне.

— Понимаешь, комбайнер, — сказал он, — вижу, народ наш совсем иначе дышит. Выручай и ты нас, брат, с комбайном. Нам без машины не жить.

11 августа. Парамон Сомов говорит, что жать комбайном ещё рано. И в Брусничном, по его словам, комбайны ещё стоят.

На соловой упитанной кобылёнке мы выехали осматривать поля. Дорога очень извилиста, с крутыми спусками и подъёмами. Лес усеян поверженными гигантами. Это работа ветра и гроз. Молодые берёзки, погнутые снегом, нависли над дорогой, образуя бесконечный серебристо-зелёный свод. А дальше хозяевами пространства становятся великолепные сосны. Кое-где они стоят парами, обрамляя дорогу словно триумфальными арками. У старых сосен золотистый ствол и зелёный купол у самой вершины. Поля начинаются лишь в пяти километрах от деревни. Поселенцы не трогали тайги у околицы, оставляя её как защиту от снегов и ветров и как близкое топливо.

Парамон знакомил меня с затерянными в тайге клочками полей-чистин. На одном из них женщины с подоткнутыми юбками вязали снопы. Солка действительно вязала быстрее и ухватистее всех.

Парамон стал корить жниц, но Таисья сама вдруг перешла в наступление:

— Хорошо тебе, Сом, что твоя сомиха в Брусничном. Глянула б я, какая она у тебя работница.

— Ну и глянула б! У моей сомихи там заработано побольше твоего.

— Известно, — рассмеялась Марина, прозванная «Развесёлой», — нужна барыню жмёт...

Рожь оказалась ещё зеленоватой. Много прибитой градом к земле. Густые сорняки: ярутка полевая — копейчик, с плоскими семенниками, ароматный донник, плодovitый ползучий пырей.

На одной из жнеек работал великан Тихон, по прозвищу «Мамина кроха». Он вёл свою упряжку без особого рвения, но и времени зря не терял. Норму выполнял легко. Улыбаясь, Тихон сказал:

— Эту чистину я к вечеру смахну.

Парамон улыбнулся.

— Да, Тишка, с тобой в армии будет немало хлопот. Кого-кого, а вещевого каптёра замучаешь. На твою лапу во всей нашей армии не найдётся ни одной пары сапог, на спину — гимнастёрки, а на нижний этаж — порток.

Вернувшись в деревню, мы встретились в конторе с уполномоченным райкома Гармашем. Он сообщил, что в Брусничном комбайном уже снято четырнадцать гектаров. А здесь колхозники и сам дед Шатров убеждают, что с комбайном до ржи не добраться. И Гармаш того же мнения:

— Разгрохаете вы там комбайн, — сказал он, — а настоящий хлеб нечем будет убирать.

12 августа. У конторы Сомов с бригадиром Ильёй распределяют людей на работу. Сегодня многие пойдут косить сено для себя.

У избы Ерёмки Худых показался Тихон.

— Долго ли ты будешь шататься? — кричит ему Парамон Сомов.

Потряхивая широкими плечами, парень-великан даже не отозвался.

— Окончательно распустился Тишка, — возмущается Илья. — Самому председателю, и то не отвечает.

— Ты не пыхти, — невозмутимо говорит Тихон. — У бога дней много.

Я вижу, что опаздывает не только Тихон. Женщины тоже собираются медленно. У женщин, правда, с утра много забот. Надо подоить коров, выгнать их в стадо, приготовить обед, натаскать воды. Но всё же время такое, что не мешало бы поспешить.

Сегодня комбайн ещё не выйдет на косьбу. Мы с Михайловной отправляемся на Томашовку грести сено. С граблями и вилами по узкой

тропе тянутся колхозницы. Все, несмотря на жару, в сетках и в толстых шерстяных чулках — от мошкеры.

В глубокой думе бредёт, шаркая чирками по траве, Солка. Её заботит мальчик. Он ещё болеет. Солка всё время грустит. Видно, её тревожит молчание Семёна. Даст ли он знать когда-нибудь о себе? А тут ещё Хома. К колодцу и не ходи: свахи не дают проходу. А может быть, её мысли вертятся вокруг клетчатых платочков, привезённых в сельпо. Очень хотелось бы купить по платку и себе и маме, да подоспели более острые нужды. Она перебрасывает грабли на другое плечо.

За Солкой следом идёт молоденькая Варя, сестра штурвального Пети. Без сомнения, в её розовых ушках ещё звучит горячий шёпот Кирилла Шатрова. И тут же смутные сомнения омрачают всю сладость новых для неё ощущений. Ведь студентка Ксюша, сестра кузнеца, все знают, сохнет по Кириллу... Мать Вари, Груня, как-то ей сказала: «Дружи, Варька, с Кирюхой. У них, у Шатровых,— правильная семья. И Михайловна — баба правильная. А что там Ксюшка, так я думаю, что дед Авдей скорее согласится на нашу деревенскую деваху».

Дарья Демидовна идёт рядом с Михайловной, хвалится:

— Я не сробела, прямо сказала Гармашу: «Ты нам расстарайся, как-никак, побольше хлебушка из района, хоть бы на эту пятидневку, а наши бабы, однако, не то что по двадцать, а по тридцать соток нажнут...» А торопиться надо и надо, — заключает она, — видали рожь? Вся она тут, ничем не прикрытая!

Михайловна раздумчиво отвечает:

— Были бы наши деревенские руководители на месте, а с нашими жителями можно горы своротить.

Идём мы полями. Справа — картошка с высокой буйной ботвой, слева — ячмень с толстым колосом и тонкими иглами. За картофельным полем — горох, ещё дальше колышется овёс. А там вдали, за овсом, в кустах, в тени высоких сосен, — избушка. Это заимка — место полевого стана.

...Мы сгребаем просохшее сено. Оно шуршит под граблями. Кругом ещё много нескошенной травы. В ней россыпи алой костяники.

Вилами-трюйчатками женщины накалывают огромные вороха пырея, рывком поднимают вверх, высоко над головой, и несут их по косогору, на вершине которого уже появились первые копны. Растут один за другим высокие стога пахучего сена.

Внезапно сгрудились тучи. Загрохотал гром. Полнеба засияло серебристым светом — на него больно смотреть. Другая сторона погрузилась в сплошной мрак.

Мы поспешно возвращались домой. Опять начал накрапывать мелкий, назойливый дождь.

У самой деревни, струнясь, как часовой, стоит сосна. Единственная её ветвь нависла над дорогой, как рука, приветствующая путника: «Добро пожаловать!»

14 августа. С утра снова идёт дождь. Михайловна говорит:

— Скоро новолуние. Молодик, однако, обмоется, и тогда дожди кончатся. А то что ж получается? Погниёт наше сено!

В сенях тяжёлые капли глухо шлёпаются о пол, пробиваясь сквозь драницу крыши.

Всё забилось по своим куткам. Даже злые рои мух и те утихли. Не слышно под окнами зычного голоса бригадира Ильи.

А дождь всё льёт и льёт — мелкий, настойчивый. Блестят мокрые детали жатки. Застыл, отпечатываясь выхлопной трубой на фоне серого нэба, комбайн.

В избе возится Ульяна Михайловна. На ней праздничная одежда — новый красный передник и свежесплаженный белый чепец. Михайловна сегодня склонна порассуждать.

— Нонче у нас Спаса-Макковей. А в субботу — Макковей. Которые наши старые люди помнят и нам говорят: Спас — это когда начинают опадать яблоки. Мы тута больше тридцати лет, а яблоков не видали, зато сыты были завсегда. А сейчас и вовсе не жалуемся. Попервости нам здешняя культура не глянулась. На бабах платки чёрные, чернее земли. Жгли лучины. Утром встаёшь — и вся ты чёрная от копоти. А теперь лампы, керосин, спички. Теперь катанки хучь какие, а есть у старого и малого. А тогда драли берёсту и плели лапти-каверзни.

Пришёл дед Авдей. Снял на ходу шляпу. Вынул изо рта погасшую трубочку. Подошёл и наклонился над зыбкой.

— Что? Спит наш мужик?

— Спит, спит. Уйди от мальчика, ненароком разбудишь!

Михайловна ставит на стол чашки с супом, с простоквашей.

Сели за стол Солка, Кирилл, Андрюха, дед Авдей. Вошла Ксения. Встретившись глазами с Кириллом, покраснела. Чтобы замаять своё смущение, подошла к Михайловне:

— А я привезла вам очки из Буреава.

— Спасибо тебе, девочка, спасибо.

Михайловна всё ещё в праздничном настроении, вспомнила, как она ездила по большим праздникам в буреавскую церковь.

Ксения рассказала, что и она однажды пошла с подругами в церковь. Когда там читали молитвы, они смеялись.

Дед Авдей посмотрел на неё строго.

— В таком деле, девка, ты ничего не смыслишь, хотя и студентка. Правда, я попов пренебрегал и пренебрегаю, но в этом деле, говорю, ты не смылишь.

Вступилась Солка:

— Что ж, и слова сказать нельзя? Совсем смутили девушку!

Закурив после ужина, дед предался воспоминаниям. В 1916 году он был ранен в бою у Молодечно.

— Повезли меня, — рассказывает он, — в город Уральск, в госпиталь, а оттуда в Мариуполь, есть такой город на Азовском море. Не думал и живым выйти из тех боёв, а вот вернулся!

Михайловна тихонько плачет, вытирая фартуком глаза. Вспомнила, должно быть, своих сыновей. Дед сокрушённо смотрит на неё.

— Да, отдали мы со старухой четырёх сыновей. Шатровы не сидели в кустах, не прятались за юбками своих баб. Шатров — не Ерёмка Худых. Ерёмка и в ту войну схитрил, и от партизанства в откол пошёл, не с нами, не с народом, и к колхозу самый последний причалил.

Михайловна, всё ещё грустя, глубоко вздохнула. Затем, вспомнив о новых очках, сказала:

— А ну-тка, где мои новые глаза? Вот Афонька прислал карточку. Он в городе Печоре десятником в депо, а я его так и не разглядела.

Надев очки, стала разглядывать фото.

— Вон ты какой, наш Афонюшка! А я думала, что это девка. А вот и Ниночка! Ах ты, моя девочка, гляди, стоит ровно ножками. Ну спасибо, спасибо Ксюше за новые глаза!

После ужина все разошлись. Михайловна вдруг спохватилась:

— Запомятовала, совсем запомятовала. Заезжал твой бригадир. Велел сказать, что пришла по радио директива. И уехал. Уехал в Буреаво!

Потом опять свернула на своё:

— Хороша девка — Ксения. И пенсию хорошо получает. А Ермолаич мой ни в какую. ·Говорит: «Может, всё-таки вернётся Сенька, Солка уйдёт, а нам нужна работница в дом. А твоей Ксении самой нужна нянька. Иначе и не думай, говорит, это мой окончательный меморандум».

Ульяна Михайловна ставит предо мной чашку с брусникой.

— Солка с бабами ходила в ягоды. Набрала полное ведро. Принесли бы ещё больше, да бабы забоялись переходить через речку. Моста там нет, только жёрдочки перекинута.

Я вышел на крыльцо. В сенях на моей койке мирно беседовали Солка с Ксюшей. Солка жаловалась — хоть редко, но пишет Семён своим, а вот ей даже поклона ни разу не послал. Только про маленького Сеню в одном письме к Грише интересовался.

— А я так думаю, — успокаивала её Ксения, — такую, как ты, не бросят. Дурак Сенька: приехал бы посмотрел на тебя.

— И мне сердце подсказывает, — обрадовалась Солка. — Будем мы с Сеней. И не нужен мне тот Хома. Хоть и сулит он золотые горы.

Сумерки быстро сгустились. Как и днём, курится туманом тайга. В пролёте, за конторой, шёпот. Белеет во мраке платочек. Кто-то приоткрыто смеётся, а другой голос нетерпеливо гудит:

— Смотри, не обмани!

Затем белый платочек рванулся, мелькнул мимо конторы. Зажглась спичка, осветив неясное, в беспокойных тенях, лицо парня. Я узнал Кирилла Шатрова.

Дома, когда я вернулся, все спали. Михайловна, по обыкновению, забралась на печь. Только Солка, лёжа на кровати, ногой, вдетой в лямку, бережно качала ребёнка. Напевала вполголоса. Голос у Солки мелодичный, он идёт у неё от самого сердца, и вся сила материнского чувства звучит в её тихом напеве.

15 августа. На улице бушует северо-западный ветер — «хиуз». Этот злой ветер определённо сделает доброе дело: небо постепенно очищается.

За окном слышен повелительный голос Ильи:

— Тоська, в сушилку! Солка, к Лисьему ключу! Отец, на гать!

Солка только что позавтракала. Она играет с ребёнком, забыв обо всём, сама ещё ребёнок.

Весь день старики работали на колхозном дворе. Они таяли топорами, кроили пилами. К вечеру уже торчали над землёй стояки. Тут же лежал ржавый, списанный газогенераторный бункер. Налаживалась зерносушилка.

И весь день мчатся тучи с бешеной быстротой. Ветер неистово качает высокие мачты сосен, рвёт трепетную листву берёз и осин, гнёт густые нескошенные травы. Волнуется высокий ячмень, расцветённый пёстрым жебрецом и молочаем. Слово цветистой каймой, оброс он цепким татарником, тягуном и ромашками. Желтеют пуговицы пижмы. Весь этот пёстрый мир сорняков уже отцвёл. На огрубевших стеблях уныло качаются высохшие коробочки. Поблёкли нежные и яркие краски, увяли лепестки, испарились тонкие запахи.

Из Бураева приехали Парамон Сомов и Костя, наш бригадир. Говорят, завтра с утра комбайн пойдёт на ячмень. Бригадир потребовал было обкосить поля, но Парамон только махнул рукой: «Пойдёт и так!»

Вместе с Сомовым прибыла вышедшая из ремонта молотилка. Её повезут по новой гати на щукинские поля. Приехал и машинист молотилки — Михаил Фомич Щелчок. Высокий, грузный, в сером халате продавца, в вязаной шапочке, он похож на дородную женщину. Лицо его обожжено ветром и солнцем.

— Значит, это и есть ваши Бурундуки? Ну, мы этим Бурундукам покажем, что такое молотилка. Только держись! А где тут моя квартира? — развязно разглагольствовал машинист.

К вечеру небо стало синим и глубоким. Засияли чистые звёзды. И только на закате ещё держалась ясная, чуть позолоченная полоса. Над ней, гонимый хиузом, медленно проплывал последний караван тёмносиних туч.

16 августа. Первый выход комбайна стал целым событием для Бурундуков. Парамон Сомов, бригадир Илья, счетовод Гриша забралась на штурвальный мостик. Кузнец Роман и колёсник Касьян примостились возле двух соперниц — Вари и Ксюши — на выгрузной площадке комбайна.

Предводимая Алексахой-Чапаем, обгоняя трактор, неслась на поля ватага ребятишек. С дедом Антоном, забравшись на чурки, приехал его внук Спирька.

Пестрели яркие платья колхозниц. С граблями, вилами они шли вооружить и копнить сено. По пути они зайдут посмотреть на ещё не виданную ими машину, которая не только режет, но сама и обмолачивает хлеб.

На ячмённом поле комбайн остановился, окружённый толпой добровольных помощников. Сомов с Гришей несли распорную трубу. Балансирные брусья прилаживали Роман с мари́йцем Касьяном. Ребятишки из ватаги Алексахи, пыхтя и догрызая на ходу репу, тащили тяжёлые балансирные грузы. Бывшая жена Хомы — развязная, никогда не унывающая Марина — с помощью Вари и Ксюши цепляла к комбайну соломокопнитель.

Громко рокочет «Алтаец», гудит двигатель комбайна, звенят цепи. Костя из кабинки трактора спрашивает глазами: «Можно?» Я машу рукой. Парамон, зажав левой рукой штурвал, правой в шутку крестится. «С богом!» — кричит он. Жатка врезается в хлеб, и сразу же под нагрузкой меняется рабочий ритм машины. Для «Коммунара» началась боевая пора.

Можно много работать на машине, быть идеальным мастером своего дела, можно иметь железные нервы и крепкую выдержку, но всё равно нет такого комбайнера, который начал бы первый круг без внутреннего волнения.

На штурвальном мостике остаётся лишь мы трое: я, Сомов у штурвала и Петя, жадно присматривающийся ко всем действиям Сомова. Он впервые будет стоять за штурвалом. Несколько обиженные, вынуждены покинуть мостик Илья и Гриша.

Мы всё больше удаляемся от угла чистины. Там, провожая нас любопытными глазами, осталась почти вся деревня.

Босиком по колючей стерне малыши — впереди всё тот же Алексаха — бегут за комбайном. Едва поспевая за ними, мчится Вася.

Окружённая тучей мякны, орудует на соломокопнителе весёлая Марина. На сжатом поле за комбайном остаются золотистые кучки соломы.

На втором кругу мы протискиваемся между двумя берёзами, преградившими нам путь. Я опасуюсь за выхлопную трубу. Сворачиваем вправо, затем поворот следует за поворотом. На одном кругу вместо обычных четырёх мы сделали двенадцать поворотов. Так придётся работать на всех чистинах.

В тени деревьев, у самой дороги, расчищен точок. Здесь расположилась Солка с ящиками, лопатами, мётлами, мешками. Её назначили весовщиком.

Тихон — Мамина кроха на паре выносливых монгольских лошадок отвозил на точок зерно. А от точка другие подводы доставляли зерно в деревню, на новую зерносушилку.

К вечеру чистина была убрана. Она составляла всего восемь гектаров. В прошлом, 1951 году, работая в колхозе «Свет Ильича», я в первый день убрал шестнадцать гектаров.

Дома, в избе Шатровых, мы застали необычайные приготовления. Помимо чашек с горой знаменитых шатровских огурцов, на стол подали графин с бражкой. Пришёл Ермолаич. Достал из кармана бутылку вина и сказал:

— За начало, комбайнер! Завалила нас твоя машина хлебом. Зерно, правда, сыровато. Да ладно, подсушим!

Михайловна, суетясь, готовила тазик горячей воды.

18 августа. Два дня не косили. Зерно действительно оказалось ещё зеленоватым. Решил съездить в Буроево за цепями.

Под Брусничным, у опушки тайги, на косогоре работали комбайны. Голубая самоходка и тёмносерый прицепной «Коммунар» косили ячмень.

В Бурундуки вернулся к рассвету.

Пока мы с Петей меняли цепи, появился у нашего комбайна бригадир Костя на своей Белочке. Солка, подметавшая точок, взяла Белочку под уздцы и привязала её к одной из берёзок. Юстя, засучив рукава, взялся за работу.

Прибыл дед Антон с горючим. Пришли Варя, Ксения и Марина. Проспавшийся Хома, потягивая цыгарку, кричит, перекрывая гул двух моторов:

— Ну, Костя, чи долго я ещё буду стоять?

Костя спокойно отвечает:

— А ты не стой. Помоги — скорей тронемся!

Но Хома сладострастно сосёт цыгарку, небрежно прислонившись спиной к кабине нетерпеливо фыркающего трактора.

Мы заканчиваем заводку полотна. На площадке девушки грызут турнепс, перебрасываясь с возчиком Тихоном острыми словечками.

Хома, не расставаясь с цыгаркой, приблизился к Солке. Попросил отрезать турнепса. Она протянула ему весь. Он схватил турнепс вместе с её рукой. Солка стала вырываться, но Хома не отпускал. Солка не поддавалась.

— Пусти!

С головы Солки слетела сетка, сполз платок. Она раскраснелась от напряжения. Подставив ножку, толкнула Хому изо всей силы, и он полег, увлекая её за собой. Солка быстро поднялась, повязала платок, укоряя глупо смеющегося Хому:

— Очумел ты, что ли? Не личит тебе как будто эта забава.

— Чего ты модничаешь, Соломонида? — Хома деланно хохотнул.

— Чурбан ты, больше ничего тебе не скажу.

Комбайн тронется с места. Вскоре посыпалось в бункер зерно.

Блестит на солнце острооточенный нож жатки. Его сегменты — режущие пластинки — сверкают отполированной сталью. Нож деловито снует туда-сюда и словно требует: «Подавай больше!»

Падают низкосрезанные колосья. Хлеб стеной клонится на полотно и вместе с ним мчится вверх, к разинутой пасти приёмной камеры. Затем падает вниз, на приёмный транспортёр, и, продолжая быстрый свой бег, попадает через одну-две секунды на калёные штифты барабана. Отсюда солома и зерно несутся на другой быстро вращающийся механизм — транспортёр вороха. Зерно ложится на его полотно, в гнезда, образованные поперечными планками, а солома — на планки. Наверху, в месте пере-

гиба, этот простой, но остроумно придуманный механизм высыпает зерно вниз, на грохот — решето первой очистки. Солома же, подхваченная игольчатыми пиккерами, передаётся ими на ряд быстро вращающихся битеров. Они встряхивают, растягивают, перебирают солому, заставляя её отдать остатки зерна, и гонят дальше, к соломотранспортёру, который уже выносит её наружу. А там её подхватывает проворными вилами Марина.

Огромный вентилятор-крылач дует с большой силой на решето грохота, шевелит зерно и гонит из машины все лёгкие примеси. Зерно сыплется вниз и спиральным шнеком подаётся в элеватор, тянущий его своими скребками к ситам второй очистки. Отсюда, по другому уже элеватору, оно взлетает ещё выше, к рукаву, а из него — в бункер. Из бункера зерно сыплется в мешки, подготовляемые Варей и Ксюшей.

Весь сложный лабиринт, занятый большим числом механизмов, весь путь от жала пилы до дна бункера зерно пролетает в тридцать — сорок секунд.

Бесшумно работает пила. Тихо постукивает шатун, передвигающий нож по брусу. С мягким шелестом мчится полотно хедера. С треском ударяется хлебный поток о стенку приёмной камеры. Звенит питающий транспортёр. Бешеный гул издаёт барабан. Всё пространство вокруг барабана — сущий ад. Там всё ревет, хлещет, кромсает и рвёт.

Стучат решётные станы. Монотонно рокочет двигатель. Со стальным, сердитым журчанием неустанно летят цепи по быстро мелькающим звёздочкам. Все эти различной силы и тона голоса сливаются в единый звуковой поток, в тот серьёзный, обстоятельный рокот, по которому и определяется нормальный темп работы комбайна. Малейший посторонний звук сразу нарушает всю деловую гармонию.

Я стою на штурвальной площадке, на минуту отвлекшись от однозвучно гремящих и воркующих механизмов. Позади — убранное поле, изрезанное широкими следами трактора и комбайна, и неубранное, покрытое густым ячменём. Голубое небо над нами. Посреди поля — купины берёз и осин. Узкой лентой среди хлебов вьётся дорога из деревни в Бураево, из тайги на простор.

Мы удаляемся всё более и более от тока, где высится огромный ворох зерна. Возчики не стоят ни минуты, а ворох всё не убывает. Беспощадно, особенно под вечер, жжёт мошкара. Но мы, увлечённые работой, её не замечаем.

Хома подвёл комбайн к самому току. Сдав смену Кириллу, он ушёл в деревню. Кирилл стал дозакрывать, готовясь к ночной пахоте. Варя то и дело отрывалась от своей работы — она обметала комбайн — и всё льнула к Кириллу. Ксения искоса следила за ними. Петя нестрого покрикивал на сестру.

Подошёл дед Шатров. Снял свою чёрную фетровую шляпу, вытер ею мокрый лоб. Извлёк из кармана крохотный кисетик, трубкой ткнул в сторону вороха — Сёлка укрывала его на ночь соломой.

— Подходяво! А знаешь, комбайнер, встали бы из могилы наши старики, не поверили бы, что есть на этом свете такая машина.

Возле вороха ночной сторож Ерёмка Худых развёл уже костёр, подбрасывает в него охапки сушняка. Не переставая жевать смолку, дед Худых надтреснутым голосом всё кликал свою сторожевую собаку Соболя:

— Цоболь, Цоболь, фить сюды!

Я сел на брёвнышко, чтобы выкурить папиросу. Ерёмка заскрипел, сев напротив меня:

— Говорю окаянному Илюхе: я наскрозь продутый человек, и мне не под силу сторожить, а он гонит меня, и всё. Говорит, пропастина: ко-

рову, стали быть, осилил пропить и сторожёвку осилишь. А что я, евоные деньги пропил?

Болтовня деда начинала мне надоедать. А он всё скрипел, как сверчок, которого никак не уймёшь:

— И возьмём теперь Парамона, самого товарища Сома. Хоть бы раз он поимел ко мне сочувствие. Как Илюха скажет, так он и припечатываст. Обрато же, возьмём, всё через то, что он у нас не свой председатель. Кабы были свои председатели да люди бы меньше грызлись прожеж собой, можно бы вздохнуть как ни то...

Я его перебил:

— А если б Илья был председателем или Ермолаич?

Ерёмка опешил.

— Да... — пробормотал он. — Шатровы не того корня люди.

Я поднялся, наказав деду хорошенько сторожить комбайн.

— Посторожить как ни то посторожу. А вот не хочешь ты со мной вникать в разные смысла!

Усталый, я шёл домой. Трудно было поднять глаза, чтобы полюбоваться на тайгу.

19 августа. Работали до вечера. Туман сгустился. Солнце казалось кроваво-красным небольшим диском. Петя утверждал, что горит тайга. Я думал, что солнце просто заволокло густым туманом.

Ещё один день остался позади, близок конец осени, а уборка только-только ещё начинается. Жнива поспевают медленно.

Дома, у окна, примостилась Солка с шитьём. Она отпарывала рукав кофточки из шерстяной шотландки. Красные, белые и коричневые клетки чередовались в мягком сочетании. Когда-то это было платье Михайловны, сшитое ещё к её свадьбе. Завидев меня, Солка обрадовалась.

— Гляньте-ка, ведь вы кое-что видели в городах: личит мне или нет? Говорят, что я в нём, как старая баба. Верно? Вы мне скажите правду. Однако, может, Сеня скоро приедет.

Солка уходит за печку и появляется оттуда в новой кофточке. Становится против зеркала, поправляет его. Высокий воротник плотно охватывает её полную шею. Хорошо приглаженные сборки отчётливо обрисовывают высокую грудь. Длинные фалды свободно падают на сильные бёдра. Лицо её, оттенённое яркой тканью, стало ещё светлее. И в самом деле, в этом наряде она выглядит старше своих двадцати лет. Но вместе с тем и ещё более красивой.

Она достала из сундука синий, в золотых лучах, шёлковый платочек. Лёгким движением набросила его на голову, завязала на затылке мягкие его концы.

— Вот, глядите, подарок нашего Илюхи. Зря говорят, что брат любит сестру богатую, а жену здоровую. Хоть я и не богатая, а любит он меня.

Илья выиграл по последнему тиражу тысячу рублей и всю родню свою одарил подарками. Платки купил он у Щелчка — приезжего машиниста молотилки, оказавшегося ловким барыгой. Яркие, волновавшие бурундуковских девушек платки содержались в его дорожном чемодане. Он их перекладывал по несколько раз на день, любовно поглаживая своей пухлой ладонью. Когда парторг Костя обзывал его торгашом, он и не думал оправдываться. Глупо улыбаясь, он повторял одно и то же:

— Мы люди тёмные. Нам треба гроши та харч хороший.

Пришёл Кирилл. Стал снимать с себя чёрную от мазута спецовку. Солка поспешила подать ему тазик горячей воды. Начала налаживать ужин. Кирилла любили в семье. И я предпочитал работать с ним, а не с Хомой, хотя Хома был намного сильнее его. С Кириллом не приходилось тревожиться ни за комбайн, ни за трактор.

Кирилл лишь этой весной вернулся с краевых курсов механизации. Его ошеломил город. Поразили многоэтажные дома. Он никогда ещё не видел поезда и не слышал паровозных гудков. Он мог часами стоять у переезда железной дороги, пересекавшей город. Вот мчится маршрут. И во всём составе от паровоза до хвоста — на платформах автомашины. Это могло подействовать и на более искушённое, чем у Кирюхи, воображение. А вот идёт маршрут с тракторами-«алтайцами». Затем — эшелон с экскаваторами, комбайнами, самосвалами, локомотивами, цистернами. А навстречу, на запад, по другой колее, проносятся маршруты с лесом, круглым, кроенным на брусья, на доски. Они летят с грохотом, звоном, подхватывая придорожный песок. За ними стелются хлопья густой копоты...

Кирилл долго работал на прицепе, но он никогда не подумал бы раньше, что земля, которую он пахал, наполнена жизнью несметных миллиардов микроорганизмов. Только здесь, в школе, он узнал волчью сущность ползучего пырея и других сорняков. Теперь, когда он, ложась спать, закрывал глаза, ему представлялась картина борьбы, происходившей в пластах почвы на далёких бурундуковских полях.

Он узнал и о Докучаеве, о Мичурине. Его волновали рассказы о «колдуне», путь которого от простого труженика до известного всему миру учёного отмечен победами светлого ума человека над силами природы. Всю свою жизнь эти люди боролись за то, чтобы взять от земли всё, что нужно человеку.

Кирилл с особым уважением вспоминал школьного преподавателя по тракторам Евдокию Лукьяновну. Стоя у кафедры, стройная й ладная, в простом и чистом платье, с такой же, как у Солки, сплетённой коронкой волос, она брала в руки карбюратор или магнето и называла все их мельчайшие детали, как будто она с детства только и имела дело со всеми этими сложными и труднозапоминаемыми названиями. А главное, как узнал потом Кирилл, — эта женщина в молодости была такой же простой деревенской девушкой, как и Солка. Полола огород, собирала сушняк, пасла гусей, ездила с мальчишками в ночное, дёргала поскони, а затем ударилась в учёбу и стала настоящим инженером по тракторам.

Глядя на отверстия, которые она пронизывала тоненькой провололочкой, Кирилл вспоминал отца. Дед Шатров, провожая его на курсы, смеясь, говорил:

— Гляди ж, Кирюха, ты не Хомка, учи мне все дырочки — и крупные и мелкие. Все пригодятся. А дров и сена мы уж натаскаем без тебя.

Всё, что он видел и слышал в городе, глубоко западало ему в душу. Там он много читал, ходил в театр. Ему нравилась красивая, чистая речь героев книг, без тех выражений, которые можно было слышать в Бурундуках. Теперь уже он сам старался их избегать. Он понимал, что лучше говорить: «это», а не «есто», «замёрз», а не «заколел», «надевают», а не «надеют».

Школа, книги и театр крепко похозяйничали в кирюхиной душе, и след их благотворного воздействия остался в ней навсегда.

Кирилл выгодно отличался от многих своих сверстников. В свободное время он чисто и даже красиво одевался. Пил очень мало и редко. Не сквернословил. С большим, чем все, уважением относился к девушкам. И девушки отличали его среди остальных парней.

20 августа. Рассвет пришёл в серебристом тумане. Такой низкий и густой туман обещал хороший, погожий день.

Мы перебрались на соседнее поле, под названием «Остров».

Роса давно высохла. Сухие стебли ячменя, пригнутые вниз лопастями мотовила, сплошной грядой падают на полотно. Яркие головки моло-

чая — этого злостного спутника злаков — расписали золотистый ковёр хлеба пёстрой, словно шёлковой, строчкой. А над жаткой и долго вслед за нею стелется густое облако ваты, выколачиваемой мотвилком из созревших бутонов.

Солнце течёт изрядно, а с утра уже лениво плыли над полями обрывки лёгкой паутины.

Тихо ползут широкие гусеницы «Алтайца», лавируя между множеством пней и колод, заросших высокой жёсткой травой. Этот медленный шаг трактора кажется несовместимым с бешеной скоростью ножа, цепей, транспортёров. И такой же степенной кажется поступь самого комбайна. Он движется размеренно, лениво, как будто ему нет дела до головокружительных темпов его собственных механизмов.

Работа для машин невыносимо трудная. Тряска на таёжных чистинах такая, что порой кажется, комбайн разрывается на куски. Старый «Коммунар» крихтит, стонет, но не сдаётся.

Кости и Парамона не было. Они уехали к молотилке. В заднем смотровом окне трактора, как в рамке, повернувшись друг к другу, нежно беседовали Кирилл с Варей. Я бросил в них горстью ячменя. Они отшатнулись друг от друга. Кирилл увидел меня и смутился. Варя на ходу выскочила из кабины.

Работали до поздних сумерек. После выгрузки бункера девушки принались за очистку комбайна. Варя метлой сгоняла толстый слой пыли с крыши молотилки. На меня она старалась не смотреть.

Сторожить пришёл дед Шатров. Засветло ещё он натаскал кучу хвороста, и сейчас возле вороха весело трещал раздутый им костёр. На деде Шатрове был длинный тулуп. За плечом торчало ружьё. Около деда вертелась собачонка — маленькая, дымчатая, похожая на чернобурую лису. У неё был необычайно острый нюх, и будила она хозяина не лаем, а подёргиванием тулупа или чирков. Ночью с ней можно было и вздремнуть.

Дед Шатров, по обыкновению, протянул мне свой кисетик. Подбросил в костёр сухие веточки. Я, смеясь, сказал ему:

— Что ж это, Ермолаич, тебя Илья и днём требует на работу и ночью тревожит?

— Извиняюсь... — Старик поднял свой короткий палец. — Илюха тут ни при чём. Это я сам, от личного желанья. Людей-то маловато. Я сам охоч уходить на ночёву и посидеть вот так возле огонька, да чтоб ружо было возле меня, да чтоб моя собака тёрлась у ног... Ужо зимой выспимся. А потом, я тебе скажу, с молодых лет люблю я разное образие жизни. Исполосовал я тайгу нашу по всем рубежам. Не похвалюсь — вот этим самопалом шесть медведёв и одну медвежицу распластал.

Вдали, у займки, горел другой костёр. Длинный шарф дыма метался во все стороны и никак не мог оторваться от костра. Скупое освещённые, там бродили стреноженные кони, двигались силуэты людей.

Дед Шатров повесил на веточку сумку с хлебом и туесок с молоком. Прислонив ружьё к берёзке, присел возле меня.

— Андрюха, — заговорил он, — притащил нонче газет. Опять эти мериканцы чего-то куражатся. И чего им только надоть? Должно быть, считают, они люди, а мы — шиш на блюде! Ещё товарищ Ленин нам о них говорил. Нас, сибирских стрелков, водили к Смольному слушать Ильича... Ну слышь, мериканец, не страшен нам ни твой атом, ни ты с твоим братом! Пусть только Москва пошумит — вся Сибирь тронется. И я пойду, посмотрю! Пойду, а за мной все мои отrostки.

Придвинувшись ко мне, он спросил:

— Скажи, Алексеич, на Кирюху мово обиды не держишь?

— За что же? — спросил я старика.

— За что, за что! За трактор, конечно! Знаешь, комбайн комбайном, а от трактора причина тоже шибко зависит. Конечно,— доверительно наклонился он ко мне,— там у них, у молодых, комсомолы разные да свои дисциплины, а я скажу тебе с глазу на глаз: у нас ещё наша, шатровская, дисциплина дышит.

— Что ты, Ермолаич! — успокоил я его. — Кирилл вполне самостоятельный парень.

Дед улыбнулся. Ему польстил этот отзыв о любимом сыне.

— Нам,— сказал он,— комбайн сейчас — самый первый вопрос. Знаешь, как мы дожидались его. Растём, понимаешь, ширимся! Думка есть — на тот год район ещё одной машиной нас наградит. Может, и самоходом, как в Брусничном. Как раз подходящий для наших чистин комбайн. Знаешь, какой у нас с Парамоном да с Костей план? Насмеливаемся все брошенные в тайге земли поднять. И, думаю, сделаем. Конечно, тут и район подмогу даст... Хорошо бы нам иметь своо чисто партийного человека!

— Какого это чисто партийного? — заинтересовался я.

— Понимаешь, Лексеич, вот наш Парамон — он партийный и тут же председатель. Возьмём же, обратно, Костю — он тоже партийный да бригадир. А вот в Брусничном есть свой чисто партийный. У него, однако, никакой другой службы нет — он только народ шевелит да с районным начальством во все вопросы вникает. Для деревни это очень необходимая должность.

Старик погладил свою собачку. Та радостно завизжала, ощутив на себе ласковую руку деда, и стала тереться мордой о его чирок.

Возвращались мы с поля в полной темноте.

По улице скрипели возы, гружённые зерном. Им навстречу шли пустые подводы. Глухо позванивали колокольца — ботала. Возчики пели песни.

Лишь дома я почувствовал, как жгло всё тело от половы и остей, проникших сквозь воротник, и как горели лоб и шея от укусов мошкар. Ныли руки. Они были в царапинах, ссадинах, ранах. Такие же руки были, я заметил днём, у Кости. Это от ключей, болтов и гаек.

Тайга в сплошной мгле. Большая Медведица распласталась над деревней. Тепло. С полей доносится гул трактора. Где-то у сушилки грохочет веялка.

Я выпил ароматного чаю, настоянного Михайловной на черёмухе, и лёг спать.

21 августа. С утра выпрямляли выхлопную трубу. Её погнуло накануне, когда мы протискивались меж двух берёз. Роса сошла, и можно было давно уже жать.

Когда мы приближались к точке после первого круга, из тайги выехал всадник. Коня сразу все узнали. Это был племенной жеребец Пират. На нём ехал Хома.

Бункер был полон, а Тихон — этот босоногий, широкоплечий увалень — ещё не приехал из деревни. Нам пришлось стать. Варя, выгружавшая бункер, вскрикнула:

— Никак Хомка ведёт на привязи собаку!

— Какая-то чужая собака, не наша, не деревенская,— отозвалась Марина.

— Однако кабы это не был волк! — сказала Солка.

И действительно, Хома вёл волка. Как только Хома переходил на рысь, волк падал, тащась волоком вслед. Один конец аркана охватывал шею зверя, другой был приторочен к седлу. Стоило только коню перейти на шаг, волк становился на ноги и плёлся за конём, как чумной.

Хома подъехал к точку. Пират остановился. Оглядываясь, он сердито пофыркивал. А волк — огромный, матёрый зверь — сразу же лёг, вытянув ноги и опустив на них большую свою голову. В этом страшном хищнике уже не было ни лютости, ни страха. Он околевал. Но девушки всё же жалась друг к другу на выгрузной площадке. Собачонка Тихона, ошестинившись, издали лаяла на издыхавшего зверя.

Подстрелил Хома волка под Брусничным. Раненого, он привязал его к седлу, решив с шиком привести волка в деревню.

— Рублей на полтыщи вытянет, Хомка? — восхищённо спросил Петя.

— Однако, думаю, поболе, — широко улыбнулся Хома.

— И овцу от колхоза, — добавил Кирилл.

Хома, отвязав волка, подтянул его к Солке.

— Хочешь, подарю...

— На что он мне, твой волк?

— Бери, Соловушка, пока не раздумал! — крикнула торопливо Варя.

— Не надо мне его подарка!

— Не хошь, как хошь, — пожал плечами Хома. — А то взяла бы. Тебя подарками твой-то не очень балует. Солдатские подарки — известно какие они!

— Попервости, — резко ответила Солка, — дари своё, не своё нечего дарить. Шкуру надо сдать государству. А второе — мой не солдат, а сержант. Это тоже надо различие понимать. А третье — я его солдатским подарком премного довольна, что бы там ни болтал!.. Эх, Хомка, Хомка! — укоризненно покачала она головой, опрокидывая на ворох очередной ящик зерна.

— Что — Хомка? — с какой-то болью произнёс Хома. — От тебя никогда ласкового взгляда не дождёшься.

Солка вспыхнула.

— То-то и оно. Знаем мы вашего брата! — вызывающе сказала она. — Сначала вам ласковый взгляд, потом ласковую улыбку, а после ласковую руку, а там и пошёл и пошёл. Нет, премного вам благодарна, Хома Павлович.

Хома ловко вскочил на коня. Под его грузным телом жеребец согнулся и закричал. Хома стал умищать уже мёртвого волка на передок седла. Жеребец вновь зафыркал.

Костя, давно уже приехавший на точок, сказал Хоме:

— Эх, жениться бы тебе, парень! Столько хороших баб зря томится.

— Жениться не напасть, как бы женатому не пропасть... Хомка как-нибудь и так прогужется! — Хома ударил каблуками коня, и Пират резко рванулся с места. Издали, на скаку, Хома бросил: — Ничего, Хомка не пропадёт! А бог! А девки! А добрые люди!

Мы разгрузились и тронулись в новый круг.

До точка оставалось ещё метров двести. Вдруг раздался треск. Сильная искра на миг осветила зев приёмной камеры. Слетела цепь полотна. Мы остановились. Звёздочки не было на своём месте.

Искали мы звёздочку долго. Не хотелось думать, что она влетела в молотилку. При свете направленного Кириллом фонаря с «Алтайца» мы обыскали всё поле. Но звёздочки так и не нашли. Не закончив уборки массива, мы отправились домой.

22 августа. На улице лишь начало сереть. На точке стояла тишина. Дед Худых, стороживший в эту ночь, спал, зарывшись в стожок соломы, а его Соболь, заметив меня, ещё издали завилал хвостом. Пришлось деда разбудить. Он поднялся, быстро заморгал глазёнками и стал ёжиться, поддерживая, как всегда, полы тулупчика скрещёнными на животе руками.

— Рано ты, стало быть, сегодня, Алексеич, — ехидно прошамкал он. Я попросил одолжить мне его большую иглу.

Дед пуще замигал своими красноватыми веками.

— А на што тебе моя игла?

— Залатать пологно.

— Ну, пусть казна тебе и даёт. Раз на казну работаешь, стало быть, она и должна тебе предоставить весь требуемый припас.

— Я улпачу, — сказал я.

— Не надо мне твоей оплаты. Я иглу с самых присков таскал, а вы хочете, чтобы Ерёмка тыкал всем есту самую иглу направо и налево!

Поломавшись, дед всё-таки дал иглу.

— Видишь, какой ты человек! — стал он меня укорять. — Иголку тебе предоставь, а углубляться со мной в разные смысла не желаешь!

Он оглядел всё поле, точок, ворох, словно беспокоился, что за ночь, пока он спал, что-нибудь могло случиться. Затем запахнул полы тулупчика, согнулся и направился к дороге. Соболь уже бежал впереди.

Пришли Петя и Варя. Солка явилась вместе с великаном Тихоном. Приехали Костя с Ильёй на Белочке. И утром мы звёздочку не нашли. Как всегда перед пуском, мы провернули комбайн от руки. И тут на решётах обнаружилось два осколка, а через открытые люки элеваторов выпали и остальные куски звёздочки.

Было ещё очень рано. Над нами невысоко, распластавшись в воздухе и издавая трубные крики, плыли журавли. Жалобно пищал ястреб.

— Когда канюк вот так просит, — сказала Солка, — быть дождю. У стариков есть такая сказка: канюк не захотел, как все птицы, копать море. Его бог и наказал. Все птицы могли пить из моря, а он только с листа.

Поставив запасную звёздочку, мы начали жать.

Примчался верхом на неосёдланном коне Алексаха-Чапай. На полном скаку он смешно вскидывал ручонками. Я как-то его спросил: «Любишь лошадей?» «Не говори, — многозначительно подмигнул он мне. — Буду колхозным конюхом. — И закончил, повторяя слова деда: — Это мой окончательный меморандум».

Покрасовавшись у комбайна, Алексаха помчался к заимке. Из озорства он выбросился на скаку на стожок соломы, торчавший посреди поля. Потом вдруг вскочил на коня, снова примчался к комбайну и стал настойчиво манить рукой своего дядю Илью. Тот спустился, а Алексаха, наклонившись к его уху, что-то зашептал. Илья поднялся на мостик.

— Кто-то упёр три мешка с ячменём. Алексаха с соломе нащупал, — сказал он мне.

Не успел Илья сойти с комбайна, как раздался треск. Недалеко от точка Хома наехал комбайном на корягу. Вместе с зерном в бункер полетели куски дерева.

Я попробовал возмутиться, но Хома, чувствуя себя ещё героем после истории с волком, беспечно ответил:

— Что ж, что коряга, на то и тайга!

Мы двинулись дальше. Но через круг Хомка снова наехал на корягу. Остановился он лишь тогда, когда я швырнул в него с мостика горстью зерна. Но было уже поздно. Ящик зерноуловителя, сорванный корягой, перевернулся через ребро, врезался в кожух вентилятора, смял его. Полетели лопасти, согнуло в один комок все распорки и крестовины. Теперь уже и Хома заволновался. Он весь съёжился, когда увидел Костю, спешившего к месту аварии.

Хома, этот кряжистый, самоуверенный таёжник, не раз ходивший на зверя, не терпевший над собой ничьей воли, вмиг стушевался, побледнел.

Порывисто бросился к кабине. Рывком приподнял сиденье, достал отвёртку, плоскогубцы, ключи. Не глядя в сторону Кости, двинулся к нам. Присев рядом с Петей, стал отвёртывать болты вентилятора.

Костя, постояв за минуту возле коряги и осмотрев сорванный ею зерноуловитель, подошёл к комбайну. Бросил на выгрузную площадку бригадирскую сумку с инструментом.

— Хома! — Голос его прозвучал, как команда.

— Ну... — отозвался тот понуро.

— Встать! — рявкнул Костя. Глаза его загорелись, на щеках забегали желваки.

Хома по-солдатски, не выпуская из рук ключей, вытянулся. Его потемневший взгляд остановился на сдвинутых пшеничных бровях Кости.

— Уборку срываешь?!

— Так я ж не нарочно. Какая мне в том корысть?

— Лихач! Глаза затянуло! Слеп ты, что ли?

— Так я ж... тоже... того... не наживаюсь — проживаюсь.

Подошёл кончивший погрузку зерна Тихон. Он зло обрушился на Хому:

— Ему что? За волка ворох денег огрёб, овцу ему дали. Может проживаться. А нас по брюху бьёт!

— Он нас по брюху, а его по карману надо стукнуть! — возмущённо закричала Варя.

Хома опустил голову. К нему подвинулись все, кто был на чистине. Не подходила одна Марина. Она с площадки жалостливо смотрела на своего бывшего мужа.

От точка сюда же шла Солка. Хома заметил её и отступил к комбайну.

— Погоди! — остановил его бригадир. — Там без тебя обойдутся. Загодя надо было свой пыл показать. Отцепляй трактор. И к темноте чтоб перетяжка была мне сделана!

— Как же я один... без Кирюхи?.. Мы мечтали, чтоб завтра вместе...

— Конечно, — иронически сказал Петя. — Без Кирюхи ему до мелких дырочек не добраться.

Злобно посмотрел на него Хома, но ничего не сказал.

— Один, — отрезал Костя, — один и сделаешь!

— Не тушуйся, Хома. Тебе помогут, — неожиданно сладким голосом произнесла Солка.

У Хома посветлело лицо. Все удивлённо переглянулись.

— Тебе помогут, — продолжала Солка. — А бог! А девки! А добрые люди!

У Хома опустились руки.

— Что ж теперь, — возмущалась Солка, — опять с серпами и литовками спины гнуть? Надо этот простой за его счёт отнести. И всё!

— Хватит! — махнул рукой Костя. — Отцепляй!

Хома понуро направился к трактору. Костя, рванув с площадки свою сумку, пошёл вслед за ним. Когда они остались вдвоём, он, сжав кулаки, сказал Хоме, возвышавшемуся над ним на целую голову:

— Счастье твоё, Хома. Парторг я. Если б только бригадир — иной был бы разговор.

Пока мы с Петей отвёртывали кожух и вентилятор, Костя мне сообщил, что случай с украденным ячменём решили пока не разглашать.

Илья горячился. Он требовал начать сразу расследование. Но Парамон заявил:

— Поспешишь — людей насмешишь!

Петя нагрузился валом с помятыми крестовинами, я взвалил на себя кожух вентилятора. Мы направились к деревне.

Стал накрапывать дождик. Солка оказалась права. Канюк выпросил-таки себе воды.

23 августа. Опять нет готового жнива. Вчера остался один гектар — к нему не было смысла гнать трактор, наряжать людей и подводы. Пришлось заняться наладкой машины.

Шли мы, не торопясь, мимо поля не сжатого ещё овса. Поникшие от тяжёлой росы метёлки почти касались земли. Снова неразлучными парами, грубя, летели журавли.

Как и вчера, пролетел мелкий острокрылый хищник — канюк. Он опустился на тот же мёртвый листвяк и, плавно сложив пепельно-коричневые крылья, жалобно заглянул: «Пи-ить, пи-ить...»

Мы приступили к работе. Провозились долго с балансировкой вентилятора. Прочистили радиатор. Сердцевина его была затянута толстым слоем мякины.

К комбайну подъехал Сомов. Погоревал, что нет готового жнива. Пожаловался, что восемь человек день и ночь сушат снятый ячмень. Он сидел на выгрузной площадке комбайна и лушил стручки гороха. Лицо его, густо усеянное синими точками, было озабочено. Поговорив о делах, Сомов направился к тому стожку соломы, где Алексаха обнаружил мешки с ячменём. Вскоре он вернулся.

— Всё идёт как по маслу, — сказал он. — Ячмень уволокли. Теперь вор никуда не денется. Я знаю, кое-кто шипит на деда Авдея. Но Шатров — не из того племени дед. За него я ручаюсь. Мне надо, чтобы без шума, чтобы вор сам сел в сундук, а я только — шлёп крышку, и готово! — Сомов звонко хлопнул ладонями.

— Кто же вор? — заинтересовался я.

Сомов, лукаво сощурился, поднял вверх наполовину отхваченный указательный палец.

— Военная тайна! Пока знают её лишь двое: я и... Ну, скажу вам, наш Чапай! Я его вызываю и говорю: «Что нашёл ячмень в соломе — ты молодчина. А вот выследить вора способен один лишь Чапай». И Алексаха действительно выследил. Таясь по колкам, он увидел ночью, как вор уволок последний мешок. А где именно захоронён ячмень теперь — он не узнал, забоялся итти в тайгу. Вор злой. Но это пустяки. Главное — вор открыт, откроем и его сохву.

Мы собрались уходить. Стал накрапывать мелкий дождь, что-то не ко времени зачистивший.

В деревне, однако, — весёлое оживление. За речкой, на шукинских полях, молотят рожь. В вечерней тишине оттуда доносится густой рёв молотилки. Оттуда же в деревню тянутся подводы, гружённые хлебом. У амбаров суета. Девушки и парни с громкими возгласами, с шутками подхватывают мешки с зерном, опоражнивают их в колхозные засеки.

Ненадолго показавшееся вечернее солнце вновь спряталось за громоздкую, как гора, мрачную тучу. Стало зябко и темно. Над тайгой зажгётся быстро движущийся ослепительный свет. Урча, въехала в деревню машина. За ней показалась другая. В свете фар задвигались люди, отгружая хлеб на государственные склады.

28 августа. Утром Сомов вернулся из Бураева. Пять машин хлеба колхоз сдал, а одну пришлось разгрузить под навесом. Этот хлеб не приняли. Он был недостаточно сух.

Уполномоченный Демид Гармаш настоял, чтобы роздали хлеб на трудовни. Петя дорогой всё повторял: «Сегодня, чего доброго, мамаша шанежек из новой муки настряпает!»

Надо пережить тревоги и опасения людей, долгие месяцы ожидающих урожая, чтобы постичь высокий и трогательный смысл этих простых слов: — Сегодня будем есть новый хлеб!

По дороге в поле Парамон с Костей соображали, как бы по санному пути перебросить инвентарь к Бобровым Ключам, поднять там весной заросшие чистины, отвоевать их снова у тайги. Какой был бы урожай по пласту! А какие выпасы! Можно завести там ферму.

Мы делали круг за кругом, описывая сложные вензеля вокруг кустов, пней, колод, то опускаясь в низины, то вновь подымаясь на взлобки. На третьем круге к нам навстречу вышла Солка с огромным сияющим медным ведром. Она несла воду к комбайну.

Весь день мучил сорняк — тягун или повилица. Зелёный, он скользит по ножу, а сухой обволакивает полевой делитель, повисает на нём и удерживает срезанную ножом хлебную массу. Штурвальному приходилось то и дело сходить на землю и сбрасывать с ножа густые мотки.

За этим занятием, в сумерках уже, и застал нас секретарь райкома. С ним приехал новый директор МТС. Он лишь неделю тому назад прибыл из края. Если он у нас, в Бурундуках, значит уже успел побывать во всех тракторных бригадах, начиная с бураевских и кончая самыми отдалёнными. Плечи у директора — широкие и шаг — уверенный, твёрдый. Он в армейском выцветшем плаще, в брезентовых сапогах, фуражке. В сумерках запылённое его лицо кажется бронзовым.

Он обошёл комбайн, подставил под решето руку, быстро наполнив шуюся половой. Осмотрел дно копнителя, исследовал клоч соломы, перебрал на ладони ячмень, взятый из бункера. Пощупал подшипники барабана, осмотрел вторую очистку, прислушался к двигателю.

Мне понравилось, что новый директор, не в пример старому, отсылавшему всех к механику, все вопросы решал сам.

— Полотно не обещаю, — сказал он. — А кронштейн натяжного ролика возьмите на болт. Проволоку сегодня же выбросьте. И вот что ещё — почему у вас большое полотно так трещит?

Оказалось, что новый директор сам когда-то был и трактористом и комбайнером.

Прощаясь, секретарь райкома сказал: «Вот, товарищ Бровкин, добились мы всё-таки, что и в Бурундуках свой комбайн!»

Домой мы шли поздно. Над дорогой стоял туман, пронизанный гигантскими столбами мягкого лунного света.

30 августа. После обеда тронулись на новое поле возле заимки, где было около двадцати гектаров. В Бурундуках это один такой «гигантский» массив. По пути застряли в теснине между берёзой и сосной. Пришлось трижды отцеплять трактор и трижды вновь сцеплять его с комбайном под более острым углом.

Возвращались в деревню поздно. По дороге обогнали деда Худых. Шофёр прихватил и его. Дед забился в уголок, ни на кого не глядя. Из карманов его тулупчика торчали опечатанные сургучом головки двух поллитровок.

Дома я никого не застал. Михайловна, несмотря на свои преклонные годы, вызвалась поработать у молотилки. Дед Шатров повёз колхозную пшеницу на мельницу. Кирилл пахал. Солка с Андрюхой тоже молотили, а маленького Сеню отнесли к соседке — подслеповатой Гашке.

В избу вошёл Сомов. А вслед за ним раскрылась дверь, и на пороге показался дед Худых. Без приветствия он подступил к Парамону, доставая из карманов бутылки.

— Ну, Парамон, христом богом прошу, разопьём вино, а завтра ещё литрач раздобуду. Веришь, в Брусничное экстренно топал... Ну что, отторну затычку? — И дед стал выковыривать пробку.

— Нет, Ерёмка, зря отторнешь!

— Почему, Парамон?

— Знаешь, дед, страсть не люблю пить на похоронах.

— Какие же это похороны, Парамон?

— А ты что же думаешь, тут на твою бороду посмотрят? Доигрался, дед! Иди лучше — готовься в дорогу.

Дед, ещё больше согнувшись, прижав бутылки к тулупчику, ушёл из избы.

— Знаешь, что у нас было ночью? — спросил Сомов.

— Нет, а что?

Сомов рассказал:

— Вчера Илья загадал Ерёмке, чтобы он вышел сторожить сушилку. Дед отказался. Будто чирки у него развалились. Ему Илья ответил: «Сказал бы прямо, что в тайгу целишься, на глухарей». «А хоча бы так, — озлился дед, — вам можно, а мне нельзя? Не пойду, и всё. И не присматривайся. Я чиниться буду!»

Мы смекнули — дело нечисто. Алексаху я послал присматривать за дедом. Ночью прибежал Алексах: «Дед подался к тайге». Мы с Ильёй побежали. Возле усадьбы деда услышали визг. Ерёмка запер собаку в амбаре. Мы постучались. Вышла его дочка Анна: «Вам деда или меня?» «Нам собаку», — говорим. Она выпустила. Соболь покружился недолго, понюхал землю и махнул в пролёт. Я велел Анне итти с нами. Соболь повёл нас по опушке тайги, к участку «Полтора-поля». В тайге он залаял. В темноте слышим: «Цоболь, Цоболь, вон, марш домой!» Собака пуше заюлила. Узнала. Мы видим: к сожжённой сосне прижался Ерёмка. А рядом — яма. На дне — драница. В дупле дерева один на другом стоят три мешка с ячменём. Видать, хотел захоронить ячмень в яме.

Закончив свой рассказ, Парамон улыбнулся.

— Вышло, как я располагал. Вор сам залез в сундук, а мне осталось лишь — шлёп! — и прихлопнуть крышку.

— Зачем же вы брали Анну? — поинтересовался я.

— Вроде понятой. А «Шашлык» такой — он мог бы потом отречься. Мол, мы с Илюхой по злобе всё подстроили. Со злости Ерёмка так огрел Соболя лопатой, что тот только к утру очухался. И сейчас не подходит к своему двору.

1 с е н т я б р я. Над тайгой висит тусклая дымка: горит лес. Тёмная туча, долго торчавшая с утра перед солнцем, угрожая его закрыть, рассеялась.

Алексах — бурундуковский Чапай — побежал с утра в школу. В одной руке — портфель, вчера лишь привезённый дедом из Бураева, в другой — недогрызенная морковь.

Вася Бараканчик с завистью глядел на Алексаху и успокаивал самого себя: «Пройдёт годик, и я пойду в школу, однако».

К председателю сельсовета Кузьме Горячкину вернулся из армии сын, а к Илье с приисков заехал товарищ. Общая гулянка происходила в избе Кузьмы.

Илья с гостем заглянули к Михайловне. Она стала доставать из печки горшки.

— Нет, — стал отказываться гость. — Спасибо, дорогая мамаша. Я сыт и пьян! Кваску бы, если можно, да огурцов. Ваш Илюха на фронте ещё их нахваливал. Перед одним боем, когда ждали, что будет нам

капут, он сказал: «Поестъ бы мамашиних огурцов, тогда можно со спокойной совестью и помирать».

Михайловна всплеснула руками: «Ах ты, мой милый дитёнок», а Илья виновато, почти по-детски улыбнулся.

Михайловна принесла огурцов.

— Вот это так штука! — захлебнулся гость, откусывая сразу пол-огурца. — Кабы знал, Илюха, я бы уже давно к тебе припожаловал поестъ огурцов.

Гость-вятич вместо «ц» говорил «с».

Хотя до зимы далеко, он был в полушубке и меховой ушанке. Ему приходилось делать длинные перегоны по тайге: от приисков к базам, от баз на перевалки, от перевалок снова на прииски, ночевать там, где застала ночь.

В избу вошла Солка. Она только что крупно поговорила с кладовщиком из-за мешков. Щёки её пылали. Гость, застыв с огурцом во рту, не сводил с неё глаз. Придя в себя и незаметно моргнув, тихо спросил у Ильи:

— Что за деваха?

— Моя сестрѣнка, Солка!

— Ну и девка. Сариса, настоящая сариса! — воскликнул гость, глядя на дверь, за которой скрылась Солка.

Вечером под окнами Шатровых собрались трактористы, прицепщики. Толковали о Ерёмке. Подошёл машинист молотилки Щелчок, как всегда в своей вязаной шерстяной шапочке, присел на брёвнышко.

— Замучила меня, прямо скажу, эта молотилка.

— Что, браток? Это тебе не Москва! — подзудил машиниста дед Шатров.

— Не говори! — Машинист блаженно улыбнулся. — Москва, да, Москва! Вот это была житуха, прямо скажу. В Москве я снёс как-то одному завмагу подарочек — он меня агентом к себе и определил. Идѣшь на работу и думаешь — больше мухлевать не буду. Хватит! А тут агента позовут на кружку пива. Где кружка пива, там и сто грамм, а потом тебе уж и море по колено!

— Видать, море достало до самых ушей. Из Москвы-то вытурили.

Машинист, не смущаясь, достал бумажник, извлѣк из него фото.

— Думаете, я всегда был такой замухрыга? Гляньте!

На фото он сидел в кресле, положив нога на ногу. Лицо самодовольное, прилизанные волосы. На руке часы, на пальце большой перстень.

Дед Шатров не выдержал, сплюнул.

— Вот видишь: человек брякает, думает восхвалиться, а того не умыслит, что всю пакость из себя мечет. — Авдей Ермолаевич глубоко вздохнул. — Был у нас ране свой машинист — мой Павка... Да, много поизвела мужиков та война. Вот и приходится обходиться с такой кадрю.

3 с е н т я б р я. Чтобы наверстать упущенное, вчера жали и в темноте. Росы вовсе не было. Но небо затянулось тяжѣлыми угрожающими тучами.

Ночью стал накрапывать дождик. Он глухо шелестел по дощатой крыше сеней. К утру чуть прояснилось. Мы с Петей принялись за переборку цепей. Сменили двадцать одно сработанное звено. Удлинили вторую очистку козырьком из жести. Он будет удерживать сходящее с сита зерно.

Вскоре подошёл трактор. Он тащил на буксире ящик с чурками. Мы пластали хлеб круг за кругом.

Приехал Парамон. Сообщил, что в Брусничном работают уже три комбайна. Кошело завалины хлебом, и его не успевают сушить. Один комбайн из Кошелей перегнали в Брусничное.

Наехали на пень, сломали один палец, крошилась вершина одного сегмента — обычные для чистин мелочи. Дольше стояли с переполненным бункером. Не хватало мешков. Хома меня убеждал: «Давай подтащу тебя к просёлку, и сыпь прямо наземь. Отвечать не будешь!»

Откуда-то подвернулся Кирилл верхом, с ружьём за плечами. Я попросил его съездить за мешками. Он замялся, сослался на то, что едет на охоту. Потом заколебался. Тут ещё помогла Варя. Она улыбулась Кириллу, и он, припав к холке коня, поскакал к точке. Через пять минут мешки уже были у ног Вари.

Пришла на точок по-праздничному одетая Михайловна. За ней плёлся Белый Боб. В двух туесах Михайловна принесла обед — мне и Солке. Мы наслаждались, уписывая свежий хлеб, ароматный и пышный, жирный суп с мясом глухаря и молоко. Поставив туеса на точок и подперев щеку рукой, Михайловна долго и восхищённо смотрела на спорую работу нашей машины.

Под вечер дождь прогнал нас в деревню.

5 сентября. После ночного ливня на хлебе образовался тёмный налёт. Жать мы начали после обеда. Несколько раз забивался нож — хлеб был сырой. На передковое колесо нарастала комьями грязь. И жать долго не пришлось. Опять поползли мутные, нехорошие тучи. Сгустилась мгла. Небо тусклое, без единого просвета, такое же, как окутанная тяжёлой мглой тайга. В деревне под навесом — вороха хлеба. Тесно. Сушилка задыхается. Глухо шуршит зерно в её барабане.

В конторе полно народу, как в зимний день. Сидят, дымят самосадом. Сейчас его много. Не то что зимой, когда платили деду Ерёмке по рублю за стакан.

Я прошу Сомова заранее обкосить кромку очередного массива. Так будет меньше задержек на объездах, огрехов, поломок, меньше будет помято хлеба. Он вяло отвечает: «Можно обжинать, а можно и не обжинать. Я сам водил комбайн и не ломал». Он недоволен тем, что вчера, в его отсутствие, мы жали. Хлеб, мол, отошёл, зёрна разбобели. И всё это надо сушить, сушить и сушить!

Щелчок жалуется:

— Прямо наказание. Задёргала молотилка. А тут ещё дождь. И на табак не заработаешь!

Дед Шатров вернулся домой. Он весь день лазил по болотам и таёжным тропам. Запущенные чистины Бобровых Ключей не дают покоя правленцам. Надо найти пути, по которым можно было бы, не дожидаясь зимы, перебросить туда инвентарь.

Михайловна торопится разжечь железную печку.

— Бросай, старуха,— говорит дед,— я и на русской печи обсушусь.

— Какая бы я была хозяйка дома, ежели бы не накормила и не обсушила свою мужика? — протестует Михайловна.

Дед снимает чирки, раскручивает портянки, выжимает мокрую фетровую шляпу.

— Верно сказано,— соглашается он.— Это самая значимая бабья должность — хозяйка дома. Но не всякая её понимает.— Сев на скамейку, он продолжает: — Вот что скажешь? Бродишь, это, бродишь по тайге, устанешь, как лешак, а как подумаешь о своём доме, так устаток будто рукой сняло. А почему это так, скажите, пожалуйста? — И сам объясняет: — Потому что, что знаешь: где-то там тебя ждут, беспокоятся, если ты долго замешкался; и щец припасут, и печку натопят, а если

кадо, и баньку разожгут. А кто это всё? Известно — хозяйка дома! А другому как? Придёт он домой, а в избе, что в погребе. Поесть спросит, а баба ему: «Ты бы ещё два дня бродяжил, щипи тебя будет ждаться». Попросят печь истопить, а баба: «Видишь, иду коров доить, топи сам». И пойдёт у них кипеть чёрная кровь, руготня. Ни она ему пуговицы не пришлёт, ни он ей не наладит чирков. Ходят оба драные и раскрытые. Да, семья! Нет, шутишь, брат, если зерно гнилое, то и колос ни к чёрту. Если семья шаткая, то и народ шаткий. Поэтому не хотел я, чтоб моя Солка с Хомкой связалась. Семья у Павлука завсегда была шаткая.

За окном шуршит дождь. Небо пасмурное. Тайга тёмная. Над сушилкой колышется тусклый свет фонарей. Стучит веялка. Доносится песня. Лениво лают собаки. Ровно дышат на полатях Кирилл и Андрюха.

Дед Шатров растянулся на лежанке. В руке — трубка. Лицо его, красное от печки, преисполнено покоя.

Солка колышет зыбку и невнятно поёт:

— Ай дуду, дуду, дуду,
Потерял мужик дугу,
Потерял и не нашёл...

Снова настаёт тишина. Опять слышно шумное дыхание людей и сонное жужжание бесчисленных мух.

С едва слышным криком пролетели на юг гуси. Они то появлялись среди мутных туч, то вновь пропадали. Надо ждать похолодания.

С полей вернулся бригадир Илья. Как всегда, он шёл со своим волкодавом. Возле отцовского дома остановился. Сел прямо на мокрую траву. Он был без шапки, в одной сетке. На нём кирзовые сапоги, военная гимнастёрка. Илья кладёт ружьё на колени, говорит:

— Молодцы наши бабы! Уже скосили восемь гектар гороха. Кабы не дожди, скоро бы срезали весь хлеб. Надо ждать заморозков.

Он встаёт и уходит, мягко ступая по влажной траве. У него гибкая, решительная походка. Сам он видный, плечистый, хватистый — человек из тайги. Волкодав вертится у его ног, затем, в избытке собачьего счастья, легко бежит вперёд.

Вчера хоть после обеда прояснилось, а нынче весь день небо в тяжёлых тучах. С утра шумит крепкий северный ветер. Тревожно колышутся подсолнухи, хмель. Качаются высокие берёзы. Но нерушимо стоит свинцовый колпак, нависший над деревней, над полями, над тайгой. Дождь то несётся лёгкой микроскопической пылью, то падает вниз тяжёлой косой строчкой. Он идёт с утра и до обеда, с обеда до сумерек. Целый день!

В короткие перерывы тайга выглядит свежеумытой, нарядной, уже кое-где расцветённая красками увядающих осин.

Никакого движения. Ни в Бураево, ни из Бураева. Деревня отрезана от всего мира. И повозка Павлука стоит у ограды оглоблями вверх.

Под вечер по тайге разнеслась песня. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...» — выводил молодой сильный голос. Я узнал Солку.

За ужином я ей сказал:

— С таким голосом поучиться бы тебе.

— Какой там голос! Наши девахи поют не хуже.

Михайловна кормила внука с ложечки. Прислушиваясь к нашему разговору, она заметила:

— Что ты, какое ученье! Мать её — вековая колхозница, и ей вековать в этом деле.

Дед Авдей надвинулся на неё:

— Откуда в Москве берутся все видные люди? Думаешь, с неба падают? А возьми, к примеру, кирюхину учительницу, Евдокию Лукьяновну. Все инженеры nonetheless выделки из народа вышли.

На улице дождь крепнул. По мутным стёклам текли нескончаемые потоки воды. Михайловна сокрушалась:

— Может всё погнить. Будем без хлеба.

Дед Шатров успокаивал её:

— Это — временное явление, старуха. Не была Сибирь без хлеба и не будет.

9 с е н т я б р я. Ночью все лужицы затянулись тонким стеклом. Оно весело позванивало под ногами.

Утро ясное. Небо чистое. Исходят голубым паром земля, заплоты, крыши изб.

Если не будет дождя, то завтра можно будет снова жать. Но после обеда вновь сгрудились тучи, налетел редкий дождь. Сомов уехал домой, в Брусничное, в баню.

После длительного перерыва прорвались к нам машины из Буреаева. Дороги раскисли, но хлеб должен быть доставлен на склады Заготзерна.

С кузнецом Романом мы налаживали новый внутренний делитель вместо сломанного. У кузнеца работы немало. Тут и детали жнейки, и болты для молотилки, и обручи, и шкворни, и ходок для бригадира Кости, и ещё много других, всё срочных работ. Но и завал не мешает ему между делом предаваться охотничьим разговорам.

— Сейчас,— говорит он,— аккурат время итти на лося. У них самая горячка теперь — воюют из-за самок. Дерутся они между собой до последнего вздоха. Дерутся и стонут. Лови только этот стон ухом и иди на него. Молодые быки, которые в силу вошедши, забивают стариков — восьми- и десятилеток. Ох, красив сейчас бык! Гладкий, шерсть играет на нём, борода кольцом. Одним только видом своим должен он матуху взять. А силища какая! Ударом копыта срезает ствол тонкой сосны. Собаки, которые знающие своё дело, норовят сцапать быка за губу. А он их гоняет, гоняет и обратно же на старое место вертается. Вот тут ты не теряйся. Иди к этому самому месту, становись от него в пятнадцать шагов и стереги. Жди и своего дождёшься! Находишься за день, правда, нет сил, ну, конечно, не зря. Выкройшь стегно, а в нём не менее как три пуда. Нет,— заканчивает он свой рассказ,— завтра же пристану к Парамону. Пусть на день, на два отпустит в тайгу!

Но пройдёт ещё не один день и не одна неделя, пока кузнец расчистит неубывающий завал работы и хмурая тайга увидит на своих заросших тропях неистового охотника.

Кузнец Роман, расставшись однажды с тайгой, уехал в Ленинград. Поступил на завод и очень быстро стал старшим мастером на тяжёлом прессе. Он долго боролся с собой и всё же не устоял перед зовом тайги — вернулся.

11 с е н т я б р я. Дождит. Кажется, нет в мире силы, способной рассеять эту неподвижную мглу. Может, права Михайловна, что с молодым месяцем придёт погожая пора. Тогда осталось ждать немного. Всего два-три дня.

У сушилки нагружались зерном машины. Колхозники судачили — примет ли пшеницу в Буреаеве? Подойдёт ли зерно под кондиции? Эту пшеницу трижды сушили, несколько раз катали по земле.

В полдень машины, возившие хлеб, вернулись с полдороги. Хлеб оставили в Брусничном для досушки. Новые партии зерна машины будут

возить туда же. Брусничное соревнуется с Бурундуками и оказывает им помощь.

Потом вдруг стало светлеть. Показалось солнце. Машины, загнанные под навес, снова потянулись из деревни, ревя шестерёнками, разбрасывая направо и налево фонтаны грязи и мутной воды.

С утра на пегой кобылёнке приехал участковый милиционер за дедом Худых. С котомкой за плечом дед явился к конторе. Счетовод Гриша готовил для него документы.

Все держались от Худых в стороне. Ерёмку никто не жалел и уж, конечно, никто ему не сочувствовал. Но несчастный вид старика удерживал всех от обычных шуток. Дед Шатров, с трубочкой во рту, подошёл к Ерёмке. Протянул ему руку.

— Ну, прощевай, кум Ерёма! Не сердчай. Как-никак, а вместе вгрызались в эту тайгу. А что касаемо заседания, таиться не буду: я требовал, чтоб твоему делу дать ход. Вот по совести тебе скажу, Ерёма: укради ты моё, я бы тебе простил. Помнишь, когда жили мы единолично, ты уволок с моей чистины воз снопов. Ну что ж, оглоушил тебя пустым кулём по калгану, и на том делу конец... А сейчас шалишь, брат... Колхозное некасаемо, понял? Не-ка-са-е-мо!

Дед Худых заморгал глазами, глубже запустил руки в рукава тулупчика.

— Согрешил, стало быть, согрешил я, кум Авдей! Неча таиться, согрешил. Смутил меня лешак нечистый,— невнятно бормотал он.

Гриша, строчивший бумагу, поднял голову:

— Твой вопрос, дед Ерёмка, ещё тяжелее с того, что ты сам сторожил. Кабы не сторожил ты...

Кто-то из присутствующих не сдержался:

— Небось, впутываться храбёр, а выпутываться трусоват!

— Тебя,— продолжал дед Шатров,— правление в доверие взяло, а ты... Это не вопрос, чтоб из-под запора не украсть...

Комбайн, затихший, почерневший от дождя, стоял у точкы, наводя тоску. Тревожно колыхались почерневшие от дождя колосья. Шумели мокрые берёзы. Они желтеют не по дням, а по часам.

Колхозницы, и с ними Солка, медленно брели с работы, чавкая чирками по вязкой грязи. Пошёл в деревню и я.

На крыльце Шатровых почтальон Андрюха с пачкой писем в руках о чём-то оживлённо толковал с отцом — дедом Авдеем.

Заметив дочь, старик шикнул. Андрюха замолчал.

Солка остановилась. Подошла к Андрюхе. Насторожённо раздувая тонкие ноздри, спросила:

— В чём дело, Андрюха?

Андрюха замялся. Затем виноватым голосом сказал:

— Вот, Соловушка... письмо Гришке. Письмо, однако, от Сеньки.

Солка побледнела.

Дед Шатров обнял её.

— Не горюй, доченька. Не терзайся. Будет и на твоей улице праздник.

Вечером, в темень, после ужина, молодёжь ходила с песнями по улице.

Гриша Буслай наигрывал на гармошке.

Петя пришёл со своей балалайкой. У кого-то в руках оказался бубен. Весёлым топотом ног открылись незамысловатые деревенские танцы.

Солка, укачивая сына, в задумчивости сказала:

— Однако, в школе вечерка.

Михайловна прекрасно понимала свою дочь.

— Сходила бы ты, Солка, в школу. Взяла бы да сходила!

Солка долго колебалась.

— Нет, мамаша, не пойду. Лягу спать!

Но долго ещё Солка не могла уснуть. Видно, небойкая мелодия гармонии тревожила её.

Прозвенели по улице колокольчики-бóтала. Конюхи погнали лошадей в ночное.

12 с е н т я б р я. Ночью родился младенец. С вечера лениво накрапывал дождик, но на рассвете тяжёлый свинцовый колпак треснул. Показалось голубое небо и на нём серебряный ноготок нового месяца.

С севера на юг западной кромкой неба ползла чёрная гряда туч, всё больше и больше оседая по мере восхода холодного сентябрьского солнца. Задул северный ветер.

Мы с полевым бригадиром Ильёй пошли на поля. Надо было самим посмотреть, каков хлеб.

К обеду небо очистилось. Хлеб посветлел. Чёрный налёт, как бы придавивший колосья к земле, сошёл.

Вернулась с молотбы Солка. По её пасмурному лицу и чуть прищуренным глазам я понял, что она чем-то расстроена.

— Что с тобой, Соловушка? — спросил я.

Солка постаралась улыбнуться. Потом нахмурилась.

— Да ду его! Совсем от него, от Хомя, жизни не стало. Раньше всё силится склонить обхождением. А сейчас жмёт напролом. А он мне нужен, как корове чирки.

И тут она рассказала, что случилось нынче на Томашовке.

В обед Щелчок, как всегда, налаживал молотилку. Солка с подружками забралась на сеновал Томашовской заимки и быстро уснула. Во сне она почувствовала на своей груди какую-то тяжесть. Очнувшись, увидела перед собой красное лицо Хомя. Не помня себя от обиды и страха, упершись ладонями в подбородок Хомя, она рывком сбросила его и, вскочив, кинулась к лазу. Но лестницы не было. Конечно, её убрал Хома. Обернувшись, она увидела его — он шёл на неё. Солка, вскрикнув, прыгнула с лаза вниз. До земли было не менее пяти метров.

— Ты ж могла разбиться.

— Видите — жива. Вот только малость охромела... Не хотелось опоганиться. Я верю, что Семён, однако, меня вспомнит.

— Чем же всё это кончилось? — спросил я.

— Ничем. Хома попервости, видно, испугался. Стоит у лаза, обняв голову руками. А напоследок, как я зашевелилась, на ноги стала, он уткнул руки в бока, усмехнулся и так нахально мне говорит: «Что ж ты, Солка, обняться с мужиком пожалела, а головы не пожалела».

13 с е н т я б р я. Небо холодное, металлическое. Улица в снегу. Снег кажется не настоящим, но это первый сигнал близкой зимы... Под ногами всё хрустит. Стены изб, ещё недавно чёрные, розовеют от слабых лучей утреннего солнца.

Ещё очень рано. На улице никого не видать. Потягиваясь, бродят, оставляя следы на снегу, деревенские псы.

Решили всё же сегодня жать. Отвезли к комбайну отремонтированное полотно. По дороге встретили Сомова. Он обещал направить к нам людей и подводы. Но прождали мы их долго и безрезультатно.

Я вернулся в деревню. В помещении конторы было полно людей. Сидели на скамьях, стояли у стола счетовода Гриши Буслая, густо дымили, присев на корточки вдоль обшарканных спинами стен.

За перегородкой, где был кабинет Сомова, раздавались возбуждённые голоса.

— Ты, Парамон, — говорил парторг, — сам уборку срываешь. Смотри, не погляжу, что свояк, потяну к ответу.

— Ну тебя, Костя,—сердился Сомов.— Скажи, на что мне твой сырой хлеб? В Бураеве неприятого хлеба вороха. С кого спросят? Чуть что, вы все в кусты, а Парамона к ответу.

— Тебе всё сырой хлеб! А под снег его подведёшь — лучше будет?

— Никто этого не допустит. Не справимся — район подкинет ещё комбайн, а мало будет — два. Чудак ты, Костя, как погляжу на тебя. На что нам возиться с сушкой, возкой? Ещё немного, и будем сдавать сухой хлеб прямо из-под комбайна.

— Вот куда ты гнёшь! — возмущался Костя. — Вот из-за таких жмотов, как ты, бабы ходят с литовками выбирать хлеб из-под снега.

Я вошёл в кабинет Сомова. Увидев меня, он с досадой сказал:

— Мало было одного, другой комиссар явился.

— Являлся и являться буду,— ответил я и тут же потребовал составить акт о простое.

Костя всё возмущался:

— Почему не выслал людей к комбайну? Комбайнёр с Петей целый день зря проторчали в поле!

— До сих пор я привык, чтобы слово председателя было и делом,— сказал я Сомову.

— Ладно,— ехидно улыбнулся Сомов.— Составим акт, но смотри! И я буду активировать каждую вашу поломку. Будешь ко мне прискребаться, и я найду к чему. Знаешь — там у вас поломки разные. Я могу найти несрезанные колоски, высокий срез, зерно в соломе, в половине. Кто из нас без греха?

Мы ещё долго спорили. Но акт всё же был составлен и послан в район.

17 с е н т я б р я. Кругом опять всё бело — повторный сигнал близкой зимы. Остались считанные, решающие дни. Это та пора, которую с нетерпением ждут комбайнеры. В эти дни не бывает росы ни на рассвете, ни на вечерней заре. Хлеб, схваченный морозом, совершенно сух.

Мы переехали на Тёплые Ключи, поближе к Брусничному. Массив ова у Тёплых Ключей стиснут со всех сторон дремучей тайгой. Чистина то идёт по пологому бугру, то стелется по его широким склонам, то сама охватывает со всех сторон небольшую рощицу, то длинным языком врезаётся в лес, то спускается к дороге. Нежаркое солнце золотит перезревшие метёлки ова, напоминающие лисью шубу в подпалинах.

Над хедером висит металлический шорох пересошей соломы, в бункере звенит отборное зерно. Мы жнём семенной овёс — чистый, породистый. «Золотой дождь».

Всё кипит, всё кружится возле машины. Не верится, что ещё недавно лил бесконечный дождь. Народная примета оказалась верной: родился молодой, обмылся в последних потоках дождя и обозначил новую пору осенней погоды.

Варя давно уже сменила прочное дно выгрузной площадки на шаткий настил копнителя.

Трудная работа требовала постоянного напряжения. Руки гудели от вил. Надо было, не выпуская вил, цепляясь за перила, тяжестью тела заставить качающуюся площадку опуститься и сбросить скопившуюся на ней солому. Ещё больше ловкости требовалось, чтобы вернуть площадку в исходное положение.

Надо, чтобы кучки соломы расположились строго в один ряд. Неумелый копильщик раскидает солому, оставит её на поворотах. Это затруднит действия агрегата на последующих кругах.

Уложенные в одну линию кучки позволяют вести счёт сделанным кругам.

Копнильщик обязан следить за работой цепей, звёздочек, решёт, хвостовой части машины. Прислушиваться к сигналам трещоток. И сразу же, когда обрывается выход соломы, давать тревожный сигнал.

А тучи мякины, колючих, как иглы, тонких остей? Всё это обжигает кожу, словно крапивой. И, как нарочно, ни в МТС, ни в аптеке нельзя найти самых простых защитных очков.

На Варю я надеялся. Ротозейство развесёлой Марины обошлось нам не в один погнутый вал. Сигналы тревоги Варя подавала ударами вил по панели комбайна. Её сигналы не раз спасали нас от поломок и связанных с ними простоев.

Сегодня ветер дул всюду. Пыль рвалась изо всех щелей и отверстий комбайна. Соломокопнитель терялся в чёрной мгле.

После третьего круга мы остановились возле точка для проверки масла.

Как только трактор, хлопая отработанными газами, остановился, Варя стремглав, с пронзительным криком бросилась на ворох соломы.

— Мамочка, я окривела, окривела!

Мы все окружили её. Солка припала к неистово вопящей девушке.

— Что с тобой?— спросила она, поглаживая Варю по спине.

— Глаз, ах ты, мамочка, глаз! Колючка, колючка попала!

Я тут же решил отправить Варю на ходке Тихона в Брусничное, в медицинский пункт. Но Солка пренебрежительно посмотрела на меня.

— Что вы,— сказала она.— Если мы со всяким пустяком будем ездить в больницу, некому будет работать.

Она опустила на колени, бережно схватила голову Вари руками и, высунув язык, стала вылизывать больной глаз. Через миг уже Варя успокоилась и улыбнулась. Меня поразила эта таёжная медицина, делающая чудеса.

— Кабы сразу встали, я бы не так мучилась,— сказала повеселевшая Варя,— а то дюжила от самой той загогулины, что у ложкá.

— Почему же не сигналила?— спросил я, удивлённый её терпением.

— Решила выдержать... Не хотела, чтоб из-за моего глаза портился наш график.

Сегодня вёл трактор Хома. Дымя цыгаркой, он свысока посмотрел на Варю и высокомерно произнёс:

— Раскисла, принцесса. Подумаешь — глаз... Проморгается!

Солка уничтожающе посмотрела на Хому и со злостью сказала:

— Эх ты, лопух!

Настал вечер. У точка уже работали при фонарях, а мы ещё жали, описывая сложные вензеля по массиву «Золотого дождя», удаляясь всё более от кромки чёрной тайги.

Вечером прибежал к нам Вася Бараканчик. Он был в новых штанишках и, несмотря на жару, в новенькой ватной фуфаячке. Сразу я его не узнал. Он прибежал из деревни, специально чтобы похвалиться своими обновами.

— Мачеха вернулась. Это она мне купила. Да, да, мачеха, ну, верно, мачеха!

— А кого привезла мамка — мальчика или девчонку?— поинтересовалась Солка.

— Братишку!— радостно выпалил Вася.

18 с е н т я б р я. В полдень по бураевской дороге из-за черёмушника показался знакомый нам длинный ходок. Прислонившись к бочкам, сидели на нём Павлюк и какой-то военный в фуражке пограничника. Приблизившись к нам, Павлюк остановил лошадей.

Пограничник, ловко соскочив с ходка, направился к точке. Все, кто был на точке, с криком «Сенька!» бросились ему навстречу. Солка, выгружавшая зерно, вскинула голову. Она выпрямилась, сделала движение вперёд, но не побежала, осталась на месте. Спокойно вытерла руки о свой голубенький передник и стала ждать.

Пограничник заторопился и бросился к Солке. Я увидел, как у Солки просветлело лицо. Они обнялись. Это был её муж — Сеня Буслай. Буслай смотрел на Солку восхищёнными глазами. А она протянула руку и осторожно погладила его начищенные медали. Буслай виновато улыбнулся. Его улыбка и чуть вздёрнутый нос напомнили мне счетовода Гришу. Семён был только выше и плечистей. Лицо его было гладко выбрито.

— Я ждала и не ждала тебя, Сеня, правду скажу.

— Что, не рада?

Солка сдержанно улыбнулась.

— А почему столь долго молчал, а, Сеня?

Буслай опустил глаза. Стал теребить пуговицы мундира.

— Слышала я, твои ждали тебя лишь на святки. Как это тебе удалось?

— К своему роду по горло в воду! — немного осмелев, рассмеялся Буслай.

Сменив шатун, мы тронулись в хлеб. А Солка с Буслаем уселись рядышком на ворохе.

Мы дожинали массив.

Когда Буслай с Солкой шли в деревню, их у поскотины встретила шумная орава во главе с Алексахой-Чапаем. У околицы собралось всё население Бурундуков, вплоть до самых древних граждан деревни.

Рассказывали потом, что Павлюк, отвозивший днём чемоданы Семёна, не знал, куда доставить его добро — в избу Буслаевых или к Шатровым.

Дома, расцеловавшись с Михайловной, Семён поспешил к зыбке. Нагнувшись, он долго смотрел на спящего сына. Солка подняла ребёнка, передала его отцу. Буслай сиял. Засветились лица Солки, Михайловны и всех людей, наполнивших шатровскую избу.

Деда Шатрова не было дома. Вместе с мари́йцем Касьяном он ушёл в тайгу. Там строился переход через болото, преграждавшее путь к Бобровым Ключам.

Уже поздно гости стали расходиться. Остались только свои. Буслай раскрыл чемодан и стал доставать подарки. Он никого не обошёл. Перед Солкой он развернул чёрное шёлковое платье, достал лаковые туфельки, берет и много всякой мелочи. Затем распечатал коробку с чулками «капрон». Это была мечта бурундуковских модниц. Солка, смущённо улыбаясь, всё приговаривала:

— Сеня, зачем ты так много потратился!

— Моё дело тратиться, твоё дело на здоровье носить!

Ульяна Михайловна с нескрываемым любопытством поглядывала на второй чемодан. Солка делала вид, что не замечает его. Наконец Буслай приподнял крышку, и глазам представилась полированная поверхность ящика. Это был радиоприёмник «Родина». Там же находились и батареи к нему.

— Это радио. Москву будем слушать, — сказал Буслай многозначительно и, закрыв чемодан, приказал брату, счетоводу колхоза: — Тащи, Гриша.

Оба они направились к выходу.

— К своим старикам уволок, — горестно произнесла Михайловна. — Там они и будут радио слушать.

— Он хозяин, — ответила Солка. — Где желает, там и становится.

Михайловна, смеясь, вспомнила, как задолго до войны она зашла в контору МТС получить зарплату сына — машиниста Павки. Ждала кассира. Вдруг репродуктор заорал какую-то песню. В испуге она кинулась вон. Когда её успокоили, вернув в контору, она ещё долго с опаской поглядывала на гремевшую человеческими голосами чёрную тарелку.

Буслай с братом пошли не в избу своих стариков. Они направились к колхозной конторе. Здесь с помощью Гриши Семён установил приёмник. В конторе послышался голос московского диктора.

Сомов, бывший в конторе, распахнул настежь створки окна. Под окнами стали останавливаться колхозники. Подошли случайно оказавшиеся рядом смолокуры, которые далеко за деревней, в тайге, гнали дёготь для колхоза. Насквозь прокопчённые, они внимательно прислушивались к голосу Москвы.

Дед Шатров любил говорить: «Вот провели тут сибирский железный тракт. И ровно подняли фонарь над головой. Конечно, тех, что поближе, осветило больше, а нас — как-никак двести двадцать верстов — только краешком света прихватило».

В Бурундуках ещё не было ни электричества, ни радио, ни телефона, и только раз в две недели, совершая кольцевой маршрут, заглядывала сюда кинопередвижка.

Сомов пожал руку Буслаю.

— Ну, за радио тебе спасибо. От всего народа спасибо.

В помещении было сине от дыма. Уже трудно стало дышать.

19 сентября. У Михайловны опять собирались гости.

Солка стала неузнаваема. Её крупная фигура обтянута шёлком. Красиво и гордо поднялась голова, украшенная золотистой короной волос.

Заскочила Дарья. Осмотрев Солку с головы до ног, с деланным восхищением заахала: «Картинка, ну, впрямь картинка, ё-моё».

Семён был явно счастлив. Он сам, рослый, плечистый, с беспокойным зачёсом густых смолистых волос, был под стать красавице Солке.

Гости, весело поглядывая на Семёна Буслая, затаили:

Ты, хозяин наш, да, да,
Ты, кудрявый наш, да, да,
Ты кудрями потряси
И нам чарку поднеси.

Выпито было немало. И закуска была обильная. Кирилл подстрелил барсука. Да ещё не вывелась и солонина от телка, задранного волками.

— А как там начальство, Сеня, не обижают вас? — спросила мамаша Буслая.

— Что вы, мама! Сибирякам в армии большой почёт.

— Это верно, — подтвердил дед Шатров. — И в старой армии так было — сибиряку кругом наше почтение!

Старуха бережно разломилла шанежку и, разглядывая её, обратилась к Михайловне:

— Добренькие ты, сватья, состряпала шанежки. Мои и то не такие корыстные...

— Знамо дело, — остановил её старый Буслай, — из одной мучки, да не одни ручки...

Бригадир Илья был счастлив за любимую сестру. Расплёскивая вино из зажатого в руке стакана, он, качаясь, порывался говорить:

— Товарищи!.. Если это... ну, как там... взаимное отношение, то вы сами понимаете... э-э... оно должно всё-таки, выйти раз на раз... потому как товарищество между нами должно быть прежде всего...

Ему хлопали. Дед Шатров улыбался.

— Илюха хоть и того, а путное говорит.

— Ермолаич, а Ермолаич,— обратился к хозяину Сомов, протягивая ему гармошку,— пошевели мехами, что ли! Тряхни стариной!

Дед Шатров взял инструмент.

Мимо сада городского,
Мимо рубленых хором...—

запел он чистым и звучным ещё голосом. Михайловна подтянула:

Шёл Ванюшка, парень бравый,
Перереженный купцом...

К ним присоединились и остальные. Голос деда Шатрова гудел, как орган.

— Вот спасибо, Ермолаич, уважил,— поклонился хозяину Парамон.— Ты, однако, большой артист!

— Был конёк, да изъездился. Когда-то мы с моей старухой звенели по всей волости.

Михайловна с просветлённым лицом обвела глазами гостей.

— Грех жаловаться, добрая нынче жизнь пошла, слава богу. А что было в войну — лучше не вспоминать. Прожили день, и слава богу. Так и жили.

Искоса взглянув на Михайловну, дед Шатров растянул гармонь до отказа и весело запел:

А вы, бабы, не форсите,
По три юбки не носите...

20 с е н т я б р я. Немного всё же поспать удалось после гостей. Рано утром выехали в поле.

По дороге Варя рассказала, что у колодца судачили о Буслае, о его подарках, о Солке. Дарья сплетничала: «Теперь, ё-моё, наша командирша хвост задерёт. На поле её и арканом не затынешь. Видали, кака обнова на ней? Шёлк!»

Солка в положенное время пришла на точок. Семён с ружьём направился к отцу, на пасеку, где и сам раньше работал.

Бункер быстро наполнялся пышным, увесистым зерном. Каждое зёрнышко пухлое, с вмятиной посередине, точно свежая сайка в миниатюре. Если цвет ячменя — латунь, то пшеница отлиывает красной, насыщенной медью.

Мы двигались по кромке поля. На хедерный валик наматывалась толстая катушка сорняков и дикого гороха. Мы их удаляли ножом.

Чётко работал наш мощный завод на колёсах. Первый его цех — силовой двигатель, второй — жатка, он жнёт, третий — молотилка, молотит. Бесперебойно обслуживает цехи внутренний транспорт — полотно, питающий транспортёр, транспортёр вороха, элеваторы.

Мы ещё не сделали круга, а бункер уже был полон зерна. Я ликовал — так, пожалуй, до обеда сделаем норму.

Варя, с сияющими сквозь налёт мякины пунцовыми щеками, радовалась:

— Какая она умолотная, эта пшеница!

Мы переехали на очередной пшеничный массив. Он находился в полукилометре от «Берёзок». Участок был неровный, в подъёмах и спусках, особенно по его кромке, примыкавшей к тайге. Вёл комбайн Хома. Он

был задумчив и угрюм. Как и его отец, он всегда выглядел хмуро. Но сегодня это было заметнее, чем обычно.

Хоме не везло в сердечных делах. Рассказывали, что в молодости он дружил с одной девушкой, но приехал в Бурундуки механик из МТС и увёз её. После этого Хома сблизился с Мариной. Женился на ней. Тут началась война. Хома пошёл в одну часть с Ильёй Шатровым. В окружении их часть разбилась на группы. Илье удалось пробиться к своим, а Хома попал в плен. Трижды он бежал, и трижды его вновь бросали в лагерь. Лишь железная его натура, закалённая тайгой, помогла ему выжить там, где погибли многие, менее выносливые.

Он вернулся домой. А дома его ждало ещё новое огорчение. Марина сошла с каким-то сержантом. Сержант этот был из затерянной в тайге чувашской деревушки, славившейся своими пасаками. Хома махнул на Марину рукой. Но вскоре и сержант, узнав о его возвращении, ушёл от Марины в тайгу, на свои пасеки. Марина осталась одна. А бабы смеялись: «Из двух зайцев не осталось ни одного».

Хома решил взять в дом хорошую хозяйку. Он имел в виду Солку. Хома не сомневался в успехе: мужиков в деревне мало, к тому же он и тракторист, не рядовой колхозник, да и Илья — его кореш — поможет ему. То, что он старше Солки на десять лет, его не смущало.

Теперь приехал в отпуск Семён Буслай, и всё рухнуло.

Хома был вовсе подавлен. Буслай молод, старшина, конечно, денег у него — ворох. А ведь даже не счетовод, как Гришка, и не бригадир, как Илья, и не тракторист, как он, Хома. А выскочил в люди.

Хома непрестанно курил. Казалось, лишь рычаги несколько отвлекали его от невесёлых дум.

Комбайн со звоном и грохотом сползал с бугра в ямы и снова по колдобинам лез на бугор. Возникший вдруг резкий лязг металла заставил нас остановиться. Ударные нагрузки, выпадавшие на пальцевой брус, по которому ходил нож, превосходили запас его прочности. Брус треснул в наиболее слабом месте.

Эту поломку нельзя было отнести за счёт Хома: он был слишком подавлен своими мыслями и ему было не до лихачества.

Сняв шапку и склонившись над сломанной жаткой, он огромной лапой скрёб свою голову.

Глядя на озабоченное лицо Хома, я вспомнил об одном эпизоде. Когда мы вели комбайн из Бураева в тайгу, ночь застала нас под Кошелями. На высокой и узкой плотине нам встретилась машина. Пришлось посторониться, и одна гусеница трактора повисла над плотиной. Трактор вёл Кирилл. Растерявшись, он не знал, как ему поступить: малейшее движение — и трактор мог угодить в трясину. Тогда за рычаги сел Хома и вывел трактор вместе с комбайном.

21 с е н т я б р я. На рассвете вернулся Петя, посланный за летучкой. Он едва стоял на ногах. Летучки на месте не было. Не оказалось её и в Кошелях.

Костя предложил везти брус в МТС. Три машины с пшеницей вот-вот уйдут в Бураево.

У машин стояла Михайловна и просила Сомова взять её с собой. Парамон устроил её в кабине шофёра.

На машине мы подъехали к комбайну. Погрузили брус — пятиметровую махину. Подложили под него доску, чтобы он не прогибался через задний борт. Увязали верёвками, пустив от них растяжки к бортам.

Утренник давал себя знать. Не сошёл ещё иней с деревьев. Было пасмурно. Холодный ветер резал уши и лицо — впору влезать в шубу. И только теперь, удаляясь от деревни, можно было увидеть, насколько

изменился за последние дни облик тайги. Она вся была охвачена огненно-жёлтыми красками. Пламенела дальняя гряда осинника.

Две машины пошли в Заготзерно, а наша свернула к усадьбе МТС.

Через окно мастерской втащили брус под сверлильный станок. Чтобы приварить накладку и заклепать её, времени нужно было немного.

Я направился к складу, где разгружались наши машины. Итти пришлось через базарную улицу. В доме у почты играл патефон. Слышны были грустные слова какой-то песни. И вдруг я увидел, что рядом с домом, припав головой к телефонному столбу, горько плачет женщина. Я узнал Михайловну. С каждой новой строфой песни рыдания её усиливались.

Я подошёл. Положил руку на её плечо. Михайловна встрепенулась и утихла. Кончиком головного платочка вытерла слёзы.

— Ничего, милый мой, ничего, — заговорила она. — Дюже жалобно заиграли. Да ты не прислухайся до моих слёз. Нам, бабам, поплакать на пользу. Всю досаду смывает.

Успокоившись, она заторопилась:

— Мне ж то надо в большой магазин. Чего доброго, опоздаю. Полудничать уйдут. И выйдет, что зря трясла свои старые кости. Солка-то у зерна, а меня упросила подобрать обнову для Варьки. Подарочек ей метят Солка с Семёном.

Через час мы уже возвращались в Бурундуки. В машине оказалось много пассажиров: грузчицы зерна, пастух Бараканчик, ездивший по своим делам в район, Анна — дочь деда Худых, возившая отцу передачу. Мы настлали на брус соломы, уселись на него, чтобы его меньше кидало. Но и это, особенно в бору, мало помогало. Пришлось лечь ничком, прижимая брус ко дну при толчках. Порой казалось, что полетят не только угольники бруса, но и наши собственные рёбра.

Прислонившись ко мне, Анна рассказывала, сколько она накопает картошки, сколько хлеба получит на трудодни. Хвалила свою корову, своих овец. Вздыхала, что нет хозяина в доме. Сколько неизбывной бабьей тоски было в этом бесхитростном, наивном рассказе!

Наконец показались и Бурундуки, маленькая деревушка, отвоевавшая у тайги вот эти куски земли — чистины: «Полтора поля», «Шукинские поля», «Бобровые Ключи», «Медвежью гарь», «Березники», «Яшкину могилу», «Томашовку»...

Над избами, как бы призывая домой, к очагу, уже поднимались вечерние дымы.

22 с е н т я б р я. Вчера, после наладки бруса, комбайн перевезли на «Яшкину могилу». На поле, среди кустов орешника, возвышался бугорок с почерневшим, покосившимся крестом. Сомов рассказал мне историю этого грустного памятника, затерявшегося среди бурундуковских чистин.

На таёжной заимке жил богатей. Его работник Яков, когда кончился контракт, потребовал расчёта. Хозяин попросил батрака съездить с ним в последний раз в лес за дровами. На дорогу они хорошо закусили и выпили. Из лесу хозяин вернулся один.

Спустя пять лет дочь хозяйна рассказала партизанам о преступлении отца. Нашли могилу батрака. Поставили крест. Дети хозяйна разбрелись кто куда. А больше пристали к Колчаку.

— А дочь? — спросил я Парамона.

— И сейчас ещё работает няней в детдоме. В Буреаве. Старушка, дряхлая. И замуж не выходила. Всё помнит Яшку.

На виду у «Яшкиной могилы» мы кружились весь день. Был конец сентября, но овёс на этом участке не совсем ещё созрел. Часть зерна уходила в полову. Тихон сокрушённо вздыхал:

— Наши блины, блины наши уходят, комбайнер.

Я изменил колебание решёт, силу и направление дутья. Через круг подозвал Тихона. Показал ему результат. Он улыбнулся. Ведь и он был одним из хозяев и этих полей и этого хлеба.

Наш «Коммунар» вёл себя сегодня очень хорошо. День стоял тёплый, погожий. Пришёл машинист Щелчок. У него не ладилось с молотилкой. Он стал жаловаться Сомову на подшипники.

— Прямо наказание. Лучше бы я себе ногу поломал, чем согласился стать на эту работу.

Сомов холодно посмотрел на него.

— Знаешь, Фомич, кто не умеет танцевать, тому каблуки мешают.

Костя встал. Взял свою бригадирскую сумку с инструментами и, позвав машиниста, направился к молотилке.

Вернулись в деревню уже в потёмках. Дома, на широкой деревянной койке, спал Семён. Солка с мальчиком на руках стояла возле него.

— А ну-ка, Сеня, потормоши отца. Наддай ему хорошенько.

Малыш захватил обеими руками густые пряди отца.

Дед Шатров сказал с укором:

— Дай же человеку поспать. Пусть хоть здесь выспится. Понимать надо, что такое строевая служба. Вот когда я служил в ефрейторах...

— Тоже мне, Ермолаич, скажешь! Ты был солдат, а наш Сеня — старшина! — вмешалась Михайловна, ладившая двойные рамы. На подоконниках зеленел свеженарезанный мох, по которому были раскиданы крупные ягоды брусники.

— Ладно, ладно! Мне не довелось, а мой внук обязательно до полковника достигнет. Вспомните мои слова!

Будущий полковник продолжал драть за волосы отца. Буслай проснулся, схватил парнишку и, подбросив, опустил на пол.

— Ну, раз побудил, так пляши.

Малыш, стоя на одном месте, размахивал ручонками, смеялся и что есть мочи бил ножкой об пол.

— Глянь-ка, глянь! — таяла от радости бабка.

— Да, бойкий мужик, бойкий! — заявил довольный дед.

— И верно, должно быть, полковником будет, — смеялся Буслай.

— Ты чего смеёшься? Наш сибиряк, что хмель. Ты ему только палку приткни, а он уж сам выберется куда надо.

В избу вошли Сомов и Илья.

— Парадный мальчик. Ничего не скажешь, — залюбовался малышом Сомов.

— Богатырь. Это тебе не волк начихал! — загордился дед.

Илья, улыбнувшись, негромко произнёс:

— Говорят, что мальчики похожи на братьев матери. Значит, в меня.

— Ишь ты, куда загнул! — усмехнулся дед, набивая свою обгоревшую трубку.

23 сентября. День выдался жаркий, хотя с утра пришлось работать в телогрейке. Жали мы то же поле, что и вчера. За вчерашний день массив сильно убавился.

С нами на комбайне находился в качестве гостя Семён Буслай. Он был в стареньких брюках навывпуск, помятых чирках, полинявшей рубашечке с недействующей молнией. Вместо кепки — сетка от мошкеры. Это был его старый рабочий костюм пчеловода.

В поле много кустов и колод, обросших пыреем, осотом и ягелем. Всё время приходилось менять направление, описывая то крутые, то пологие дуги вокруг этих осточертевших зарослей.

В одном месте Хома, поддавшись своей дурной склонности, засвоевольничал и помял большой клин пшеницы. Сослался на то, что боялся наехать на пень. Я приказал ему остановить трактор, отцепил комбайн и заявил:

— Я с тобой работать не буду!

Хома засопел. Полез в карман за кисетом. В раздумье скрутил толстую цыгарку. Подымив, глядя исподлобья, угрюмо пробормотал:

— Ну, поедем, что ли?

Он боялся бригадира Жости. К тому же на штурвальной площадке находился Семён Буслай. И это, конечно, лишало равновесия Хому.

Когда мы снова двинулись, Буслай сказал улыбаясь:

— Узнаю Павлюка — хомкиного папашу. Норов у них один!

Мы разговорились с Семёном.

— А как Солка? С вами уедет? — спросил я.

— Пусть поживёт у стариков, сынишку нужно поднять. А я кончу службу и приеду сюда.

Я спросил:

— Почему же вы ей не писали? Она ведь мучилась.

Буслай сдвинул брови.

— Лопух я, прямо скажу. Мечтал после службы податься в большой город, городскую девчонку взять. Там прогреметь. — Он немного помолчал. Потом, искоса взглянув на меня, сказал: — Да ведь и в тайге дела невпроворот. А такую, как моя Солка, ни в одном городе не сыщешь.

Буслай вдруг встрепенулся. Перегнувшись через штурвальный вал, протянул вперёд руку. На пути движения комбайна, прикрытая густым хлебостоем, торчала суковатая коряга. Но и Петя, следовавший впереди трактора, во-время заметил её. По его знаку Хома послушно объехал корягу.

— А знаете, — сказал я Семёну, — у вашей Солки талант большой!

— Это вы насчёт её голоса?

— Да. По-моему, редкий у неё голос.

— Не такой уж он у неё выдающийся. А впрочем, кто его знает! — Он неуверенно повёл плечом.

Мы приближались к точке. Подвязанная красным платочком, копошилась у вороха Солка. Она выпрямилась во весь рост и, улыбаясь, подняла руки. Её лицо светилось больше обычного.

— Ну как, Сеня? — крикнула она. — Видал ты такое раньше в Бурундуках?

— Да, вороха, что горы. Тебя за ними и не видно.

Мы дожали пшеницу, и Хома переправил нас на новый массив. Он располагался на приподнятом плато, с которого открывался вид на все чистины, бравшие начало у его подножия. На одном поле чёрными шатрами раскинулись копны гороха. А дальше, у берёзовой рощицы, вытянулись зароды сена. Справа как на ладони виднелась молотилка. Нескольких волокуш подвозили к ней снопы. У займки, едва видимой из-за лиственниц, бродили стреноженные кони. В ложке, у самой тайги, пестрело пятнистое стадо, охраняемое Бараканчиком и полдюжиной огромных собак. У самого подножия плато девушки собирали семена многолетних трав. По дороге, подгоняя рябую кобылку, медленно плёлся заправщик дед Антон со своим пустым возком. Проплыли две машины с пшеницей по дороге в Брусничное.

На поле у займки, с которого мы недавно срезали овёс, уже лоснились на солнце перевёрнутые пласты почвы. Выбрасывая из трубы голубой дым, шёл колёсный трактор, волоча за собой трёхкорпусный плуг. Рядом с нами, на опушке тайги, старики валили лес — из него будут гнуть полозья. Там мелькала чёрная фетровая шляпа деда Шатрова.

Мы проработали часов до трёх, затем пришлось остановиться. Масло было на исходе, а заправщик не появлялся. За автолом послали Петю в деревню. Кирилл, заглушив трактор, полез на выгрузную площадку и устроился возле Вари, положив ей голову на колени. Варя густым гребнем стала расчёсывать его каштановые волосы. Кирилл, зажмурив глаза, блаженно улыбался.

Пётр вернулся. И в деревне не было масла. Возчика Павлюка из Бураева с автолом ждали лишь ночью. Я пошёл за автолом к молотилке. И здесь его не оказалось.

У молотилки было много народу. Колхозницы закусывали, запивая обед молоком прямо из горлышек бутылок. Кузнец Роман и плотник Касьян откидывали солому. Соболь тёрся возле Анны, дожидаясь куска. Кузнец, взглянув на собаку, рассмеялся:

— Крепко же подкузьмил Соболь Ерёмку!

Дарья, отойдя от соломы подальше, завернула цыгарку. Закурив, пустила густой дым. Повернулась ко мне:

— Что, чумазый, и ты, ё-моё, не работаешь?

Анна протянула мне зеркальце. Я посмотрелся в него. Невольно улыбнулся. Видны были только белки глаз и зубы. Лицо по цвету не отличалось от чёрной спечовки. Анна засмеялась.

— А я, — сказала она, — думала взять тебя за хозяина! Да разве такого возьмёшь?

— Бери, Анна, бери! — крикнула Дарья. — Поведём его в банку, как-нибудь облупим с него мазут.

— Да, — мечтательно сказала Анна, — вот надо дрова завозить, сено готовить. Это всё — дело хозяина.

— Что ты, Анна, заливаешь! Знаем, ё-моё, каки дрова, како сено!

Загудел трактор. Взревела молотилка. Замелькали над барабаном снопы. Шурша, полетела солома. Взвихрилась пургой полбова. Люди и кони, шкивы и ремни, зерно и солома дружно тронулись с места. Всё двинулось в бурном ритме молотбы.

Я вернулся к комбайну. Издали услышал глубокий голос Солки. Она сидела на перевёрнутом медном ведре и тихо напевала:

Между небом и землёй
Песня раздаётся...

Увидев меня, она встала и принялась подметать точок. Я спросил Солку, откуда она знает эту песню.

— У нашего Ильи пластинка такая есть к патефону, — смущённо объяснила она.

На площадке Кирилла и Вари не было. Они шептались в кабине трактора. На их месте сидела напарница Вари и тем же густым гребнем расчёсывала волосы чумазого Пети.

Масла всё ещё не привезли. Кирилл, спросив разрешения, отцепил трактор и уехал к заимке пахать. Наш «Коммунар» с неподвижным мотором, словно в оцепенении, застрял в овсе.

После коротких сумерек пришла ночь, хотя было всего шесть часов пополудни.

27 сентября. Вернулось ненастье. Небо снова серое, скучное. Ночью шёл дождь. Дождь и холодный северный ветер. И с утра брызжет мелко, надоедливо. Совершенно порыжевшая тайга дымит.

У колодца напротив конторы полыхал костёр. В большом котле бурлит вода. Животновод готовит пойлó для телят. Вокруг костра собрался народ. Колхозники обступили Гармаша, вновь заглянувшего в Бурундуки. В последние дни уборки он сюда зачастил.

Илья, угрюмый, говорит:

— Да, погодка, чёрт бы её взял! Нынче ни жать, ни молотить не придётся.

— Куда там! — соглашается с ним Парамон Сомов.*

Дед Авдей сокрушённо вздыхает:

— Хлеб, чего доброго, начнёт гореть. Пробовал я черенком проткнуть — не идёт!

— Сегодня же с утра надо разгортать пшеницу, — обращается Гармаш к Парамону. — Она у вас подмокла за ночь!

— Ну уж нет, — заверяет его дед Шатров. — Зерно укрыто соломой. Правда, некорыстное это укрытие!

— Солома соломой, а надо ставить над ворохом навес. Вот-вот выпадет снег. Всё придавит. Что вы будете делать тогда? Литовки в руки — и пошёл?

— А ещё будет ведро, — заявляет дед Шатров, похлопав себя по коленкам. — Мой барометр редко промашку даёт!

Сомов говорит Павлюку, ездившему в Бураево за горячим:

— Передохнул, Степаныч, собирайся. Пойдём все к молотилке, навес будем ставить!

— А ещё что? — недовольно отвечает Павлюк. — Ночь ехал, замучился. Теперь опять. Совести у вас нет.

— Я ночь сторожил, однако иду! — говорит дед Шатров.

— Ты же, Степаныч, ехал, а не шёл, — пробует убедить Павлюка Илья.

Но Павлюк не сдаётся:

— У меня и дрова не навезёны. И скот без сена стоит. Всё едешь и едешь. Чтоб оно сгорело, это горючее.

— Опять дрова, сено! — смеётся Парамон.

— Дрова, сено, — повторяет Илья смеясь. Улыбается и Гармаш.

— Да ну вас, — машет рукой Павлюк. Затем подходит к парторгу Косте.

— Ну, как скажешь, итти мне, что ли?

— Конечно, итти, Павел Степаныч!

Павлюк послушно идёт домой собираться. Костю он слушается.

Не только Павлюк, но вся деревня шла к Косте со своими жалобами, требованиями, нуждами. Все знали, что он никогда ничего не скажет зря, не наобещает, когда нельзя выполнить обещанного, не назовет того, что не нужно делать, не спросит за то, за что спрашивать нельзя. Обращались к нему с жалобами на Илью, а то и на Сомова, просили его помощи, когда имели дела с властями, во всех важных случаях спрашивали его совета.

Мы идём к молотилке. Почти все мужики деревни. С лопатами, пилами, топорами. Над огромными ворохами пшеницы к полудню вырастает просторный навес. Щелчок суетится, волочит срубленные Ильёй стяжки и подпорки, на ходу бросает игривые шуточки. На перекуре рассказывает анекдоты.

— Эх мелешь день до вечера, а послушать нечего. Где ты их берёшь, эти охальные сказки? — сплёвывает дед Шатров.

— Почему охальные? — Щелчок отошёл обиженно.

Туман исчез. Показалось солнце. Земля стала нагреваться. Барометр деда Шатрова предсказывал верно.

Но это уже последнее, скупое солнце. Под вечер с тревожным криком над Бурундуками пролетел косяк диких гусей. За ними появятся и другие косяки. И тогда — зима!

Опять загудела молотилка. Молотить будут всю ночь.

28 с е н т я б р я. Я встал перед рассветом. Но Михайловна уже была на ногах. Она готовила завтрак. И Семён, хотя ещё было темно, сидел на низенькой скамеечке и ладил солкины чирки.

В таёжных деревнях блюдётся нерушимый обычай. Мужчина обязан чинить для семейства чирки, зато ни один мало-мальски уважающий себя хозяин не пойдёт к колодцу за водой. Это обязанность женщин.

Пока мы заправляли комбайн, стало светать. Лошадь, жевавшая рассыпанный на выгрузной площадке овёс, запрядала тревожно ушами. Далекий невнятный вой доносился с опушки тайги, со стороны «Яшкиной могилы». Были волки.

Сегодня мы убрали массив семенного овса — сорта «Золотой дождь».

День был солнечный. Не переставая, дул сильный юго-западный ветер. Овёс тяжёлым звенящим потоком сыпался в бункер.

На грузовике приехал Анатолий Фёдорович — секретарь райкома. С ним — старший механик МТС. Анатолий Фёдорович, взглянув на полотно, покачал головой и спросил:

— Как вы на нём работаете?

— Очень просто, — ответил я. — Ночью ладим, днём работаем.

— Когда же вы спите? — спросил Анатолий Фёдорович.

— Отоспимся после уборки, — сказал я. — Ждать, кажется, осталось недолго.

— Как Сомов, не держит вас? — поинтересовался секретарь райкома.

— Не то что не держит, — ответил я. — А сам подталкивает — хлеб и зрелый и сухой.

Анатолий Фёдорович усмехнулся.

— Значит, — сказал он, — то, что мы ему на бюро подсказали, пошло в толк.

Солнце пекло. Всё было залито его мягким светом. Это были последние осенние дни, последнее солнечное тепло. Ярко освещённый массив зрелого и высушенного до предела овса больше прежнего напоминал лисью шубу — золотистую, в красных подпалинах.

За весь день, помимо положенных остановок, дважды прерывали работу ненадолго — капризничало большое полотно. День мы закончили с большим перевыполнением.

Закончив день, решили хорошенько попариться в бане: это лучшее средство избавиться от зуда. В последние дни мошकारа просто неистовствует.

В деревне не видно ни одного огонька. Ни песен, ни смеха, ни затаённого шёпота. Стучала лишь веялка на подтоварнике. Сейчас не до песен. В эти дни вся деревня валилась с ног от усталости.

Дома Михайловна качала внука. Солка ещё не вернулась из Буреава. Она поехала провожать мужа. Его отпуск кончился.

29 с е н т я б р я. Продолжаем уборку «Золотого дождя».

Большое наше полотно доживает последние дни. Оно уже клёпано-переклёпано, латано-перелатано. Каждое утро приходится налаживать его. Перепревшие ремни не держат заклёпок.

Часть полотна у ножа от трав и сырого хлеба мокнет и вытягивается. На ночь мы полотно увозим в деревню для просушки.

Сегодня появилась летучка. Завидя её, я подумал: «Ну, наконец везут полотно».

По моей команде агрегат стал. Пока вышедшие из летучки механик и редкий здесь гость — главный инженер края — беседовали с Кириллом, я проверил воду в радиаторе, масло, пощупал основные подшипники.

Инженер, маленький, сутулый, с бледным высокомерным лицом, проверял масло в поддоне воздухоочистителя. Вытянув вперёд, чтобы не запачкаться, измазанные автолом руки, скомандовал трактористу:

— Сними масляный фильтр!

Я возразил:

— Фильтр снят не будет!

— Это кто? — спросил инженер, бросив на меня гневный взгляд.

— Комбайнер, начальник агрегата, — ответил механик.

— Снять фильтр! — ещё строже распорядился инженер. — Я здесь старший.

Механик, улыбаясь, шёпотом предостерёг меня:

— Что вы, что вы, это же главный инженер края.

Я громко ответил:

— Пусть был бы даже министр. Здесь, на агрегате, министр я. Кирилл, — строго приказал я трактористу, — фильтр не снимать!

— Как это так? — возмутился инженер.

— Мы стоять не можем, хлеб не ждёт, — сдерживаясь, сказал я. — Вы фильтр можете проверить после работы, ночью, или же утром, пока ладятся машины.

И я скомандовал:

— Кирилл, Петя, по местам!

Механик снова шепнул:

— Смотрите, Михаил Алексеич. Он человек внимательный!

— А сколько вы убрали? — поинтересовался инженер.

— Ещё один круг, полгектара, — и будет сезонная норма.

Инженер, сорвав пучок полыни у обочины, стал вытирать руки. Потом вдруг улыбнулся и сказал мне:

— Хоть и оконфузили вы меня, а всё же вы правы.

Трактор тронулся с места. Загудел деловито комбайн.

Полотно мне всё же не привезли!

Вечером мы переехали на другое поле.

Работали с шести до девяти часов вечера в абсолютной темноте. Задняя фара «Алтайца» бросала свет на жатку, на его мотовило и на узкую полоску хлеба перед ним.

Машина, окутанная густым мраком, ритмично отбивала всё одну и ту же гамму, сплетённую из огромного числа разнохарактерных звуков. Все работали молча, с напряжением.

1 октября. Итак, кончился последний осенний месяц. В октябре обязательно приходит зима. Её может не быть день, два, неделю, но придёт она в этом первом зимнем месяце обязательно. А в колхозе есть ещё хлеб на корню.

Все люди в сборе. Солка вернулась из Буряева. Приехал Парамон. Подошёл Илья. Солка рассказала, как она проводила мужа. Улучив момент, она подошла ко мне и доверительно сообщила:

— Я, однако, свой голос проверила.

— Как так?

— Да очень просто. Зашли с Сеней в Дом культуры. Там главному, который по хору, я спела. Спела «Жаворонка», «Рябину».

— Ну и как? — заинтересовался я.

Она смутилась и почти шёпотом ответила:

— Очень похвалил. Только, говорит, учиться надо.

Комбайн уже шёл по третьему кругу, когда откуда-то вывернулся Тихон — Мамина кроха и обратился к Сомову:

— Парамон, а ты всё-таки скажи...

— Что тебе сказать? Получил штраф, и за дело.

— Что же я — лодырь?

— На охоту ходить не лодырь.

— Не думайте, что Тишка самый последний колхозник. И не располагайте, что штраф меня напугал. Ты лучше скажи, Парамон, как там подсчёт? Слух был, что вы давеча в конторе подсчёт делали?

— По килограмму уже получил? — спросил его Парамон.

— Ну!

— Так вот, ещё килограмм намечается!

Илья добавил:

— Намечается, да только, видишь, вон какие ещё скирды пшеницы стоят. И горох не весь обмолочен. Его по полкило, а то, может, и больше набезит, молоти только.

Трактор стал. Кирилл выскочил из кабины. Схватил подготовленный мешок чурок и потащил его на себе.

Тихон сошёл с комбайна и стал хвалиться:

— Слыхали, девки, Парамон обещает по три кило. Уж хромовые сапожки я себе оторву обязательно.

— От тебя и разутого все девки с ума сошли, — засмеялся Сомов.

Варя серьёзно сказала:

— Теперь от матери не отстану, пусть покупает клетчатый платок.

— Небось, в клетчатом ты ещё больше глянешься Кириллу? — подзадорила её Солка.

Парамон зашумел:

— Хватит, хватит болтать! Кирилл, отваливай. И ты, Тишка, шевелись.

Мимо нас, направляясь в тайгу, проехали на ходке дед Шатров и кузнец Роман. Оба с ружьями. Впереди, нюхая землю, бежали три собаки Романа во главе с волкодавом Жуликом и пёс деда Шатрова — Пистон. Дед и кузнец должны были ещё раз пробраться по топям к Бобровым Ключам. Там твёрдо решили закладывать новую ферму. Для неё Сомов контрактировал нетелей по соседним колхозам.

3 октября. Полинявшая тайга скупо освещена. Ясно выделяются выпуклые очертания отдельных деревьев.

Сегодня Бурундуки провозжали Хому, уезжавшего в краевую школу механизации. Город находится в двухстах километрах от деревушки. Через неделю туда же поедет и Тихон. Они будут учиться на дизелистов. Для работы на новых чистинах Бурундукам обещан дизельный трактор. Если Тихона пришлось долго убеждать, то Хома сам вызвался ехать. Ему надоели насмешки товарищей. Да и душевное его состояние после отъезда Семёна оставалось неважным. Солка с ним была сдержанно холодна.

Утро было морозное, но солнечное. Сверкающий серебристый покров инея таял на боковинах комбайна. Перед нами было новое, последнее поле «Золотого дождя». Массив был вытянут в длину и из-за своих двух впадин на длинных сторонах походил на исполинскую гитару, гриф которой уткнулся в дорогу, а корпус — в опушку тайги.

Здесь было много погнутого хлеба и сплошных завихрений. Мы шли с опаской, на первой передаче. Нами владело одно желание — сегодня во что бы то ни стало закончить страду.

Нервы были напряжены. А тут ещё, как назло, разные мелочи доводили это напряжение до предела.

Я вижу — натяжной ролик третьей цепи перестал вращаться. Остановка. Подкладываем шайбу под гайку. Вот до слуха доносится дребезжание решета. Остановка. Вновь дала трещину стрясная доска. На риск едем дальше. Прикасаюсь рукой к блоку — он перегрелся. Остановка. Заливаем воду. В нос ударяет запах горячей резины. Остановка. Буксует ремень. Передвигаем двигатель.

Быстро мелькающий нож валил неподвижный строй колосьев. Лента за лентой они исчезали в ненасытном зеве приёмной камеры. На лежанках и завихрениях ножа не было видно. Он исчезал под густым сплетением упавшего хлеба. Овёс плотными кусками полз на полотно и, увлекаемый им, заклинивался между штифтами молотильного аппарата. Опять остановка.

Солнце пекло. Давно уже не было такого нестерпимого зноя. Крыша комбайна, утром покрытая инеем, к обеду накалилась. Налетели тучи свирепой мошки. Мы то и дело снимали её обеими руками с лица, будто умывались. Петя стал чёрным, как жук. Блестели лишь одни глаза и зубы. И я, наверно, такой же.

Наконец перемычки прорваны. Гитара распалась на три части. Мы начали с дальнего куска у тайги. С радостью прошли последнюю дугу — и этого куска как не бывало. Направились к среднему. Позади осталось широкое поле стерни. А ведь только что здесь, волнуемое ветром, разливалось золотое море спелого овса.

На втором куске мы напоролась в лежанке на корягу. Опять погнуло дно платформы. Порвался ремень полотна. Пришлось склёпывать его. Сорвался кардан хедерного валика. Первый кусок у тайги мы срезали почти незаметно, а тут провозились несколько часов.

Мы дожинали последний клин у дороги. Погода стала меняться. Солнце исчезло за толстым слоем свинцовых туч. От тайги веяло холодом. В небе то и дело раздавались тревожные крики. Летели гуси.

Дрожащие пунктиры правильными углами плыли с севера на юг. Косяк шёл за косяком. К полудню всё небо было покрыто бесчисленными клиньями встревоженных птиц, уходивших к теплу. Их настигала стужа.

Мы следили за этим величественным переселением миллионов птиц и в тревоге обращали свой взор на север, откуда надвигалась зима.

Стало угнетающе темно. Наступил вечер. Вдруг над заимкой показалось солнце. Мрачные пирамидальные тени листвяков упали поперёк нашего пути. Мы шли вперёд.

Вот уже близок желанный «берег», из мрака выступают его смутные очертания. Мы совершаем последние круги на последнем куске. Опять лежанка хлеба с густым завихрением. Снова забило барабан. Петя полез в приёмную камеру, а я с нетерпением отсчитывал секунды. Сгустились сумерки. Почернели тучи. Доносились тревожные голоса невидимых птиц.

Все надели фуфайки. Я не чувствовал холода, не замечал обезумевшей мошки.

Подожли Сомов и Илья.

Петя вылез из камеры. Я взялся за рукоятку. Двигатель вновь заурчал. Петя включил молотилку.

— Пошёл! — крикнул я Кириллу.

Машина работает ровно. Мы жнём остатки «Золотого дождя». Волны холодного воздуха морозят спину, но мысль напряжена до предела: как бы добрать остатки хлеба, как бы не забился барабан. Вспоминаются все поломки. А тут ещё низкий уровень масла, в картере почти пустой бак, едва дышащее полотно.

Ещё несколько поворотов. Ещё полчаса волнения — и срезаны последние колосья последней чистины.

— Ну, вот и всё! — говорит Сомов. Лицо его едва белеет в сгустившемся мраке. Он подымает руку: — Слышите, что делается в небе? Последняя повестка. Зима!

Илья сокрушается:

— Вот мясо-то летит! Хорошо хоть не садятся. Раз как-то сели за бором — и в один час большую чистину овса обмолотили. Ничего не осталось.

Из ночного мрака возникает высокая фигура. Взбирается по лесенке. Приехал секретарь райкома. Он здороваётся.

— Ну, как дела? — спрашивает он.

— Всё, Анатолий Фёдорович, закончили. Успели, — отвечает Сомов.

— Э, знал бы, проехал мимо! Боялся, что залезете под снег.

Комбайн дышит ещё несколько минут, протряхивая решётные станы, и смолкает. Глухим двигателем. Раскачиваясь, вслед за трактором комбайн плывёт по сжатому полю к точке, к высоким ворохам «Золотого дождя».

Теперь, когда затихший комбайн остановился, резче чувствуется острый холод вечера. Надев телогрейку, я ещё долго не мог согреться.

У ворохов царит оживление. Три машины нагружаются сразу. Девчата и парни со смехом и визгом швыряют в них зерно.

Подошёл машинист Щелчок.

— Кончили? — спросил он.

— Как видишь! — ухмыльнулся штурвальный Петя.

— Счастье ваше. А мне ещё порядочно ишачить. Как бы не зазимовать на молотилке.

К Солке подошёл секретарь райкома.

— Здравствуйте, товарищ Шатрова!

Солка сконфузилась. Затем ответила:

— Здравствуйте, Анатолий Фёдорович.

— Вас-то мне и надо!

Солка недоумевающе раскрыла свои синие глаза. Оглядела всех нас. Обвела взглядом вороха зерна. Пожала плечами.

— Товарищ Шатрова, — сказал Анатолий Фёдорович. — Придётся вам на недельку выехать в район.

Кругом зашептались, слышались удивлённые возгласы колхозниц. Солка вся обратилась в слух.

— Руководитель хора не даёт никому проходу. Не нахвалится вашим голосом. Вот и мы послушаем вас на смотре самодеятельности.

Солка совершенно растерялась и ничего не ответила.

— Не смущайтесь, — сказал Анатолий Фёдорович, положив ей руку на плечо, — райком занимается не только посевной да уборочной. Мы, — как бы обращаясь ко всем, продолжал он, — интересуемся кое-чем и другим.

Солка вспыхнула. Глаза её радостно засияли. Она принялась с ещё большим рвением обметать точок.

Илья набрал пригоршню зерна и стал его пересыпать с руки на руку. Зерно звенело.

— Вот это так семена! Не то что в прошлом году. Приходилось сушить по хатам, — восхищался он.

Совсем стемнело. К комбайну подошли Солка, Варя и Марина. В руках большой, сплетённый из последних осенних цветов веночек. Здесь же столпились грузчики, шофёры, ночные сторожа. Подошёл и секретарь райкома.

— Товарищ председатель, — торжественно и звонко сказала Варя. — Это вам от колхоза по случаю отжинок.

Солка продолжала:

— За уборку. Наше вам спасибо.

Парамон покорно и смущённо надел веночек.

Все захолопали. Илья сказал басом:

— Спасибо, комбайнер!

...Комбайн обметён. Полотно свёрнуто. Ремень снят. Вода спущена. Краник перекрыт.

Всё.

Уборка кончилась.

Мы садимся в машину, нагружённую зерном до кромок бортов. Отъезжаем. Освещённые задними огнями машины, смутно выступают из мрака развороченные конуса «Золотого дождя». За ними тёмным силуэтом громоздится старенький наш «Коммунар», по мере сил послуживший колхозу «Новый сибиряк».

Машины шли медленно и тяжело, ныряя по глубоким ухабам просёлков. Возле ворохов ещё долго маячила, светясь во мраке, цыгарка ночного сторожа.

Дует сильный северный ветер. Снег уже несётся не сплошной стеной, а кусками изодранных парусов. Крутит позёмка. Всё в белом беспокойном дыму. Ветер качает гигантские сосны, срывает драпицу с крыш, свистит в проводах, воеет в окнах и стонет, словно несёт на своих крыльях безутешную тоску всех безлюдных таёжных просторов. Нагрянул буран.

Вот и поскотина. За ней, высоко над дорогой, едва различимая в темноте, гостеприимно протянулась рука гигантской сосны: «Добро пожаловать!»

А в небе всё более тревожно перекликались крикливые караваны гусей.



НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

СЫН ПОЛЮБИЛ

Он перед ней ещё немеет,
Он, как не певший соловей,
Ещё не смеет, не умеет
Сказать «люблю» любви своей,

Для вздохов ищет оправданий,
Грустит, стихи строчит тайком.
А я, его советчик давний,
Молчу при случае таком.

Ничем ещё не обнадёжен,
В преддверье мук и торжества,
Сам для любви своей он должен,
В себе свои найти слова —

Такие ясные, живые,
Как будто из глубин своих
Язык наш их родил впервые
И мир впервые слышит их!

ДРУГУ

Может, дружба лишилась у нас языка?
Тридцать дней телефонного нету звонка!
Может, где-то нашла себе адрес иной?
Тридцать дней не курил ты, не спорил со мной.

Что ж молчишь? Или жизнь твоя так тяжела —
Замотали заботы, заели дела?
Или женщина, та, что зовётся родной,
Всё, что есть, забрала для себя для одной?

Не ревную к любви: если вправду сильна,
Не всегда к нам друзей отпускает она;
Бросив срочное дело, гулять не зову —
Сам в делах и делами дышу и живу.

Если ж сам ты не можешь того объяснить,
Почему не приходишь, не хочешь звонить, —
Значит, можно итог подводить не спеша:
У кого-то из нас постарела душа!

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

СПОКОЙНЕЕ ВДВОЕМ

Мы не видались много лет,
И он кричит жене:
— Давай, любимая, обед,
Дружок пришёл ко мне,

Неси закуски и вина,
Пускай запасы в ход!.. —
И расторопная жена
По комнатам снуёт.

Из голубых, из ясных глаз
Тепло струят лучи.
А в кухне в три конфорки газ,
Шумит, шипит, шкворчит.

И мне припомнился на миг
Наш холостяцкий быт:
Три раскладушки, угол книг,
Газетой стол накрыт,

Одна скрипучая скамья
Да табурет — на круг...
— Ну, вот мой дом, моя семья,
Смотри! — хлопчет друг.

Семья, как видно, не мала,
Согласьем дом богат.
С десяток стульев вокруг стола
Под люстрой стоят.

Гора игрушек —
Ватный дед,
Малиновый голыш,
Слон, заводной мотоциклет
И заводная мышь.

Да крутится у самых ног
Пушистый колобок —
Собачка ростом с ноготок:
Конечно, детский бог.

— Ну что ж, всё правильно, друзья,
Откуда ни взгляни.
Добрó живёте!

Где ж семья?

— Да мы, дружок, одни.

— Как так одни? А дети где? —

Спросил и сам не рад,
Быть может, о большой беде
Напомнил невпопад.

Но друг светло в глаза глядит:

— Мы без детей живём,
Работы много, — говорит, —
Спокойнее вдвоём.

С игрушками чудит жена,
Порой заводит их.
А так — порядок, тишина,
Всё на местах своих...

Признаюсь, я оторопел,
Неловко стало мне,
Несладко пил, невкусно ел
В бездетной тишине.

Вдвоём — какой же это дом,
Какая, брат, семья!..
И на хозяйку с холодком
Взглянул, признаюсь, я.

Но, показалось, и она
Немного смущена:
Сидит, не трогает вина
Счастливая жена.

Игрушки ли для этих рук,
Для этих глаз нужны?!
Её мне стало жалко вдруг.
— У заводного счастья, друг,
Пружины не прочны.



ГОВАРД ФАСТ

★

САЙЛАС ТИМБЕРМЕН

Роман

Посвящаю свою книгу сотням учителей, которые доблестно боролись против угнетения человеческого разума и бесстрашно защищали своё право говорить правду и учить людей правде, тем самым вписав новую главу в благородную и мужественную повесть о борьбе за свободу Америки.

Глава первая

ТИМБЕРМЕНЫ

Понедельник, 16 октября 1950 года.

Впоследствии Сайлас Тимбермен понял, что в этот день всё имело значение — с той самой минуты, как он проснулся, и до глубокой ночи; но даже поняв это, он только начал размышлять о взаимосвязи явлений и лишь позднее осознал, как тесно один день связан с другими днями, часами, неделями и годами и что время — только аршин, который прикладывают к единой и неразрывной ткани жизни. А пока что он находился, так сказать, в стадии отбора, выскивая лишь то, что казалось ему знаменательным и важным.

Понедельник 16 октября 1950 года казался ему в высшей степени значительным днём.

Поначалу этот день ничем не отличался от других дней. Сайлас обычно спал чутко и легко переходил от сна к пробуждению, сперва ощущая тепло постели и душноватый запах тела, а затем прикосновение этого тела, которое было Майрой. В окна сквозь опущенные шторы струился рассеянный свет, и свежий утренний ветер, который дул с запада, через прерии, через кукурузные и пшеничные поля, проникал в комнату. Не открыв ещё глаз, Сайлас по обыкновению поспешил убедиться, что Майра в самом деле рядом, и, прежде чем обнять её, чуть-чуть до неё дотронулся, ожидая, что она сквозь сон ответит на его ласку. Так он любил просыпаться; потом сон покидал его, и наступал новый день.

Сегодня одновременно с ним проснулся и Брайан Тимбермен, и Сайлас, лёжа в постели, слушал, как мягко шлёпают по полу его босые ноги; мальчик вошёл в комнату и осторожно толкнул отца.

— Па-а...

Сайлас ответил: «Да?..» — и подвинулся, освобождая место для сына. Майра зевнула и, глубоко вздохнув, потянулась; откуда-то снизу, из

Все персонажи романа — лица вымышленные, и какое бы то ни было их сходство с реально существующими людьми может быть только чистой случайностью (Г. Фаст).

долины, послышался гудок семичасового поезда из Чикаго. Гудок перекрыл другие звуки: крик петуха, собачий лай, и, даже замирая, всё же заглушил мерный, старательный перебор лошадиных копыт и тарахтенье тележки с молоком — милый, знакомый звук, который Сайлас никогда не мог слышать равнодушно.

Он прижал к себе Брайана одной рукой, а Майру — другой; теперь он уже проснулся и лежал с тихой радостью в сердце.

* * *

«Как легко катится жизнь по привычной колее,— подумал Сайлас,— и как охотно мы с этим миримся».

Его иногда поражало, как он похож на своих детей; они тоже искренне хотели, чтобы всё оставалось, как оно есть, неизменным; порой, правда, он приписывал своё довольство и годам и недостатку врождённого честолюбия.

Как и всегда, он проснулся весёлый и свежий, чувствуя, что его жизнь словно началась сызнова с наступлением нового дня. Он проделывал привычные движения, а в голове его мелькали привычные мысли, казалось, не подверженные никаким переменам: восхитился красотой ещё молодого тела своей жены, сменявшей ночную рубашку на дневную; быстро побрился с точностью давно приобретённого навыка; как всегда, посетовал, что ему опять не удаётся первому попасть в душ; вмешался в утренний спор Сьюзен с Джералдайн; признал, что Брайану стоит купить новую книжку с картинками, и по обыкновению с трудом справился со своей рубашкой, носками и галстуком.

И во всём этом не было ничего из ряда вон выходящего, ничего, что запало бы ему в память.

День был обычный, и если говорить начистоту, то и вся его жизнь тоже была совершенно обыденной. Он никогда её не осуждал, а если она казалась ему полной радости и смысла, он и к этому уже давно и незаметно привык. Лицо, которое глядело на него из зеркала, когда он брился, было знакомо ему во всех подробностях и ничем не останапливало внимания; он скрёб это лицо бритвой каждый божий день вот уже двадцать лет. Дети были его детьми, его и Майры: малыш с круглой, веснушчатой, весёлой мордочкой; светлорусая Сьюзен с продолговатыми задумчивыми глазами и тёмноволосая Джералдайн, которая часто замыкалась в себе, вступая в девичество.

Даже наедине с собой он давно уже о себе не раздумывал. Привычка притупила его сомнения, страхи, неудовлетворённые желанья и былую жадность к познанию мира, а если порой у него и возникали тревожные вопросы, он их, когда походя, а когда и скрепя сердце, отсылал в прошлое, в молодые годы; можно было с полным правом сказать: ему даже нравилось, что он уже больше не молод.

Однако чувствовал он себя молодым. В это утро, в понедельник 16 октября 1950 года, Сайлас бодро сбегал по лестнице; ему хотелось есть, а сладковато-горелый запах жареной грудинки и оладий возбуждал его аппетит. Дети уже сидели за столом, тараторя и ссорясь друг с другом, причём девочки, как всегда, непрерывно одёргивали Брайана. Сайлас стоя выпил фруктовый сок, поцеловал жену, взъерошил волосы сыну, рассеянно прислушиваясь к привычной болтовне ребят, и взялся было помогать Майре. Кухня была залита солнцем, и Сайлас громогласно объявил, что он великолепно себя чувствует, что майрины олады необыкновенно вкусны и что сегодня отличная погода.

— Садись, пожалуйста, и ешь, — сказала Майра; ей не удалось так хорошо выспаться, как ему.

— Что с тобой?

— Что со мной может быть? Просто сейчас ещё нет и восьми часов. Садись, бога ради, и ешь.

Она была явно раздражена, но не настолько, чтобы испортить ему настроение. Сайлас больше не стал ей помогать по хозяйству и сел к столу, машинально прислушиваясь к словам Сьюзен, утверждавшей, что Брайан — поросёнок.

— Он всегда ведёт себя, как поросёнок. Просто удивительно, как он ещё в самом деле не превратился в свинюшку!

— И совсем я не поросёнок, — деловито опроверг её Брайан, старательно жуя оладью.

Джералдайн, не обращая на них внимания, читала книжку.

— Почему ты опять читаешь за столом? — сказала Майра. — Сколько раз я тебе говорила.

Сайлас подумал, что в ответ на это Джералдайн до смерти хочется изобразить царственное высокомерие, и слово «царственный» привлекло его внимание к Майре: как красивы её движения даже тогда, когда она занимается своим будничным делом и подаёт на стол новое блюдо с оладьями!

— Ты царственной красоты женщина, — сказал он Майре, и, когда она взглянула на него с недоумением, он радостно осклабился.

Хорошо было жить; в такое утро всё приобретало какой-то особенный вкус, хотя мысли его и были вполне обыденны. Сайлас с восхищением поглядел на свою кухню, на всё это множество сверкающих белой эмалью шкафчиков и полочек, на жёлтый линолеум пола и жёлтые занавески на окнах, на свежее масло и графин с сиропом, на горячие оладьи и хрустящие ломтики грудинки, наслаждаясь всей этой обыденностью. Потом он перевёл взгляд на высокий холодильник и ухмыльнулся: вот кто блюдет покой их семьи, словно древнеримский божок домашнего очага!

Запели куранты входной двери — четыре протяжные ноты, которые его так бесили; сколько раз он клялся сменить куранты на обыкновенный, старомодный звонок; Сайлас отпер дверь и взял у почтальона пачку писем, проспектов и свежий номер «Нью-Йорк таймс», которую он выписывал.

Обычно чтение «Нью-Йорк таймс» было его первейшей утренней обязанностью. Он разворачивал газету с чуть ли не религиозным чувством — ведь она не только оберегала его от опасности обрести мхом в провинциальной глуши, но и вносила остроту в его тихую и размеренную жизнь. Сайлас любил говорить, что человек, который осмысленно читает «Таймс», не только хорошо осведомлён обо всём на свете, но и вооружён против всяческого мракобесия и лжи. Сайлас считал, что он лично хорошо вооружён, и каждое утро пополнял свой арсенал из этой всеобъемлющей газеты, как бы внутренне готовясь к поединку с гря-дущим днём.

Он не просто читал, он обдумывал и сопоставлял в уме то, что черпнул из газеты; по правде говоря, он узнавал из неё куда больше, чем признавался себе или другим. В душе он гордился тем, что может совершенно объективно противопоставить одним фактам другие. Когда он защищал что-нибудь в споре с Майрой, у него не было горячего желания убедить собеседника; он делал это почти автоматически, как делают полезную, но не слишком обременительную гимнастику.

Сегодня у него и вовсе не было желания горячиться по какому бы то ни было поводу. Этим утром он был равнодушен и к неумелому вранью политиканов, по поводу которого он порой любил отпустить острое, злое слово; и к глупой напыщенности воскресных проповедей, которая часто его раздражала; и к росту детской преступности, — а она обычно так

волновала его; и даже к мелким покушениям на гражданские права — их с каждым днём становилось всё больше, и они огорчали его всё глубже, в чём он не признавался даже Майре. Ему не хотелось разбираться и в сложных международных вопросах, которые так щедро предлагала его вниманию «Таймс»; его не заинтересовал даже обзор вышедших книг.

Другими словами, если он и ощущал вокруг себя целый мир, он не пожелал впустить его сегодня в своё сознание. Сегодня он хотел погрузиться в чудесную, электрифицированную и механизированную нирвану своей кухни. Сегодня ему захотелось досыта насладиться своим домом, женой и детьми.

Итак, как видите, день этот начался для Сайласа Тимбермена как нельзя лучше, хоть он и не слишком отличался от всех прочих дней. Чем-то он всё же от них отличался, но, повторяю, не так уж сильно. Бывали дни, когда Майра радовалась по утрам его до глупости счастливому настроению, сегодня, однако, она была им раздосадована, и Сайлас это почувствовал; во всех же других отношениях день начался очень приятно, он мог быть и дальше просто отличным днём, если бы во время завтрака к ним не пришёл Аик Амстердам, чтобы излить душу и выпить чашку кофе, но главным образом, чтобы излить душу.

* * *

По праву старинной и испытанной дружбы Аик вошёл с чёрного хода прямо в кухню; в руке у него была шляпа, а портфель с пачкой газет и журналов он держал подмышкой; на его морщинистом лице видны были свежие порезы от бритвы. Он вошёл не очень уверенно; в его маленьких зелёных глазках горели вызов и весёлое ехидство; однако держался он всё-таки не очень уверенно и сразу заявил Сайласу:

— А я-то считал, что вы уже ушли.

Он повторял эту фразу чуть ли не каждую неделю, всякий раз, когда приходил к ним завтракать. Столь необычное время для визита само по себе было знаком огромной симпатии к Майре, к её приветливости и простоте. Отношение Айка к Майре всегда заставляло Сайласа недоумевать, почему привязанность таких жёлчных и ядовитых стариков, как Аик Амстердам, кажется нам особенно драгоценной. Но Аик никогда не злоупотреблял гостеприимством Тимберменов, открыто не выказывал своих чувств, хотя и всячески подчёркивал, что посещение их дома имеет для него особую прелесть. Овдовев, Амстердам жил один, ел и спал в одиночестве. Через четыре года, отдав всю свою жизнь преподаванию, он получит звание «заслуженного профессора» и уйдёт на покой. Мысль об отставке иссушила его, состарила, избороздила его лицо морщинами. Большинство друзей Айка Амстердама либо умерло, либо поразъехало, а с людьми помоложе ему было трудно сблизиться. Это и заставляло его тянуться к детям, проявляя ту удивительную чуткость, которая свойственна только очень старым людям по отношению к очень молодым. И дети его любили.

Он положил портфель, газеты и шляпу и уселся между Сьюзен и Джералдайн, которые с радостью освободили ему место.

— Что тут у вас, олады? — ухмыляясь, спросил он.

— Позавтракайте с нами, — предложила Майра.

— Трудно отказаться, пожалуй, съем парочку.

Аик помешивал кофе с методичностью, которая всегда восхищала девочек, и они с нетерпением ждали, чтобы он поднёс ко рту первую ложку. Им страшно нравилось, как он пробует кофе; если бы они стали объяснять словами, что старик делает, они сказали бы, что он колдует

над чашкой, превращая обыкновенный кофе в волшебный напиток; Айк умел колдовать и над разными другими вещами. И Брайан, глядя на него; словно заворожённый, в который раз спросил, много ли ему лет.

— Ты не думай, что я такой уж старый, — без улыбки ответил ему Айк Амстердам, — но признаюсь, сынок, я становлюсь всё старше и старше.

— А разве я не становлюсь старше? — поинтересовался Брайан.

— Что-то незаметно, сэр, незаметно.

Потом он сказал Майре, что у неё отличный кофе.

— Айк, — попросила Джералдайн, — проводите нас с Сьюзен в школу.

Старый Амстердам отлично знал, что это только уловка, чтобы заставить его вынуть часы, но с серьёзным видом полез в жилетный карман, вытащил оттуда огромные часы с причудливым изображением фавнов, чертей и всякой всячины; нажав на защёлку, откинул крышку, открыл их и посмотрел на циферблат.

— Может быть, успею, а может, у меня и не хватит времени.

Брайан спросил его, что такое время.

— У-у... Вот так вопрос! — восхищённо протянул Айк. — Не думаю, чтобы время было так уж похоже на деньги, потому что оно у тебя есть с самого рождения; беден ты или богат, но время у тебя всё равно есть. Но потом, сынок, оно и в самом деле становится похожим на деньги. Некоторые тратят его хорошо, а другие — глупо, третьи же держатся за него жадно, как скупцы, не понимая, что оно всё равно уйдёт. Вот теперь у тебя его куда больше, чем у меня. Правильно я говорю, Сайлас?

— Да, пожалуй...

— Вы словно вычитали всё это в книжке, — сказала Джералдайн.

— Поживёшь с моё, тоже будешь говорить так, словно вычитала в книжке... Как вы себя чувствуете, Сайлас?

— Неплохо. Съешьте ещё оладью.

Старик задумчиво жевал. Дети уже кончали завтракать и теперь следили за ним с неослабным вниманием. Майра тоже села за стол. Амстердам вдруг спросил у Сайласа:

— Что вы намерены делать?

— В каком смысле?

— Да в смысле гражданской обороны. Ведь сегодня собрание. Плакаты висят уже две недели, а на сегодня назначена запись добровольцев. Собрание в четыре часа, и сам Антони Кэбот будет держать речь.

— Совсем выскочило из головы, — сказал Сайлас.

Теперь он начал что-то припоминать, однако вся эта затея с обороной его не очень занимала; он даже удивился, какое до всего этого дело старику. Майра заметила, что гражданская оборона — просто очередная кампания и не заслуживает, чтобы о ней говорили.

— Смотря как вы к ней отнесётесь, — сказал Амстердам.

— Ей-богу, не знаю, как нужно к ней относиться, — пожал плечами Сайлас. — По-моему, все эти кампании проводятся по указке администрации штата и кончаются ничем. Какое нам до них дело?

— Вы намерены записаться в отряд?

— Гражданской обороны? — Сайлас улыбнулся и покачал головой. — Я человек занятой, Айк. Да и не думаю, чтобы на Клемингтон стали кидать бомбы. Пожалуй, не только на Клемингтон, но и на другие города в Штатах.

— В том-то и дело.

— В чём именно?

— Всё это — жульничество, рассчитанное на дураков.

— Ну что ж, наверно, можно подойти к их затее и с такой точки зрения... Хотя, с другой стороны, война всё-таки идёт и на свете существуют атомные бомбы... Но их гражданская оборона — пустая формальность. Уверяю вас, Айк, я по этому поводу не намерен лезть на рожон.

— Вот как? Станный вы человек, Сайлас. Вы ещё молоды, прошли через горнило войны, да и не только через него, а разводите руками, отмалчиваетесь, а потом говорите: какого чёрта, — простите меня за грубость, милые дамы, — улыбнулся он Сьюзен и Джералдайн, — я на рожон не полезу!

— Ну, а как же нам быть? — спросила Майра. — Я не очень-то разбираюсь в этой войне, только знаю, что лучше бы её не было. Но мы-то ведь ничего не можем для этого сделать, Айк?

— А вдруг кое-кому придёт в голову сделать что-нибудь с нами? Неужели, напорвшись на глупость, человек не может сказать, что это идиотизм? Я, например, всю мою жизнь поступал таким образом и намерен так поступать и дальше. Гражданская оборона в Клемингтоне — не только глупость, но и нечто гораздо более оскорбительное. Во-первых, она свидетельствует о клиническом невежестве в вопросе об атомной бомбе и её действии. Во-вторых, её организаторы создают панику, а я терпеть не могу, когда поднимают панику. В-третьих, всё это — жульничество. А в-четвёртых, оно оскорбительно для человека даже весьма среднего по своему умственному уровню.

— Что значит — клиническое? — спросила Сьюзен.

— Ладно, девочки, берите-ка лучшие книги и отправляйтесь в школу. Вам пора, — объявила Майра.

— Убей меня бог, если я понимаю, чего вы так злитесь, Айк. Никто вас не просит сидеть в противовоздушной обороне. Если Кэбот желает поднять шумиху, пусть его! Вас она не касается.

— Она касается моего разума, — ответил Айк Амстердам.

— Не понимаю почему, — возразила Майра.

— Если я что-то думаю, во что-то верю и молчу, это прежде всего касается моей совести, — ответил старик довольно сухо. — Вы оба меня огорчаете, крайне огорчаете, — повторил он. — Теперь, если разрешите, я провожу наших юных дам в школу.

* * *

Девочки отправились со стариком, а Брайан побежал на улицу, поиграть перед уходом в детский сад; у Сайласа оставался ещё целый час до начала первой лекции, и он помог Майре вымыть посуду. Ни Сайлас, ни Майра не были огорчены тем, что сказал старик, — ведь он уже не раз высказывал им подобные мысли. Это отнюдь не означало, по их мнению, что Айк был за войну или против войны, за гражданскую оборону или против неё, это означало лишь, что он решил, будто его хотят одурачить в таком деле, которое казалось ему яснее ясного. А всё прочее, весь этот разговор насчёт совести, как они полагали, было просто кокетством.

— Да, но если это так, — сказала Майра, — почему мне всё же не по себе?

— Тебе и до его прихода было не по себе, — заметил Сайлас.

— С чего ты взял? Оттого, что, проснувшись, я не плясала от радости, как ты? Когда ты поймёшь, наконец, что не все на свете обязаны чувствовать то же, что чувствует некий Сайлас Тимбермен?

— Дорогая, я не намерен вступать с тобой в глупые споры.

— Ну да, то, что я говорю, всегда глупо...

— Разве я так сказал?

— Ладно, ладно, может, и не сказал, извини. Просто я сегодня с утра не в своей тарелке. Ничего, пройдет. Не беспокойся.

Она поцеловала его на прощание и напомнила, что сегодня они приглашены к Лундфестам на коктейль. В пять тридцать.

* * *

Когда девочкам выпадало счастье итти в школу в обществе профессора Амстердама, они выбирали самый длинный путь: вместо того чтобы сбежать по просёлочной дороге и пересечь низкорослый лесок за домом, они поднимались вверх по холму и шли вдоль всего городка до Дома науки, а потом снова спускались вниз, к Уиттир Род. Итти было вдвое дольше, но девочки считали, что игра стоит свеч, и делали вид, будто и не знают другой дороги. Айк, со своей стороны, понимал, чего от него требуют, и секрет его успеха заключался в том такте, который он проявлял во время их прогулок, была ли то болтовня о доступных им вещах, или занимательные истории, которые он придумывал для них целыми часами, или же замечания по адресу студентов и профессоров, встречавшихся им по пути, или рассказы из жизни, как своей, так и прочего человечества, или самое что ни на есть серьёзное обсуждение вопросов, волнующих в данное время девочек. Они разговаривали о самых разных вещах, начиная от войны с индейцами, которая когда-то шла и в окрестностях Клемингтона, до бракоразводных процессов двух университетских профессоров. Девочки были как раз в том возрасте, когда они могли относиться к нему с беззаветным доверием; он же, со своей стороны, дорожил их дружбой.

Айк постоянно уверял себя, что он ничего не понимает в детях, и был чрезвычайно польщён, убедившись в обратном; однако он никогда не злоупотреблял их доверием и не допускал с ними ни фамильярности, ни покровительственного тона. Он не позволял себе обойти молчанием хотя бы один их вопрос, но и не пытался отвечать на те вопросы, на которые не мог ответить как следует. Другими словами, с девочками Айк был совсем другим человеком, чем со всеми прочими людьми, но как раз тем человеком, которым ему так хотелось быть.

Сегодня утром, когда они свернули в Дубовую рощу — парк в самом центре студенческого городка, засаженный великолепными дубами, — он снова поразился тому, как красив Клемингтон. Чем старше Айк становился, чем ближе подходил к концу своих дней, тем острее он чувствовал всяческую красоту. Утренний воздух казался ему ещё более свежим, осенняя листва — ещё более яркой, смех звучал, совсем как музыка, а стройные, красивые юноши и девушки были ещё щедрее наделены всеми божественными дарами юности. Клемингтон и в самом деле был благодатным уголком. Огромный квадрат увитых плющом гранитных зданий окаймлял лучший университетский городок Среднего Запада; во время своих странствий по Америке и Англии Амстердам не встречал места, которое было бы ему так по душе. Но теперь эти милые его сердцу картины казались ему ещё дороже и красивей. В это утро они владели им с особенной силой, захватили его целиком, и голос Джералдайн достигал его слуха словно очень издалека. Ей даже пришлось повторить ему то, что она сказала.

— Прости меня, дорогая, — отозвался Айк. — Знаешь, о чём я задумался? Я думал о том, как всё у нас здесь удивительно красиво. Вам с Сьюзен это когда-нибудь приходило в голову?

— Да, здесь, кажется, неплохо, — согласилась Сьюзен. — Только немножко скучно.

— Я спрашивала, почему вы сегодня так разозлились на папу? — повторила Джералдайн.

— Я бы не сказал, что я на него разозлился...

— Нет! Вы были на него ужасно сердиты, — настаивала Джералдайн.

— Сердит? Неправда! Я на него совсем не сердился. Может быть, я был чуточку раздосадован, огорчён, но отнюдь не зол, — сказал Амстердам невесело, стараясь выразить свою мысль как можно точнее. — Это совсем разные вещи. Сайлас мне нравится, и я считаю его своим другом. Он человек необыкновенный.

— Правда? — воскликнула Сьюзен.

— Да. Так мне по крайней мере кажется, но мне трудно вам объяснить, чем именно. Видите ли, Сайлас обладает двумя редкостными качествами: цельностью натуры и честностью...

— А что это значит? — заинтересовалась Сьюзен.

Вот так всегда. Всю жизнь старик небрежно пользовался словами; он обращался с ними легко, не задумываясь, словно с привычными инструментами. А вот теперь две маленькие девочки заставляли его задумываться над смыслом сказанных им слов, самых обыкновенных слов.

— Что это значит? — задумчиво произнёс он. — А ты, Джералдайн, разве не знаешь?

Ему хотелось выиграть время, чтобы получше обдумать ответ.

— Насчёт честности, конечно, знаю: нельзя красть и нельзя лгать. Тогда ты честный. Кажется, я понимаю и что такое цельный, но не могу как следует объяснить.

Он знал, что и сам не сможет как следует объяснить. Если он им скажет, что «цельный» означает монолитность внутреннего мира, разве им станет понятнее? А что такое монолитность внутреннего мира? Он мог бы им пояснить, что это, когда человек находится в полном ладу с самим собой. Ну и что из того? Вот он, например, разве он находится в ладу с самим собой? Если говорить правду, он ведь немножко перепугался, узнав о том, что университет собирается организовать свою противовоздушную оборону. Но в разговоре с Тимберменом его испуг превратился в обиду на бессмысленность этой затеи. Айк и сейчас не понимал, чего же он испугался и чего хотел от Сайласа. Шаги его становились всё больше и больше, так что девочкам пришлось в конце концов чуть не бежать за ним.

— Айк, я же не могу так быстро идти! — взмолилась Сьюзен.

Он рассыпался в извинениях и остановился как вкопанный. Они уже вышли из рощи, и впереди расстился зелёный газон перед Домом науки и Уиттир-холлом. В этом месте девочки должны были свернуть в сторону и спуститься по дороге к школе; Айк даже обрадовался в душе, что их разговор на этом оборвётся.

— Пожалуйста, не злитесь на папу, Айк, — попросила на прощание Джералдайн.

Он остался один, смутно понимая, что с ним происходит, и не очень довольный собой. Айк стоял долго, не двигаясь, потом набил трубку, зажёл её и стал раскуривать, поглядывая, как ширится поток юношей и девушек, пересекающих газон, и стараясь додумать до конца то, что ему казалось ещё таким туманным. Однако размышления не привели его к ясному, логическому выводу, а звон больших часов на башне Дома науки вернул его к насущным делам.

* * *

Не удивительно, что «дело Сайласа Тимбермена» обдумывалось им самим куда чаще и старательнее, чем другими людьми, но весь ход «дела», события и мотивы, которые его породили, были известны ему и мень-

ше и подробнее, чем они потом отразились в официальных отчётах. Если порой он и склонен был останавливаться на, казалось бы, второстепенных деталях, это происходило потому, что субъективно его занимали лишь очевидные причины, а не сложное обобщение всего происходящего. Позже он научился глубже разбираться в себе самом и примирился с мыслью, что, может, он и правда не похож на большинство своих коллег. А когда он понял, какие силы сформировали этих людей, тогда и желание ни в чём не отличаться от них у него несколько поослабло. Однако он ещё долго верил, что приход Айка Амстердама утром в тот понедельник сыграл решающую роль во всём, что потом случилось.

Не успел Сайлас отойти от дома и десяти шагов, как его непреодолимо потянуло вернуться и объяснить с Майрой. Но он не пошёл назад, хотя и не сомневался в том, что Майра им недовольна; он не знал, что ей сказать, и от этого всё больше впадал в непривычную для него мрачность. Он почему-то стал противен самому себе, ему было неприятно думать о том, как он выглядит в глазах Майры. Сайлас вдруг почувствовал себя потерянным, одиноким, заброшенным. Когда Брайан закричал ему вслед: «Подожди меня, подожди меня, папка!», Сайлас замер, словно пойманный с поличным; он стоял с портфелем в руке в ожидании стремительного броска детского тела. Брайан, заметив состояние отца, остановился, не добежав до него нескольких шагов.

— Что с тобой? — спросил он.

— А что? Ничего, — ответил Сайлас и почувствовал себя как-то неловко перед ребёнком.

— Принесёшь мне что-нибудь?

— Что?

— Что-нибудь. Принеси мне водяное ружьё. Принеси мне дальнобойное ружьё, ладно?

Круглая, пухлая, веснушчатая мордашка была обращена к нему с простодушной надеждой и упованием.

Ребёнок просит принести ему ружьё... Сайлас, подняв сына на руки, пообещал, что непременно что-нибудь ему принесёт, и зашагал по дороге.

— Ты забыл портфель! — закричал Брайан, бегом догоняя его.

Сайлас шёл в университетский городок, чувствуя себя не по годам старым и усталым. В противоположность Амстердаму, он почти не замечал той красоты, которой справедливо славился Клемингтон. Мысли его были поглощены Майрой. У него была красивая, остроумная и образованная жена, которая, со своей стороны, была замужем за старательным, но отнюдь не блестящим человеком, чьи трудовые будни были так однообразны; за человеком с весьма скромными умственными способностями, который проводил свою жизнь без особого смысла и, пожалуй, даже бесцельно, не видя ничего впереди, кроме старости и маленькой пенсии. Но разве не все люди живут почти так же, как он; разве так называемое счастье — это не краткие мгновения, когда у нас происходит выделение желёз; и неужели же ему не завидуют те, у кого нет ни холодильника, ни машины, даже если они и знают его не хуже, чем он знает себя сам? У него хватило чувства юмора, чтобы по заслугам оценить своё ребяческое философствование, и он даже обрадовался при виде Эда Лундфеста. — встреча с ним нарушила течение его мыслей.

— Превосходное утро, Сайлас! — воскликнул Лундфест, жадно глотая воздух, словно его только что вытащили из воды. — Октябрь — лучший месяц у нас в Клемингтоне. Это точно, уж вы мне поверьте. Можно описать его одним-единственным словом: благодетельный! Старомодно, но иногда крепкие старомодные словечки как нельзя более кстати. Согласны?

Сайлас совсем не был с ним согласен, и сознание, что он не преминет покривить душой, отнюдь не исправило его настроения. Он никогда не признавался себе в том, как глубоко недолюбливает профессора Эдварда Лундфеста; ведь стоило ему в этом признаться, и дружеские отношения с руководителем кафедры были бы уже невозможны. Поэтому он старался судить о нём со снисходительностью; объективно признавая манеру выражаться Лундфеста смехотворной, ребяческой, а поведение — напыщенным, он в то же время продолжал уговаривать себя, что уважает этого человека. Вот и сейчас он прозакладывал бы последний доллар, что Лундфест очень смутно представляет себе значение слова «благодетельный», но он скорее умер бы, чем решился бы его об этом спросить.

— Очень приятная погода, — подтвердил Сайлас, чувствуя к себе презрение.

— По особому заказу: для футбола, — заявил Лундфест и, словно фокусник, извлёк из толпы проходящих студентов двух коренастых, круглолицых парней, сообщил им, который час, осведомился, каковы перспективы воскресного матча и хорошо ли сыгралась в этом году команда.

Сайлас не без зависти подумал о том, что не знает в лицо ни одного из этих парней, понятия не имеет о футбольной команде 1950 года, да и вообще лишён тех добродетелей, которые создают в университетской среде популярность. Лундфест не опровергал молвы, будто в своё время он и сам был приличным игроком в футбол, да и вид у него был соответствующий: широкоплечий, красивый слегка грубоватой красотой, с огромной шапкой седеющих волос... В одном лице он как бы соединял учёного мужа и человека дела; и если Сайлас презирал Лундфеста-учёного, он не мог отказать в невольном уважении Лундфесту — человеку дела.

— Превосходные ребята, — сказал он Сайласу. — Чертовски хорошие ребята!

Они пошли дальше, и Лундфест спросил у Сайласа, каковы его планы на будущий семестр, заметив, что опытный преподаватель обязан уточнить свою программу и разрешить все свои сомнения в первые же две недели учебного года.

— А какие, собственно, у меня могут быть сомнения? — удивился Сайлас.

— Ну что ж! Превосходно и даже похвально, сказал бы я. Жаль, что не могу сказать того же о себе. Вы ведь взяли на себя обзор американской литературы?

— Надеюсь с ним справиться.

— Ещё бы! Вот только насчёт вашей идеи поставить в центр литературного процесса Марка Твена... Вам не кажется, что тогда всё дело сведётся к самому Марку Твену, а не к американской литературе...

— Да я и не собираюсь делать Марка Твена стержнем всего литературного процесса. Если говорить точно, я пользуюсь им, как мериллом, ну, вроде того, как плотник пользуется ватерпасом. Мне кажется, что это правильно.

— Ещё бы! — улыбнулся Лундфест. — Вы же пишете о нём книгу. Хотя убей меня бог, если я понимаю, на кой нам сдалась ещё одна книга о Марке Твене! Дело, конечно, ваше. Лично мне Марк Твен никогда не казался глубоким писателем; это скорее ловкий шут и пасквилянт. Его ведь занимают только внешние эффекты, ради них он готов и факты вывернуть наизнанку!

В то утро Сайлас никак не ожидал такой тирады от Эда Лундфеста. Целая лекция о Марке Твене, вернее даже — обличительная речь о нём, да ещё ни с того ни с сего, никак не вязалась с Лундфестом, и самая её

внезапность огорошила Сайласа. Ссылка на книгу, которую он писал, была уже совсем неделикатной: ведь Лундфест знал, что вот уже три года с перерывами он работает над ней, — правда, нельзя сказать, чтобы очень успешно! Но больше всего его разозлило обвинение Марка Твена в легкомыслии, к тому же исходящее от человека, чей интеллект не вызывал у него никакого почтения!

— Надеюсь, я вас не обидел? — заметил Лундфест.

— Что вы...

— Погода неподходящая для споров, а, Сайлас?

— Почему же...

— Видно, я наступил вам на любимую мозоль. Ладно, разберёмся в этом деле в другой раз. Дойдём до самого корня. Собственно, я хотел поговорить с вами совсем о другом. Вы ведь свободны до половины десятого, не так ли?

Они уж дошли до Уиттир-холла. Сайлас утвердительно кивнул — ведь Лундфест был его начальством, хозяином, нанимателем, называйте, как хотите. Если вы поссоритесь с заведующим кафедрой, вам надо искать работу в другом университете; поэтому вы держите себя в руках, не показываете, как вы разозлились, и любезно киваете головой в знак согласия. А Сайлас вообще был человеком любезным и покладистым. К тому же не мешает помнить, что преподаватели английского языка и литературы — не такая уж редкость, даже талантливые преподаватели, а Сайлас совсем не был уверен в том, что у него, кроме трудолюбия и хорошей памяти, есть ещё и талант. Особенно он не был в этом уверен сейчас.

— Давайте поболтаем несколько минут. Мне хочется поговорить с вами о сегодняшнем собрании.

Сайлас снова кивнул, ещё не настолько владея собой, чтобы принять вполне дружеский тон, который убедил бы Лундфеста, что между ними и впрямь не пробежала чёрная кошка; однако слова собеседника не вызвали у него никаких ассоциаций и не напомнили ему о разговоре с Айком Амстердамом.

— Я беседовал с доктором Кэботом, — продолжал Лундфест, — он выразил надежду, что это начинание увенчается полным успехом. Надо вам сказать, Сайлас, что дело это выходит далеко за пределы местных интересов...

Лундфест неправильно употреблял слова; мысль об этом доставила Сайласу даже какое-то удовольствие; гнев его стих, и теперь он старался понять, о чём говорит его собеседник.

— ...очень далеко. Даже больше, оно, так сказать, определяется горизонтами нашего штата, а может, и всей страны в целом. Могу вас заверить, что Клемингтон сейчас занимает в этом смысле ключевую позицию. Вы знаете не хуже меня, Сайлас, что с тех пор, как началась война в Корее, в стране царит удивительное равнодушие к задачам гражданской обороны!

— Думаю, что большинству людей не очень-то нравится эта война.

— Ещё бы, Сайлас! Кому же нравится такая вещь, как война? Ведь не нравятся же нам, например, коммунисты? Не так ли? Но война существует и часто бывает необходима. В данном случае мы столкнулись с грозным фактом нашествия красных. Если можно так выразиться, мы не дрогнули и перешли свой Рубикоч. Хотел бы я вас спросить, была ли война более святой, борьба более благородной, чем та, которую наша страна ведёт в Корее? Имейте в виду, я говорю так, несмотря на то, что я республиканец, — этот вопрос выше партийных разногласий. Вы со мной согласны?

— Я как-то не думал о ней с такой точки зрения...

— Чёрт возьми, в том-то и беда!.. Мы ни о чём не думаем. Мы говорим: оставьте меня в покое, дайте мне заниматься моим делом, жить моей личной жизнью. Может быть, такая позиция и годилась в девяностых годах прошлого века, но она возмутительна и непатриотична в тысяча девятьсот пятидесятом году!

Сайлас пытался вслушаться в его слова, обдумать их, запомнить, найти в них какую-то связь; ему хотелось разобраться и в своих собственных мыслях и чувствах; решить, что он может позволить себе высказать своему собеседнику. Мнения его, в сущности говоря, и не спрашивали. А то, что по этому поводу думал Лундфест, касалось одного Лундфеста. Мало ли кто что думает! Он лично никогда не задумывался об этой войне и только теперь понял, что нежелание судить о ней было само по себе определённой позицией. Он не желал думать о войне. В этом Лундфест был прав. Сайлас желал одного: чтобы его оставили в покое; он ничего не хотел знать, кроме своей работы, жены и троих детей. Он отбыл военную службу, отвоевал одну войну; сейчас ему уже за сорок, и его не могут призвать в армию; мысли бежали, переплетаясь, и он вспомнил, как часто благодарил судьбу за то, что Брайану всего только шесть лет! А разве это не естественно? Его бесило, что Лундфест присваивает себе монополию на патриотические чувства. Когда Сайлас был молод, патриотизм — если не считать, конечно, дешёвого жонглирования этим словом, к которому прибегали политиканы, — считался делом глубоко личным, делом совести; люди стеснялись вытаскивать его наружу для публичного обозрения; словом этим пользовались редко и осмотрительно, да и самому Сайласу, особенно с сорок пятого года, было противно злоупотреблять этим словом. Как и все те, для кого годы, проведённые в армии, были полны неудобств, тягот и сомнений, он редко говорил о своём участии в войне; тем не менее сейчас он едва удержался, чтобы не спросить Лундфеста, где же был его патриотизм в те годы? То, что он всё-таки не задал этого вопроса, делало честь его выдержке и здравому смыслу: ещё не было и десяти часов утра, а сколько треволений и неприятностей и так уже нарушило размеренный ход его жизни!

— Может быть, вы и правы, — согласился он, — сумею придумать другого ответа, такого же ни к чему не обязывающего и не слишком для него унижительного.

— Да я и не обвиняю вас, Сайлас, — продолжал Лундфест. — Кто вы? Рядовой американец. Чего с вас возьмёшь? Но у нас ведь не рядовое время, и пора нам перестать быть рядовыми людьми.

«Неужели он себя не слышит? — удивлялся Сайлас. — Как он может себя не слышать? Заведующий кафедрой словесности крупного университета, видное лицо на факультете изящных искусств, как он может так разговаривать?» Недоумение одолевало его всё больше и больше; он в изумлении воззрился на Лундфеста, но тот прочёл в его глазах лишь почтительный восторг.

— Думаю, что мы можем начать борьбу с нашим равнодушием уже сегодня, после обеда, во время собрания, — и Лундфест энергично потрянул головой. — Из моего разговора с президентом Кэботом я выяснил, что, если какая-нибудь группа возглавит движение и возьмёт на себя инициативу организации добровольной гражданской обороны, эта инициатива будет подхвачена и поднимется нечто вроде массовой кампании. Поверьте, доктор Кэбот не питает никаких иллюзий и знает, какая апатия царит у нас в городке; но, не допуская и мысли о провале своих планов, он обратился ко мне, как представителю нашей кафедры. Я был крайне польщён, уверяю вас, и не только за себя лично, но и за всех нас. Он предложил нам единодушно, всей кафедрой, вступить в отряд гражданской обороны. И я, конечно, согласился с его предложением.

Сайлас продолжал глядеть на Лундфеста во все глаза; ему казалось, что всё это ему снится.

— То есть как, всей кафедрой английского языка? — наконец спросил он.

— Конечно, Сайлас.

— Но кто дал вам право отвечать за всех преподавателей?

— Я не сомневался в их патриотических чувствах.

— При чём тут патриотизм? — тихо спросил Сайлас. — Ей-богу, Эд, мне не хотелось бы заводить с вами глупейший спор по такому поводу, но уж слишком просто вы решаете вопрос.

— Просто? А как решаете его вы сами?

В голосе Лундфеста уже не было прежнего тепла. Он закинул назад голову, засунул руки в карманы и расправил плечи, не сводя мрачного взора с Сайласа; его массивная фигура приобрела вызывающий вид.

— Прежде чем я вам отвечу, — сказал Сайлас, не повышая голоса, — мне хотелось бы уточнить вашу позицию в этом деле и высказать вам мои возражения. Я знаю вас давно, Эд, и вы знаете меня. Если у вас есть своя точка зрения на Марка Твеча, вы имеете на неё право, и я обязан её уважать. Если у меня есть своя точка зрения на гражданскую оборону, я имею на неё право, и мне кажется, что и вы должны её уважать. Я не коммунист, но всегда питал отвращение к фашизму. Вам это хорошо известно. А что касается моего патриотизма, я отдал во имя его три года жизни. Мне не хотелось бы напоминать вам об этом, но вы меня вынуждаете, и я не допущу никаких намёков на то, что в моих словах есть хотя бы тень нелояльности или антипатриотизма.

Лундфесту стало неловко, он переменял позу и положил руку на плечо Сайласу Тимбермену.

— Да я и не думал намекать на что-либо подобное! — сказал он горячо. — Господи, Сайлас, если вы не имеете права говорить, что вам вздумается, на кой чёрт нам тогда какая бы то ни было оборона, гражданская или любая другая?

Даже в устах Лундфеста это рассуждение звучало чертовски убедительно, и оно вернуло Сайласа к действительности. Он всё ещё стоял против Уитгир-холла, посреди университетского городка в Клемингтоне. Трава зеленела, и ярко светило солнце. Большинство студентов уже разошлось по своим аудиториям, и часы на башне предупредили его, что до начала лекции осталось всего десять минут и, значит, сегодня он уже не успеет подготовиться к занятиям. Прежде чем ответить Лундфесту, он перевёл на него взгляд и внимательно оглядел его высокую, крепко сложенную фигуру, дорогой костюм из шотландской шерсти, тонкий свитер и белую рубашку с аккуратно завязанным синим галстуком и позавидовал его умению хорошо одеваться. Он сказал себе: «Я не хочу делать Эда Лундфеста врагом. Для этого у меня нет никаких оснований. У него свои взгляды, у меня — свои, но мы всегда были приятелями, всегда уважали друг друга. Конечно, он человек горячий, но ведь зато я тяжелодум и совсем оброс мхом. Люди бывают разные. Ведь он не требует от меня большой жертвы, он только хочет, чтобы я вывел его из затруднительного положения и записался в этот идиотский отряд. Почему бы и нет? Что я теряю?» Мысли его текли спокойно, и поэтому ему показалось, что нарушил молчание совсем не он, а кто-то совсем посторонний:

— Но где же моё право думать по-своему, если вы даёте за меня обязательства?

— Какие обязательства? — спросил Лундфест.

— Записаться в отряд гражданской обороны.

— Убей меня бог, Сайлас, если я понимаю, чего вы хотите! Неужели мы ни до чего не можем спокойно договориться?

— А я всё время был очень спокоен, — ответил Сайлас. — Вы спрашиваете меня, чем я недоволен? Вот именно этим самым. В Клемингтоне так же нужна гражданская оборона, как на том свете, а может быть, и куда меньше. Во-первых, воюем не мы, а Объединённые Нации, и воюют не здесь, а в Корее. Во-вторых, если бы на Клемингтон упала атомная бомба, кому помогла бы вся эта петрушка? В-третьих, никакие атомные бомбы здесь и не думают падать. В-четвёртых, я не люблю, когда вопят о войне, о любой войне, а особенно о такой, как эта. Война — несчастье, с которым надо поскорее покончить, а не раздувать вместо этого военную истерию.

— Если вы правы, Сайлас, зачем же тогда они это затеяли? У вас ведь на всё есть ответ.

— Да вы и сами знаете не хуже меня, Эд. Вы уже сами себе ответили.

— Что я ответил?

Сайлас увяз, увяз по самую шею, и у него оставался только один выход. Когда потом он расскажет об этом разговоре Майре и она его спросит, зачем ему надо было говорить то, что он сейчас собирался сказать, он не сумеет ей ответить точно так же, как он не смог бы объяснить и самому себе, почему он сказал Эду Лундфесту:

— Что нам нужно раздуть престиж Клемингтона и президента Кэбота...

— Мне жаль, что вы это сказали, Сайлас. От души жаль. Мне не в чем вас больше убеждать. Я хочу, чтобы вы сами всё хорошенько продумали. Увидимся на собрании.

* * *

Настроение, которое нагнал на него Лундфест, преследовало Сайласа и в аудитории; он поглядывал на своих студентов со смесью любопытства и неуверенности. Лундфесту удалось вселить в него сомнение в том, в чём сегодня утром он ещё и не думал сомневаться, и в какой-то мере эти сомнения его одолели. Он приглядывался к своим студентам словно со стороны, и это было для него внове, потому что он никогда прежде не рассматривал свою аудиторию как сборище посторонних людей и никогда ещё они не вызывали в нём такого недоумения.

Прежде всего он почувствовал, что совсем их не знает и очень мало знает о них, хотя и читает им уже шестую лекцию. В группе было сорок два студента — двадцать восемь юношей и четырнадцать девушек; он помнил с десяток фамилий и мог припомнить ещё около десяти. Но это нисколько не помогло ему понять их самих. В течение нескольких лет после второй мировой войны он чувствовал удивительную близость со своими студентами; ему казалось, что он всё про них знает, ведь недаром же все они — по крайней мере поголовно все мужчины, да и некоторые из женщин, — так же как и он, прошли через испытания войны. Но к 1950 году почти все ветераны покинули стены университета. На их место пришло другое поколение, поколение рослой, сильной и красивой молодёжи, не знавшей ни нужды, ни страха, ни лишений; они никогда не таились от пуль, уткнувшись лицом в грязь, не прислушивались к вою самолётов над головой, никогда не беседовали со смертью и не знали её голоса; не считали часов и дней, недель и лет, сидя в одиночестве на каком-нибудь богом забытом посту, и не вступали с опаской в священные и заказанные им врата науки, имея за душой лишь бумажку, выданную им на основе «Положения о правах американского солдата». То военное поколение он знал хорошо, что же касается нового — с ним дело

обстояло куда хуже. Теперь в университете учились сыновья и дочери самодовольных и преуспевающих граждан Среднего Запада, потомство крупных и мелких промышленников, владельцев универмагов, лавочников, врачей и адвокатов, держателей акций Форда, Понтиака, Плимута и Кока-Кола, богатых фермеров, вот уже десять лет собиравших обильные урожаи, судей и сенаторов штата, членов конгресса и торговцев земельными участками, строительных подрядчиков и инженеров — выходцы из зажиточных домов Чикаго, Индианополиса и Сент-Луиса, Цинциннати, Кливленда, Гэри и множества других таких же уютных зелёных городков среднезападных штатов. С виду они были куда привлекательнее юношей и девушек прошлого поколения, потому что их питали и выхаживали лучше каких бы то ни было других детей. Но почему-то их здоровье, красота и сила лишь усугубляли сомнения и неуверенность Сайласа.

Когда он вглядывался в их лица, он не находил в них ни сомнений, ни неуверенности. А что если бы он рассказал им не очень связную историю о том, что произошло сегодня утром? Что они сделают? Что они скажут? Он не знал, потому что никогда раньше серьёзно о них не задумывался.

А что если он предложит им подойти к вопросу, который его сейчас тревожит, с принципиальной точки зрения? Не станет ли тогда всё ещё запутаннее: ведь он и сам не уверен, что действовал из принципа, и ещё меньше он уверен в том, есть ли у них принципы вообще.

Сайлас вдруг понял, что они для него — закрытая книга. Ведь его студенты никогда с ним не спорили; они не были слишком любознательны и не опровергали его утверждений. С другой стороны, они никогда не нарушали порядка и были внимательны. Повидимому, занятия их удовлетворяли; может быть, не совсем. Студенты не слишком горячо интересовались американской литературой, однако он не знал, чем они интересуются, если они вообще на это способны.

Он им сказал, словно защищаясь:

— Вас, наверно, удивляет, почему я построил исследование нашей литературы на творчестве Марка Твена...

Сайлас понимал, что мало кто из них задумывался над этим вопросом; он отвечал не им, а Лундфесту и поэтому злился на себя самого. Он продолжал говорить ровным голосом, последовательно, точно излагая свои мысли, и наблюдал за выражением их лиц, пытаясь понять, что они думают. Но прошло полчаса, а он узнал о них не больше того, что знал раньше.

— Мы, пожалуй, можем назвать Марка Твена,— говорил он,— первым и последним реалистом американской литературы, что делает трагедию его жизни ещё более горестной, ещё более отчаянной. Он был последним прозаиком, который верил в американскую цивилизацию, надеялся на неё и с гордостью её воспевал. В то же время он был первым и, в известном смысле, последним писателем, который критиковал наш образ жизни жестоко, открыто; любовь его впоследствии обернулась в ненависть, признание — в горечь и недоброжелательство, но никогда, однако, ненависть в нём не была отделена от любви, а горечь — от самой горячей привязанности. Не сочтите мои слова за парадокс, хотя тот, о ком я говорю, был полон противоречий; но уживались все эти противоречия в одном сердце, в одной душе — в большом сердце и в великой душе. Многие после него как будто бы и критиковали действительность, но критика их была больше похожа на высокомерное презрение, на издевательство с незрелым пристрастием к непристойным словам и непристойным сценам; были и такие писатели, которые, казалось, умели лю-

бить, но любовь их слагалась из показного патриотизма и проповедей о величии Торговой палаты...

Понимают они его или слова до них не доходят? В заключение он сказал:

— Я хочу, чтобы в ближайшие две недели вы прочли короткий, но замечательный рассказ Марка Твена. Он не очень широко известен, однако мне кажется, что он много вам даст. Рассказ называется «Человек, который совратил Гедлиберг». Вы найдёте его в библиотеке.

Студенты покидали аудиторию, а он складывал свои бумаги в портфель; у кафедры остановился высокий рыжеватый парень.

— Разрешите, профессор Тимбермен...

— Прощу вас.

— Меня несколько смутило то, что вы сегодня сказали... Мне хотелось бы вас кое о чём спросить...

— Пожалуйста. — Сайлас заметил, что у кафедры столпилось ещё несколько студентов.

— Насчёт Торговой палаты... как-то странно у вас получилось. Мой родитель, например, тоже председатель местной Торговой палаты, но, насколько я знаю, читать проповеди он предоставляет нашему пастору. А когда он что-нибудь говорит, он всегда говорит дело.

Сайлас с удивлением посмотрел на студента, потом кивнул головой.

— Нисколько в этом не сомневаюсь, Брокмен. Мои слова не затрагивали никого лично.

— Тогда зачем же вы упомянули про Торговую палату, сэр?

Сайлас заметил, что кое-кто из студентов захихикал, но не понял, что их рассмешило: вопрос или его, Сайласа, растерянность. Остальные студенты прислушивались к разговору с самыми серьёзными лицами; трудно было сказать, что они думают. В другое время он бы, очевидно, не придал этому эпизоду никакого значения и тотчас о нём забыл. Сейчас же он не мог оставить его без внимания: ему пришлось старательно и осторожно обдумать свой ответ.

— Затем, Брокмен, что отчёты торговых палат отнюдь не слывут у нас образцом чистосердечия и горячей заботы о нашем благе.

— Я с вами не согласен, — упрямо настаивал юноша. — Разве вы не повторяете того, что говорят коммунисты?

— Что-о? — улыбнувшись, воскликнул Сайлас. Остальные студенты тоже заулыбались, но Сайлас почувствовал, что улыбка у него какая-то натянутая. Парень стоял на своём, и Сайласу пришлось сказать:

— Послушайте, Брокмен, давайте не будем ерундить. Я не имею ни малейшего представления о том, что говорят коммунисты, да и не очень этим интересуюсь.

Но он никого не убедил и вышел из аудитории раздражённый, злясь на самого себя, чувствуя себя глупо и почему-то испытывая лёгкий, непонятный ему страх.



Рабочий кабинет в университете он делил с двумя другими преподавателями кафедры — скромную, старомодно обставленную комнату с тремя письменными столами, лампами под зелёными абажурами и старинными стульями; на стенах висели гравюры в рамках, изображавшие Шекспира, Броунинга и Бернарда Шоу. Сейчас, когда он вошёл сюда, эта комната показалась ему родным и желанным приютом — он чувствовал себя очень усталым. Кроме него, тут был только Лоуренс Кэплин, лауреат премии Уитгира по древней англо-саксонской литературе и Чосера, тихий, вежливый, учёного вида человек, лет пятидесяти пяти. Он

поднял глаза от газеты, поздоровался с Сайласом и принялся разглядывать его не без любопытства. Сайлас уселся за свой стол и вздохнул.

— Как поживает ваше семейство? — спросил его Кэплин.

— По-моему, недурно, Лоуренс. А ваше?

Кэплин кивком головы ответил, что хорошо, продолжая с любопытством разглядывать Сайласа, который разбирал свою почту. Он получил обычную порцию корреспонденции, которая приходила к нему на работу, — объявления рекламных фирм о выходящих учебниках, научный журнал и записку от старого приятеля из Чикагского университета. Желая рассеяться, он принялся читать объявления.

— Я видел вас с Лундфестом, — сказал Кэплин.

— Да?

Сайлас отложил проспект и поглядел на коллегу, словно он только сейчас заметил присутствие старого Кэплина, седого, близорукого, необщительного человека, который старался не наживать себе врагов, но почти не имел и близких друзей. У него был такой вид, словно он чувствует себя виноватым в том, что знает больше о староанглийском языке и литературе, чем любой другой специалист в Америке.

— Разве с вами он тоже разговаривал? — спросил Сайлас.

— О гражданской обороне? Конечно.

— И как же вы к этому отнеслись?

— Станный вопрос! А как к этому может отнестись интеллигентный человек? Как я отношусь ко всему этому мракобесию, которое так пышно произрастает нынче в Америке? Я могу пойти на сделку с совестью, но я ещё не дошёл до того, чтобы лгать самому себе!

Речь его была, как всегда, тиха и раздумчива, но для знавшего его не первый день Сайласа она прозвучала, как взрыв, хоть и сдержанный, по виду бесстрастный, но всё-таки взрыв; Сайлас подумал о том, что за пятнадцать лет, которые он провёл рядом с Лоуренсом Кэплином, он впервые услышал от него столь резкое суждение по общественному или политическому поводу. Сайлас был потрясён. Как мало мы знаем людей! Как мало мы стараемся их узнать!

— И вы сказали Лундфесту, что не станете принимать участие в этой чепухе?

— Наоборот, я сказал ему, что приму в ней участие.

Сайлас молча кивнул головой.

— А вы, наверно, заявили ему, что не желаете в этом участвовать? — спросил его Кэплин, тоже помолчав. — Правда, вам легче, чем мне, Сайлас. Мне показалось, что из-за такой ерунды не стоит терять работу. Или хотя бы делать Эда Лундфеста своим врагом. Мне казалось, что, пожалуй, не стоит. Не скрою, мне было неприятно, но разве я не делаю множества вещей, которые мне неприятны?

— Я вас не вполне понимаю, Лоуренс. Ведь обо мне нельзя сказать, что я человек незаменимый, вы же один из крупнейших учёных Америки! И Лундфест это знает, и Кэбот. Они отлично понимают, как им повезло, что они заполучили вас в Клемингтон. Ведь если вы захотите, вы можете перейти в любой другой университет; я давно удивляюсь, почему, извините, вы этого не делаете!

Кэплин улыбнулся.

— Дело обстоит очень просто, Сайлас. Я имею несчастье быть евреем. Хорошо вам рассуждать. И, с вашей точки зрения, вы правы. Но вас зовут Сайлас Тимбермен, а меня Лоуренс Кэплин. Мы живём в мире, где не станут лезть из кожи вон, чтобы зачислить в свой штат ещё одного Кэплина...

— Неправда! Не может быть!

— Поверьте мне на слово, Сайлас, это правда. Думаю, что, если бы я подал в отставку, я нашёл бы работу где-нибудь в другом месте. Правда, страна наша огнюдь не полна юношей и девушек, жаждающих познакомиться с достопочтенным Бэда¹; однако какая-нибудь работа найдётся и для меня. Но вот если я уйду отсюда с клеймом ниспровергателя основ, я никогда больше не буду преподавать; нечего себя обманывать.

— Ниспровергателя основ! — сказал Сайлас. — Вы, наверно, смеётесь? Неужели вы верите, что отказ плясать под дудку какого-то Лундфеста и потакать прихотям Кэбота можно назвать «ниспровержением основ»?

— А вы уверены, Сайлас, что нельзя?

— Совершенно уверен. Согласен, в нашей стране происходят неприятные явления, но в теперешней обстановке они, пожалуй, неизбежны. Стоит ли делать из мухи слона? Поверьте мне, Лоуренс, страна наша здорова в своей основе.

* * *

Собрание кончилось, и Сайлас совершенно убедился в справедливости своего трезвого отношения к жизни и окончательно поверил в то, что он зря поддавался дурному настроению. Речь президента Кэбота была спокойной и сдержанной, а Лундфест не стал настаивать на поголовном вступлении в отряды обороны и лишь заявил, что он рассчитывает на единодушную поддержку всех членов кафедры. Присутствующим были розданы бланки заявлений, которые они должны были заполнить дома, а когда Сайлас выходил из огромного конференц-зала с красивым потолком, пересечённым тёмными балками, где царило достоинство и богатство мысли, Лундфест задержал его и с дружеской улыбкой напомнил, что вечером они с Майрой приглашены к ним в гости. Конечно, они непременно будут, ответил Сайлас; Лундфест ни словом не обмолвился об их утреннем разговоре.

Майра поджидала Сайласа у дверей конференц-зала, и они отправились домой. День всё ещё был великолепный, насыщенный солнечным светом и свежестью, и к Сайласу окончательно вернулось хорошее расположение духа.

Глава вторая

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Среда, 25 октября 1950 года.

По средам не было занятий, и Майра обычно посвящала этот день хозяйству, детям и себе — в порядке очерёдности, конечно, и потому до себя самой у неё редко доходили руки. Она всегда относилась с презрением к тем из своих знакомых дам, которые только и делали, что чистили пёрышки, но сама была не прочь раз в неделю сделать причёску у парикмахера или раз в месяц съездить в Индианополис за покупками в универмаг. Айк Амстердам как-то поучал её, какой бесценной добродетелью является умение хотя бы изредка ничего не делать — слоняться, бездельничать и за весь день не совершить ни одного полезного поступка; он утверждал, что с годами Майра становится расчётливой и начинает жить автоматически, а это непростительно для женщины с её внеш-

¹ Достопочтенный Бэда (673—735) — знаменитый англо-саксонский историк и прозаик, автор «Церковной истории англов» в 5 книгах; оставил свыше 45 латинских сочинений на самые разнообразные темы. (Примеч. перев.)

ностью и обаянием; Айк полагал, что его годы дают ему право на откровенность, но Майра всё-таки обиделась и даже чуточку рассердилась. Может быть, ей стало досадно потому, что в душе она была с ним согласна, но она не желала ни с кем об этом разговаривать.

Во вторник вечером она с помощью Сайласа разделалась со своими домашними делами; теперь она отправила детей в школу, Сайлас вымыл после завтрака посуду, и она была свободна, одета и готова выйти из дому уже в десять часов утра. Сперва она хотела взять машину, но потом сообразила, что у неё целый день впереди, вспомнила слова Айка Амстердама и, увидев, что октябрьский день так свеж и ясен, решила пройти пешком две мили до деловых кварталов Клемингтона, зайти в парикмахерскую, позавтракать в городе, не торопясь сделать покупки, а потом вернуться домой в автобусе или пешком, если будет не поздно и она не устанет.

Этот незамысловатый план показался ей очень соблазнительным — в нём был даже какой-то привкус авантюры, хотя бы потому, что он так отличался от повседневной жизни, а длинная, неторопливая прогулка наедине с собой была бесспорной роскошью. По правде говоря, Майра всё больше и больше привыкала отказывать себе в своих желаниях и прихотях, с каждым годом она всё дальше и дальше отходила от того мира, где человеку было всё доступно; поэтому она и говорила себе: понимать, как мало человеку доступно, — признак нашей зрелости.

И вот к ней пришла зрелость; её теперь смущали воспоминания о юности и мысль о том, что Сайлас Тимбермен был всего только Сайласом Тимберменом, а вовсе не тем, о ком она когда-то мечтала; но мысль эта почему-то заставляла её сердиться на самоё себя. Майра отбросила её, в сердцах сказав себе, что Сайлас Тимбермен куда лучше того, о чём может мечтать большинство женщин. Она шла уверенным, размашистым шагом, в ней бурлили радость жизни, ощущение свободы и своей собственной привлекательности; она думала обо всём на свете и в том числе о Сайласе. Майра вышла замуж за очень обыкновенного человека, за очень простодушного, искреннего и некрасивого человека, с неутолимой жадной жаждой знания. Талантлив ли он? — спрашивала она себя. Трудно сказать, но во всяком случае в Сайласе не было никакого блеска. Мысль его работала неторопливо, и у него никогда не рождались неожиданные и смелые идеи. Нет, он не был талантлив, но умел уживаться с людьми и в этом, пожалуй, был даже талантливее, чем она предполагала.

Её собственные таланты не подвергались ближайшими никакому сомнению, а родителями принимались даже с известной опаской. Иногда она сознавала, что только незаурядные способности позволяли ей читать два раза в неделю лекции по истории античной цивилизации, за которые её семья черпала из бездонного «Фонда Саймингтона» восемьсот долларов в год. Там, где Сайлас упорно выискивал всё новые и новые факты, Майра умела нарисовать общую картину, настолько забавную, красочную и живописную, что это заставляло забыть о всех её пробелах. «Я не учёный, — говорила она Сайласу с оттенком вызова. — Я домашняя хозяйка и просто вношу мою лепту в семейный бюджет». Правда, Майра и сама толком не знала, действительно ли она так мало ценит то, что делает, а в какой-то мере и то, что делает её муж.

Когда она спустилась вниз по дороге с холма, на котором раскинулся университетский городок, — миловидная, изящная женщина в костюме и свитере, — она отбросила прочь свои назойливые мысли. Ведь повесть, озаглавленную: «В чём беда Сайласа?», пришлось бы снабдить подзаголовком: «В чём беда Майры?», а ни на тот, ни на другой вопрос она всё равно не могла бы придумать ответа. Неудовлетворённость её нельзя

было объяснить какой-нибудь одной и понятной причиной; дело заключалось просто в том, что жизнь стала слишком размеренной. Куда же делись взлёты и падения далёкой юности, если прогулка к парикмахеру стала для неё волнующим событием? Ну и пусть! Она давно уже не чувствовала себя такой счастливой, как сегодня.

* * *

Покончив со своими делами в парикмахерской, Майра вышла на заливный солнцем тротуар; напротив была аптека Рогмэна и кинотеатр «Колони» с пёстрой рекламой цветного фильма на фасаде. Вдруг она услышала чей-то удивлённый и радостный голос, окликнувший её: «Майра! Майра!» Всякое имя можно произнести на тысячу ладов, но на этот раз её звал кто-то, кого явно обрадовала встреча с ней в городе, среди бела дня. Она обернулась и увидела Эда Лундфеста, большими шагами спускавшегося вниз по улице; он выглядел очень элегантно в серых фланелевых брюках и куртке из шотландской шерсти, обшитой на локтях кожей. Эд Лундфест улыбнулся и протянул ей руку.

— Майра, какими судьбами! Что вы здесь делаете?

— Что за страсть уточнять всё на свете? Разве вы не видите, я причёсывалась.

— Как я мог это заметить? У вас волосы всегда так красивы, и сейчас они несколько не красивее, чем обычно.

Он взял её руки в свои, а она подумала, что почему-то всегда испытывала к этому человеку предубеждение, хотя её и подкупал его мальчишеский задор,— правда, Сайлас нередко распространялся о том, как противны ему люди средних лет, которые никак не станут взрослыми. А всё объяснялось очень просто: она ему нравилась, и он не скрывал своего восхищения.

— Я был у зубного врача,— пояснил он.— Выйти от зубного врача и встретить вас — что может быть лучше?

— Могу предложить ещё кое-что на выбор,— улыбнулась она.

— Вы приехали на машине?

— Нет, я гуляла. Прогулка была чудесная. Я сбежала сегодня из дому и устроила себе праздник.

— И надолго?

— Часов до четырёх.

Тогда он предложил ей позавтракать с ним. А когда она заколебалась, стал её упрасивать; но ей и самой хотелось с ним позавтракать — это подходило к её сегодняшнему настроению, так что ему не пришлось слишком долго её убеждать. Они сели в машину и отправились в «Коттедж» — маленький ресторанчик милях в десяти вверх по реке, где кормили неважно, но где их никто не знал и они могли спокойно посидеть, полюбоваться рекой и распить бутылку вина; всё это создавало у Майры волнующее чувство, что она совершает что-то недозволенное, но очень приятное. Когда Эд Лундфест сказал, что здесь мило, она с ним согласилась. Было и в самом деле хорошо; может быть, если бы это случилось часто, было бы совсем не так хорошо, но один раз в кои-то веки всё показалось ей очень приятным. Лундфест был далеко не самым чутким человеком на свете, но всё же, кажется, и он понял, что Майра сегодня от чего-то сбежала, и сумел подладиться под её настроение. Он ни словом не упомянул о Сайласе, как и она — о его жене Джоан. Майра потом решила, что провела она время безобидно и не без удовольствия.

* * *

Когда без четверти час Сайлас выходил из профессорской столовой, кто-то позвал его; он обернулся и услышал: «Лёгко на помине...» Это был Аик Амстердам, сидевший за столиком с Хартманом Спенсером, Алеком Брэди и Сьюзен Аллен; они посмеивались над его рассеянностью.

— Мы нарочно говорили о вас так громко, чтобы даже вы могли услышать, — сказала Сьюзен Аллен.

Они потеснились и подвинули ему стул. Их завтрак подходил к концу; Сайлас заявил им, что уже поел, но они стали настаивать, чтобы он выпил с ними чашку кофе. Поглядев на часы, он увидел, что у него осталось ещё целых полчаса до начала лекции, и решил посидеть с ними; это доставит ему удовольствие, тем более, что они ему явно обрадовались. Сайласа всегда немножко удивляло, когда он замечал, что нравится людям и они ищут его общества. Он сел рядом с Сьюзен Аллен — хорошей женщиной лет под тридцать; она читала лекции по истории искусства и была замужем за преподавателем английской литературы; Аллены дружили с ним и с Майрой и необычайно дорожили этой дружбой — так молодёжь подчас дорожит дружбой с людьми постарше, которых она уважает. Сьюзен налила ему кофе, он задумчиво помешивал его ложечкой, а она спросила:

— Вам совсем не хочется знать, что мы о вас говорили?

Хартман Спенсер, получивший премию Чалмерса за свою работу о космических лучах, был невысокий, коренастый человек лет пятидесяти, с грубым, словно обработанным кулаками лицом профессионального боксёра — каковым он и был в течение трёх лет — и мягкой, вопрошающей улыбкой святого — каковым он отнюдь не был. Спенсер был глубоко предан Амстердаму; он уже успел приобрести известность в астрофизике и за пределами Америки, теперь он писал работу о происхождении вселенной, которая должна была произвести переворот в науке. Он сказал:

— Сайласа это не интересует. Хорошим людям всегда безразлично, что о них говорят другие.

— Избави нас бог от хороших людей, — произнёс Аик Амстердам. — Вот отвратительная порода! Они больше заботятся о своей репутации, чем женщина о своей внешности. Не смейте относить Сайласа к этой категории.

— Любопытно, Аик, — откликнулась Сьюзен Аллен, — что вы не можете похвалить мужчину, не ругнув при этом женщин.

— А я не хвалю Сайласа и не нападаю на него.

Алек Брэди ел и наблюдал за ними со слегка насмешливым выражением лица; он ничем не выдавал своих мыслей. Высокий, лысеющий человек лет сорока пяти, с узким лицом, он был профессором европейской истории и автором трёх известных трудов о наполеоновских войнах; в годы второй мировой войны Брэди служил капитаном в пехоте и получил медаль «За выдающиеся заслуги», что он тщательно скрывал от посторонних. Брэди был человек необщительный, а между тем именно с ним в числе немногих других людей Сайласу хотелось сойтись поближе. Как и Сайлас, Брэди проводил всё свободное время в семье, с женой и двумя детьми, и, как и Сайлас, был до странности лишён честолюбия. Он принадлежал к тем редким людям, кто избегает выносить приговор своим ближним, — сдержанность, которая объяснялась скорее глубоким пониманием человеческой природы, чем желанием сделать приятное или боязнь кого-нибудь обидеть.

Сайлас обернулся к нему, немного смущённый тем, что стал предметом всеобщего внимания, хотя ему это и льстило. Алек Брэди улыбнулся.

— Как здоровье ваших?

— Хорошо, очень хорошо,— ответил Сайлас.

Сьюзен Аллен заявила Айку Амстердаму, что он всегда либо ополчается на человека, либо с жаром его отстаивает. Тут Спенсер вернулся к первоначальной теме разговора. На свете есть хорошие люди. Если Амстердаму нравится делать исторические сопоставления — это его дело. Но если вывернуть слово «хороший» наизнанку и сделать его законом жизни, то к чему это приведёт?

— К тому, до чего мы сейчас дошли,— возразил Амстердам.— Жирные, откормленные, холёные педанты механически выполняют свои повседневные обязанности по раз навсегда заведённому порядку и получают кров, пищу и одежду из рук миллионеров, которые терпят наше заведение только за то, что оно готовит технических специалистов; ведь все наши гуманитарные факультеты — только чтобы пустить пыль в глаза, так же как и этот плющ на стенах из поддельного гранита. Вот до чего мы дошли! Покорные и угодливые поставщики того, что сходит за культуру в этом свихнувшемся мире, сбывающие крохи невежества, чтобы одурманить девственные мозги представителей новой «расы господ».

Сьюзен Аллен даже свистнула от восторга. Спенсер покачал головой и вернулся к картофельному пюре.

— С вами трудно спорить,— с улыбкой признался Брэди, а Сьюзен Аллен спросила:

— Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь спорил с Айком?

— Все со мной спорят,— фыркнул Амстердам.— И дураки и даже те, кто имеет чуточку здравого смысла. Наш век — священный век догматов, и если у меня обнаружится хоть одно маленькое убеждение, не зарегистрированное, не проштампованное и официально не одобренное, я неизбежно наталкиваюсь на споры, на злобу и на испуг.

— Айк любит обобщения,— заметила Сайласу Сьюзен Аллен,— собственно говоря, он оседлал своего конька, ещё когда вы шли мимо. Он привёл вас в пример и объявил, что даже такой безобидный предмет, как американская литература, скоро будет подстрижен под гребёнку,— в противном случае преподавателю не собрать костей. Я что-то не замечаю, чтобы это происходило с историей искусств. Никто ещё мне пока не указывает, кого я должна вознести до небес, а кого ниспровергнуть в преисподнюю, не думаю, чтобы это кого-нибудь интересовало. А как обстоят дела у вас, Сайлас?

— Трудно сказать. Времена тяжёлые, и на кое-какие уступки пойти придётся. Но разве у нас изменилась основа основ? Конечно, Айк, вам нетрудно доказать, что магнаты завладели нашими университетами,— да ведь это старая песня! Мы сами создаём себе жупел, а потом с ним боремся, однако зачем? Богачи, конечно, содержат высшие учебные заведения, так повелось издавна, кто этого не знает. Но с чего вы взяли, что они диктуют учебные программы или содержание лекций? К счастью, им, вероятно, в высшей степени наплевать на наши лекции,— да если бы они и захотели в них что-нибудь изменить, они бы не знали, с какого конца к ним приступить!

— Вы их недооцениваете,— вставил Брэди.— Считать богатых дураками — одна из самых больших ошибок, какие может допустить педагог. Да и просто-напросто неправда.

— Ну, а как обстоят дела там, где царят другие порядки? — спросила Сьюзен Аллен.— Вы что же думаете, что в России, там, где школы принадлежат народу, как они это утверждают, решены все ваши вопросы? Представьте себе, что Сайлас, или, допустим, я, или Айк, или вы, Алек, привели бы не тот текст, похвалили не ту картину или стали бы утверждать, что ваши космические лучи, Харт, ведут себя не так, как нужно.

Как бы с нами тогда поступили, Сайлас? Говорят, что за такие вещи там можно угодить в Сибирь!

— Кто же это говорит? — спросил Айк Амстердам.

— Все. Они и сами, я слышала, этого не скрывают.

Брэди сказал:

— Стоит ли нам затевать спор о России? Но разве не обидно, Сью, что мы должны оправдывать наши порядки тем, что где-то якобы тоже не лучше.

Сайлас взглянул на часы и встал.

— Мне пора. Само божество призывает меня к себе, и мне нельзя опаздывать.

— Кэбот? — спросил Айк Амстердам.

Сайлас кивнул. Когда он ушёл, Спенсер заметил:

— Надеюсь, ему не станут доказывать, что он зря спорил.

— Сайласу Тимбермену? Вряд ли! — промолвил Брэди, а Сюзен Аллен добавила не без цинизма:

— Ведь он такой хороший.

— Если он хороший, — заметил Айк Амстердам, — то да поможет ему бог.

* * *

Быть президентом Клемингтонского университета совсем не то, что возглавлять один из таких знаменитых университетов восточных штатов, как Гарвардский, Принстонский или Колумбийский; с другой стороны, разница была не так уж велика, потому что Клемингтон занимал особое место в жизни центрального района страны с его мощной промышленностью и сельским хозяйством. Конечно, Клемингтон выпускал меньше профессиональных дипломатов, чем некоторые другие университеты, но это более чем уравнивалось тем, что из его стен выходили руководители тяжёлой индустрии, конгрессмены, сенаторы, не говоря уже о губернаторах и мэрах западных городов. Президентами Клемингтонского университета были поочередно государственный секретарь Соединённых Штатов, губернатор штата Иллинойс, член Верховного суда; кое-кто — в том числе и сам Антони Ч. Кэбот — подумывал, что пора бы почтить культуру и промышленность данного района ещё более высоким постом...

Вот почему люди, знакомые с кухней американской политики, считали, что Антони Ч. Кэбот поступил мудро, приняв несколько лет назад пост президента Клемингтонского университета. Его карьера была успешной, хотя и не из ряда вон выходящей; это была тщательно продуманная карьера. Выходец из богатой семьи, он учился в Гротонском и Йельском университетах, а затем поступил на дипломатическую службу и через семь лет стал послом в одной из южноамериканских республик средней руки, потом он подал в отставку и выдвинул свою кандидатуру в конгресс по республиканскому списку. Избранный в палату представителей, он прозаседал в ней несколько созывов, после чего решено было, что пришла пора ему перейти в сенат; в качестве сенатора он продержался почти всё время правления Рузвельта. В конгрессе он вёл себя как дипломат, никогда не связывая своего имени с каким-либо важным законопроектом, никогда не позволяя себе блокироваться публично как с твердолобыми противниками Рузвельта, так и с независимыми республиканцами, поддерживавшими правительство. Он приобрёл репутацию человека уравновешенного, рассудительного, объективного и вдумчивого, озабоченного судьбой нации, ничем, правда, этого не доказав. Восемь лет назад он рассудил, что ему не стоит выдвигать свою кандидатуру на очередных

выборах, и решил принять по настоянию общественности пост президента крупного университета.

— Именно на этом поприще, — пояснял он своё решение, — произойдёт решающая битва всей нашей эпохи — битва за свободную и нестигаемую молодёжь, которая выстоит в борьбе с тиранией.

В октябре 1950 года он как раз отпраздновал своё шестидесятилетие; но, в общем, годы его шадили. Он обладал представительной осанкой, огромной гривой седых волос, при виде которой невольно напрашивался эпитет «львиная». Квадратный подбородок свидетельствовал о твёрдой воле, но это впечатление уравновешивалось высоким лбом — признаком глубокомыслия и трезвости суждений.

Внешность его знали все, но внешность эта была обманчива. Мало кто в университете знал его близко, у него было здесь не много друзей, и Сайлас не принадлежал к их числу; в конце концов он знал о президенте университета не больше других. Кэбот держался на отлёте, к чему давно уже привыкли в профессорской среде, но Сайлас не осуждал его, как другие: он понимал, что такое поведение часто вызывается врождённой робостью, а не неприязнью к людям. Правда, порой Кэбот умел быть весьма обходительным, что отнюдь не свидетельствовало о робости; впрочем, всё вместе взятое не слишком интересовало Сайласа, и он не очень об этом задумывался.

А вот сейчас ему, по правде говоря, пришлось призадуматься. Утром он нашёл в своём почтовом ящике записку, приглашавшую его зайти в приёмную президента университета по возможности в четверть второго, если ему, конечно, удобно, — время, которое совпадало с началом двухчасового перерыва в его лекциях, — и он почувствовал, что это неспроста. К. Кэботу не приглашали ни с того ни с сего, но, с другой стороны, в таком приглашении не было ничего необычного, и, с точки зрения университетских порядков, оно не должно было вызывать беспокойства. Сайлас всё же чувствовал тревогу, — возможно, он просто был в таком настроении, когда может встревожить любой пустяк. Пытаясь понять причину своего настроения, он сразу же попадал в тупик, путаясь в различных догадках. Он знал, что в воздухе запахло переменой, что люди становятся другими, да и он сам становится другим, но не мог выразить членораздельно, в чём же состоят эти перемены.

Вот почему он был сам не свой и нервничал, когда, перешагнув порог Главного здания, стал подниматься по витой мраморной лестнице в приёмную президента университета. Главное здание, построенное вскоре после Гражданской войны, отличалось претенциозной и бессмысленной роскошью; нагромождение красного дерева и мрамора сопутствовало Сайласу до самых дверей кабинета Кэбота. Сайласу казалось, что сходство этого помещения со старыми правительственными зданиями в Вашингтоне льстит Кэботу, да и действительно, красные дорожки, громадные письменные столы и чересчур мягкие чёрные кожаные кресла служили подходящим обрамлением для такого человека, как он.

В приёмной секретарша кивнула Сайласу, улыбнулась и сказала:

— Доктор Кэбот ждёт вас, профессор Тимбермен. Пройдите, пожалуйста, к нему.

Когда Сайлас вошёл, Кэбот встал из-за письменного стола, вышел навстречу и пожал ему руку.

— Рад вас видеть, профессор Тимбермен. Давайте-ка лучше сядем здесь, — он указал на стоявший в стороне овальный столик. — Терпеть не могу разговоров через письменный стол, никак не могу привыкнуть к этой эмблеме начальственности.

Он подвёл Сайласа к столу, подвинул два стула, достал сигары, сигареты и положил на стол папку с бумагами.

— Что вам предложить? — спросил он Сайласа. — Я не помню, что вы курите.

— Чаще всего трубку, — ответил Сайлас.

— Что ж, пожалуйста, курите трубку, устраивайтесь поудобнее. По моему, нам давно уже следовало поговорить по душам. Беда в том, что у нас в Клемингтоне много народу, пожалуй, даже слишком много.

Сайлас набил трубку и стал ждать. Ничего другого ему не оставалось делать. Кэботу хотелось быть галантным, так что Сайласу поневоле приходилось ждать, и он ждал. Кэбот зажёл сигару, деликатно затянулся и принялся рассматривать Сайласа с любопытством, но без всякой неприязни. Однако Сайлас очень удивился, услышав то, что он сказал:

— Фамилия человека — его частное дело, но, должен признаться, ваша фамилия меня весьма интригует. Надеюсь, вам это не неприятно?

— Нисколько, — ответил Сайлас. — У меня самая обыкновенная фамилия.

— Для кое-каких мест — обыкновенная, а для других — совсем не обыкновенная. Ведь вы, наверно, из Миннесоты?

— Да, я оттуда родом.

-- Ваш отец торговал лесом? ¹

— Нет, так высоко он не забирался. Он работал на лесопильном заводе.

— Простите меня, бога ради. Не хочу совать нос в вашу частную жизнь, но генеалогия — моя слабость. Как-нибудь, если выкрою время, напишу книгу об американских фамилиях. Возьмите такую фамилию, как Тимбермен. Она встречалась мне всего несколько раз в жизни, и всегда её обладатели были выходцами из Миннесоты. Тут нет ничего сверхъестественного, и вряд ли моё открытие можно считать научным. Но почему именно Миннесота? Допустим, что фамилия принадлежала какому-нибудь роду, он обосновался в этом штате и пустил ростки. Однако что значит «Тимбермен»? Может быть, ваши предки жили когда-то в лесах своей родины, а может, они приняли такую фамилию, работая в лесах Миннесоты? И если так, то почему? Или, быть может, это иностранное слово, которое только потом стало звучать по-английски?

Сайласу пришло в голову, что курьёзная лекция о происхождении его фамилии была лишь попыткой окольным путём узнать его национальность. Если так, попытка была довольно неуклюжей, и Сайласу даже не хотелось подозревать Кэбота в таком ребячестве. Он ответил без обиняков:

— Вот уж никогда не задумывался на этот счёт. Мой дед был норвежцем, он приехал сюда мальчиком в 1857 году. Я всегда считал, что фамилию он привёз с собой. А может, и нет. Дед работал в лесу, и, возможно, что слово «Тимбермен» было легче произносить, чем его настоящую фамилию.

— Весьма вероятно. — Кэбот улыбнулся. — Я не хотел докучать вам расспросами, профессор Тимбермен. Собственно говоря, мы отвлеклись от предмета, побудившего меня пригласить вас к себе. Я слышал, что вы близки с профессором Амстердамом?

— Он мой старый и близкий друг.

Кэбот кивнул.

— Значит, вы терпеливы и снисходительны. Старики порой так действуют на нервы.

— Бывает, — согласился Сайлас, зная наперёд, что скажет дальше, не желая этого говорить и тщетно пытаясь найти какие-нибудь другие

¹ Буквальный перевод с английского. «Timberman» означает: лесной человек, лесник. (Примеч. перев.)

слова,— впрочем, не с одними стариками, но и с людьми помоложе. Что же касается профессора Амстердама, мы всегда находили его интересным собеседником. И к тому же приятным.

— Ну иногда, положим, он может быть весьма неприятным.

— Может, — согласился Сайлас, радуясь возможности улыбнуться, но на душе у него было смутно, и он всё ещё не знал, куда клонит Кэбот.

— Не поймите меня превратно: я не собираюсь его порочить за глаза. Я пригласил вас потому, что вы его друг. Мне казалось, что при сложившихся обстоятельствах может помочь только друг — и помочь не только ему, но и нам всем. Если говорить начистоту, беседа с вами интересовала меня и сама по себе. В прежние времена быть президентом университета, повидимому, не составляло никакого труда. Уверяю вас, сегодня дело обстоит иначе. У нас масштабы не те, Тимбермен, масштабы — наш бич...

Сайлас сосал трубку и ждал, что будет дальше. Неожиданно Кэбот прервал поток своего красноречия, порылся в папке и вынул оттуда письмо.

— Не хотите ли прочесть, профессор Тимбермен? — сказал он, протягивая письмо Сайласу.

Нацарапанное неделю назад неразборчивым старческим почерком на личном бланке Айка Амстердама, письмо было адресовано доктору Антони Кэботу. Оно гласило:

«Я вынужден обратиться к вам с этим письмом, чтобы обстоятельно объяснить вам свой поступок или, вернее, своё нежелание участвовать в затеянном вами мероприятии. На прошлой неделе вы опубликовали обращение к преподавательскому составу университета с призывом вступить в местную организацию гражданской обороны, а затем поставили нас в известность, что широкое участие в ней преподавателей послужит вдохновляющим примером для всего штата, ибо приток добровольцев в гражданскую оборону незначителен, несмотря на все призывы и вопли о грозящих нам бедствиях.

Зрело поразмыслив, я пришёл к выводу, что ваше обращение было продиктовано не заботой о благе родины, а политическими соображениями; что же касается формы, в которой оно было выражено, то сей документ лишал преподавателей их основного и драгоценного демократического права — права свободно судить и принимать решения. В нём содержался намёк на то, что отказ пойти навстречу вашему желанию повлечёт за собой те или иные репрессивные меры.

Придя к такому выводу, я подумал, что мне остаётся только одно: отказаться от всякого участия в этой организации. Я отлично понимаю, что подобный шаг имеет чисто символическое значение, поскольку участие какого-то старика в организации обороны имело бы весьма сомнительную ценность; однако я должен следовать велениям моей совести.

Я не сказал бы всей правды, если бы ограничил объяснение моего поступка только вышеупомянутыми причинами. Ни сомнительные политические соображения, которыми руководствовались авторы воззвания, ни его грубый тон не могли бы служить оправданием для отказа выполнить свой патриотический долг. Но я учёный, физик, посвятивший большую часть своей жизни изучению сил и законов природы, и я достаточно знаю об атоме и атомной бомбе, чтобы понимать, что единственной защитой от такой бомбы является её неприменение или, другими словами, создание таких условий как внутри страны, так и за её пределами, которые позволили бы раз навсегда уничтожить это зло и проклятие человечества. Организация, за которую вы ратуете, может лишь ещё больше накалить и без того напряжённую атмосферу, а отнюдь не способ-

ствовать миру. Вот почему я считаю, что ваши действия приносят вред жизненным интересам моей страны и являются в корне антипатриотичными.

Искренне ваш Айзак Амстердам».

Сайлас кончил читать и положил письмо на стол. Его трубка погасла, и он был рад, что мог выиграть время, разжигая её снова. Кэбот бесстрастно глядел на него, ожидая, что он скажет, — теперь их роли переменялись.

— Жаль, что вы мне дали прочесть письмо, — сказал наконец Сайлас.

— Почему?

Сайлас пожал плечами.

— Разве нужно объяснять?

— Вы хотите сказать, что, прочитав это письмо, вы почувствовали себя неловко и поняли, в какое затруднительное положение поставлен я?

— Профессор Амстердам — мой друг.

— Я ведь уже отдал должное вашему долготерпению. А всё же мне интересно, показывал ли он вам письмо, прежде чем его отправить?

Сайлас почувствовал, как у него по телу побежали мурашки, а рука, державшая трубку, слегка задрожала. Он постарался овладеть собой и возразил уже вполне спокойно:

— Нет, доктор Кэбот, он мне его не показывал. Можете не сомневаться в том, что, если бы я видел письмо, я сделал бы всё от меня зависящее, чтобы убедить профессора Амстердама его не посылать.

— Почему? Потому, что оно написано в нестерпимо оскорбительном тоне?

— Потому, что я считаю письмо неразумным, — всё так же спокойно ответил Сайлас.

— Я вынужден снова спросить вас: вы не можете согласиться с его тоном или с его содержанием?

— Я не несу ответственности ни за его тон, ни за его содержание. Письмо писал не я, а профессор Амстердам; он в состоянии сам отвечать за свои поступки.

— Лично я в этом сомневаюсь, — попрежнему невозмутимо произнёс Кэбот. — Но в основном вы правы. В свою очередь, он не может отвечать за ваши поступки, профессор Тимбермен. А всё же, согласитесь, какое странное совпадение! Вы ведь тоже предпочли не принимать участия в гражданской обороне.

— У меня были на это свои причины. Не вижу в моём поведении ничего предосудительного, да мне никто и не говорил, что я не вправе так поступить.

— Тогда вы едва ли сможете меня упрекнуть, если я выскажу предположение, что вы согласны с доводами профессора Амстердама.

— Вы вправе предполагать всё, что вам угодно. А я вправе не соглашаться с его доводами и не брать на себя за них ответственности.

Кэбот откинулся на спинку стула, улыбнулся и задымил сигарой.

— Вот тебе раз — ссоримся, как малые дети. Поверьте, профессор Тимбермен, у меня нет никакого желания изображать инквизитора — такая роль мне совсем нё к лицу. Но согласитесь, ведь это гадкая история. А поскольку мы запутались в паутине сложных и неприятных обстоятельств, я должен их распутать, хочу я этого или нет. И во мне говорит не злоба на старого глупого человека, написавшего мне дурацкое письмо. Правда, получать такие письма мне ещё не доводилось, но у меня хватит жизненного опыта и душевного равновесия, чтобы счесть такое послание не опасным, а просто забавным. Я не собираюсь прибегать к репрессиям

в отношении профессора Амстердама, хотя и полагаю, что, трезво рассуждая, я мог бы потребовать, чтобы он извинился. Однако меня беспокоит мысль, что он говорит не только за себя. Всякие бывают письма. Вот, например, письмо, полученное мною вчера из Вашингтона, из министерства юстиции. Разрешите, я вас познакомлю и с ним тоже.

Он снова раскрыл папку, вынул оттуда другое письмо, уже на трёх листах, и положил его перед собой.

— Меня ставят в известность, — продолжал он, — что в Соединённых Штатах распространялось воззвание, призывающее раз и навсегда запретить атомное оружие. Распространение этого воззвания началось в мае прошлого года и закончилось совсем недавно; инициаторы его утверждают, будто они собрали более двух миллионов подписей. Министерство юстиции сообщает — я цитирую: «Невозможно с точностью установить число студентов и преподавателей Клемингтонского университета, подписавшихся под воззванием. Возможности получить такую информацию у нас пока ещё ограничены, но есть основания полагать, что общее число подписавшихся даже больше, чем мы можем сообщить вам. Хотя государственный департамент считает, о чём он и объявил публично, что вышеупомянутое воззвание противоречит насущным интересам Соединённых Штатов, а министерство юстиции отмечало, что указанное воззвание составили и распространяют коммунисты, никаких карательных мер против тех, кто его подписал, пока не предусматривается. В то же время мы полагаем, что в ваших собственных интересах, в интересах вашего университета и всей страны в целом вам следует знать фамилии подписавшихся». Далее перечисляются фамилии.

Кэбот поднял глаза и посмотрел на Сайласа; его крупное красивое лицо было всё так же бесстрастно и задумчиво, высокий лоб пересекала продольная морщинка. Он снова подождал, а несколько изумлённый Сайлас подумал: «Как же я об этом забыл?» Его злость улеглась, а страх ещё не пришёл ей на смену, хотя он и понимал, что в его жизни возникли обстоятельства, которые могли бы испугать любого нормального человека, — он подумал об этом почти как сторонний наблюдатель. Что-то родилось и очень медленно приобретало очертания — так медленно, что сейчас ещё было почти неосознано; и всё же оно надвигалось, в этом он был уверен. Неужели он только сейчас это почувствовал? Если так, то какой же он толстокожий! Ну, разве не бесчувственный человек сидит на этом фантастическом допросе так, словно всё это касается кого-то другого и уж во всяком случае не может повлечь за собой неприятных последствий?

Позже, много позже, он вспомнит, что пережил в этот миг, задумается над пережитым, взвесит всё и придёт к заключению, что до среды 25 октября 1950 года его внутреннее «я» не знало настоящего страха, страх этот ещё не сформировался. Ему были хорошо знакомы другие страхи, он ощущал их явственно, они были его постоянными спутниками: страх перед безработицей; страх перед всякими опасностями, угрожавшими его детям; страх, что он может потерять любовь Майры; страх, что он окажется несостоятельным в чужих глазах; страх перед смертью, перед болезнями — целое сборище страхов, с которыми он уживался сравнительно сносно; но вот эта совсем особенная и странная боязнь высказать свои мысли и следовать велению своей совести была ещё слишком новой, слишком неоформившейся, чтобы она могла разбудить в глубине его сознания смятение и тревогу.

Но всё это он поймёт только позже. Сейчас он был удивительно спокоен, его лишь занимал вопрос: куда клонит ополчившийся на еретиков Кэбот?

— Перейдём к именам, — продолжал президент. — Мне хотелось бы зачитать их вам, профессор Тимбермен. Я не собираюсь их оглашать, но и не буду держать в секрете. Ведь я несу немалую ответственность за обширный и сложный механизм, которым является в наши дни университет. В силу возложенной на меня ответственности я обязан вникать во все области жизни нашего городка. Должен сознаться, что задача эта не всегда может быть правильно понята... — Он усмехнулся. — Поверьте, я не собираюсь никому угрожать... Вот фамилии преподавателей. Начнём с Эдны Кроуфорд — кафедра домоводства. Вы её знаете?

Сайлас кивнул.

— Тогда вы поймёте, как я был удивлён. Женщине под шестьдесят, автор учебника, который знает вся страна! Наконец, она из очень хорошей массачусетской семьи... Следующий — Леон Федермен, факультет естественных наук. Должен отметить, что точные науки здесь вообще широко представлены... Ну и, само собой разумеется, здесь широко представлены евреи.

— Почему же «само собой разумеется»? — спросил Сайлас с отчаянием.

— Что вас так удивляет, профессор Тимбермен? Еврей всегда становится на сторону недовольных элементов. В сущности говоря, еврей не может быть лоялен ни к какой стране или культуре, любая смута ему только на руку. Я не утверждаю, что все евреи замешаны в заговоре, это было бы смешно, я лишь излагаю их общую характеристику; бывают, конечно, и исключения. Вслед за доктором Федерменом идут Хартман Спенсер, Калев Элмен и Айзак Амстердам, все они — профессора факультета естественных наук, хотя они и не евреи.

— И вы это считаете противоестественным, а поведение доктора Федермена — естественным? — спросил ошеломлённый Сайлас. Трубка его потухла, да он о ней и позабыл; тщательно протирая очки, Сайлас даже не нервничал, он просто схватился за очки, как за соломинку, — в голове его мелькали обрывки мыслей: «Спокойно, Сайлас, не теряй голову! Оголтелый карьерист кичится своими предрассудками. — только и всего. Мир ещё не встал дыбом. Пусть он перечисляет фамилии, ну его! Надо же ему поважничать, покрасоваться в судейской мантии».

— Да, я считаю их поведение противоестественным, — отозвался президент Кэбот. — А вот и ваша фамилия, затем идут Алск Брэди, Джексон Т. Темплтон, Лоуренс Кэплин, тут и ваша жена, профессор Тимбермен, и Макс Рейнмастер, и Сэди Доусон, и Джоэл Сивер, Прайор Унгер, Фрэнк Истермен, Кеннет Джоад и Джошуа Коэн. В общем, семнадцать фамилий — семнадцать мужчин и женщин, которые сочли возможным поставить свои подписи под таким документом. Далее следуют подписи пятидесяти пяти студентов, но это меня не так удивляет и не так беспокоит. Среди молодёжи немало горячих голов — она склонна к идеализму, — к ней надо проявлять известную терпимость, что отнюдь не оправдывает самого поступка. Но семнадцать преподавателей! Они-то уж вряд ли заслуживают, чтобы к их поступку отнеслись снисходительно.

Сайлас перестал протирать очки, он надел их на нос и почувствовал ту уверенность, которую испытывает близорукий человек, обретя нормальное зрение. Очертания лица президента Кэбота стали чётче. На полных красивых губах всё ещё играла лёгкая улыбка, но линии рта выдавали раздражение и упрямство; Сайлас понял, что его собеседник следит за своим лицом и тщательно им управляет. Оно отражало то, что хотелось президенту, — ни больше ни меньше, а Сайласу оставалось догадываться, что крылось под этой маской, и отыскивать на ощупь линию своего поведения. Теперь в нём пробуждался страх, и потому он говорил себе, что нужно быть мужественным и принципиальным; однако неясное предчувствие возможных последствий подсказывало Сайласу, как опасно навлечь

на себя неприязнь такого человека. Да и к чему? Ведь вся эта ерунда должна была испариться под яркими лучами разума, и ему вовсе незачем рядиться в тогу виновности.

— Я понимаю ваше недовольство, — сказал Сайлас. — Мы живём в трудное время; легко себе представить, каково сейчас человеку в вашем положении. Но я, право, не вижу, в чём все мы провинились. Мы просто подписали петицию, призывающую поставить атомное оружие вне закона. Ведь против этого не может возражать ни один честный, разумный человек.

— А почему не может, профессор Тимбермен?

— Потому, что от атомной бомбы нет защиты. Мы знали другую войну; сейчас нам грозит превращение всего мира в атомную пустыню, нельзя же об этом забывать! Такое оружие никогда больше не должно применяться, я в этом глубоко убеждён.

— Неужели вы думали, что стоит вам подписать петицию — и цель будет достигнута?

— Нет... честно говоря, этого я не думал. Собственно, я даже сомневался, разумна ли эта петиция и, в частности, может ли она чему-нибудь помочь.

— И всё-таки вы её подписали?

— Видите ли, мне разъяснили, что тут дело принципа, ну, а раз так, не мог же я уклониться. Пусть мой вклад ничтожен и ничего не изменит — всё равно...

— А кто вам её дал?

— Простите...

— Вы говорите, будто вам разъяснили, что тут дело принципа. Другими словами, кто-то дал вам петицию на подпись?

— Да.

— Кто именно?

Прошло много, много времени, прежде чем Сайлас ответил, хотя он ни о чём и не думал. Вот оно — то, что надвигалось, — вот оно наконец пришло. И в конце концов Сайлас ответил:

— Боюсь, что я не могу вам этого сказать.

— Вот как! А я-то думал, что, познакомив вас с письмом министерства юстиции, открыл вам глаза на то, что документ, который вы так охотно подписали, является частью всемирного коммунистического заговора. Разве это не меняет дела?

— Может быть, и меняет.

— И всё-таки вы отказываетесь сообщить, кто распространял подобный документ среди моих преподавателей? Не вы ли сами? Вы коммунист, профессор Тимбермен?

— Вы спрашиваете серьёзно? — спокойно осведомился Сайлас.

— Совершенно серьёзно.

— В таком случае, мне жаль, что вы задали такой вопрос, — тихо ответил Сайлас. — А я-то уверял себя, что никаких коренных изменений у нас не произошло, да и не могло произойти. Нет... я не коммунист. Я не коммунист, президент Кэбот.

На что Кэбот сказал:

— Благодарю вас, профессор Тимбермен, за оказанное вами содействие. — И поднялся, давая понять, что аудиенция окончена.

* * *

Брайан увидел его издали и кинулся ему навстречу. Он изображал реактивный самолёт. Тело его стало обтекаемым, и он изрыгал пламя. Брайан нёсся с оглушительным, всё нарастающим криком; Сайлас поймал его на лету и подбросил вверх.

Он держал сына на вытянутых руках, и Брайан по достоинству оценил их силу.

— Ты сильный, — сказал он. — Спорю! Спорю с кем хочешь, что ты сильнее всех на свете.

Он хохотал, щуря голубые глазки, и они сверкали, как драгоценные камешки.

«Сильнее всех на свете, — повторил про себя Сайлас. — Какое лестное мнение!» Солнце сияло, белые клубы облаков кувыркались в осеннем небе, и к Сайласу снова вернулись тепло и радость.

— Я увидел тебя далеко-далеко, в телескоп, — сказал Брайан.

— Ну да!

— То есть в бинокль. Я взял твой бинокль. Не спросясь. Ничего? А? Сайлас опустил его на землю.

— Конечно, ничего. А куда ты его дел?

— Он там, на траве. Сейчас найду.

— Давай поищем вместе, — предложил Сайлас, и они пошли, взявшись за руки.

— Ты его взял на войне? Да? Ты им кого-нибудь убил?

— Биноклем не убивают. В него смотрят, чтобы видеть издалека всякие вещи, которые иначе не разглядишь.

— И звёзды тоже? А вдруг ты попал на Луну? Понимаешь, ты берёшь бинокль и видишь Марс как на ладони. Понимаешь, Сайлас, вдруг ты, например, попадёшь на Луну? Знаешь, что сказал дядя Айк? Знаешь, что он сказал?

— Наверно, не знаю, раз он сказал что-нибудь необыкновенное.

— Он сказал, что как-нибудь ночью, когда мне не надо будет рано ложиться спать, он возьмёт меня в обсерваторию... знаешь... там, где большой телескоп.

— Ты хочешь сказать, в обсерваторию.

— Ну да, в обсерваторию, где большой телескоп. Он такой большой, что его вертит машина. Ты это знал? Ты был когда-нибудь в обсерватории?

Они нашли бинокль, Сайлас его поднял и повесил Брайану через плечо.

— Да, я там был, — сказал он мальчику. — Дядя Айк брал меня с собой.

В памяти его возникло яркое, отчётливое, незабываемое воспоминание о том, как он и Майра впервые побывали в обсерватории вместе с Амстердамом, Хартманом Спенсером и старым доктором Лазарусом Мейерсом, который в своё время работал с самим Лоуэллом и участвовал в знаменитом споре, являются ли линии, видимые на Марсе, каналами и есть ли жизнь на этой планете. То была прекрасная ночь, совсем особенная ночь; они гуляли с Майрой, взявшись за руки, пока не стало совсем темно и в небе не замигали огоньки, потом они поднялись по дорожке за Главным зданием на холм, где прилепилась обсерватория. Это была не бог весть какая обсерватория — поблизости уже появились другие, крупнее и современнее, но Сайласу и Майре, которые никогда не бывали в обсерватории, её купол показался огромным, а Брайана он поразит ещё больше. У входа их ожидал Амстердам; он провёл их внутрь, где темнота была ещё гуще, и приложил палец к губам. Старик Мейерс наблюдал за поднимавшейся над горизонтом Венерой, а во время работы он придирчиво требовал тишины; и потому в обсерватории слышалось лишь слабое поскрипывание механизмов, приводящих в движение телескоп, да дыхание людей. Постепенно глаза Сайласа привыкли к темноте; в рассеянном свете звёзд, проникавшем через отверстие в куполе, он различал фигуры своих спутников и белую бороду Мейерса.

Потом, когда настал его черёд, перед ним раскрылась вечность. То было всего пять лет назад, но до тех пор он ни разу в жизни не глядел в телескоп и не ожидал, что перед ним раскроется такая беспредельность; он не ожидал, что она его поглотит, растворит в себе, возвысит и превратит в пигмея; душа его взлетела ввысь, чтобы тотчас низвергнуться в пропасть, в собственное ничтожество, и он почувствовал себя крохотной песчинкой, затерянной в бесконечности. Вероятно, Майра испытала такое же чувство, потому что, отойдя от телескопа, она прижалась к нему...

Потом Майра разговаривала со старым Мейерсом. Она ему понравилась. Она рассказала Мейерсу о детях — о двух девочках и маленьком мальчике, которому тогда как раз исполнился год.

— То, что вы видели с помощью телескопа,— сказал ей Мейерс,— ваш сын увидит куда лучше. Невооружённым глазом. Он и люди его поколения — они будут странствовать среди звёзд.

— Вы в это верите? Вы действительно в это верите? — спросил Сайлас.

— Я не говорю того, во что не верю.

— И люди будут, как боги... — прошептала Майра.

— Если ещё будут жить люди,— заметил тогда Мейерс.— Дорогая, вот это куда более сложный вопрос! Будут ли ещё на земле жить люди.

И вот теперь, пять лет спустя, Брайан спрашивает его:

— Когда же дядя Аик меня туда возьмёт? Когда?

Брайан остался во дворе. Он превращался то в реактивный самолёт, то в ракетный снаряд, то в межпланетный корабль; потом он полетел в погоню за какой-то птицей... Девочки были в гостиной, они смотрели телевизор. Сайлас прошёл на кухню, где Майра проворно и изящно намазывала ломтики хлеба. Она подставила ему щёку для поцелуя.

— А-а, Сай! Как дела?

— Не знаю. Ещё не разобрался. Это для кого — для гостей?

— Ну да, разве ты забыл? Таким образом я побыстрее отделаюсь от Лундфестов, не убивая на них целый вечер.

— Рано или поздно их всё равно придётся позвать на обед.

— Неприятные вещи всегда лучше откладывать на завтра... а вдруг нам ещё повезёт... Во всяком случае, я пригласила Ларри Кэплина с женой.

— Эд их недолюбливает.

— Знаю. Ещё я пригласила Боба и Сьюзен Аллен — ведь Джоан Лундфест просто изнывает по молодым людям, а Сьюзен к тебе неравнодушна, и она мила собой.

— Какого чёрта...

— Ладно, ладно, не представляйся. Расскажи-ка лучше, как твои дела? Я тебя искала днём, в перерыве.

— Я имел аудиенцию у Антони Ч. Кэбота, президента нашего прославленного университета.

— А что ему было нужно?

Сайлас рассказал ей; он сидел на табурете, потягивая трубку и любуясь, как быстро и ловко Майра prepares маленькие бутерброды. Движения её рук были так точны и уверенны. Он подумал о том, как поступила бы она на его месте... Во всяком случае Майра поступила бы лучше, чем он. Как бы то ни было, Сайлас рассказал ей всё до конца, со всеми подробностями, а она молча выслушала его. Потом она подняла на него глаза, — в них можно было прочесть любопытство и живой интерес; люди, которые давно и прочно женаты, редко так смотрят друг на друга.

— А ты здорово удивился, Сай?

Он на миг призадумался.

— Кажется, не очень.

— Я совсем не удивилась. Я рада, что ты вёл себя как полагается. Как ты думаешь, это уже конец?

— Нет.

— И я так думаю. Значит, теперь, наверно, каждый день придётся что-нибудь решать заново.

— Боюсь, что да.

— А тебе не страшно?

— Сперва я не испугался. Только рассердился. Потом мне всё-таки стало страшновато. Странное ощущение — какой-то новый вид страха.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать.

— То я говорю себе: какого чёрта я подписал эту проклятую петицию? А потом думаю: какая разница? Даже если бы я и не подписал. Что бы от этого изменилось?

— Да, в конечном счёте ничего, — согласилась Майра. — А всё-таки страшновато. Почему я такая, Сай? Может, я просто хлипкая? А может, все люди такие? Вот я брюзжу и ворчу, мечтаю о неожиданностях, о приключениях, говорю себе: ты идёшь проторённой дорожкой, ты стала рабой привычек, вертишься как белка в колесе... А пока ты рассказывал, у меня не выходило из головы, как мне хорошо, тепло и спокойно, каждый божий день похож на предыдущий, и ты почти уверена, что завтра будет как две капли воды похоже на сегодня, и ты можешь строить планы, и откладывать в банк по десять долларов в неделю, и думать о том, как купить новую машину или новое платье, и мечтать, что, может быть, летом мы возьмём всё, что у нас есть, до последнего гроша, и совершим наконец путешествие в Европу, — мы ведь так давно собираемся... А потом вдруг мелькнуло: что ж, остаётся только одно — отправиться к Кэботу и поплакать ему в жилетку, сказать ему, как нас обоих надули и как нас обманом заставили подписать эту зловердную коммунистическую петицию... А он улыбнётся мне своей отеческой улыбкой и скажет: ну, ну, дорогая, не стоит огорчаться, забудьте всю эту неприятную историю и выкладывайте, кто был зачинщиком, а я назову ему главных злодеев: Айка Амстердама и Алека Брэди, и он примется меня уверять, что я и настоящая американка, и молодчина, и истая патриотка...

— Ну, уж нет...

— Конечно, нет, Сай. Я просто мечтала о том, как выкарабкаться из неприятностей и никогда больше не испытывать страха. Но, кажется, я ещё недостаточно напугана. А что если мы оба немножко паникёры и всё уже обошлось?

— Будем надеяться, Майра.

— Тогда ступай в гостиную и скажи детям, чтобы они шли есть, а я поищу Брайана.

— Он во дворе.

— Знаю.

Сайлас пошёл в гостиную, где девочки в темноте сидели на кушетке и, не отрываясь, глядели на мерцающий серо-белый экран, вделанный в ящик.

— Суп на столе, — сказал он, сядя между ними и обняв их за плечи.

— Ну, ещё немножечко...

— Нет.

— Ещё хоть десять минуток...

— Нет.

Джералдайн повернула выключатель, а Сьюзен спросила его:

— Почему ты против телевизора?

— Я не против телевизора. Я против того, что показывают по телевизору.

* * *

Если в Клемингтоне и существовал антисемитизм, правила хорошего тона и осторожность требовали, чтобы об этом вслух не говорили. Всякий знал, что соблюдается процентная норма, ограничивающая число евреев-студентов и евреев-преподавателей, но применялась она искусно и скрытно — о ней не упоминали даже те, кто её соблюдал; точно так же считалось в порядке вещей, что среди преподавателей не было ни одного негра, а в числе студентов их было только семнадцать,— никто в этом, видите ли, не был виноват, кроме объективных условий. Сам Лоуренс Кэплин стал бы отрицать, что в университете существует явный антисемитизм. Он принимал с философским спокойствием то, что у него было ограниченный круг знакомых, мало приятелей, а друзей и того меньше. Так повелось исстари, он к этому более или менее приспособился и даже склонен был винить во всём самого себя, свои собственные привычки домоседа. Жена его, Сельма, болезненно ощущала свою обособленность, но оба они были со Среднего Запада, оба привыкли к тому, что к ним так относятся даже их приятели, и делали вид, что им всё равно, не проливая при этом слёз.

Сельма Кэплин была полная, миловидная женщина, легко и просто принимавшая приближение старости. У неё были приятные черты лица и густые белоснежные волосы, ярко оттенявшие ещё молодую кожу. Здороваясь с ней, Майра снова — в который раз — подумала о том, что в юности эта крупная и живая женщина была, вероятно, очень красива; интересно, как Сельма ладила тогда с мужем, таким мягким и замкнутым человеком? Майра так и не знала, нравится ли ей Лоуренс Кэплин; она не доверяла таким чересчур кротким людям, ей чудилось в них что-то ненормальное, но Сайлас был им совсем покорён и не переставал восхищаться его энциклопедическими знаниями. Впрочем, сейчас Майра была благодушно настроена: сказывалась реакция на недавний разговор, сказывался и выпитый натошак коктейль; она поздоровалась с Кэплиными с таким очевидным и искренним удовольствием, что оба они сразу почувствовали себя как дома.

— Мы вас опередили, — сказала Майра, — но я так рада, что вы пришли. Берите бокалы и нагоняйте.

Последовали взаимные приветствия. Все они знали друг друга. Круглое, открытое лицо не позволяло дать Бобу Аллену его тридцати двух лет; он был преподавателем современной литературы и вёл семинар по композиции — на таких вечеринках полагалось ограничивать круг гостей кафедрой Лундфеста. Джоан Лундфест — хрупкая, томная дама — была когда-то блондинкой; с годами волосы её приобрели кукурузный оттенок и неестественный блеск; она злоупотребляла косметикой, была требовательна и капризна. Сейчас, поглощённая лёгким флиртом с Бобом Алленом, Джоан была весела и возбуждена. Лундфест и Сайлас оживлённо болтали с Сьюзен Аллен; Кэплин, взяв бокал, присоединился к ним. Майра развлекала Сельму Кэплин разговорами о домашних делах и о детях, разносила гостям бутерброды, прислушиваясь к обрывкам разговоров.

— Рассуждать сейчас об английской системе образования, — разглагольствовал Лундфест, — пустое дело. В наши дни мы достигли такого уровня специализации, что можно провести резкую черту между наукой прикладной и наукой *per se*. Нет и не может быть науки ради науки.

Англичане выращивают образованных бездельников; мы выпускаем инженеров, государственных деятелей, лидеров индустрии.

— Им бы не повредило, если бы они вдобавок ещё умели читать.

— Бросьте, Сайлас, они читают всё, что им полагается.

— Старая песня! Сейчас вы скажете, что человеческий мозг похож на шкаф: он не может вместить больше, чем туда влезает, и его не следует загромождать бесполезными вещами.

— А что вы думаете? Так оно и есть.

— В самом деле? — усмехнулась Сьюзен Аллен. — Значит, вы с вашей технической цивилизацией обрекаете на гибель всю нашу компанию. Что же тогда будет с нами, Эд?

— Будем попрежнему раздавать крохи невежества.

Это был пробный шар, пущенный Кэплином; Лундфест немедленно его подхватил.

— Как вам не надоело жонглировать словами! Сотни раз уже слышал про эти самые «крохи невежества». Что сие значит? Ничего, ровным счётом ничего. Все теперь наделены вашими «крохами невежества», которые состоят из набора необходимых для жизни сведений.

— А когда-то все мы были всесторонне развитыми, полноценными людьми из плоти и крови, — сказал Сайлас.

— Эд и теперь из плоти и крови. Спросите наших студенток, что с ними происходит, когда он проходит мимо них по улицам городка.

У Сьюзен это ловко получилось; Сайлас удивлялся, как легко удаётся женщинам управляться с Эдом Лундфестом, — любой женщине.

«А ведь он дурак, — подумал Сайлас. — Но в нём что-то есть. Всякий раз, когда я говорю себе, что он просто дурак, я делаю ошибку». И он добавил про себя, что, если говорить о присутствующих, настоящими дураками были Сайлас Тимбермен и Лоуренс Кэплин. Тот самый Кэплин, перу которого принадлежала единственная серьёзная монография по морфологии английского языка; к мнению его с почтением и даже с благоговением прислушивалась сотня незаметных учёных, разбросанных по всему свету, а вот теперь он робко и неуверенно смотрит на Лундфеста. «А всё они, крохи страха», — подумал Сайлас.

— Вы меня не так поняли, — стал объяснять Кэплин. — Я не противопоставляю технику гуманитарным наукам. Но факт остаётся фактом — гуманитарные науки доживают свой век. Никого они сейчас всерьёз не интересуют.

— А разве мы в этом виноваты? Не вредно было бы себя об этом спросить. Неотъемлемой частью борьбы свободного мира против коммунизма является сохранение западной культуры. В этом, так сказать, — наш священный долг.

— Хватит, Эд, — сказала Сьюзен Аллен, — не говорите так, словно вы цитируете передовицу. Просто-напросто нам приходится мириться с тем, что мы есть.

— Глубокая истина, — заметила Майра, поднося ещё один бокал Лундфесту. — Но меня удивляет, что люди совсем перестали задумываться над тем, с чем им приходится мириться. А о чём, в сущности, у вас идёт спор, Сьюзен?

— Кажется, о культуре.

— О крохах чего-то, — улыбнулся Сайлас; он выпил на пустой желудок два бокала и чувствовал теперь приятную лёгкость и даже какую-то безответственность. — Помните у Бёрнса, — сказал он Лундфесту, — да вы знаете:

Ах, если б у себя могли мы
Увидеть всё, что ближним зримо,
Что видит взор идущих мимо

Со стороны, —
 О, как мы стали бы терпимы
 И как скромны!¹

Или что-то в этом роде... отчего человеку стало бы легче мириться с самим собой.

Сьюзен Аллен взяла Лундфеста под руку. «Она хочет сгладить углы, — подумал Сайлас. — Но я его уже разозлил». Он вдруг почувствовал, что ему хочется ещё больше ущемить собеседника. Он терпеть не мог Эдварда Лундфеста, он его от души ненавидел, он презирал его и презирал себя за то, что позвал Лундфеста в дом, кормил и поил его и позволял этому напыщенному пошляку проявлять свою глупость, своё мальчишество, свою откровенную похотливость, своё грубое презрение к Кэплину, — тут Сайлас почувствовал, что он и сам не может сочувствовать Кэплину. «Так тебе и надо, Тимбермен, так тебе и надо, Кэплин. Каждому по заслугам, а Антони Ч. Кэботу рано или поздно — место в Белом доме, в государственном департаменте или в Верховном суде. И тогда под сводами Главного здания торжественно прозвучит: «Президент Клемингтонского университета Эдвард Лундфест». Люди глядели вперёд, вынашивали свои планы, строили своё будущее, — по видимому, так поступали все, кроме Сайласа Тимбермена».

— Он хочет показать свою эрудицию, — доверительно сообщила Лундфесту Сьюзен, а Майра ловко развела их в разные стороны.

— Какой эгоизм, так можно погубить любую вечеринку, — сказала Майра. — Ларри, пойдёмте со мной.

Она взяла Кэплина на буксир и отвела его к Бобу Аллену, который поблагодарил её взглядом, полным признательности. Кэплину пришлось принять на себя натиск Джоан Лундфест, Аллены затеяли разговор с Сельмой Кэплин, а Майра снова стала наполнять бокалы, разносить тартинки и опустошать пепельницы, ни на минуту не забывая о том, что Сайлас здорово выпил, беспокоясь за него и неотрывно наблюдая за ним и за Лундфестом, чувствуя какое-то напряжение и спрашивая себя, все ли его ощущают или только она. да ещё, пожалуй, Сайлас, который сам был весь в напряжении. Когда она смогла подойти к нему, то сразу заметила, как побелели его губы и как едва заметно подёргивалось лицо. Он стоял, вытянувшись во весь рост, — высокий и, казалось сейчас, внушительный.

— ...теперь не время вдаваться в этот вопрос, — говорил Лундфест. — Я просто упомянул...

— Нет, вы не просто упомянули, — настаивал Сайлас. — Вы хотите, чтобы я перестал делать то, что я делаю. Я учу студентов, а вы заявляете: не смейте их учить тому, чему вы их учите. Это опасно, вам грозят неприятности. Бросьте!

— Не впадайте в мелодраму, Сайлас. Строить тематическую концепцию американской литературы на основе пустынного рассказа Марка Твена, — да разве это принято, не говоря уже ни о чём другом?

— Вот-вот. Весь вопрос заключается в том, принято это или не принято.

— Не будем преувеличивать. Не стану с вами спорить о том, является ли «Гедлиберг» лучшим или худшим из произведений Марка Твена. Дело в другом: время, когда Твен его писал, ушло безвозвратно, оно умерло. Всё меняется, и условия меняются. В этом рассказе я лично вижу просто тенденциозную писанину; читателю преподносится типичный город американского Среднего Запада, он обливается помоями

¹ Стихи Роберта Бёрнса «Насекомому, которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы» даны в переводе С. Маршака.

сверху донизу, а затем отсюда делают вывод: всякий, кто имеет предприятие, владеет банком или хозяйничает в лавке, — злодей и жулик, тогда как тот, кто беден, кто лишён честолюбия, кто ленив и глуп, — хороший, честный и добропорядочный человек. Я не попадусь на такую удочку, Сайлас.

— Когда вы в последний раз читали рассказ Твена?

— Вчера. Я взял его в библиотеке, прочёл самым внимательным образом и, должен сознаться, был возмущён. При всей моей снисходительности, я не могу приписать его создание только жёлчи и злобе больного старика. Не мудрено, что студенты, которые обратились ко мне и квалифицировали этот рассказ как коммунистическую пропаганду, пришли в негодование.

— Вы, кажется, обвиняете Марка Твена в том, что он был коммунистом или слепым орудием коммунистической пропаганды?

— Конечно, нет. Но сегодня то, что он писал, совпадает с тем, что говорят коммунисты. Не сомневаюсь, что им бы очень хотелось распространить по всей стране «Человека, который совратил Гедлиберг» в миллионах экземпляров. Он служит их целям. А когда вы строите на нём весь литературный процесс, — вы служите их целям. Вот и весь сказ, Сайлас, и никуда вы от этого не денетесь.

Сайлас открыл было рот, но тут же его закрыл, почувствовав, как пальцы Майры впились в его руку, словно иглы. Он обернулся к ней, а она сказала беспечным тоном:

— Нашли когда философствовать. Вам обоим всё равно не решить проблем мироздания, даже после дюжины коктейлей. Наполним-ка лучше бокалы. Сайлас, уделите, пожалуйста, немножко внимания Сельме. А вы, Эд, сделайте милость: смешайте новую порцию коктейлей и разлейте их. Сельма пьёт херес, Сью Аллен — виски. А мне дайте отпуск минут на десять, чтобы я могла вернуться к своим материнским обязанностям и поглядеть, что там делают мои ребята.

— С радостью, дорогая, — согласился Лундфест.

А Сайлас направился в тот угол, где сидели Аллены с Сельмой Кэплин, размышляя о том, что же скрывается под тактом и находчивостью Майры, — согласна она с ним или не согласна, сочувствует она ему или сердится, понимает она, на что его толкают, или не видит во взглядах Эда Лундфеста ничего предосудительного?

Глава третья

СКАНДАЛ С «ФУЛКРУМ»

Понедельник, 30 октября 1950 года.

«Делом Сайласа Тимбермена», пока оно длилось и привлекало к себе внимание почти всей страны, особенно живо заинтересовался ряд людей, однако интерес их, как вы увидите, был самый разный и проявлялся по-разному. Сам Сайлас и жена его Майра, будучи людьми наиболее заинтересованными, оценивали это «дело» не только с общественной, но и с личной точки зрения и долго не могли решить, были ли они сами повинны в том, что произошло. Майра сохраняла объективность, пожалуй, больше, чем Сайлас; она терпеть не могла, когда людей сравнивают с листьями, беспомощно несомыми вихрем случайностей, и никогда не чувствовала себя жертвой несчастного стечения обстоятельств. Однако и она всё яснее стала замечать поразительное несоответствие причин и следствий — разлад, который напоминал ей танец под всё убыстряющуюся музыку; ритм её был и чётко и обманчив в одно и то же время.

Когда гости, приглашённые на коктейль, разошлись, у неё было такое чувство, будто она предотвратила какую-то опасность. Нового ничего как будто и не случилось: люди выпили чуть больше положенного, и то, что было спрятано под спудом, вырвалось наружу, кое у кого даже в неприятной форме. Новым было лишь то, что у них вдруг обнаружались какие-то кардинальные разногласия, что-то смущавшее её и не совсем ей понятное. Когда она завела об этом разговор с Сайласом, он с ней согласился.

— Поверь мне, Майра,— сказал он,— я совсем не так уж воинственно настроен. Говоря по правде, я не интересуюсь и никогда не интересовался политикой и даже мелким политиканством местного значения. Может, это недостаток моей натуры, но ничего не поделаешь. Политика дурно пахнет, пусть ею занимаются другие. Я предпочитаю стоять в стороне.

— Хорошо, если она позволит нам остаться в стороне. Что ты решил насчёт Марка Твена?

— Наверно, в конце концов я поступлю так, как хочет Лундфест.

— Честное слово?

— Разве ты хотела, чтобы я поступил иначе?

— Может быть, и не хотела,— неуверенно протянула Майра.— Но я думала, что ты хочешь. Ведь не мне же решать, а тебе. Моё дело — сторона; хотя мне и правда казалось, что из-за такой ерунды не стоит ссориться. А всё-таки..

— Разве вся эта история и в самом деле не ерунда? Можно раздуть любой пустяк, но зачем?

— Конечно, незачем.

Но смысл вчерашнего спора попрежнему ускользал от неё; она подзревала, что он ускользает и от Сайласа, и была права. К утру события вчерашнего вечера стали похожи на те растения, чьи корни расходятся под землёй в разные стороны,— стоит выдернуть его в одном месте, как оно тотчас же прорастёт в другом. А может быть, она просто находила связь между явлениями там, где и не подумала бы искать её раньше. Например, только за день до этого, в воскресенье после обеда, к ним внезапно зашёл университетский капеллан, преподобный Гринуолд; он согласился выпить чашку чая, чтобы поболтать с Майрой. Гринуолд сказал ей, что, гуляя, просто решил навестить их, а когда Майра пожалела, что Сайласа нет дома — он пошёл с детьми на реку удить рыбу, — Гринуолд не сумел скрыть своего удовольствия. Он заметил, что не видел никого из них утром в церкви, что очень удивило Майру. Последний раз они ходили в церковь прошлой весной.

— Разве наше отсутствие так необычно?— спросила она.

Гринуолд — пухлый, седовласый, розовощёкий, с изысканными манерами — жевал с видом знатока кусочек фруктового торта, которым угостила его Майра. Он признал, что хотя в их отсутствии и не было ничего необычного, однако рано или поздно он всё равно обратил бы на это внимание.

— Да хотя бы потому, что я всегда так восхищаюсь вами, вашим мужем и всей вашей семьёй! Прелестные дети! Прелестные, красивые девочки, прелестный мальчик — краеугольный камень, так сказать, основа основ нашей страны!

— Вот уж никогда не думала о своих детях с этой точки зрения!— созналась Майра.

— Ещё бы, вы живёте с ними рядом, у вас нет перспективы. Вот в чём наша беда, не так ли? Мы не можем взглянуть на себя со стороны и перестаём себя видеть. Однако нас видят другие. Поверьте мне, миссис Тимбермен, за нами неусыпно следят!

— В самом деле?

— Уверяю вас. Следят и судят, миссис Тимбермен. Не сочтите меня ретроградом, но мы переживаем такие времена, когда полезно воскресить дух прошлого. Наше время является испытанием человеческих душ...

У Майры не хватило мужества напомнить ему, что это выражение принадлежит человеку, который навеки вошёл в историю как проклятый и ненавистный безбожник.

— ...и нам надо закалить наши сердца. Господь бог — основа сущего, и да не ищет человек другой. Умы приходят в смущение, когда мы отклоняемся от закона бытия.

— Вы боитесь, что мой ум или ум моего мужа рискует помутиться? — осведомилась Майра.

— Что вы, миссис Тимбермен! Разве мне дано судить своих ближних? Поверьте, у меня для этого нет ни мудрости, ни высокомерия; я всегда следовал завету: «Не судите да не судимы будете». Но до чего же легко мы впадаем в ошибку, теща себя иллюзией, что поступаем правильно, ох, до чего же легко! Хотел бы я, чтобы нам попрежнему приходилось бороться всё с тем же старомодным дьяволом, с его незамысловатыми грехами и раздвоённым копытом. Но, увы, соблазн в наши дни не так-то очевиден и прост!

«Вот болван! — думала Майра. — Болтает без умолку. Интересно, кто его подослал? Видно, нас теперь считают безбожниками. Наверно, Кэбот или Лундфест... Но как они могли подумать...» И тем не менее ей не захотелось спрашивать его, о каком соблазне идёт речь, и уточнять природу и степень своей греховности.

— Да мы ведь никогда и не были примерными прихожанами, — заметила она. — Может быть, теперь, когда дети стали постарше...

— Вы и не представляете себе, как я буду счастлив! — радостно закивал головой священник. — Поверьте мне, миссис Тимбермен. Именно о детях должны быть наши помыслы, а сколько протестантов пренебрегают этой истиной. Подумайте о молодой, невинной душе, она ведь беззащитна, словно мотылёк...

Майра обещала, что постарается подумать о детях и обсудит этот вопрос с мужем, а когда Сайлас возвратился, намеренно рассказала о своей беседе с Гринуолдом в юмористическом тоне и очень удивилась гневу Сайласа.

— Ну нет! Будь они трижды прокляты! К чёрту! Я не позволю, чтобы меня дурачил этот ханжа. Я не могу потерять уважение к самому себе. Мне всё же приходится глядеть себе в глаза, хотя бы когда я бреюсь, и голосовать каждый год на выборах; будь они прокляты, если я унижусь до такой подлости!

— Но ты ведь сам говорил...

— Ну, это совсем другое дело! — отрезал он и не захотел больше разговаривать.

А на следующий день в продовольственном магазине Майра впервые услышала о передовой статье в газете «Фулкрум».

Брайан долго канючил, упрашивая Майру взять его с собой за покупками; и когда она наконец разрешила ему не ходить в детский сад, счастье его было так беспредельно, что Майра простила ему даже ту суматоху, которую он вносил своим присутствием. Она любила брать его с собой, потому что, оставшись с ней наедине, Брайан сразу превращался в серьёзного и рыцарственного молодого человека, ухаживал за ней, оберегал её, обожал её и доставлял много радости. А продовольственный магазин сулил ему не только удовольствие, но и удивительные приключения. Стоило им войти в лавку, как его ожидания оправдывались. Он сам

катил металлическую тележку, на которую складывали продукты. Расхваливая покупки матери, он старался отвоевать то, что ему хотелось самому, — арахис и шоколад. Он знал, когда надо быть непреклонным, когда пойти на уступки, когда спросить какую-нибудь вещь с запросом, в расчёте на то, что ему откажут, но зато разрешат купить что-нибудь поскромнее. Иными словами, продовольственный магазин был для него огромной игрушкой, волшебным замком, мерилом его таланта уговорить, выпросить, школой его дипломатических способностей, а главное, местом, откуда он уходил, нагружённый всякими лакомствами.

Майра предвкушала, а потом и делила с Брайаном его удовольствие, и обычно оба вступали в игру, как равноправные партнёры и соперники. Сегодня, однако, она была так поглощена своими мыслями, ей так хотелось выбраться из путаницы одолевших её противоречий, что Брайану пришлось пуститься на разведку одному. Майра обдумывала свой разговор со священником, пыталась дословно припомнить, что ей на прошлой неделе сказал Эд Лундфест, — теперь она испытывала к нему злобу и ещё больше презирала его жену; потом она снова просмотрела список того, что ей нужно было купить, раздумывая, не купить ли ей ещё мяса, помимо сосисок и цыплёнка, и станут ли есть его дети, потом ей вдруг пришло в голову, что хорошо было бы перестроить лекции по истории Рима на основе книжки Джерома Каркопино, которую она только что прочла с восторгом и завистью; зависть натолкнула её на горькую мысль о том, что сколько бы они с Сайласом ни мечтали, так они, видно, никогда и не выберутся в Италию и Грецию, хотя она и тешила себя надеждой, что ей удастся убедить свою мать взять на лето всех троих детей к себе в Цинциннати, — надеждой, которую ей теперь придётся оставить. Пора было примириться с тем, что её родители не любят Сайласа и не столько за его интеллектуальные склонности, сколько за то, что он так спокойно мирится со своим положением в обществе. Признавая, что кто-то, наверно, должен преподавать в университете, они были огорчены тем, что именно их дочь вышла замуж за такого человека, и не очень понимали свою дочь, в чём тоже винули Сайласа. Им было бы легче простить ей распушенность, бесстыдство и даже разврат, если бы они скрашивались солидным доходом, чем её «умничанье» в сочетании с тем, что, как им казалось, было почти ничто. Их отнюдь не утешало и то, что сама Майра дважды в неделю читала лекции по истории античной цивилизации.

Майра купила масло, сыр и пощупала цыплёнка, раздумывая над тем, что такое ум и почему её собственный ум является для неё такой обузой, что она чувствует себя какой-то нескладной, даже чуточку порочной и смотрит, словно человек с другой планеты, на тех юношей и девушек, которые посещают её лекции. Интересно, что они о ней думают?

Продавец посоветовал ей взять вместо цыплят два куска мяса для жаркого.

— Вы очень хорошо выглядите, миссис Тимбермен.

«Да ну! А я совсем не так уж хорошо себя чувствую», — могла бы ответить ему Майра, которая считала, что хорошо выглядеть можно только тогда, когда у тебя хорошо на душе, какова бы ни была твоя внешность, но продавец тут же заговорил о погоде, какая она ясная и что она, наверно, ещё долго продержится. Ведь люди всегда говорят о погоде, когда им нечего сказать друг другу. Но Майра вдруг подумала, что это неправда. Люди говорят о погоде вовсе не потому, что им не о чем говорить, а потому, что погода, не в пример многому другому, принадлежит всем поровну и одинаково воспринимается, создавая нечто вроде братства в мире, где всё разделено.

«Странная мысль», — сказала она себе, взяла двух цыплят и спросила мясника, не видел ли он Брайана.

— Кажется, он где-то там, — ответил мясник.

Она пошла по проходу, где с обеих сторон высились горы коробок с печеньем и пирамиды банок с джемом, и невдалеке заметила сына, который разговаривал с Сельмой Кэплин. Подойдя поближе, Майра услышала, что Брайан объясняет Сельме действие реактивного самолёта, изобретённого на коробке с крекерами.

— Никаких вам пропеллеров, — утверждал он. — Неужели вы не понимаете — совсем никаких пропеллеров!

— А как же он тогда летает?

— Идёт струя. Господи, понимаете, ну самая обыкновенная струя!.. Воздух вылетает струёй — и тр-р-р! Он уже летит. Смотрите, вот так! Хотите, я вам что-то расскажу? Этого никто не знает. Хотите? Когда я вырасту, будут летать на ракетах. Никаких пропеллеров, никаких струй — просто ракеты. Понимаете? — терпеливо объяснял он ей.

— Слава богу, что вы пришли! — сказала Сельма Кэплин Майре. — Не то я бы совсем пропала. Откуда он всё это знает?

— Из телевизора, от Айка Амстердама, из самых разных источников. Его поколение полетит на Луну, а может, даже и на Марс. Они себя чувствуют в космосе, как в своей тарелке. Меня это иногда приводит в ужас.

— Почему в ужас? — заинтересовался Брайан.

— Брайан, ты нагрузил на тележку продуктов больше, чем мы сможем съесть за целый месяц. Я говорила, чтобы ты взял две коробки печенья, а не шесть. И у нас дома ещё очень много джема. Ну-ка, освободи место для моих покупок — у меня тут цыплята, масло и сыр, постарайся их куда-нибудь пристроить.

И тогда Сельма Кэплин вдруг выпалила:

— Что же это со мной? Стою, болтаю, а вас так и не спросила. Вы читали «Фулкрум»?

— Нет. Газету получает Сайлас.

— Посмотрите тогда. Сейчас, сейчас... Она у меня тут в сумке.

Майра читала статью, она стояла, позабыв обо всём на свете, и читала то, что было напечатано в газете «Фулкрум» о Сайласе Тимбермене.

* * *

Один из студентов последнего курса Клемингтонского университета заявил в 1911 году, что ему куда больше улыбается быть редактором «Фулкрум», чем капитаном футбольной команды. Слова его так и могли бы кануть в Лету, если бы они не были опубликованы в печати, а сам студент не стал впоследствии весьма влиятельным сенатором Соединённых Штатов. И потому сотрудники «Фулкрум» сложились и выгравировали его слова на дощечке, которая украшала Здание гуманитарных наук вплоть до 1937 года, когда бывшие питомцы университета стыдливо перевесили табличку в коридор, где помещалась редакция «Фулкрум». Им казалось, что заявление их бывшего однокашника бросает вызов основным принципам американской цивилизации и может смутить умы, отнюдь не склонные смущаться; к тому же некоторое чувство невольности вызывала у них и сама «Фулкрум».

Прежде всего её название, — под сказанное, как ни странно, доктором Лазарусом Мейерсом в 1896 году, — было необычным, и то обстоятельство, что в заголовке ежедневной газеты красовалось слово, обозначающее «точку опоры»¹ вместо куда более уместного «Призывного рожка»

¹ «Fulcrum» по-английски означает: точка опоры. (Примеч. перев.)

или хотя бы просто «Призыва» или «Горна», попахивало чуть ли не божьей, и, быть может, было уместно для какого-нибудь маленького университета вроде Антиохийского, но звучало совершенно абсурдно для газеты такого крупного университета, как Клемингтонский. Но, убрав с глаз долой дощечку, они не сумели ни переменить название газеты, ни уничтожить её совершенно особые традиции, каким бы изменениям эти традиции ни подвергались в послевоенные годы.

В 1898 году «Фулкрум» подняла ожесточённую и непримиримую кампанию против войны с Испанией и на Филиппинах; в самый разгар этой борьбы в газете появилась передовая статья, написанная Марком Твенном, — едкая, резкая и, по словам тогдашнего президента университета, «предельно безнравственная». Дело кончилось исключением из университета редактора газеты, который был восстановлен после яростной бури, поднявшейся как в самом городке, так и за его пределами; и целых два поколения сотрудников «Фулкрум» не забывали о своём боевом прошлом. Не было ни единой общественной проблемы, ни единого спорного вопроса, в которых «Фулкрум» не заняла бы определённой позиции, и, как правило, позиции крамольной. А так как единственной газетой в Клемингтоне была еженедельная «Стар», у «Фулкрум» находились читатели и за пределами университетского городка. Их было не слишком много, потому что газеты Чикаго и Индианополиса тоже продавались в Клемингтоне, но вполне достаточно для того, чтобы не превратить её четыре страницы в чисто внутренний орган и держать её редакторов постоянно на чеку.

Однако с 1945 года тон «Фулкрум» значительно изменился, стал куда менее воинственным и более почтительным к властям. На страницах появились уклончивые и даже реакционные высказывания, что подчеркнул её бывший редактор в 1948 году.

«В ряде писем, адресованных редактору «Фулкрум», газету просят оказать поддержку той или иной партии на предстоящих выборах. Мы считаем всякое давление со стороны прессы неблагоприятным, столь же неблагоприятным, как и предложение поддержать весьма сомнительное выступление группы лиц, величающих себя «Прогрессивной партией», лишь на том основании, что «Фулкрум» оказывала поддержку политическим группировкам в прошлом. Мы никогда не считали наши традиции прокрустовым ложем, и, если перелистать подшивки «Фулкрум», мы обнаружим в них больше анархии, чем последовательности. Особенно хочется посетовать на злобные выпады против богатых и преуспевающих, которые слишком часто разрешали себе по молодости лет сотрудники газеты. Естественно, что подобные склонности в прошлом отнюдь не определяют нашей линии в будущем, и нам кажется куда более пристойным трезво и честно пересмотреть своё отношение к могучим командирам промышленности и государственного управления, которые внесли значительный вклад в историю Америки и сделали нашу страну тем, чем она стала теперь. Как всегда, наш отдел писем открыт для приверженцев любых взглядов, однако мы категорически отмечаем всякие попытки привлечь нашу газету на какую-нибудь сторону в вопросах политических».

И газета стойко придерживалась взятого ею курса. «Фулкрум» стала осмотрительной, изворотливой и ловкой газетой, — учитывая, что её издавали всего лишь студенты; она пользовалась набором напыщенных слов для того, чтобы создавать впечатление мнимой значительности, не выразив при этом ни единой значительной мысли, и избегала животрепещущих и спорных вопросов, как чумы. Что поделаешь, газета шла в ногу со временем, и студенты принимали её как должное.

После выборов нового состава редакции на осенний семестр, когда Алвин Морзе стал редактором, а Фрэнк Хоффенштейн заместителем ре-

дктора, — и тот и другой — студенты старшего курса на факультете журналистики, — никаких заметных перемен в «Фулкрум» сначала не произошло. Как и прежние редакторы, они уделяли видное место отчётам о футбольных состязаниях и рьяно выступали за строительство хорошего стадиона. Они опубликовали не слишком смелую статью об отношениях между полами среди студентов, напечатали ряд писем по этому поводу, а затем серию запросов о том, почему в Клемингтоне нет ни одного преподавателя-негра, на что последовал, также в виде письма, спокойный и рассудительный ответ президента Кэбота. Он хвалил студентов за то, что они задумываются над такими вопросами, утверждал, что самая постановка такого вопроса свидетельствует о превосходстве «американского образа жизни», и заверял читателей в том, что требования, которые предъявляет к своим преподавателям Клемингтонский университет, — требования сугубо научного и морального характера и что всякий, кто отвечает этим требованиям, будь он еврей или христианин, чёрный или белый, будет принят с распростёртыми объятиями. Что касается войны в Корее, «Фулкрум» оказывала ей явную поддержку, целиком разделяя правительственные взгляды и клейма северокорейцев; по вопросу о гражданской обороне газета выпустила специальный номер.

И всё это никак не предвещало редакционной статьи в номере от 30 октября.

* * *

Сайлас считал, что ему повезло: если бы в понедельник он прочёл «Фулкрум» до утренней лекции, он едва ли мог бы обойти статью молчаливым и его легко втянули бы в спор, к которому он был плохо подготовлен. Большинство студентов читало газету, и многие из них спрашивали его, читал ли её он. Нет, ещё не читал, но прочтёт непременно, как только кончится лекция, чего ему, кстати, очень хотелось, ибо он чувствовал какой-то раскол среди студентов, разлад не только с ним, но и друг с другом, а его собственная растерянность — ведь он так и не знал, что именно было написано в «Фулкрум», — делала атмосферу ещё более тягостной. Однако он не мог позволить себе прервать лекцию и заглянуть в газету, хотя несколько студентов и занимались этим так откровенно, что ему пришлось сказать довольно язвительно:

— Я допускаю, что читать «Фулкрум» вам куда интереснее, но всё же попрошу вас хотя бы сделать вид, что вы слушаете мою лекцию. Будьте любезны спрятать газеты.

Потом, когда сразу же после лекции он прочёл обе редакционные статьи в спасительном уединении своего кабинета, его покорило от сознания собственной глупости. Первая статья занимала целую колонку третьей полосы и была написана Алвином Морзе. В заголовке стояло «Сэмюэль Б. Клеменс — коммунист». Статья гласила:

«Дела, творящиеся у нас в Клемингтоне, приняли такой оборот, что не только вызывают у нас глубочайший стыд за самих себя, но и могут превратить нас в посмешище в глазах всей страны. Случай, о котором идёт речь, показался нам столь позорным, что мы решили выступить открыто и довести его до всеобщего сведения. Дело началось с того, что всеми уважаемый профессор факультета английского языка и литературы решил положить в основу своих обзорных лекций 1950/51 учебного года творчество Марка Твена, которое, по его мнению, определяет всё развитие современной американской литературы. Кое-кто может не согласиться с этой концепцией, однако нельзя не признать такую точку зрения допустимой. Нельзя также и отрицать значение Марка Твена для нашей отечественной литературы.

Следуя своему плану, профессор, о котором идёт речь, объявил студентам о своём желании использовать малоизвестный рассказ Марка Твена «Человек, который совратил Гедлиберг» в качестве основы для своего исследования и охарактеризовал это произведение как сатиру на «жизненный уклад Бэббитов и духовный мир столпов Торговой палаты». Высказывание профессора подверглось нападкам тут же в аудитории, где оно было расценено как подрывное, причём критика исходила от одного из студентов. Впоследствии этот студент в сопровождении двух других отправился к руководителю кафедры, где и обвинил профессора в злонамеренной пропаганде коммунистических идей. Нам сообщили, что, хотя руководитель кафедры и усомнился в том, что профессор действовал с заранее обдуманным намерением, он признал критику правильной и пообещал принять решительные меры.

Руководитель кафедры выполнил своё обещание. Профессору указали на ошибочность его позиции, предложили пересмотреть тезисы своего обзора и, в частности, не только не обсуждать, но даже и не упоминать о «Человеке, который совратил Гедлиберг». При этом ему намекнули, что отказ выполнить распоряжение кафедры повлечёт за собой вполне очевидные последствия.

Вот почему мы и решили выступить с редакционной статьёй, не обсудив её предварительно ни с одним из участвующих в этом деле профессоров, но проверив, однако, самым тщательным образом все факты. Нам казалось, что обращение к профессорам повлечёт с их стороны известное давление с целью загладить инцидент и скрыть его от общественного внимания. Мы же решили, что прятать его никто не имеет права.

Изучая факты, относящиеся к этому делу, мы внимательно ознакомились с «Человеком, который совратил Гедлиберг» и нашли, что этот рассказ и в самом деле является полезной и умной сатирой — острым обличением лицемерия и ханжества. Если подобное обличение и есть коммунизм, мы позволим себе повторить слова одного из наших соотечественников, который когда-то сказал: «Если это измена, то будем за измену». Мы — на стороне Марка Твена: давайте же обличать наши пороки без всяких колебаний!

Нам кажется, что вся эта история — порождение опасной глупости и ещё более опасной паники, и мы думаем, что, проявляя мещанскую ограниченность, мы только играем на руку врагам. Если подобным явлениям не будет дан отпор, можно лишь пожалеть о судьбе нашего просвещения».

Вторая редакционная статья, напечатанная на следующей колонке, была написана заместителем редактора Фрэнком Хоффенштейном и озаглавлена «Другая точка зрения». Она занимала больше места, чем статья Морзе, и начиналась со следующего утверждения:

«В знак уважения к исконным и священным традициям газеты «Фулкрум» мы примирились с действиями редактора, хотя и не были с ними согласны. Тем не менее мы считаем, что нельзя ограничиться высказыванием только одной его точки зрения, и пользуемся нашим правом изложить свои собственные взгляды.

Мы не опровергаем фактов, изложенных редактором, так как проверили их вместе с ним; однако мы категорически не согласны с освещением этих фактов. В противовес редактору, мы не боимся стать всеобщим посмешищем и не считаем случай, о котором идёт речь, позорным. Мы боимся совсем другого — как бы нам не попасть в западню, в которую уже попадалось немало так называемых «принципиальных» и «свободомыслящих» граждан. Мы боимся, что нас обведут вокруг пальца.

Как и редактор, мы тоже прочли рассказ, о котором идёт речь. Быть может, полстолетия назад, когда Марк Твен писал его, рассказ был безвреден. Тогда он, пожалуй, и был в какой-то мере правдивым, хотя мы лично в этом сомневаемся.

Но сегодня рассказ этот отнюдь не безвреден. Идея его, весьма умело выраженная автором, незамысловата, а именно: все люди, обладающие известным общественным положением, капиталом и честолюбием, — плохи, а бедняки и бездельники — хороши. Мы считаем, что на свете есть хорошие бедняки и плохие бедняки, добрые богачи и злые богачи. И единственные люди, которые в наши дни позволяют себе подобного рода обобщения, — коммунисты, а поступают они так для того, чтобы разжечь, как они выражаются, «классовую ненависть» и затем насильственно ниспровергнуть государственную власть.

Конечно, Марк Твен не был коммунистом, и наш коллега лишь мутит воду, подчёркивая эту очевидную истину. Гораздо важнее — и мы не стесняемся об этом заявить открыто, — что идеи Марка Твена необычайно полезны коммунистам сегодня; коммунисты это понимают и ими пользуются.

Мы провели спокойное, беспристрастное следствие по этому вопросу, и пусть факты говорят сами за себя. В библиотеке мы просмотрели всё, что было опубликовано красными самых различных оттенков в 1949 году. Среди них, увы, не было «Дэйли уоркер», но мы взяли три других солидных партийных органа и выписали оттуда все ссылки на Марка Твена и цитаты из его сочинений. Нами было обнаружено 97 ссылок и 17 цитат. Нечего и говорить, что все они выражают весьма положительное отношение к писателю.

Другими словами, Сэмюэль Б. Клеменс, что бы вы по этому поводу ни говорили, — самый популярный писатель у американских красных. Этот факт подтверждается цифрами, ибо наиболее популярный после него, Теодор Драйзер, упоминается всего четырнадцать раз и цитируется только трижды.

Наш коллега считает, что ни он, ни Марк Твен не могут нести ответственности за то, что делают красные; нам, однако, важно, что они это делают. Нас раздражают желторотые либералы, разевающие клюв на приманку красных. Даже дитя поостережётся огня, уже один раз обжёгшись у печки. А так называемые «либералы» тянут всё ту же песню насчёт того, что всякий, кто здраво и трезво ведёт себя перед лицом красной опасности, — реакционер. Но разве истинные либералы это не те, кто последовательно борется против торжества красного террора у нас в Америке?

Нужна логика дикаря, чтобы канонизировать такого писателя, как Марк Твен, и коммунисты с превеликой радостью этим пользуются. Но давайте представим себе, что враг завладел пушечными ядрами, оставшимися от времён нашей войны за независимость, и стал палить ими прямо по нас. Неужели мы безропотно позволим, чтобы нас убивали только потому, что ядра эти для нас священны? И не подумаем. Мы заявим прямо и без обиняков, что ядра эти — вражеское оружие и должны быть уничтожены.

Мы понимаем, что приведённая нами аналогия несколько искусственна, однако она служит своей цели. Обиженный профессор не вызывает нашего сочувствия. Пускай мотивы его поступка и будут проверены когда-нибудь в дальнейшем, однако мы уже сейчас не сомневаемся в последствиях этого поступка. Мы не верим, что Клемингтон стал раем для проповедников коммунизма».

Сайлас дочитал до конца, потом вернулся к первой статье, перечёл оттуда один или два абзаца и встряхнулся, чтобы выйти из охватившего его оцепенения.

— Боже милостивый! — прошептал он.

Он вытащил трубку и спички, но тут же решил, что ему очень хочется выкурить просто сигарету, и стал шарить по ящикам стола. В комнату вошёл Лоуренс Кэплин и спросил, что он ищет.

— У вас есть сигареты?

Кэплин дал ему сигарету, огня и некоторое время смотрел, как он курит.

— Читаете, Сайлас? — спросил он мягко.

— Будь они прокляты! А вы читали?

— Милый, да неужели во всём университете найдётся хоть один человек, который бы не читал? «Фулкрум» распродана, и номер, вышедший в понедельник тридцатого октября тысяча девятьсот пятидесятого года, несомненно, станет библиографической редкостью.

— Но объясните мне, ради всего святого, что это значит?

— А разве вы сами не понимаете, что это значит? Если позволить юнцам издавать газету, они рано или поздно затеют скандалчик. Вот вам пример.

— Но откуда, чёрт их возьми, они узнали...

— Все знали, Сайлас. Я знал. Сельма знала. Такие вещи быстро получают гласность...

— Но ведь они не просто мальчишки, они опытные газетчики. Я знаю Морзе...

И Сайлас представил себе невысокого, белобрысого, узколицего парня, лет двадцати пяти, ветерана войны, умного, наблюдательного, злого... Он проучился у него четыре курса. Может быть, слишком злого. Попал в университет по армейской справке; одержим страстью к литературе и ненавистью к словоблудию. Как такой человек может работать вместе с Хоффенштейном?

— А кто такой Хоффенштейн? — спросил Сайлас Кэплина. — Помоему, я его не знаю.

— Да и я его толком не знаю. Помнится, он слушал у меня курс. Ему года двадцать два, умён, — нет, пожалуй, скорее хитёр. Высокий, красивый, смуглый парень. Отец, кажется, был в Германии издателем и сбежал от Гитлера в тридцать третьем году. Не то либерал, не то социал-демократ, не знаю, как они их там называли. Таков, значит, отец. Бежал он, видно, не с пустыми руками, потому что теперь ему принадлежит большая типография в Кливленде и у него куча денег. Я о нём знаю потому, что он выпустил «Кентерберийские рассказы», к которым я писал предисловие, и когда он сюда приезжал, я как-то с ним завтракал. Вот, значит, каков отец. Что же касается сына, я о нём мало знаю, кроме того, что он весьма преуспевающий и не слишком разборчивый молодой человек. Последний абзац его статьи — самое подлое из всего, что я читал в этой газетке.

— Но за что? За что? — спрашивал Сайлас. — Ведь я его совсем не знаю. Что его толкнуло на это? Чего он добивался? Как ему позволила совесть? Разве можно взять да и оклеветать человека, сознательно, не задумываясь, так, за милую душу, чтобы только поупражняться в журналистике?

— Морзе не лучше обошёлся с Лундфестом.

— Но ведь он не обвинял его в коммунизме!

— Вот что вас беспокоит, Сайлас.

— Господи Иисусе, Лоуренс, разве вы не знаете, где мы с вами живём? Всякий, кто меня знает, скажет вам, что никакой я не коммунист! А теперь вот меня вдруг в этом обвиняют. Почему?

— А почему бы и нет, Сайлас? Такое обвинение — не редкость в наши дни. Музыка играет, пора научиться под неё плясать. Мы ещё, правда, не знаем, как это делается, — по крайней мере, мы с вами, — но, ничего, научимся.

— Чему? Отчего вы говорите загадками? Я, наверно, слишком глуп, чтобы их понимать. А может, вы, Ларри, тоже думаете, что я коммунист?

— Нет, я не думаю, что вы коммунист, — ответил Кэплин с лёгким нетерпением. — Хоффенштейн вас в этом и не обвиняет, если вы дадите себе труд внимательно прочесть его статью. Да и чем вы так недовольны? Представьте себе, что он обозвал вас евреем. Ведь есть же на свете евреи, которые и в самом деле евреи, а ничего — живут. Думаю, что есть на свете и коммунисты, которые и в самом деле коммунисты. Они тоже умудряются как-то жить. Наверно, зачёсывают набок волосы, чтобы лучше спрятать рога.

— Да я совсем не то хотел сказать!

— А что вы хотели сказать? Ну, если бы он написал, что вы нюхаете кокаин или валяетесь под забором? Вы ведь только посмеялись бы, и всё. И не стали бы читать мне лекцию о том, как вы ненавидите пьяных.

— Это совсем другое дело.

— Знаю. Вы испугались. Я тоже боюсь. Но чего же мы боимся? Вы об этом подумали? Чем мы напуганы, Сайлас? Ведь стоит только кому-нибудь шепнуть слово «коммунизм», и мы теряем всякие навыки цивилизации, культуры, интеллигентности и разом превращаемся в объятых паникой дикарей. Неужели мы так боимся потерять работу? Мы ведь не стали бы вести себя, как слепые безумцы, если бы, например, врач сказал нам, что у нас рак и нам осталось очень недолго жить. Нет, тут что-то сложнее...

— Одним словом, я — не коммунист! — решительно заявил Сайлас.

— Вы в этом уверены? Говоря по правде, Сайлас, вы не больше моего разбираетесь в том, что такое коммунизм, а значит, совсем не шибко. Но оба мы знаем кое-что другое. Мы знаем, что бывает с людьми, которых называют коммунистами. Ведь не зря об этом рассказывают народные предания наших дней. А всякий еврей это особенно хорошо знает. Он может спрятать голову под подбитое золотом одеяло, и всё равно запах горелого мяса достигнет его ноздрей. Помните Пэта Симмонса? Он читал французскую литературу в году тридцать пятом или тридцать шестом, когда вы только что поступили в университет, а потом записался в бригаду Авраама Линкольна и отправился сражаться за Испанскую республику; франкисты схватили его, вырвали у него ногти, выбили глаза и отрезали половые органы — понадобилось целых две колонки в «Нью-Йорк таймс», чтобы описать всё, что они с ним сделали. Мы не забываем таких вещей, и хотя Пэт Симмонс тоже не был коммунистом, но наша память дёргает ниточки наших нервов. И мы знаем всё насчёт гестапо, о том, что там делали с коммунистами, и наше знание гнездится у нас в мозгу где-то по соседству со страхом, поэтому мы трепещем при слове «коммунист», но разве это поможет?

Не сводя со своего товарища тоскливого взгляда, пытаюсь отыскать выход, найти хоть какую-то опору, Сайлас возразил:

— Но ведь вы сами, когда речь зашла о гражданской обороне...

— Ну да. Я не герой и через четыре года мне стукнет шестьдесят. Всю жизнь я боялся физической боли, и, если я потеряю работу, я нигде больше не получу место. Но я стараюсь не лгать хотя бы самому себе. Невелика доблесть и совсем не утешение для моей совести, но всё же кое-что...

— А что же делать мне? — спросил Сайлас.

— Честно говоря, не знаю. Пожалуй, лучше всего не делать ничего; даст бог, всё обойдётся. Но я в этом не уверен. Вы уже видели Лундфеста?

— Нет. А вы?

— Мельком, когда он шествовал в кабинет Кэбота.

— Он, наверно, расстроен?

— Наверно, — улыбнулся Кэплин.

Сайлас скоро убедился в том, что они не ошиблись. Едва успел Кэплин выйти за дверь, а он стал собирать свои записки к следующей лекции, как в комнату вошёл Лундфест, и Сайлас вдруг с облегчением почувствовал, что сам он совсем не так уж взволнован. Он немало передумал за последние несколько минут, не философствуя, а просто перебирая в уме разные мелочи и мысленно приводя их в какой-то порядок. Сайлас отлично понимал, что мужество начинается с того, что человек сознаёт, как он испуган, и не боится в этом признаться; пройдя через эту стадию, он поверил, что, пожалуй, справится и дальше с выпавшим на его долю испытанием. Как и Майра, он считал, что, казалось бы, неотвратимый ход событий и сложное переплетение причин и следствий возникают не только вовне, но и коренятся в его собственной натуре. Даже история со статьями в «Фулкрум», которая явно не зависела от его желания и воли, и та оставляла ему выбор действий и различные пути к отступлению. Он не чувствовал себя марионеткой, которую дёргают за ниточки чужие руки; его никто ещё не вынуждал поступать против воли, и надо было потерять чувство юмора, чтобы об этом забыть. Кое в чём Кэплин был прав — обвинение в коммунизме и в самом деле повергло его в ужас, недаром он даже не упомянул об этом в своём коротком и недобром разговоре с Лундфестом.

Лундфест и не старался скрыть свой гнев. Швырнув на стол скомканный номер «Фулкрум», он сразу объявил Сайласу, что считает его повинным во всей этой истории.

— Почему вы приняли со мной такой чертовски странный тон, Эд? — мягко спросил его Сайлас.

— А чего бы вы ещё хотели? Во-первых, то, что пишет Морзе, — ложь, и я намерен проучить его за эту ложь! Я и не думал грозить вам репрессиями, если вы не измените тезисов ваших лекций. Я вам вообще не грозил! Единственный раз об этом зашла речь — тогда вечером, у вас дома, с глазу на глаз, в частном разговоре! Что вы можете на это сказать?

— Ничего.

— Ничего? Ах, вот как вы намерены разговаривать!

— А как же, чёрт возьми, я должен разговаривать? Может, вы мне скажете? Я сам недавно прочёл эти статьи и знаю о них не больше того, что там написано. Меня ни о чём не спрашивали, так же как, повидимому, не спрашивали и вас. Если бы я знал, я бы дрался руками и ногами, чтобы эти статьи не были напечатаны.

— Я вам не верю!

— Другими словами, вы называете меня лжецом?

— Я хочу выяснить, как Морзе узнал содержание частного разговора между мной и вами!

— Мы оба в равной мере можем строить об этом только предположения.

— Я и предполагаю, что ему рассказали вы.

Сайлас набрал воздуха и медленно произнёс:

— Послушайте, Эд. Мне не хотелось бы говорить вам того, о чём я потом пожалею. В тот вечер вы не просто обмолвились случайным замеча-

нием, вы сказали нечто важное для всей моей дальнейшей работы. Вы не брали с меня слова молчать. Вы даже не помянули о том, что разговор должен остаться между нами. Вы просто сказали мне то, что вам хотелось сказать. И я, естественно, передал наш разговор Майре, я обсуждал его и с другими людьми. Разве я не имел на это права?

— С какими людьми?

— Что?

— Я спрашиваю вас, с кем именно вы обсуждали наш разговор?

— Вы, наверно, шутите. Не думаете же вы всерьёз, что я назову вам имена тех, кому я рассказывал о нашем разговоре. А потом и тех, кому они, в свою очередь, могли о нём рассказать...

— Нет, думаю, — сказал Лундфест.

— Напрасно. Раз уж я повинен во всей этой истории, я не намерен никого сюда приплетать.

— Я так и думал, — заявил Лундфест и, сделав пол-оборота, вышел из комнаты.

* * *

Перечитав дома «Фулкрум», Майра почувствовала, что и злость и тревога у неё куда-то испарились, а вместо этого ей стало вдруг ужасно смешно. Подумав, она пришла к выводу, что вся эта история настолько комична, так несерьёзна, что, ей-богу, не заслуживает ничего, кроме смеха! Несколько лет назад даже мысль о подобном шутовстве была бы невозможна и публичное обсуждение вопроса о том, трудится Марк Твен на ниве коммунизма или нет, было бы осмеяно всеми нормальными людьми в любой школе Америки; и хотя представления о том, что такое здоровая психика, и могли несколько измениться, содержание обеих редакционных статей всё же, по мнению Майры, было просто смехотворным. Она отлично понимала, что вокруг них может подняться страшный шум, но вряд ли дело пойдёт дальше этого. Когда ей чуть ли не в истерике позвонила Джоан Лундфест, Майра успокоила её, но потом, до самого прихода девочке, целый час продолжал, не умолкая, звонить телефон, и Майре уже больше не хотелось смеяться.

Звонили из «Фулкрум», чтобы договориться о свидании с профессором Тимберменом. Звонили из приёмной доктора Кэбота, звонил и Аик Амстердам и Хартман Спенсер. Из Индианополиса звонил представитель агентства Ассошиэйтед Пресс; он сообщил, что суть дела им уже передана по телеграфу, и спросил, можно ли прислать сегодня вечером к профессору Тимбермену специального корреспондента. Звонили университетские корреспонденты газет «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Чикаго трибюн» и «Сент-Луис пост диспэтч», требуя интервью с профессором Тимберменом сегодня же после обеда или вечером; двое из них спросили, не собирается ли профессор выступить с опровержением. И постепенно весёлость Майры исчезла; на смену ей впервые пришла в голову грозная фраза: «дело Сайласа Тимбермена», и она поняла, что оно не умрёт в зачатке и его не задушишь беззаботным смехом. Никто в городке, повидимому, не сомневался в том, кто те два профессора, о которых шла речь, и от этого Майре стало ещё тревожнее.

Потом Джоан Лундфест позвонила снова и спросила:

— Но как Сайлас мог до этого дойти?.. Как он мог?

— Что именно?

— Разгласить чужую тайну. Сделать Эда посмешищем на весь городок.

— Сайлас не разглашает чужих тайн, — терпеливо увещевала её Майра. — Тут какая-то невысказанная путаница, и нам лучше обождать, пока всё не разъяснится. Да вы не волнуйтесь, Джоан!

— Как же я могу' не волноваться, когда у меня непрерывно звонит телефон!

Майра кое-как успокоила её, повесила трубку и занялась Брайаном, который просил есть. Но тут в дом ворвались Сьюзен и Джералдайн и, швырнув на бегу учебники, стали рассказывать матери про «Фулкрум».

— Господи! Откуда вы-то узнали?!

— Да кто же этого не знает? — спокойно осведомилась Джералдайн.

— Что это значит? — спросила Сьюзен.

— Мне лично кажется,—равнодушным тоном объяснила им Майра, — что всё это не стоит и выеденного яйца. Просто буря в стакане воды. Двое легкомысленных молодых людей из «Фулкрум» позволили себе написать крайне легкомысленные статьи. Я не позволю, чтобы такая чепуха нарушала распорядок нашего дома. Прошу вас вымыть руки и сесть за стол.

— Она права, — поддержал мать Брайан.

— Ты уж лучше заткнись,—огрызнулась Сьюзен, а Джералдайн спросила как бы ненароком:

— А это правда, что папа — коммунист?

— Что?!

— Я же тебе говорила! — накинулась на сестру Сьюзен.

— Откуда ты это взяла?

— Мы поспорили в школе, — ответила Джералдайн. — В «Фулкрум» написано, что Сэмюэль Б. Клеменс — коммунист, а ведь это — Марк Твен, и я знаю, что Сайлас пишет о нём книгу. Рут Хилдегард говорит, что это всё равно, как если бы Сайлас был коммунистом, а я ей за это так всыпала...

— Что такое коммунист? — вмешалась Сьюзен.

— Садитесь есть и прекратите болтовню, — решительно заявила Майра. — Садитесь есть, вот и всё.

* * *

Во время последней лекции Сайлас объяснил студентам напрямую для полной ясности:

— После конца занятий я не желаю слышать никаких разговоров по поводу «Фулкрум». Никаких. Я не желаю ничего обсуждать, и, по-моему, вся эта история не заслуживает ни малейшего интереса. Я вас предупреждаю заранее во избежание неприятностей, для того чтобы потом ни я, ни вы не чувствовали себя неловко. Надеюсь, вы отнесётесь с уважением к моей просьбе.

Один из студентов спросил:

— А вы не разрешите задать вам несколько вопросов? Вы можете на них ответить или промолчать, как сочтёте нужным.

— Нет.

После этого Сайласу стало чуточку легче, хотя его и не покидало ощущение, будто он прячется от чего-то такого, чего ему всё равно не избежать. У студентов были недоуменные вопросы, которые им хотелось ему задать. Что же до его коллег по факультету, то, если у них и были вопросы, они не только избегали их задавать, но и вообще не касались этого дела. Он встретил доцента Фрэнка Мекстона и преподавателя своего же факультета Джозефа Прендергаста; они хотя и поздоровались с ним довольно сердечно, но воздержались от какого бы то ни было упоминания о «Фулкрум». Даже Боб Аллен, с улыбкой дружески стиснувший ему локоть, даже и он ни словом не обмолвился о статьях. Сайлас понял, что люди стараются вести себя осторожно. Может быть, вся эта история и правда ерунда, идиотский балаган, однако никому не хотелось, чтобы его припутали к этому делу, ведь никто не знал, чем оно кончится. Да и он сам тоже толком не знал, что же это в конце концов значит, что будет дальше,

как должен вести себя он, Лундфест и все прочие, замешанные в этой истории люди. Полный сомнений, он решил отправиться домой.

Сайлас вышел на порог университетского здания и окунулся сразу, словно в океан, в свежий и влажный воздух; по аллеям и газонам городка в причудливом и, казалось, бесцельном хороводе двигались толпы юношей и девушек; ещё зеленела трава, и листва покрывала деревья и густой кустарник изгородей; старые, уродливые здания были увиты плющом; ярко светило солнце и дурманил запах осени; Сайлас окунулся во всё это, такое привычное и милое его сердцу, уже давно ставшее частью его самого и хранившее лучшие из его воспоминаний, но внезапно кто-то тронул его за рукав; он обернулся и увидел Джерома Ленокса — высокого, рыжего и нескладного парня лет двадцати, с простым и приятным лицом. Он посещал лекции Сайласа по американской литературе и был не то на первом, не то на втором курсе, слушал внимательно, но не задавал лишних вопросов и не вступал в разговоры. Теперь он шёл в ногу с Сайласом и говорил ему не очень уверенно:

— Я понимаю, что вам очень неприятна вся эта история, профессор Тимбермен, но мне казалось, что я всё-таки должен вас спросить... Вы не возражаете, если я провожу вас немножко и мы поговорим?

— О чём?

Сайлас прислушивался к его напевной речи и думал о том, что Ленокс, наверно, откуда-то с Юга. Он нюхом угадывал в нём техасца, а техасцы всю жизнь ему очень не нравились.

— Только не насчёт «Фулкрум». Об этом я не буду разговаривать.

— А я вот как раз об этом и хотел с вами поговорить, — сказал Ленокс. — Вы можете молчать; если разрешите, я вам сам кое-что скажу.

— Пожалуй, лучше бы и вы ничего не говорили.

— Я знал, что вам не захочется разговаривать. Но мне надо вам кое-что выложить. Если вы, конечно, позволите... Это очень важно.

— Вы, наверно, из Техаса? — спросил вдруг Сайлас.

Слова эти прозвучали в его собственных ушах как-то глупо и плоско; он и сам не отдавал себе отчёта в том, что такое душевное состояние, как сейчас, бывало у него только в армии: там он тоже страдал от вынужденного общения с людьми, от разочарований, от раздражения друг другом и в то же время испытывал удивительное чувство товарищества, великую, страстную потребность в товариществе; он и тогда порой себя спрашивал: «Зачем ты это сказал? Какая была в этом нужда и какой смысл? И почему же цепь мелких, бессмысленных событий заставляет нас замыкаться в самих себе?»

— Да, сэр. Я — из Эль-Пасо.

— Ладно, валяйте, — сказал ему Сайлас. — Говорите всё, что вам вздумается. В общем я не вижу причин, почему вам надо молчать.

— Наоборот, сэр, причин сколько угодно. Представляю себе, какое у вас сейчас настроение; мне, наверно, не следует вламываться к вам в душу силой. Но вы мне нравитесь, мне нравится то, что вы говорите студентам, вы всегда разговариваете прямо, честно, и в ваших словах есть смысл, чего совсем нельзя сказать про всё, что у нас сейчас делается. Мне кажется, что вы — хороший педагог... а может быть, меня к вам тянет потому, что и вы тоже были в армии...

Сайлас поглядел на юношу с изумлением.

— Сколько же вам лет?

— Больше, чем вы думаете. Скоро двадцать три. Я пошёл на фронт в последний год войны.

— Почему?

— Да в общем кто его знает... Наверно, потому, что был непутёвым парнем... и ненавидел их, ненавидел фашизм.

— В семнадцать лет?

— Для этого, сэр, не надо иметь высшее образование. Но сейчас, мне кажется, с вами поступают гнусно, и, по-моему, вы этого не понимаете. Чёрт бы меня побрал, лезу не в своё дело... Но я твёрдо решил выложить вам всё начистоту!

— Поступают гнусно? В каком смысле, Ленокс?

— Так ведь думаю не я один. Мы обсудили это дело кое с кем из ребят, и они тоже считают, что я должен с вами поговорить. Видите ли, то, что обе статьи появились сегодня утром одновременно, — не случайность. И не безответственная выходка какого-то полоумного парня. Всё было продумано, и вы могли попасться, как кур во щи.

— Что за чертовщину вы несёте?

— Я хочу сказать, что есть люди, которые мечтают свернуть вам шею.

— Не впадайте в мелодраму, Ленокс. Неужели Алвин Морзе задумал свою статью, чтобы свернуть мне шею? Если так, то вы делаете фантастическое и, по-моему, безответственное заявление.

— Да нет же, нет, при чём тут Ал Морзе? Он парень честный и просто попался на удочку. У него страсть к сильным эффектам, и ему казалось, что таким путём он вытащит «Фулкрум» из болота. Но башка у него плохо варит, и дело кончится тем, что его снимут. А наш дружок Фрэнк Хоффенштейн — это голова! Вот это парень! «Валяй, Морзе, печатай свою статью, а потом и я скажу своё слово». Хоффенштейн целился в вас, профессор. Может, лично он вас и в глаза не видал, но заранее держал на мушке; теперь же, когда он положил вас на обе лопатки, он уж состреляет из этого дельце на все сто!

Сайлас остановился и посмотрел прямо в лицо Леноксу. Он был орошен, ошеломлён, взбешён и не скрывал своих чувств.

— Какого чёрта!.. Вы понимаете, что вы говорите? Вы хотите сказать, что Хоффенштейн нарочно затеял всё это... чтобы меня подвести?

— Вот именно.

— Что ж, видно, теперь пошла новая мода, и человеку ничего не стоит оклеветать другого, — заметил Сайлас.

Лицо Ленокса вспыхнуло; сначала у него побагровела шея, а потом щёки; его небольшие голубые глаза стали холодными и отчуждёнными.

— Ладно, вы меня не удивили. Вы, верно, и спросили меня, не из Техаса ли я, потому, что ненавидите техасцев? Может, вы ненавидите и логику тоже? Ничего не поделаешь, я сделал всё, что мог.

— Извините меня, — тихо попросил Сайлас.

— Хорошо... О господи, при чём тут извинения? Вы — честный человек. А честных людей теперь надо прятать под стекло, ставить им памятники при жизни, покада они совсем не выродились. И я стараюсь быть с вами честным, сэр. Хоффенштейн хочет вас добить — ну да, выгнать из университета. Сегодня был сделан первый выстрел.

— Но почему? За что? Я ведь его даже не знаю.

— Да и он вас не знает. Но он хочет стать большим человеком. Не пройдёт и недели, как он будет редактором «Фулкрум». В наши дни выгодно вкладывать деньги только в одно предприятие: в крестовый поход против коммунизма. Вот задача Хоффенштейна. Он хочет стать маленьким Брэннигеном. Учению подходит конец, и он желает шагнуть отсюда прямо в сенат штата через ваш труп.

— Но почему?

— Вы всё спрашиваете меня, профессор, почему да почему?.. А я откуда знаю? Кто я такой? Простой парень из Эль-Пасо. Я не знаю, какой трухой набит этот Хоффенштейн и что у него за душой, или, вернее, за тем приспособлением, которое он зовёт своей душой. Я сотрудничаю

в «Фулкрум», вижу подлеца по носу, и мне противно, что какой-то хлыщ может стереть вас в порошок...

— А мне всё-таки кажется, что вы впадаете в мелодраму...

— Зря вы меня попрекаете этой самой мелодрамой. Мне-то она зачем, но вот вокруг нас многое теперь и впрямь смахивает на мелодраму. Мы ведь живём в чудное время. Теперь большим человеком может стать только тот, кто травит коммунистов; поверьте мне, они хитро придумали! Таким людям можно делать всё, что угодно, и добиться, чего угодно! Им в высшей степени наплевать, кто такой ваш Марк Твен — какой-нибудь пижон или индеец с табачной вывески! Важно, что он может сыграть им на руку. Вот и история с вами тоже может сыграть им на руку!

— Вы думаете, что я — коммунист?

— Нет, я этого не думаю. Не думает этого и Хоффенштейн. А какая разница? Мне неприятно вам это говорить...

— Говорите, Ленокс. Не стесняйтесь. Что, по-вашему, мне нужно делать?

— Ничего. Только не поддавайтесь на провокацию. Вокруг вас немало порядочных парней: они отлично понимают, чем всё это пахнет. Большинство из них боится — ведь теперь все стали немножко побаиваться, — но они будут на вашей стороне. А моё дело было выложить вам всё начистоту и объяснить, для чего заварилась эта каша.

— Вы уверены, что не ошибаетесь, Ленокс?

— Уверен.

* * *

Как же всё могло так быстро перемениться? Сайлас шёл домой, раздумывая о том, что всего две недели назад он нормально жил в нормальном мире. Мир этот был устойчивый, положительный мир, и, хотя Сайлас порой поглядывал на него не без цинизма, обычно он казался ему лучшим из всех возможных миров. Мир состоял из вещей, и вы шли по нему, приобретая вещи вперемежку с крохами знания и опыта; однако главное были вещи. Перед вами вставали неразрешимые вопросы, вас мучили страхи, сомнения, неверие в свои силы и подозрения; порой вы даже бывали глубоко несчастны и, может быть, никогда не бывали как следует счастливы, но вас постоянно утешала мысль о том, что взамен всего этого у вас есть вещи.

В глубине души вы ведь не верили, что вокруг вас существуют люди, у которых нет никаких вещей, — свежзамороженных ягод, консервов и мягких белых булок, обёрнутых в вощёную бумагу, печенья в коробках и кока-кола в картонных ящиках, кухонного стола, покрытого пластмассой, холодильника, стиральной машины, телевизора, автомобиля, костюмов, зелёного газона возле дома и телефона с отводными трубками: а если вы к тому же обитали в университетском посёлке, ваш покой не нарушали ни стоны, ни голодный плач, ни зрелище трущоб, хижин, барачков... В лучшие времена большинство людей вокруг вас имело работу, у большинства людей водились деньги, и они не беспокоили друг друга; вот так и жили в этом лучшем из миров, когда-либо построенных человеком, терпя с достоинством всё, что приносили с собой день за днём и год за годом.

А что же нашло на вас теперь? — думал он. И что будет дальше? И как же это случилось, что тот самый солнечный и устойчивый мир вдруг стал насквозь пронизан страхом?

Но так ли это? Ни одно из его чувств не подсказывало ему ничего страшного: ни зрение, ни слух, ни обоняние. День шёл на убыль, в голубом небе сгустились сиреневые тени, дул прохладный лёгкий ветер. Огромные дубы и клёны оделись во все цвета осени — багряный и яркожёлтый, золотисто-зелёный и тончайшие оттенки оранжевого; уже шуршала жел-

товато-коричневая листва, и жёлто-зелёный ковёр спутанных широколистных трав, такой типичный для небольших городков Среднего Запада, покрывал землю сызнова и в то же время испокон веков. За излучиной холмов виднелись сочные луга, цветные квадратики посевов, перелески, лениво выходящая река — и всё это было так прекрасно и богато плодами земными, так дышало изобилием, что, будучи в здравом уме, нельзя было и предположить, что на такой земле может вырасти страх.

Атомная бомба — ведь это так далеко, — миф, легенда, басня, не имеющая ни реального содержания, ни смысла. Его народ не был воинственным народом. Война в Корее — неприятная и обидная случайность, но она идёт где-то там, на краю света, и даже отзвук дальних разрывов не достигает здешних мест. Ни один снаряд здесь ещё не разрывался, ни один пулемёт не стрекотал о смерти, смерть никогда не изливалась и с небес.

Земля бездумно почивала в мире, или так по крайней мере казалось Сайласу Тимбермену, однако в душе его больше не было покоя. Внезапно он почувствовал себя чужаком на этой мирной земле. Сайласу пришло в голову, что Лоуренс Кэплин, наверное, чувствует себя так всегда, а как же тогда себя чувствуют те, другие, кто никогда не был защищён бронёй вещей, — негры, порой молча проходившие по Клемингтону, от одного его края до другого: «Прочь ступайте, вы здесь не нужны, у нас нет негритянской проблемы, не зря за восемьдесят лет здесь не селилось ни одной чернокожей семьи»; сезонные рабочие на фермах в выгоревших штанах и линялых голубых рубашках, люди без крова и без надежды, которые ютились в пустых ящиках на берегу реки; даже здесь, даже в Клемингтоне, где, встречая гостей, весело хвастали: «Добро пожаловать в наш город, город, не знающий ни вражды, ни грязи», как себя чувствуют эти люди даже здесь, в Клемингтоне?..

Что-то изменилось, но что именно и до какой степени — он не мог сказать. Заведующий кафедрой стал указывать ему, чему он должен и чему не должен учить студентов; президент университета намекнул ему на то, что он недостаточно лоялен; сам он стал мишенью для городских сплетников; один из студентов осмелился с ним разговаривать так, как никто ещё с ним не разговаривал, — длинноногий, рыжий техасец, который разрушил его исконное предубеждение против техасцев и рассказал ему о заговорах и контрзаговорах, о мелких интригах и скрытых угрозах; а над всем этим висела безликая, безымянная беда, поклёп в принадлежности к коммунистам — слова, не имеющие для него ни смысла, ни определённости; в воздухе просто запахло бедой, ужасом, дьявольщиной, опасностью неопишуемой, незнаемой, пнездящейся то ли у него в душе, то ли вовне, где-нибудь, как-нибудь, которая должна была бы быть чем-то осязаемым, потому что не могла же она быть ничем и никак не проявить себя, словно она и в самом деле ничто, — и так далее и тому подобное; его мысли неслись друг за другом, пока их не вытеснила тёплая и осязаемая реальность, пока к нему не подбежал с весёлым и воинственным криком Брайан и не рассказал ему о своих необыкновенных приключениях в продовольственном магазине.

Сайлас вошёл в дом, обнял Майру и долго, долго прижимал её к себе, словно оба они пережили длинную, тягостную разлуку.

* * *

Расставляя на подносе чайную посуду и печенье, Майра сказала Джералдайн:

— Надеюсь, что такое угощение годится для представителей печати. Кто их знает? Ведь это наша первая пресс-конференция.

— Не понимаю, почему бы тебе не дать им коктейли? — недовольно проворчала Джералдайн.— Репортёры всегда пьют.

— Репортёры вряд ли пьют больше других, а трое или четверо из них — студенты. Не хватает, чтобы нас ещё обвинили в том, что мы спаиваем студентов.

— По телевизору их всегда показывают пьяными.

— Наверно, так и есть. Наконец-то телевизор стал показывать настоящую жизнь, — согласилась Майра. — А мы всё-таки ограничимся чаем.

— Сайлас теперь стал знаменитостью, правда? — спросила Сьюзен.— Приятно, когда у тебя в семье есть знаменитость.

— И нечему тут радоваться, — огрызнулась Джералдайн.

Майра предоставила им самим решить этот спор и, взяв поднос, вошла в комнату, где Сайласа осаждала толпа мужчин и женщин, вооружённых блокнотами и фотоаппаратами. Майра подумала о том, что правда, повидимому, на стороне Сьюзен, ибо и слава и беславие одинаково заманчивы для скучающей и жадной толпы; наравне с крикливыми военными сводками и сенсационными убийствами её можно было развлечь и сообщением о том, что Сэмюэль Б. Клеменс — орудие коммунистов. Когда Майра внесла чай, Сайлас благодарно кивнул ей, продолжая говорить:

— Нет, нет, разрешите мне повторить то, что я уже сказал. Я не стану ни подтверждать, ни опровергать того, что написано в обеих редакционных статьях. Я верю в свободу печати. Я одобряю традиции «Фулкрум», которая всегда придерживалась такой свободы. Но настолько же, насколько она вправе печатать то, что ей хочется, и я вправе молчать относительно того, что в ней напечатано, будь то правда или ложь.

«Молодец Сайлас, ай да молодец! — подумала Майра. — Не давай им приклеивать на тебя какой бы то ни было ярлык. Балансируй. Мы с тобой быстро научимся ходить по проволоке. Скоро мы сможем выступать в цирке».

— Но поймите же, профессор Тимбермен, — настаивал представитель Ассошиэтед Пресс, — отказ дать опровержение будет расценён как признание того, что там было написано.

— Как бы там ни было, я не собираюсь ни подтверждать, ни опровергать что бы то ни было.

— Забудем на минуту о вашем решении, — вступил репортёр из Индианополиса, — скажите, как вы думаете: Марк Твен является орудием коммунистов?

— Вы сами понимаете, что это просто смешно.

— Значит, вы считаете, что он не может быть использован коммунистами в своих целях?

— Понятия не имею, чем пользуются коммунисты в своих целях, да и не очень этим интересуюсь. Может, они пользуются молотками. Отсюда не следует, что нам надо тут же выбросить все молотки в пропасть. Ей-богу, всё это чепуха, но чепуха весьма опасная.

Высокий, смазливый, смуглолицый молодой человек, которого представили Майре как Хоффенштейна из «Фулкрум», сказал негромко:

— Но ведь и коммунисты тоже опасны, не правда ли, профессор?

— Мне кажется, мистер Хоффенштейн, вам лучше знать, ведь вы знаток этого вопроса.

— Вы правы, профессор, я в этом деле разбираюсь. Да, коммунисты очень опасны и не гнушаются никакими средствами.

— Обождите минутку, Хоффенштейн, — перебил его университетский корреспондент «Таймс». — Ведь не вы же даёте интервью. Вопрос заключается вот в чём, профессор Тимбермен: может ли случиться, что такой

рассказ, как «Человек, который совратил Гедлиберг», — я лично его не читал, потому что книжку теперь не раздобудешь ни за какие деньги, — может ли такой рассказ быть на руку коммунистам и внушить людям как раз те идеи, которые пытаются вбить им в голову коммунисты? Я лично не думаю, чтобы у Марка Твена, когда он писал свой рассказ, были подрывные настроения и он мечтал свергнуть правительство, но разве его рассказ не может быть начинён именно такими идеями, какие нужны коммунистам?

— Боюсь, что не смогу вам ответить на этот вопрос, — устало сказал Сайлас. — Я не знаю, что именно нужно коммунистам. Я был бы, пожалуй, очень удивлён, если бы им действительно понадобился «Человек, который совратил Гедлиберг», и думаю, что и Марк Твен был бы удивлён насколько не меньше. Я всегда считал этот рассказ шедевром остроумия, иронии и блистательного разоблачения лицемерия и жадности, он мне казался самым американским произведением во всей нашей литературе, которое полезно прочесть любому нормальному человеку. Таково моё мнение, и я не вижу оснований его менять.

— И вы намерены и впредь учить этому ваших студентов?

Сайлас знал, что ему зададут такой вопрос, и поэтому снова и снова задавал его себе сам и, как ему казалось, не мог найти ответа; но теперь, когда вопрос был ему действительно задан, он понял, что может дать на него только один ответ. Всё, о чём он раньше раздумывал, к чему мысленно примеривался, над чем ломал голову, всё это куда-то исчезло, и он сказал то единственное, что мог сказать:

— Конечно, буду. Если я во что-то верю, естественно, что я буду учить этому других. — И он посмотрел на Майру, встретился с ней взглядом и увидел в уголках её рта чуть приметную улыбку, совсем новую улыбку, какой он ещё не видел.

* * *

Сайлас сидел в гостиной и набивал свою трубку, раздумывая, существует ли на свете такая книга, которую ему сегодня хочется почитать. Майра, уложив детей спать, вошла в гостиную и сказала:

— Ну как, Сай, хорошо быть героем?

— Чёрта лысого, герой, — пробормотал он в ответ.

— Ты не находишь, что переживания повлияли на твою манеру выражаться?

— Очень может быть. Не так-то легко, как выяснилось, жить в ладу со своей совестью.

— А жить в ладу со мной?

— Об этом тоже нужно подумать. Мне казалось, что я тебя понимаю, но всякий раз ты, повидимому, считаешь, что я поступил совсем не так, как мне полагалось поступить.

— Так ведь то ты, а то я...

— Разве я не вёл себя, как последний дурак, с репортёрами?

— Мне казалось, что ты вёл себя правильно.

— Может, и так, не знаю. Вся эта затея была таким ребячеством; да нет, дети, пожалуй, до этого не дошли бы. Куда девалось наше чувство юмора? Ведь никто даже не улыбнулся. Куда же оно девалось, Майра?

— Растаяло, как позапрошлогодний снег, а может, у нас всегда его недоставало. Почему мы не можем всё это выкинуть из головы, Сай?

— Надо, чтобы они захотели выкинуть меня из головы. Думаешь, что Кэбот забудет и простит? Или Эд Лундфест?

— А мне всё равно.

— Тогда я, пожалуй, поищу работу где-нибудь в другом месте...

— Не надо, Сай. Тот парень из Техаса, — как, ты говорил, его зовут?

— Ленокс.

— Ну да, Ленокс. Чем больше я думаю о том, что он сказал, тем мне всё становится понятнее. Покуда не делай ничего, Сай, ничего, чего ты не обязан делать.

— Ладно. А не сходить ли нам сегодня в кино?

— Нельзя, — вздохнула Майра. — Звонил Аик Амстердам — он придёт к нам вечером. С Алеком Брэди, Эдной Кроуфорд, а может, и со Спенсером тоже. Целая делегация.

Скоро они и в самом деле пришли впятером: Амстердам, Брэди, Спенсер, мисс Кроуфорд и Леон Федермен — маленький, скрюченный болезнью человек, ростом, даже на костылях, с десятилетнего ребёнка, с глазами, как горящие свечи, и голосом мягким и певучим, словно музыка. Он проковылял к стулу и уселся — так удобно и с такой удивительной ловкостью, что всем сразу стало как-то неловко его жалеть, а потом своим глубоким, звучным голосом попросил Сайласа рассказать им самое важное из того, что произошло за сегодняшний день. Эдна Кроуфорд, высокая, ещё стройная и красивая женщина лет шестидесяти, прошла на кухню, деловито поцеловала Майру и помогла ей подать мужчинам бокалы с вином и кубиками льда и чай с печеньем, в зависимости от того, что каждый из них хотел. Аик Амстердам уселся на табурет возле рояля и ехидно поглядывал на Сайласа, а Спенсер и Брэди удобно расположились на мягком диване.

Тон задавал Федермен; он вытягивал из Сайласа всё новые и новые подробности, сопоставлял их или отбрасывал, перемежая едкими репликами. В заключение он сказал:

— Итак, наконец Клемингтон осенила слава. Или, может, не слава, а позор? Отныне мы уже значимся в сноске к книге по истории нашего времени, а ведь это ещё только начало. Беда в том, Сайлас, — заявил он решительно, — что вы страдаете обычной болезнью всех мягких и скромных людей. Вы не умеете смотреть на себя со стороны и не в состоянии оценить всей важности того, что случилось. Точно так же, как хозяйка не в силах убедить мясника в том, что туша слегка отдаёт тухлятиной, так и средний обыватель уже не чувствует газетной вони, которая изо дня в день бьёт ему в ноздри. Не надо себя обманывать. Когда могущественные «Таймс» и «Чикаго трибюн», не говоря уже о богоподобной Ассошиэтед Пресс, кидаются на такое захоlustьё, как Клемингтон, это происходит потому, что мы сулим им новую и ни на что не похожую сенсацию. Ведь сейчас на базарах Бомбея, у прилавка менялы в Гонконге, в прославленных поэтами парижских кафе — да, да, и в сибирской тундре тоже — люди повсюду читают о позорном поступке какого-то Лундфеста и об упрямстве и растерянности некоего Тимбермена. Марк Твен принадлежит всему человечеству, и его так же опасно списать в расход из истории Америки, как и расправиться с тенью Авраама Линкольна.

— Хорошо сказано, — одобрила мисс Кроуфорд. — Но не смейте отнимать у Сайласа того, что ему причитается. Майра говорит, что он укротил этих репортёров, и они стали совсем как котята.

— Кто их может укротить? — вставил Аик Амстердам. — Не торопитесь, Эдна, поглядим сначала, что они напишут. Помните, как их называл Марк Твен? «Псы, которые лакомятся человеческими горестями». Господи боже мой, подумать только, как коротка наша жизнь! Я ведь видел его в Нью-Йорке, и кажется, будто только вчера: идёт он по Пятой авеню, в каком-нибудь квартале или двух от Вашингтон-сквера, — в белом костюме, с сигарой в зубах, с тростью и знаменитыми усами.

Я был совсем ещё мальчишкой; помню, я встал как вкопанный и гляжу во все глаза, а он взял да и кивнул мне. Я берегу этот кивок в своей памяти. И дарю его вам, Сайлас. Только мёртвого можно измерить как следует, и, видит бог, то был очень большой человек!

Брэди отхлебнул глоток виски и спросил Сайласа о Леноксе.

— Он обещал мне поговорить с вами. Вы его видели?

Удивившись, зачем Леноксу понадобилось обсуждать такие дела с Алеком Брэди, Сайлас передал свой разговор с техасцем. Он несколько смягчил его слова, но Майра вмешалась и со всё возрастающим гневом повторила то, что Ленокс говорил о Хоффенштейне.

— Если верить Леноксу, — сказала она, — Хоффенштейн не испытывает никаких эмоций, он холоден как лёд. Дело совсем не в том, как он относится к Сайласу, — ему нужен символ, любой символ, на котором он может сыграть. Сначала я не поверила, но когда он явился на пресс-конференцию и у него хватило наглости прийти сюда и устроить Сайласу травлю в открытую, тогда я поняла, что Ленокс был прав.

— На чём же он пытался спровоцировать Сайласа? — поинтересовался Брэди.

Сайлас пересказал ему как можно точнее все вопросы, заданные ему на пресс-конференции, и свои ответы. Айк Амстердам заметил:

— Теперь всё понятно: до смерти нужен символ. В таких делах всегда начинают с поисков символа.

— Не понимаю, — недоуменно замотал головой Сайлас.

— Мы должны были бы сказать вам раньше, — объяснил Брэди, — но у вас хватало своих забот. Потому-то мы и решили прийти к вам сегодня вечером, вместо того чтобы дать вам с Майрой отдохнуть. Сегодня, точнее, в два часа дня, Кэбот отстранил от работы Айка.

— Что?

— На каком основании? — закричала Майра. — Как он посмел?

— На основании обвинения в нелояльности и нравственной неполноценности.

— Но у нас ведь не брали подписки о лояльности, — сказал Сайлас. — Нелояльность к кому или к чему? И безнравственность... О господи!

— В действиях, наносящих урон благосостоянию университета, или что-то в этом роде, а что касается безнравственности, её добавили просто так, для красоты.

— Безнравственность, — повторила Эдна Кроуфорд. — Вы можете себе представить, Сайлас: Айк и безнравственность! Нет, об этом я намерена лично побеседовать с Антони Ч. Кэботом. С глазу на глаз, начистоту и со всей прямоотой.

— Какая чепуха! — сказала Майра. — Достойный финал безумного дня. Вы только подумайте: вот сидим мы всемером — взрослые, трезвые и не очень глупые люди, а ведём себя и разговариваем, как в последней главе «Алисы в стране чудес». Сайлас — коммунист. Айк — аморальная личность и диверсант, а поэтому Клемингтон стоит на краю гибели. Нет, вы только вдумайтесь!

— А чем же мы занимаемся? — спросил Федермен. — Да ещё так старательно. Вы правы, конечно, всё это чепуха, но, назвав это чепухой, мы ещё ничего не объясняем и не оправдываем. Разве мы с вами живём в век разума? Скорее, совсем наоборот. Логично было бы уволить Сайласа. Но его не тронули. Почему, по-вашему, выбрали Айка?

— Но почему логично было бы уволить Сайласа? Где тут логика?

— Видите ли, Майра, — мягко возразил Федермен, — речь идёт о логичности самой точки зрения. В нашей стране наступил новый этап борьбы за власть; в каждом городе, в каждой деревне, в любом универ-

ситетском посёлке — борьба за сознание людей, борьба против разума и логики, порядочности, знания, истины; борьба за подготовку ста шестидесяти миллионов людей к полному уничтожению. Цель этой борьбы — вселить страх, и она ведётся, с точки зрения тех, кто ею заправляет, с холодной, беспощадной логикой. С точки зрения нашей с вами логики, жертвой должен был стать Сайлас. Он человек меченый. Его обвинили в коммунизме. Он отказался участвовать в гражданской обороне, став жупелом для всех глашатаев войны и грошовых торговцев патриотизмом. А в довершение всего он ещё не желает преклонять колени перед грозными столпами церкви. Но с точки зрения их логики — а она, поверьте мне, куда последовательнее — Айк им удобнее. Сайлас — ветеран войны, а Марк Твен — всё ещё в какой-то мере святыня, и сегодня у них в этом деле ещё горит земля под ногами. Пусть лучше козлом отпущения будет Айк. Уверяю вас, они ни черта не знают о коммунистах, да и не желают знать. В другие времена вместо них пошли бы в ход ведьмы, еретики... Сегодня им нужны в жертву люди принципиальные, мужественные; их-то они и будут увольнять, преследовать, сажать в тюрьму и убивать совершенно безнаказанно. Разве что...

— Разве что?..

Сайлас увидел, как один за другим они обернулись к нему, словно ища у него защиты. Почему к нему? Даже Майра и та была куда больше приспособлена к борьбе, а он до сих пор в глубине души чувствовал себя беспомощным человеком, которого медленно засасывает тряпина. Почему же они обернулись к нему, смотрели на него, ведь он ничего не мог им дать, ничего, кроме собственного страха и смятения?

— Разве что мы их как-нибудь пересилим, — сказала Эдна Кроуфорд. — Неужели вы не понимаете, Сайлас, что значит для Айка потерять работу и почему они выбрали именно его? Через три года он получил бы звание «заслуженного профессора» и был бы неуязвим. Когда Лазарус Мейерс скончался, он завещал Айку наблюдение за обсерваторией — пожизненный пост, согласно дарственной Саймингтона. Однако Кэбот намеренно оставил пост заведующего обсерваторией вакантным. Он ненавидит и боится Айка, как ненавидит и боится всякого, кто знает ему цену и не дрожит перед ним...

— А теперь Айк дал ему повод, который он так долго искал, — добавил Спенсер.

Сайлас повернулся к Амстердаму.

— Айк, поверьте, я ужасно огорчён... — как-то вяло сказал он.

— Старикам запрещается ныть и напрашиваться на жалость...

— Это смотря когда! — резко перебил его Брэди. — Время, однако, позднее. Мы намерены заставить их взять своё решение назад, откуда оно ещё не утверждено. Об увольнении Айка знают многие студенты, и они чертовски этим расстроены. Они хотят созвать в городке митинг, большой, боевой митинг, такой, какого у нас не было с самой войны. И хотя, чтобы вы выступили, Сайлас...

(Продолжение следует)

*Перевод с английского
Е. Гольшвей и Б. Изакова.*



НАЗЫМ ХИКМЕТ

★

НОВЫЕ СТИХИ

С турецкого

ПИСЬМО ИЗ ПОЛЬШИ

Здравствуй, моя любимая,
красная гвоздика моя!
Здесь, на польской равнине,
путешествие начал я.

Я, точно маленький ребёнок,
весь полон радости и удивленья.
Я, точно маленький ребёнок,
смотрю раскрашенную книгу
и заново в ней открываю
людей,
животных,
вещи
и растенья.

На польской равнине весна
так ясна
и так зелена,—
только на наших равнинах
бывает такая весна.

В её яркости
хочется соколом взмыть,
в её реках

хочется окунем плыть,
а зелень её —
живьём проглотить.

Только на наших равнинах
бывает такая весна.

Есть голос,
нет голоса —

она
заставит песню петь
и во сне не отстанет от тебя,
войдёт в твой сон, войдёт
яблоневый цвет,
войдёт в твой сон, войдёт
нагруженная солнцем ветка...

На польской равнине весна, весна,
в её яркости
хочется соколом взмыть!

Гвоздика моя!
 Смерть, свернувшись клубком,
 ждёт минуты, чтоб укусить,
 ждёт
 под левым моим соском.
 Было бы глупо с моей стороны
 расстаться с миром
 в день весны.

Любимая,
 мать моего Мемеда!
 Один из дедов наших дедов —
 польский эмигрант 48-го года.
 Может, потому вы
 так похожи,
 обе тонкобровы и красивы,
 ты
 и эта женщина из Варшавы?
 Может, потому у меня рыжие усы
 и глаза нашего сына
 такой северной голубизны?
 Не потому ли эта равнина
 так похожа
 на равнины нашей страны?
 Вероятно, оттого же
 эта польская песня
 заставляет шевелиться
 воду, которая во мне
 спит, в полумраке,
 в глубине...

Из Польши пришёл он,
 дед нашего деда.
 В глазах — мрак поражения,
 волосы в крови.
 Должно быть,
 бессонные ночи Борженского¹
 похожи
 на бессонные ночи мои.
 Так же, как я, быть может, и он
 под деревом где-то
 забыл свой сон,
 как я, вдыхал он
 в каждом дыханье
 запах родины,
 хоть и знал — там ждёт
 тюрьма.

И мысль,
 что её не увидит больше,
 так же
 сводила его с ума.
 Милая,
 где,
 когда сражалась свобода
 и поляк не был в первых рядах?

¹ Борженский — прадед поэта по материнской линии.

Я уверен, что есть
негритянская песня,
немножко грустная,
не безнадежная,
мягкая, как тьма,
как тьма, бестревожная.
Я уверен, что есть
негритянская песня,
песня, которую
поют в Гарлеме,
тихо, тихо
поют её матери
маленьким детям,
а в это время
у дверей хижин
появляется бесшумно
страж их покоя,
всадник белокрылый,
польский воин,
павший в Саваннах¹
за негров, вдали
от родины милой...

Была весна народов.
Светлым мёдом
цветов с диких скал
была свобода.
Народ был пчелою,
гвоздика моя,
была весна народов,
весна великая.
Пошёл впереди мадьярской армии
сердитый маленький старичок,
известный всем,
самая зелёная ветка Польши —
генерал Бем...²

Если бы мог я поехать в Париж,
любимая, если бы мог
и если б в тот день
до полудня шёл дождь,
а после полудня
солнце блеснуло
и вечер спустился, как красное знамя,
о, если б я мог в этот день положить
на могилу Домбровского Ярослава
белую розу из сада Варшавы...

Милая,
дерево нашей надежды

¹ Саваннах — город в США, где происходили бои между южанами и северянами.

² Генерал Бем — польский генерал, который в 1848 году командовал частью войск венгерской армии.

было посажено Лениным.
 Оно было тогда ещё только ростком,
 всем народом взлелеянным.
 В снежные ночи его сторожил,
 каждую веточку,
 каждый лист
 до утра
 согревая теплом своих рук,
 Феликс Дзержинский,
 великий чекист.

Смешавшись с кровью испанцев,
 пролилась на испанскую землю
 кровь семидесяти семи народов.
 Сражался, как лев, белокурый Вальтер¹
 в то лето
 под Сарагоссой.
 Он знал, что землю не удержишь
 границами,
 проволокой колючей
 и она
 не во мраке, как контрабандисты,
 а в любое время
 дня и ночи
 переходит без визы —
 ей путь открыт —
 любую границу,
 любую заставу.
 Вальтер знал —
 огонь, спаливший Мадрид,
 может когда-нибудь
 спалить Варшаву.

Варшава сгорела, гвоздика моя,
 на польских полях не осталось травы.
 Смерть со свастикой
 вошла в Париж.
 Постучалась в ворота Москвы.
 На полях Подмосковья не осталось травы,
 рассыпался камень,
 растаял металл,
 но Москва устояла,
 но Сталинград
 устоял.
 Смерть бежала.
 Вальтер был среди тех,
 кто гнал за ней,
 чтоб убить наповал.

Любимая!
 Здесь, в Польше, весь народ
 одним лишь занят делом —
 строит
 себе социализм.

¹ Вальтер — псевдоним польского генерала Сверчевского, сражавшегося в Испании против фашизма.

Ты понимаешь?

Социализм —

ну, как тебе сказать? —
не то чтобы отсутствие ярма,
а невозможность самая его, ну, так,
когда становится свобода солью
для хлеба нашего,
для нашей книги — словом,
огнём — для наших очагов;
когда ты не дрожишь так, словно ты —
травинка,

а другой — морозный ветер.

Социализм, моя гвоздика, — это
когда рука с рукой готовы горы

перевернуть,

при этом не теряя
своих примет и своего тепла;
когда любимые не ждут от нас
ни славы и ни денег — понимаешь? —
а только верности.

Социализм —

когда законы счастье признают
гражданским долгом.

Или, например

(хоть интересоваться

тебя ещё не может это),

когда ты входишь в старость
так спокойно,
так бестревожно,

как в тенистый сад.

Когда —

и это, милая, важнее всего, —
как яблоко румяное, повсюду
смех,

смех детей,
но всех

детей!

Вот что здесь строит

и к чему стремится
народ, сказавший:

это будет так!

Теперь скажи:

могу ли не гордиться,
что предок мой

по крови
был поляк?

ПОЧТАЛЬОН

Весть о родине, о человеке, о мире,
весть о птице, о звере, о деревце
на рассвете и в полночь
людям носил я
в сумке
моего сердца.

Я в детстве стать почтальоном решил,
настоящим, не как поэты.

Цветные огрызки-карандаши
рисовали почтальона портреты,
рисовали, как дети на гравии,
неуклюже,

но верно,

рисовали

на учебниках географии
и на романах Жюль Верна.

Вот человек в ушанке.
Собаки по льду везут сани.
На почтовых посылках

и консервных банках —

северное сияние.

Ещё одну дырочку в поясе просверлив,
перехожу Берингов пролив.

Или вот я с сумкой моей в степи,
под тяжестью облаков,
раздав солдатские письма,
пью тёплое молоко.

Или вот иду

с шумной улицей вместе,

адрес ищу —

да где ж это?

В сумке моей —

только добрые вести,

только надежда.

Или вот —

вьюга, снег,

тьма в окне.

Маленькая девочка больна,
лежит в огне.

Длинная, длинная ночь эта...

Стук в дверь:

«Почта!»

Маленькой девочки глаза
васильками глядят из тьмы.

Завтра утром

её отца

выпустят из тюрьмы.

Это я, почтальон, разыскал её здесь,

это я в снег и мороз

самую добрую в мире весть

девочке этой принёс.

Я в детстве стать почтальоном решил.

Хоть в Турции моей

это — трудное дело:

в письмах горе и скорбь,

мало хороших вестей.

Я в детстве стать почтальоном решил,
я любил это так же, как стих...

И вот в Венгрии,
в пятьдесят лет,
своего желанья достиг.

В моей сумке — весна,
в ней птицы шумят,
блеск Дуная,
запах травы,
в ней сотни писем венгерских ребят
к ребятам
моей Москвы.

Я раздам их все, как только приеду.
Но как я доставлю это?
На конверте написано:

«Мемеду,
сыну Назыма Хикмета».

Сын мой!

Этот венгерский привет
не смогу тебе привезти,
потому что разбойники, мой Мемед,
стоят на нашем пути...

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕНГРИИ

(Из поэмы)

1

Точно такой,
как в моей Анатолии,
точно такой,
как на наших равнинах,
голубой,
бледнорозовый,
светлосиреневый
над венгерской землёй
опускается вечер.

Деревья — словно на наших равнинах
анатолийские тополя.
У ног их в вечерней прохладе —
тёплая,
потная,

как солдатская шинель,
земля.

Как солдатская шинель, земля —
такая же прочная,
такая же бесконечная,
такая же точно,
как в моей Анатолии...
Над венгерской землёй опускается вечер.
И звёзды садятся на ветки деревьев,
они между листьев сидят
вместе с птицами.

Деревья, словно на наших равнинах...
Только и сходства,
 что вечер,
 земля
 да деревья!
На наших равнинах — другие деревни.
На наших равнинах —
 голодные дети,
невесты в двадцать лет — старухи,
быки — с вершок величиной,
на наших равнинах,
нищих, пустынных...
Смерть поселилась на наших равнинах.

2

Привет тебе, венгерская земля!
Ты в этот летний день,
 как хлеб,
 недавно вынутый из печи,
пышный,
смуглый,
золотистый,
как хлеб,
что полон тайн своих,
как хлеб, благословенна ты.
Привет тебе, венгерская земля!
Всем семенам внутри тебя,
костям внутри тебя,
фундаментам
и рудникам
 привет!
Дням и ночам, летящим над тобой,
зелёным листьям над тобой,
любви и песням,
окнам и цветам,
рукам и крыльям над тобой
 привет!

И над твоею головой
 всё это пронеслось,
ты знаешь,
что значит быть в неволе,
знаешь,
как человек земле родной
 вдруг кажется уродливым
и как земля родная
становится для человека тесной,
как остывает слово на устах
и взгляд в глазах,
как труд наш,
 словно плод червивый,
гниёт в руке...
Земля, как человек,
земля, как песня,
становится прекрасной на свободе.

Ты стала лучше и прекрасней,
венгерская земля!
Нельзя насытиться твоей свободой,
твоей поэзией,
плодами
и вином.

Прощай,
ты оказала мне большую честь.
Благодарю тебя.
Я на вершину Геллерта
от имени народа моего
принёс букет из полевых цветов,
твоих цветов, венгерская земля!

Прощай!
Желаю я твоим колосьям зёрен
и тучности твоим быкам,
желаю стали твёрдости,
а людям — счастья.
Быть может, я ещё приду к тебе,
а может быть, на это у меня
не хватит жизни.
Но знаю я:
настанет время,
к нам от тебя,
к тебе от нас
придут, я знаю, братья-гости
так, словно перешли из сада в сад.
Прощай!
Будь счастлива, земля друзей и братьев!
Будь счастлива, венгерская земля!

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ

В Богемии, у самой границы,
в курортном городе Франтишковы Лазни,
небо нагружено — в нём облака
пышные, праздные.
Небо, как запотевшее окно бани,
сквозь которое трудно свету пробиться.
В воздухе — знакомые признаки гроз.
В воздухе — запах мокрого тела,
смешанный с запахом красных роз.

В Франтишковых Лазнях шуршит вода,
что лечит сердечную боль и бесплодие,
и деревья — их тысячи пришли сюда
и наполнили улицы, сады и поляны, —
кажется, стоит покрепче ступить ногой,
чтобы брызнул серный источник
или тополь забил фонтаном.

Побывал я в гостинице «Три лилии».
Как говорит друг мой, Незвал, чешский поэт,

здесь,
 за письменным старым столом,
 который они сохранили,
 старик Гёте
 не раз встречал рассвет.
 В каком году?
 Незвал точно не знает.
 Говорит — в восемьсот восьмом,
 нет, в восемьсот пятом...

Но оба зато
 день в день
 вспоминаем
 другую дату.

Танки с крестами белыми на спине
 прошли мимо гостиницы «Три лилии»,
 и от сотрясения опрокинулся стол,
 который так хранили.

Я был тогда в стамбульской тюрьме.

Потом танки прошли Варшаву,
 и люди падали на бегу.

Я был тогда в Чанкыры, в тюрьме.

Потом над Москвой
 следы кровавые
 оставили на снегу.
 И деревни полыхали во тьме...

Я был тогда в бурской тюрьме.

Я в жизни своей
 знавал людей,
 пришедших с дорог просёлочных,
 из улиц далёких,
 узких,
 широких,

с площадей
 дождливых
 и солнечных.

Они отдыхали
 под тенью
 разных деревьев.
 Многие никогда ещё
 не покидали

родимой деревни.
 Одни трудились,
 как часы заведённые,
 другие —
 как мухи сонные.

Кто был, как зерно,—
 с головы до ног
 надежда.

Кто — нежный,
 как колыбельная песня,

на каком бы она языке
ни пелась,
кто — упрямый,
как осёл Насредина,
кто — щедрый,
кто — сердитый,
как красный перец.

Были молодые,
как только что зажжённый огонь,
и старые, как земля,
мудрые, как земля.
Большинство
не знало по-русски ни слова,
кроме «хорошо»
и, быть может, «товарищ».

Но зимой сорок первого года,
когда под Москвой, взрывая снег,
показались танки
с крестом на спине,
эти люди
готовы были умереть
за белый, белый,
невиданный город,
так часто
сбившийся им во сне.

Им снился этот великий город:
им снилась строительная площадка,
у которой не видно конца и края,
леса и краны,
людей миллионы,
здесь были старые и молодые,
здесь были люди
трёх поколений...

Им снилась
площадь красного цвета,
вокруг купола,
купола золотые,
посредине могила,
в могиле — Ленин.

Просыпались в слезах.
Боль была нестерпимая.
Им снился этот великий город —
это была огромная яблоня,
покрытая розовыми цветами.

Для меня этот город —
не город-надежда,
не город-облако —
попробуйте, троньте! —
который видят
летом
с рассветом.
в море открытом
на горизонте.

Я старый москвич,
 как и старый стамбулец.
 Помню Москву
 в годы двадцатые.
 Завод
 на одной из заснеженных улиц.
 Первая встреча
 с пролетариатом.
 Тяжёлые руки лежат на коленях.
 Глаза чистые,
 безоблачно-детские,
 в них милосердное терпение.
 Прочёл стихи.
 Слушали так,
 будто знают по-турецки.

Пушкин ещё на старом месте.
 На плечах — пелерина,
 непокрытая голова,
 чёрный, стройный,
 такой умный,
 такой печальный,
 как благородный петербуржец, эlegantный.
 Стоит на Тверском бульваре,
 а вокруг —
 Москва.

Часто приходил сюда,
 вечером
 и под утро,
 садился на скамейку,
 к которой привык,
 в старой будёновке
 студент КУТВа¹,
 полон рот семечек,
 подмышкой — одна из великих
 книг.

Зимой
 здесь пахло свежим снегом,
 летом —
 прохладными листьями.
 Здесь,
 как дома,
 сидел под открытым небом
 и собирался с мыслями.

Есть двор один
 возле Арбатской площади —
 может, бывали там
 раньше вы? —
 на кирпичных стенах
 вечерами зимними
 горят окна
 алые,
 голубые,
 оранжевые.

¹ КУТВ -- Коммунистический университет грядущих Востока.

В этом дворе
 в январе
 суровом
 парень из Стамбула
 часами топчет снег.
 Тень Тамары
 то пропадёт,
 то появится снова
 на самом верхнем
 голубом окне.

Это мой город.
 Девятнадцати лет
 я въехал в него
 с опозданием на три часа
 и тут же, на Киевском вокзале,
 увидел человека в кепке —
 его глаза
 до сих пор
 перед глазами.
 Может, он был
 на одном из плакатов?
 А может, стоял,
 оглядывая перрон
 под разбитой
 стеклянной крышей.
 Не знаю.
 Только знаю,
 что он
 всех других
 был на голову выше.
 Подошёл к нему,
 снял папаху.
 Приветствовал
 нового хозяина города.
 Одна тысяча
 девятьсот двадцать первый год...
 Эх, молодость!
 Сердце трепещет,
 как рыба в руке,
 кровь,
 как вино,
 ударяет в голову...

Из Анатолии
 за тысячу вёрст
 не по чьему-нибудь
 велению
 пришёл.
 Имею один вопрос
 к товарищу Ленину.

Перевод М. Павловой.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Н. ДЕВЯТЬЯРОВ

★

НА ПОДЪЕМЕ

Необычной была зима в пятьдесят третьем. Метели отбушевали в ноябре. Новогодние морозы прошли стороной, а в феврале начались оттепели. В один из зимних дней мы с секретарём райкома Боковым ехали из Кирова. Лошадь шла крупной рысью.

— Хорошо! — крикнул Боков. — Люблю быструю езду. Видеть не могу, когда лошадь еле плетётся.

— И что же, к ответственности возницу привлекаете? — шутливо спросил я.

Боков даже не улыбнулся.

— С некоторыми председателями колхозов ругаюсь... Приедет в район на разбитых розвальнях. Сидит на корточках, трясёт вожжами: «Но, но!» Какой это председатель...

Через минуту лицо его потеплело. Он уселся в кошёвке поудобнее, закурил.

— Это, конечно, мелочь, да и на мелочи приходится обращать внимание. Тяжело приходится — на большую гору взбираемся... От партийных работников всё время требуют смело идти на ломку старого, в гору вести хозяйство. Да ведь порой не иду. Иной секретарь и видит — вон туда повернуть надо, а крутизны боится, как бы не сорваться. При решении больших вопросов не мудрено и обидеть кое-кого, а потом эти обиженные на конференции и проголосуют против... Покрывил душой раз-другой, потом и поздно за вожжи-то браться. А время идёт. Район катится постепенно вниз. Червяк либерализма въедается всё глубже. И тогда выправлять дело тяжело. Вот так получилось и в нашем районе.

И, не ожидая вопросов, Боков стал рассказывать.

1

— Родился и жил я до ухода в армию, — рассказывал Боков, — на Южном Урале. Степи у нас привольные. Боевал тоже на южных фронтах. После войны работал в родных местах. И вдруг посылают меня в Кировскую область. Получил направление зимой. Еду из Кирова в район на лошади. Увалы да лес. Чем ближе к райцентру, тем круче увалы и больше леса. Всё думал: «Вот этот лес кончится, поле, наверно, большое пойдёт». А большого поля так и не увидел. Прямо скажу — загрустил. А тут ещё старый секретарь масла в огонь подлил. Встретил он меня радостно, в глазах весёлые огоньки пляшут. Я понял — радуется отъезду из района. Через несколько минут он откровенно говорил мне:

— Как товарищу скажу — трудно нашему брату в таком районе. Направление сельскохозяйственное. Промышленность вся в промкомбинате сосредоточена. Дуги там делают, кирпичи и ещё что-то. Я, по правде сказать, туда и не заглядываю. Первое время была у меня надежда поднять колхозы. Ночей не спал. Здоровье подорвал. Только дело с места не сдвинулось.

Тут секретарь подошёл к карте области и горячо начал доказывать тщетность попыток заниматься здесь сельским хозяйством. Он тыкал пальцем в карту.

— Мы обижены природой. Наше стратегическое положение безнадежное. Через район проходит центральная гряда Вятских увалов. С них в разные стороны сбегают ручьи. В речки они превращаются только у соседей. Об электрификации нечего и раз-

говаривать. Локобилей пока не хватает. Вот тебе первый клин. Второй клинышек не меньше первого: треть полей — пески.

— Что ж, — спрашиваю, — ведь не пустыня?

— Хуже пустыни. Всем ясно, что там ничего не вырастет. А здесь, батенька мой, план. Больше всего в этом плане зерновых. Вот и крутись! Знаешь шутку: «Покупаем по семь-восемь, продаём по пять-шесть, и то барыш есть». Так и у нас. Сеём по полтора центнера, вырастает по три. Созревает хлеб поздно, до зимы убрать не успеваем. План хлебосдачи не выполняем. К весне семенную ссуду берём. Одно название — хлеборобы, а хлеба-то у нас и нет.

Тут и заскребло у меня на сердце. Вот, думаю, куда попал. Храбриться нечего: вот человек три года работал, здоровье потерял...

Но решаю уж узнать всё до конца.

— Ну, а скот водится?

Секретарь криво усмехнулся.

— Как не быть скоту, план каждый год доводим. Есть коровы. Литров по триста надаивают от них. Считай, в среднем на день по литру не приходится. При такой корове кошку не прокормишь. Свиньи есть. По паре поросят от каждой свиноматки имеем.

Чем больше он говорил в таком духе, тем быстрее менялось у меня настроение, постепенно начала появляться злость на этого человека и на тех, кто вместе с ним отвечал за судьбу района. В этих местах не так-то легко вести сельское хозяйство. Но здесь с давних времён живут люди и не всегда плохо шли дела. Становится ясно: передо мной — типичный нытик-белоручка. На словах он работяга, на деле — безразличный ко всему человек.

Я встал, прервал секретаря на полуслове.

— Спасибо за информацию. Только обо всём не переговоришь. На месте будет виднее.

Так мы и расстались. На пленуме сидели врозь. Его освободили, меня избрали. На другой же день попросил он лошадь. Семья у него жила в городе, так что собирать было нечего. Кинул он в передок саней чемодан. Завернулся в тулуп. Ямщик гикнул. Через минуту сани скрылись за поворотом. Всё это я наблюдал из окна кабинета. За полуоткрытой дверью переговаривались райкомовцы. Кто-то громко, вероятно подводя итог, сказал:

— Ещё один временный уехал...

Вот как о секретарях здесь говорят!

Только в этот момент я до конца понял всю тяжесть и ответственность вставшей передо мной задачи. Пошёл к председателю райисполкома. Кустов оказался человеком совершенно другого склада. Он был уверен, что многое можно сделать не только весной, но и сейчас. Уже потом понял я, почему Кустов оказался на поводу у старого секретаря. Человек он честный и работящий и первым долгом считает выполнение указаний райкома. Но подумать всерьёз, внести предложение на бюро — это не его дело. Он мне однажды так и сказал: «Думают же в области, когда нашего брата в район назначают, кому на какой должности быть. Будь у меня другие способности, назначили бы повыше. Видно, не дорос». Так вот — Кустов не из нытиков. Разговор с ним ободрил меня. Собрали мы бюро. Поговорили серьёзно о состоянии животноводства и решили ехать в колхозы. Заседаниями в такой момент не поможешь. Надё принимать меры на месте.

2

Прямо с бюро пошёл я на конюшню и выехал в колхоз «Смычка». Углов, председатель колхоза, встретил меня насторожённо, на вопросы отвечал уклончиво. Пошли на ферму. Иду по скотному двору — и жуть меня берёт. Половина коров не подымается уже несколько дней.

— В чём дело?

— Кормов маловато, — отвечает Углов.

Поехали в другую бригаду. В тепляке у скотного двора сидит женщина, чулок вяжет. Познакомились. Спрашиваю о делах.

— И не спрашивай. Сам лучше посмотри. Тут всё учесть сразу можно.

И повела нас во двор. Все коровы лежат пластом. Навоз намёрз, как торосы на море. Видит женщина, что язык у меня не поворачивается спрашивать. Сама потихоньку рассказывает:

— Корова, она уход любит. Ей пойло требуется, сenco, а в крайнем случае соломка запаренная. И сквозняк она не переносит. А ведь тут двери — одно название. Ветер, как в поле, гуляет. И кормим плохо. Сердце изныло, да ведь тут один ничего не сделаешь. А порядку у нас нет. Хоть до меня коснись. Должна я сегодня черёд отвести. Ухаживать, значит. Утром пришла — кормов нету. Побежала к бригадиру. А он с утра шары залил, языком еле ворочает. Что с ним говорить? Запрягла лошадь, съездила за соломой. По охакпе разнесла. Только видишь — многие коровы к ней и не притрунулись. Воды надо. Один раз всего и поила. Да разве я одна на тридцать голов из колодца воды патаскаю? Вот и сижу при коровах сторожем.

Вышел я со двора злой. Молча доехали до конторы. Предложил председателю собрать правление и пригласить из этой деревни пять-шесть мужчин. Через час набилась полная контора. Начал я с ними разговор о текущих делах.

— Вот, — говорю, — скот спасать надо. Дворы утеплять, корма подвезти. У кого какие предложения?..

Молчали долго. Наконец заговорил Углов.

— Скот нынче, конечно, выглядит неважно. (Боков тонко передавал все оттенки речи председателя.) Молока, скажем, нынче получили мало. А молоко давать — у наших коров способность есть. Свиноводство тоже выгодно разводить. Это нам понятно. Да не знаем, с какого козыря ходить. Дворы утеплять надо. Корм возить надо. Опять же вода требуется. Тут бабы одни не справятся. А мужиков-то нету.

— Как же нет мужиков? — спрашиваю. — А вот они.

— Эти не в счёт. Бригадиры, учётки, кладовщики, фуражиры, объездчики, сторожа...

— В том-то и дело, — выкрикнул сидевший у дверей плотный мужчина, — все на нас пальцем указывают!.. А промежду прочим, многие из нас раненые.

И ещё были разговоры в таком же духе. Некоторые, чувствовалось, не одобряли их, но мнения не высказывали. Решил я тогда поговорить начистоту.

— Кое-кто из присутствующих считает, что их надо посадить на печку и кормить с ложечки. В колхозе, мол, пусть женщины управляют. А пока мы с вами тут разговариваем, женщины на фермах мучаются да по пояс в снегу за соломой лазят. А ведь дело это — чисто мужское. Что до ранений — многие их получили, а работают. Обидно мне за вас.

Засучил я рукав кителя, рука у меня в трёх местах перебита.

— Вот эта рука действует плохо. Но левая здоровая. В эту руку возьму сейчас топор и пойду утеплять дворы. Что же поделаешь, если в целом колхозе здорового мужика нет.

Вышел из-за стола и пошёл. На полпути к скотному двору догнал меня Углов, а вскоре собралось мужиков больше, чем в конторе сидело. Я молчу, доски к дверям пригоняю. Слышу, Углов негромко отдаёт приказания. Часть мужиков вместе со мной за дверь принялась, другие бревно ташат, третьи пол ремонтируют.

Часа через два подошли несколько колхозниц.

— Давно бы так, а то всё за бабьими спинами прячется.

Мужики отмалчиваются. Вступился я за них.

— Мужики, — говорю, — вот сейчас работают, а женщины — пока не видно. А вот вам бы сейчас во дворе почистить.

Колхозницы переглянулись.

— Можно и почистить.

Взялись они за лопаты. Пошла работа. Вижу — народ работающий; действительно, порядка не хватает. Вечером собрали общее собрание. Кто в этот день работал, первые поднимались и предлагали всем колхозом выйти завтра на фермы. Пошумели, конечно, некоторые, но предложение было принято. Тут же сформировали животноводческую бригаду. Раскрепили скот за доярками, телятницами, конюхами. Сократили количество

начальства. На работу в складах и на некоторые другие участки поставили женщин. Создали небольшую строительную бригаду. Решили за три дня все корма подвезти к фермам. А затем было три дня напряжённой работы. Много неотложное успели сделать. Пришлось мобилизовать и школу на это дело, и механизаторов подключили к работе. По вечерам готовился я к лекции об организации труда в колхозе. Через три дня читал её колхозному активу. Нельзя сказать, чтобы это была в полном смысле слова лекция. Но я сравнил организацию труда в «Смычке» и в передовых хозяйствах той области, где я работал. Подвёл итоги напряжённой работы за эти дни. Лекция была короткая, а разговор после неё затянулся часа на два.

За эти дни я познакомился со многими колхозниками. Уезжать из колхоза не хотелось. Но в районе ждали дела. Колхозов было больше шестидесяти. Надо подумать о каждом из них.

3

Одни члены бюро такую задачу решить не могли. Надо было включить в эту работу весь партийный актив. На первый случай решили собрать руководителей районных организаций. К назначенному часу пришла половина приглашённых. Кустов пояснил: всегда так. Опоздать, а то и совсем не явиться для некоторых ничего не значит. Окажется, сперва в райцентре порядок наводить надо. Предложил совещание перенести. Членам бюро пойти в организации, выяснить, чем люди заняты, на что время тратят. Об этом и поговорить в начале заседания. Беседовали с каждым работником. И пришли к выводу, что большая часть времени тратится на писанину, а некоторые организации фактически прекратили свою деятельность. В конторе Заготживсырья состоялся у меня памятный разговор с заместителем начальника.

Пришёл я в контору часов в восемь, хотел проследить весь рабочий день. Но в одной из комнат уже сидел заместитель начальника с книжкой в руках. Поговорили о районе, о сотрудниках конторы. Смотрю — времени уже десятый час, а никто не идёт.

— В командировках, наверно, люди?

Харитонов смутился, покраснел, а потом говорит:

— Откровенно скажу — дома сидят. Не удивляйтесь. Мне тоже делать нечего. Я на этой работе случайно. После войны окончил юридическую школу и работал следователем в прокуратуре. Открылись на ногах раны. Врачи запретили с год ездить в командировки и назначили ежедневные процедуры. Значит, следователем работать пока нельзя. Пошёл в райком. Предложили мне пойти в эту контору, на укрепление, заместителя решили снять за пьянку. Пришёл. Несколько дней ушло на ознакомление с аппаратом и хозяйством. Но в один из дней вдруг обнаружил, что делать мне нечего. На складах — кладовщики. В конторе людей много, а заготавливаем мы мало. Все эти дни народ сидел в конторе и что-то делал. Так по крайней мере мне казалось. Сажу за столон и думаю. Слышу, начальник говорит машинистке: «Пойду на склад». И ушёл. Вслед за ним под предлогом срочной работы на складах один работник вышел, затем другой. Я к машинистке — что же они там делают? Она смеётся. Да они, говорит, домой пошли. Вас стесняются, вот и причины придумывают, а раньше так уходили. Ушёл и я. На другой день явился утром — пусто. Так и пошло. Иногда соберутся, покурят да все вместе и уходят. Несколько дней и я сидел дома. Надоело, и совесть мучает. Вот и сажу с утра до вечера.

Этот и многие другие откровенные разговоры в организациях помогли нам многое выяснить. Тяжело было у меня на душе, когда шёл на бюро. Но теперь была надежда заставить руководящих работников признать свои ошибки и исправить их. Первым отчитывался на бюро прокурор. Спросили его, в каких колхозах он был и что там делал. Вначале он мялся, глаз не поднимал. А потом вскинул голову.

— Что рассказывать?.. Стыдно мне, но таится нечего. Выезжал из райцентра в этом году всего два раза. В «Смычке» сено закупал для нашей лошади. В «Двигателе» следствие вёл. А что в колхозах делается — не знаю. Не спрашивали нас за это последнее время. Заданий не давали. Так вот и случилось...

Поговорили мы со всеми. Никого не наказали, но предупредили, что так работать нельзя, каждый из них обязан активно бороться за подъём района. Тут же договори-

лись: каждая организация берёт под свой контроль один-два колхоза и помогает им в течение зимы налаживать дела в животноводстве и хорошо подготовиться к севу. Не только советом, но и трудом, личным участием в работах. Наутро все выехали в колхозы. Туда же направили свободных от ремонта машин трактористов и комбайнеров. Начался штурм трудностей.

4

Теперь, когда всё внимание было сосредоточено на колхозах, дела в них стали быстро поправляться. Постепенно начали мы объединять их. Естественно, что теперь со всей остротой встал вопрос о председателях колхозов. Из всего актива я был единственным приезжим человеком. В силу необходимости приходилось или соглашаться с мнением товарищей или хоть накоротке знакомиться с председателем. Больше всего разговоров было о Сушкове, председателе райсемхоза имени Кирова. Редко кто добрым словом его помянет, а то обычно машут рукой: «Неисправимый председатель».

Так случилось, что в этот колхоз я месяца два не заглядывал. Расположен он в райцентре, у всех на виду. Там постоянно находился председатель сельсовета. Как только положение с зимовкой скота немного улучшилось, решил я поговорить в райком с каждым председателем. Первым пригласил Сушкова. Явился он точно в назначенное время. Взгляд у него злой, лицо серое. Подтянутый, в полувоенном костюме. Чуть поскрипывает протез на ноге.

Сушков боком присел на стул у двери. Я попросил его сесть поближе. Он даже голову не повернул. Глухо спросил:

— Зачем звали?

— Вот хочу познакомиться с вами, о делах поговорить. Да не кричать же через весь кабинет.

Сушков буркнул:

— Я слышу хорошо.

Вижу, разговор может и не состояться. Взял стул. Сел напротив.

— Что ж, можно поговорить у дверей. Расскажите коротко о себе и о делах в колхозе.

— Биография в личном деле есть. Хвалиться нечем.

Тут уж я не выдержал.

— Вы, товарищ Сушков, пришли в райком партии и ведите себя, как положено коммунисту. Куражиться здесь нечего.

Встал он и как-то даже вытянулся весь.

— Я в этом кабинете много раз говорил, когда дело требовало. А меня каждый раз обрывали и кричали: «Слушай, когда тебе говорят, а твои объяснения нас не интересуют!» Выговорами приучали молчать. У меня их теперь и не сочтёшь...

— Подожди, — говорю, — кипятиться. Это тебе раньше так говорили. А мы с тобой первый раз встретились. Ты со мной будешь говорить?

Сушков сверкнул глазами.

— Буду говорить. Да только по шёрстке не поглажу. Кое-кто говорит: «Новый секретарь правильно за дело берётся». А я этого никак не ощущаю. Что при старом секретаре сидел у меня уполномоченным бестолковый Булкин, так он и сейчас сидит. Раньше в колхоз никто не приходил — и сейчас не идут. Год назад был я неисправимым председателем — до сих пор таким числюсь. А всё потому, что начальству не угождаю. Меня за это не только выговорами, но и судом воспитывают. В этом году восьмой раз уже судили. А за что? Говорят, не соблюдаю финансовую дисциплину, платежи задерживаю. Формально правильно, а по существу — нет! Кому не ясно: если я на месяц задержу при таком положении взнос подоходного налога, а потом увеличу доход и внесу больше, разве государству от этого убыток? Государству и колхозу прибыль. А меня в суд тащат. И всё мимо вас идёт. Для вас председатель колхоза — пешка, с которой считаться не стоит.

И сел.

Мы оба задумались. С одной стороны, обидно мне за такую характеристику. Но ведь факт, от него не уйдёшь. Попросил я его подробнее рассказать о взаимоотношениях с районными организациями.

Постепенно мы разговорились. Сушков окончил сельскохозяйственный институт. Несколько лет работал в райсельхозотделе. Ушёл с канцелярской работы и был избран председателем колхоза. Дела у него, видимо, шли неплохо. В этом я убедился, когда пошли осматривать хозяйство.

Расстались мы с Сушковым в полночь. Много было сказано в этот день. Понял я, что председателя, особенно хорошего, надо беречь, поднимать его авторитет, не позволять дёргать по пустякам. С тех пор работа с кадрами всегда у райкома на первом плане.

5

Но сделано было очень мало. Каждому стало это ясно, когда обсуждали решения сентябрьского Пленума ЦК партии. На собрании актива сразу было внесено предложение о посылке группы руководящих работников председателями колхозов. Наметили кандидатуры и поручили бюро в недельный срок решить этот вопрос. А затянулось дело на месяц. Можно было, конечно, и побыстрее, но очень нам хотелось убедить людей, чтобы они пошли с твёрдой верой в свои силы и добивались успехов. Забегая вперёд, скажу: все рекомендованные активом товарищи пошли на работу в колхозы. Хотя беседы с некоторыми были очень долгими.

Больше всего пришлось повозиться с заведующим торговым отделом Ильёй Степановичем Смирновым. Беседовать с ним было поручено Кустову. Возражений не предвиделось. Всю жизнь прожил он в этом районе. Лет шесть работал председателем колхоза. Хозяйство в районе славилось. Как хорошего работника, его и выдвинули в заведующие отделом. В своё время было сделано правильно. И здесь он вёл дело похозяйски. Откровенно говоря, не хотелось мне его отпускать. Но надо было решать главную задачу. И вдруг Кустов звонит: Смирнов не согласен. Попросил я его зайти ко мне. Приходит, и сразу начал с возражений. Говорил долго. Мотивы не пустяковые: возраст не тот — шестьдесят четвёртый пошёл, здоровье не прежнее. Колхоз, куда его направляли, — отстающий. Парторганизации нет. Взял я лист бумаги, давай записывать. Все причины записал. Сразу обо всём толком и не скажешь, подумать надо.

— Что ж, Илья Степанович, оба подумаем, а завтра встретимся.

На другой день пришли к единодушному мнению, что возраст — не помеха. Для здоровья в колхозе полезнее, чем в конторе. Как только он с этим согласился, понял я, что старик просто не хочет в этот колхоз идти. Но только с его опытом эту артель и подымать. Вот я и разьясняю: запущен, слов нет. Но поднять можно быстро. Народ там неизбалованный, работающий. Направим из МТС лучшую бригаду, поможем в строительстве.

— Оно так, — говорит Смирнов, — а обмозговать надо.

Я возражать не стал. Разошлись до утра. Да так восемнадцать раз! Иногда поговарю с ним, на машину — и в этот колхоз. Всё хожу и прикидываю. В девятнадцатый раз разговор шёл о деталях. Было больше похоже на подготовку вопроса на бюро, чем на беседу с кандидатом в председатели.

— А как с партийной организацией? — спрашивает он меня.

— Четырёх коммунистов направим из райцентра. Вот и ядро. Пополнять ряды будете на месте.

— Значит, решил всё-таки послать меня председателем?

— Да ведь и ты не возражаешь.

— Что возражать! Я человек дисциплинированный.

— Ничего себе, дисциплинированный. Девятнадцать раз пришлось уговаривать!

— О колхозе, Пётр Фёдорович, можно и подольше поговорить. Со всех сторон к делу подойти надо. Райкомовцы обычно обещают помогать, когда посылают на работу, а потом в текучке и забывают обещания. Если и приедут, то на день-другой. А мы вот всё обмозговали здесь. На это вон сколько времени потребовалось. Зато всё ясно.

Через два дня избрали его председателем в «Ленинском пути». Направили мы туда четырёх коммунистов. Создали партийную организацию. И дела как будто пошли неплохо.

6

Встречается ещё у нас потребительское отношение к кадрам. Посылаем человека работать, требуем с него, а подумать о нём забываем. И совершенно неожиданно сталкиваемся с результатом своей чёрствости.

По решению сентябрьского Пленума направили к нам группу инженеров в машинно-тракторные станции. Мы, конечно, обрадовались. Пригласили их сразу всех в райком и, как водится, поставили перед ними задачи. Среди прибывших был Тиунов — главный инженер одного из уральских заводов. Его пригласили на должность главного инженера нашей ведущей МТС. С ним говорили отдельно, старались заинтересовать богатой перспективой полной механизации полевых работ. Бюро потребовало от него немедленно перестроить систему ремонта машин и принять меры к повышению качества ремонта.

Тиунов не возражал, но просил учесть, что он с сельскохозяйственной техникой незнаком и ему потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дел. На том и порешили.

Прошёл месяц. Директор МТС за это время несколько раз говорил мне, что новый инженер горячо берётся за работу. День проводит в мастерской, а по ночам изучает литературу о тракторах. Ремонт машин пошёл значительно быстрее. Казалось, всё идёт хорошо. И вдруг однажды заходит ко мне Тиунов.

— Пришёл, товарищ секретарь, с вами ругаться.

— Если есть причина, так можно и поругаться.

— Причина есть, а ругаться — это я шутя сказал. Трудное у меня положение. Жене здесь не нравится, решила уехать. Разводиться я не думаю. Выходит, и мне надо уезжать.

— А в чём дело?

— Квартира ей не нравится. Говорит: за какие провинности нас в эту конуру посадили?

— Попробуем уговорить.

— Пробовал. Не помогает. Согласна остаться, если особняк дадут. А где особняк взять?

Надо было поговорить с его женой. Пошли к Тиуновым на квартиру. Вошёл я — и ахнул. Печь наполовину развалилась. Дым, как в курной избе, под потолком висит. Вместо стульев скамейка неструганная. На полу, спасаясь от дыма, сидит Маргарита Ивановна, жена Тиунова, и плачет. Вижу — разговаривать не о чем. А она мужу твердит:

— Завтра же из этого ада уеду.

Я молча повернулся и пошёл в контору МТС. Я был зол на себя, на директора, на секретаря парторганизации МТС. Директор пытался оправдываться. Я повёл его к Тиуновым. Сказал, что квартиру найду, а эта комната должна быть немедленно приведена в порядок. Пошли мы с Тиуновым по селу. Решил пойти на крайнюю меру. Подвёл к зданию сельсовета. Дом новый, тёплый, в центре села.

— Понравится, можешь занимать. С райисполкомом договорюсь.

— А сельсовет куда?

— Найдём место.

Осмотрел он дом.

— Неудобно как-то. Если бы не сельсовет.

— Найдём и другой дом.

Подвёл к конторе Заготльна. Дом ещё лучше. А для всей конторы — в Доме Советов двух комнат больше чем достаточно.

— А этот?

— С женой надо посоветоваться.

— Посоветуйтесь, а мне завтра скажите.

И разошлись. На другой день Тиунов не позвонил. Прошло ещё несколько дней. Однажды зашёл я к нему на квартиру. Комнату не узнать. Новая печь, покрашенная белилами, сверкала. На чистой, свежей стене висели фотографии и карта Советского Союза. На полу — ковровая дорожка, у окна — новый стол, стулья. Маргарита Ивановна встретила меня приветливо.

— Вот, Пётр Фёдорович, мы и устроились. МТС комнату отремонтировала, потребсоюз помог мебель достать.

— А как же с особняком?

Маргарита Ивановна покраснела.

— Сгоряча сказала, уж очень мне тяжело было. Зачем нам особняк? Для двоих такой комнаты вполне достаточно.

Боков закончил рассказ и задумался. А я загляделся на видневшийся в сумерках районный центр. Село, как крылья большой птицы, раскинулось на возвышенности. Хвойный лес с трёх сторон подступал к домам. И они, особенно вновь выстроенные, ярко выделялись на тёмном фоне. Зажигались огни. На улицах было оживлённо. Трактор тянул прицеп с лесом. На лёгкой рыси прошёл обоз с зерном. Возле Дома культуры собиралась молодёжь. Боков внимательно приглядывался к селу. Чувствовалось, он был рад возвращению домой. Мы разошлись до утра.

7

Через день в колхозе имени Кирова должно было состояться отчётное собрание. Подготовка к собранию велась тщательно. Инструктор райкома Токмаков уже три дня находился там. Обычно на собрании присутствует кто-нибудь из членов бюро райкома. В колхозе имени Кирова должен быть Боков. Выехали мы спозаранку и через полчаса были в первой бригаде. Здесь уже были председатель, бригадир и заведующий животноводством дед Кондрат. Одетый в чёрный полушубок, дед выделялся среди всех. В его высокой фигуре, несмотря на шестьдесят с лишним лет, чувствовалась большая сила. Он первый подошёл к нам и сразу же повёл нас к складам.

Боков осматривал зерно придирчиво: мял в руках, пробовал на зуб, запускал руку в закром — не греется ли. Семена были подготовлены к севу. Председатель колхоза Качин стоял спокойно в сторонке и ждал когда закончится осмотр складов. Боков вышел из склада, вскинул голову к ярко сверкавшему солнцу.

— Хороша погодка!

— Погодка что надо, — поддержал Качин.

— Вот я и говорю — погода хорошая, а семена не сортируют.

— Всё зерно через ВИМ пропустили.

— А если дважды пропустить, вредно?

— Нет, конечно...

— В том-то и дело, чем чище зерно, тем лучше.

Качин нахмурился.

— Можно и без этого обойтись.

— Вот завтра скажи об этом на собрании.

Дед Кондрат усмехнулся.

— На собрании за такие слова не поглядят. Агроном ему уже неделю о том же толкует.

Пошли на ферму. Дед Кондрат сам вызвался показать конный двор.

За крепкими деревянными решётками стояли сытые кони. Дед сделался словоохотливым.

— Коней мы любим. В сутки даём по пуду сена, четыре килограмма овса, вдвоём яровой соломы.

Возле каждой лошади дед останавливался, стремился обратить на неё внимание.

— Это «Самолёт», полукровка. Двенадцать тысяч платили.

Дед расписывал качества полукровки, а Боков внимательно рассматривал лошадь.

— Хорошо бегает?

- Иноходец!
- А нашего Рыжка не обгонит.
- Обгонит. Голову даю на отсечение.
- Запрягай.

Дед крикнул конюха, и они вдвоём быстро запрягли коня. Боков прыгнул в кошёвку. Рыжко перебрал ногами и сразу пошёл крупной рысью. «Самолёт» кинулся следом. Дорога шла вдоль опушки леса, и видно было за километр. «Самолёт» несколько раз пытался вырваться вперёд. Но едва он ступал в сторону от дороги, Рыжко прибавлял ходу. У самого въезда в лес Боков повернул коня обратно. «Самолёт» начал отставать. Рыжко пришёл к конюшне на добрую сотню метров впереди. «Самолёт» тяжело поводит боками, на груди клубилась пена.

Боков смеялся:

- Клади голову на порог. — И сразу нахмурился. — Сколько месяцев не запрягал?
- С Октябрьских праздников.
- Калечишь лошады! Лошадь должна бегать или груз возить, а вы из неё сделали священное животное — только любуетесь.

Дед Кондрат хмуро сказал:

— Промашку дал.

На скотном дворе он держался уже позади. Но и здесь ему не повезло. Коровы выглядели неважно. Шерсть на них щетинилась. Токмаков жаловался Бокову:

— Коров кормят одной соломой. Мука только на притруску. Когда говоришь об этом, обещают исправить. Уедешь — всё по-старому.

Боков подозвал деда Кондрата.

- Чем свою корову кормишь?
- Когда как.
- А всё-таки?
- Сенца охапку, болтушку, ржаной соломки.
- И молочко есть?
- А как же. У меня корова и зимой почти ведёрко даёт.
- Сколько же это в литрах?
- Да не менее двух-то тыш.
- А сколько в колхозе от коровы надоили?
- Литров, кажись, семьсот.

Боков повернулся к Качину.

— Ясно, в чём дело?

— Ясно. Рацион пересмотрим. Придётся коровам добавить за счёт лошадок. Всё равно половину их зимой не запрягаем.

Так и шли от фермы к ферме, от бригады к бригаде. Вечером члены правления собрались в конторе. Слушали доклад председателя, делали замечания. Качин постоянно спрашивал:

— Правильно, Пётр Фёдорович?

Боков отмалчивался, только изредка кивал головой. А когда члены правления разошлись, сказал:

— Пора, председатель, всерьёз хозяйством заниматься. Ты пока у Кондрата в пристяжных ходишь, а надо в корень впрягаться. Понял?

— Как не понять.

— Вот поэтому завтра и говори меньше о достижениях, а больше о недостатках. Скажи, как устранить. Какая перспектива в этом году. Чтобы задор был.

Просторный зал клуба был полон. Дед Кондрат утверждал, что такого количества людей на собраниях давно не было. Председателем собрания единогласно избрали деда Кондрата. В президиуме заняли места Боков, Качин и несколько колхозников.

Качин доложил о результатах прошлого года и перешёл к плану на текущий год. Перспектива получалась неплохая. Колхоз полностью переходил на сортовые посевы. Урожайность должна значительно возрасти. Минеральных удобрений завезено в восемь раз больше прошлогоднего. поголовье скота увеличится. Но, уже рассказав обо всём,

Качин опять начал говорить об успехах колхоза. Затем принялся отчитывать нерадивых колхозников. Боков послал ему записку: «Говоришь долго. Пора закругляться». Качин прочитал записку, оглянулся на Бокова и заявил:

— В виду ограниченности времени кончаю... Призываю колхозников высказаться по отчёту правления.

После перерыва долго не было желающих выступить. Наконец поднялся электромеханик Двоглазов. Маленькая, сплюснутая сверху голова его быстро вертелась на тонкой шее.

— Нам, товарищи колхозники, много говорить не приходится. Потому вопрос совершенно прояснился. Наш новый председатель, Иван Поликарпович, знает, куда вести дело, чего я не могу сказать о бывшем председателе. Иван Поликарпович видит человека наскрозь и убагловывает его по заслугам. Могу сказать о себе. Мне он помогает, даёт советы. Так что отчёт надо утвердить и в дальнейшем работать лучше.

Он ещё не закончил речь, когда в середине зала поднялся пожилой колхозник.

— Я с места скажу. Есть у нас такие ораторы, которые на словах за колхоз, а как работать — в кусты. Все помнят Петьку-балаболку. Сбежал, подлец, семью бросил. Жене письмо прислал, дескать, трудись, жёнушка, не ленись; я хоть и не с тобой, но душа моя — в колхозе. — Взрыв смеха потряс клуб. — А у Двоглазова и души в колхозе нет. Здесь у него один язык. Пока старый председатель был, он тише воды ходил. А теперь грудь колесом и нос крючком. А почему, я спрашиваю? А потому, граждане, что поручили ему деньги за освещение собирать, а он и половину собранного в колхозную кассу не приносит. А председатель этого не замечает. Вот он почему Качина хвалит. А я предлагаю всем миром купить председателю очки, чтобы он рвача от честного человека отличал.

Зал снова ответил смехом и дружными аплодисментами. Слово попросил Боков.

— Мне, товарищи, кажется правильным это выступление. Критика без скидки на чины. Такой она и должна быть. Это нам поможет быстрее устранить недостатки. Но это одна сторона дела. Надо также вносить конкретные предложения по улучшению работы колхоза. Общими усилиями мы сможем наметить пути решения задачи, поставленной перед нами решением сентябрьского Пленума ЦК партии.

Поддержка секретарём критического выступления понравилась колхозникам. Они стали говорить не только о недостатках, но и предложили провести ряд дополнительных мероприятий. Доярки требовали провести водопровод к лугам, чтобы обеспечить скот водой на пастбищах. Было предложено вывезти на поля навоз не только с колхозных ферм, но и из дворов колхозников. Зоотехник предложила пересмотреть распорядок дня на фермах и рационы. Всё, казалось, шло хорошо. В президиуме уже подумывали о прекращении прений. Неожиданно поднялся председатель ревизионной комиссии Дудоров.

— Много сказали, да в корень не глянули. Молоко или мясо получить не тяжело. Был бы корм и уход. Корма найдём. Ухода хорошего пока нет. Три недели в первой бригаде доярку подобрать не могут. Наталья Стулова с двумя десятками коров мается. И никто не идёт. Почему? Начальство ума не приложит. А вот соседей наших, калининцев, возьмём. Ездил я к ним вчера и диву дался. Конюха перевели в строители. Так на его место четыре заявления подано. Конкурс получился. Из-за чего? У них каждый месяц деньги на трудодни давать стали. На общий трудодень, скажем, рубль; на животноводческий — полтора. Вот и пошёл народ. А у нас как? Говорить стыдно. Ещё за прошлый год несколько тысяч колхозникам должны. Вот о чём ещё думать надо.

В зале оживление. Колхозники переговаривались. Качин в заключение заявил, что все замечания и предложения будут учтены. Но конкретно ни об одном из них мнения не высказал. Когда колхозники разошлись, Боков спросил Качина:

— Как же с выдачей денег колхозникам?

— Где их взять? Всего две тысячи на счету.

— Думай. На то ты и председатель. Вон кони с жиру бесятся. Пустил бы в извоз. А пару лошадок и продать можно. — И повернулся к инструктору. — Подумайте вместе. Пусть обсудят на правлении, и доложите.

Через несколько дней Токмаков рассказывал на бюро:

— Качин удивил правление. О десятках тысяч разговор пошёл. Трёх лошадей предложил продать. На подвоз товаров в райпотребсоюзе договор заключил. Тёс на продажу пилить предложил. Так и решили. До мая выдадут колхозникам и за прошлый год и за первый квартал этого.

8

Мы ехали с Боковым из дальней МТС. Снег, чуть порошивший вначале, повалил вокруг крупными хлопьями. Лошадь лениво трусила по лесной дороге. Мы подняли воротники тулупов и поудобнее улеглись в санях. Неожиданно конь рванулся в сторону. И сразу же раздались громкие выкрики: «Стой! Тпру!» Мы выскочили из саней: встречная лошадь столкнулась с нашей. Лошадей развели. Небольшого роста старичок подошёл к нам. Боков, улыбаясь, пояснил мне:

— Председатель колхоза «Ленинский путь» Смирнов. Тот самый, которого я девятнадцать раз уговаривал... Сердит на меня уже несколько месяцев. И вот решил отомстить на глухой дороге.

Смирнов махнул рукой.

— К чему такой разговор... Оба виноваты.

— Я шучу. Куда спешишь?

— К соседям, договор проверять. — И тут же стал рассказывать: — всю жизнь в этом районе прожил, а многого не знаю. Помните, были мы ещё на предпоследнем семинаре, как Скоков из «Двигателя» на меня нападал? На занятиях старался мне шпильку подпустить. А в столовой прямо изводить начал. «Не можешь, говорит, культурно хозяйство вести. Лошади не чищены, навоз чуть не до потолка». Я сперва отшучивался. Потом рассердился. «Пошёл бы ты в этот колхоз да и попытался сразу навести культуру». Скоков зубы скалит: «Я в своём колхозе порядок наведу и в твоём кое-что сделаю. Давай соревноваться!» Ударили по рукам. Через неделю — общее собрание. Наша делегация к ним, ихняя — к нам. Заключили договор. Попросил я инструктора райкома пока вам об этом не говорить — посмотрим, что получится. Не первый раз соревнуемся, только раньше больших результатов не было. Через месяц является от них нарочный: через три дня придут проверять.

Позвонил я Скокову. «С ума ты сошёл — через месяц уже проверять?» А он упёрся: «Жди делегацию». Собрал я бригадиров, сообщил им. Они с вопросами к посыльному: кто придет, чем интересоваться будут? Посыльный сидит, как дипломат, лишнего слова не скажет. Но дал понять — народу придет много. Смотрю, бригадиры за шапки — и ходу. Поехал я утром в первую бригаду. Глазам не верю: стар и мал на скотных дворах навоз вывозят, скот чистят. Ничего понять не могу. Бригадир разъяснил.

Дело, оказывается, простое. Раньше левобережные соперничали с правобережными. Часто спор кулаками решали. На скачках лошадей загоняли, лишь бы не отстать. Так шло долго. За это же время многие семьи породнились. Тогда соперничество уступило другой заботе — не ударить в грязь лицом перед родственниками. И теперь, когда услышали, что много людей придет, все забеспокоились. Вдруг кто из родни придет, а у меня тут грязи неупорот. Вот и поднялись семьями. Раньше ведь приезжал председатель, ну ещё один-два человека. На один двор заглянут и скорей обратно. Тут предполагалось всё иначе. Ходил я из бригады в бригаду — всюду кипела работа.

Жаль, не видели вы встречу соседей. Встретили хлебом-солью. Коней сами отпрягали. Сразу повели по хозяйству. И что тут было! Соседи придирались ко всему. У одной лошади копыта не обрезаны. Вывели её на двор и всем показывали: вот как к рабочему коню относятся. Задело наших. И решили мы немедленно поехать с проверкой, тридцать человек едет.

Только теперь в густой пелене снега рассмотрели мы расписные дуги, добрую сбрую. Боков пожалел, что не может поехать с ними. Смирнов прыгнул в сани. Лошадь понесли. И уже издали Смирнов крикнул:

— Пошло дело, Пётр Фёдорович, успевай поворачиваться!

Боков долго смотрел им вслед.

— Да, пошло дело. Хорошо пошло!

Летом мне так и не довелось побывать в этом районе. С Боковым мы несколько раз встречались в городе, но беседы были короткие, в перерывах между совещаниями. Из газет и этих коротких разговоров с Боковым я знал, что дела в его районе идут неплохо. Но однажды, проезжая по самой границе района, я решил свернуть туда. Сентябрь был сухой, дорога держалась хорошо. До районного центра — далековато, но в «Ленинский путь» я мог успеть заглянуть.

Боков ещё зимой рассказывал мне о красоте здешних мест. Но то, что открылось передо мной, превзошло все ожидания. Прямо за деревней полыхала под солнцем пламенеющая желтизна берёз. В низине затейливо извивалась река. За ней чернели свежеспаханые поля, высились скирды соломы.

Когда я вошёл в контору колхоза, Смирнов разговаривал по телефону.

— Твой зоотехник — бестолочь, — говорил он, — приезжай-ка сам, а то я тебя к Бокову вытащу.

Он рывком повесил трубку на рычаг и поднялся. Поздоровавшись, Смирнов ткнул пальцем в телефон.

— Ведь что, черти, делают. Вы только вникните. Решили мы племенных коров разводить. В Кострому ездили. Купили двадцать тёлочек и быка. Обрадовались, будут у нас хорошие коровы. А выходит — рано радоваться.

Илья Степанович прошёлся по кабинету и не сел, а упал на стул.

— Подсчитали мы корма. С сочными туговато. Плохо тёлочек кормить нельзя — приплод будет неважный и молока много не жди. Выход один: убрать часть плохих коров. Набралось их как раз двадцать штук. Они нам и по пол-литра в день редко дают. Эмтээсовский зоотехник и заартачился. У вас, говорит, коров тютелька в тютельку по плану. Есть указание — маточное поголовье не сокращать. Выбравовывать не разрешу. Я с ним и так и этак говорил: пойми, мил человек, эти пенсионерки у нас весь лучший корм поедят, а он нам для племенного скота нужен. Мы же на их место столько же вон каких тёлочек ставим. В мае они отелятся, к октябрю почти по тыще литров молока дадут. А он упёрся. Ну, я теперь директора МТС за бока взял. Пусть сам приезжает. Уж тут мы ему мозги вправим.

В кабинет вошёл старик. Маленькая фуражка была сдвинута на затылок. Серый костюм, отутюженный и вычищенный, имел щегольской вид. Смирнов познакомил нас.

— Наш агроном Семён Иванович Шуклин. Главный критик моих недостатков.

— Тебя не критиковать, а бить надо, — добродушно сказал Шуклин.

— Ну, пошла писать губерния, — засмеялся председатель. — На правлении говори сколько хочешь, а сегодня от критики освободи, выходной сделай.

Мы пошли осматривать хозяйство. Смирнов шёл впереди. Шуклин, ни к кому не обращаясь, бурчал:

— На своё хозяйство ведёт... Ишь ты, всё на строительство его тянет...

Сразу за деревней начинались животноводческие постройки. Смирнов остановился.

— Вот наш новый скотный двор.

От двора, в который ещё не загоняли скот, пахло смолой, краской и ещё чем-то приятным, но трудноуловимым. Мы прошли в кормокухню. В ней всё было готово: установлен бак для воды, кормозанарник, бункеры для кормов. Из кухни ко двору шла подвесная железная дорога. Мы шли по двору. Смирнов хозяйским взглядом осматривал и цементный пол и автопсилки. Осмотром он остался доволен и направился к следующему строению.

— А это склад, построенный по моей инициативе и при категорическом возражении Шуклина.

Сооружение было добротное. Стены из толстых, в обхват, брёвен. Крыша железная. Внутри заканчивался монтаж оборудования. Монтировалась подвесная дорога, транспортёры. Многие отсеки уже были заполнены зерном. Шуклин то и дело восклицал: «Хороши семена!», Смирнов улыбался.

— А говорил, склад не надо строить.

— Сегодня критике выходной.

— Молчу, молчу.

Затем мы побывали на строительстве овощехранилища, электростанции, свинарника и часа через два направились на противоположную окраину деревни. Шуклин вышел вперёд.

— Вот и моё хозяйство. Да, Илья Степанович, моё, ты к нему рук почти не прикладывал. Ведь как было дело. Вышел я прошлым летом на пенсию. В Кирове у меня дом, семья. Копался в огороде. А когда прочитал решения сентябрьского Пленума, пошёл в облсельхозуправление проситься на работу. Там от меня отмахнулись — не до тебя. Случайно встретился я там с Боковым, секретарём нашим. Он мне один вопрос задаёт, второй, третий. Я отвечаю. Он и говорит: «Поедем к нам работать. Агрономы у нас молодые, поучишь их». А что, думаю, не пойти. Пойду. Прислал он за мной машину. Поездил я по району, посмотрел. Место мне здесь очень приглянулось. Да и этот старик, — он указал на Смирнова, — тоже вроде понравился. Так я здесь и остался. А Смирнов, он человек немного тяжеловатый на подъём. Хлеб, скот признаёт, а об остальном с ним толковать трудно. Прикинул я — прекрасное здесь место для овощей. Пошёл к нему советоваться. Он и слушать не стал. Кое-как выпросил у него денег на семена. И стал понемножку эту целину осваивать. Заложил парник. По всем приметам вода должна быть недалеко. Вырыл ямку — вода. Экая благодать! Я с предложениями на правление пришёл. Поддержали меня. Организовали овощеводческую бригаду. Народ прямо золотой. Сами колодцы вырыли, вот эти желоба проложили, парники сделали. Ухаживали по всем правилам. Зато и овощи!

Шуклин повёл нас на склад. На полу и на стеллажах лежали красные помидоры, жёлтые огурцы, полосатые арбузы. В углу горкой навалены дыни и тыквы.

— Здесь только семенники, — пояснил Шуклин. — Урожай нынче даже для меня удивительный. А я как-никак сорок лет агрономом. На семена много оставили, по трудодням несколько тонн роздали. Да денег около трёхсот тысяч получили. На стройку и половину выделенных ссуд не пришлось взять: отсюда денежки всё лето текут. Да и остальные культуры не забывали. Зерновые только немного похуже. А лён у нас прекрасный...

В этот момент Шуклина позвали в бригаду. Он извинился и ушёл. Смирнов присел на брёвна.

— Как, говорите, дела идут? А неплохо. Как известно, наш колхоз с «Двигателем» соревнуется. Ещё в прошлом году были мы против них слабенькими, теперь на пятки наступили. И обогнать недолго. Это как в бою: трудно в атаку с земли подыматься, а потом не остановишь. Зимой мы подымали народ, к весне пошли в наступление. Шутка сказать, к апрелю колхоз вывез в три раза больше, чем за весь прошлый год. Лесу нарубили в десять раз больше. Ох, и было мороки с этим лесом! Собрались мы на открытое партийное собрание. Решаем вопрос: что строить, сколько лесу заготавливать. Секретарь наш, Кузьма Степанович, доклада не делал. Говорил так: «Лес у нас есть? Есть. Желание строить есть? Есть. Надо построить плотину для электростанции, свинарник, скотный двор, контору, склад. Помочь нам механизаторы обещаются и райпотребсоюз. Пороху должно хватить». Народ поддержал. Один дед даже шапку бросил на пол и заявил: «Строить так строить, все в лес пойдём!»

Было это в конце февраля. На другой день всем колхозом и двинулись. Впереди комсомольцы по снегу идут, за ними — старшее поколение. Начали пилить — только шум идёт. Но через два дня стали старички роптать. Что делать? Собрал людей, взобрался на пень и держу речь.

— Тяжело, мужики?

— Тяжело.

— Что ж, давайте прекратим заготовки. В прошлом году построили всего полцыплатника и нынче так можем.

Макар — есть у нас такой беспокойный мужичок — на меня чуть не с кулаками.

— Мы, — кричит, — совесть не потеряли! Государство к нам с заботой, а мы к нему спиной повернёмся? Нам на всю стройку ссуду дали. Теперь самим разворачиваться надо. Лес рубить будем и строить будем. Да ведь норма нам неподсильная.

Я им объясняю, что норму устанавливали сами, да иначе к сроку и не управимся. Старики зашумели. Тогда комсомольцы и предлагают — уменьшить старикам норму на куб, а молодым по кубу добавить. На том и порешили. Снова пошла работа. Больше тысячи кубов заготовили. Все объекты достраиваем. И МТС и район помогли нам здорово: люди работали, машины давали. И не только со строительством, с другими работами тоже круто приходилось. Собрались сеять, а тут, чёрт бы её побрал, пасха. Празднички старинные у нас многие отмечают. Кто верует, кто по привычке, а большей частью — причина для выпивки. Так вот сошлись мы, пять коммунистов, думаем, как сев вести будем. Кузьма Степанович опять нашёлся. «Был я,— говорит,— у главного инженера МТС товарища Тиунова. Предлагает он старый порядок в тракторной бригаде поломать. Тракторы по всем полеводческим бригадам не разбрасывать. Есть у нас пять тракторов — давай их в одну полеводческую бригаду. Бригадир трактористов за машинами следи. Полевод тебе зерно, воду и горючее обеспечит. Председатель — на этот главный участок. Тут и темпы, тут и качество». Кто-то забеспокоился: вдруг сеяльщики не придут. Кузьма Степанович даже кулаком по столу пристукнул.

— А мы зачем? Нам здесь поручено проводить в жизнь линию партии. И будем проводить. Сеяльщики не придут, сами за сеялки встанем.

Никто не возражал. Наутро трактористы собрались дружно. Не пришла только одна сеяльщица. Кузьма Степанович встал на её место. Я взялся обеспечивать работу агрегатов. И пошло дело. За четыре дня сев свернули. А в прошлом году месяц сеяли! Итоги сева подвели на партийном собрании и решили никаких отступлений не делать. Надо быстро сеять, коммунисты вперёд — и сей! Народ за собой веди! Требуется, к примеру, картошку садить квадратно-гнездовым способом. Сади этим способом все до последней сотки. И не отступали. Правда, погода нынче летом была неважная: с мая до половины июля дождя не видали. Хлеб сильно поджарило. Но и зерна не меньше прошлогоднего собрали. Зато картошка — загляденье, почти двести пятьдесят центнеров вкруговую с гектара. Об овощах агроном рассказывал. Лён даст дохода с гектара больше десяти тысяч. Льна на будущий год уже не двадцать, а гектаров сотню посеём.

Смирнов закурил.

— Под старость дали мне тяжёлый участок. А всё же думаю вытянуть. Быстро шагаем. Боков на последнем семинаре говорил, что можем мы на будущий год продукции разной дать раза в два больше, чем нынче. Это — в целом по району. Да и наш колхоз не отстанет. Мечтаем мы на тот год сделать колхоз миллионером. Большой урожай вырастить. По нашим расчётам, можем через год и на Всесоюзной выставке участвовать. И мечты наши правильные!

г. Киров.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ТОМАС МАНН

★

ЧЕХОВ

Когда в июле 1904 года в Баденвейлере умер от туберкулёза Антон Чехов, я был ещё молод и только вступил в литературу с несколькими рассказами и одним романом, который многим был обязан русскому повествовательному искусству XIX века. Тщетно пытаюсь я теперь припомнить, какое впечатление произвело на меня известие о смерти русского новеллиста, бывшего пятнадцатью годами старше меня. Безуспешно. Известие это распространялось и комментировалось, естественно, и немецкой печатью, но меня оно почти не тронуло, а то, что в связи с этим писалось о Чехове, было, видимо, мало примечательным и не оставило во мне ощущения, что из жизни ушёл кто-то большой, слишком рано для России, слишком рано для мира. Некрологи свидетельствовали, должно быть, о таком же невежестве, которым определялось и моё отношение к жизни и творчеству этого писателя и которое лишь с годами постепенно рассеялось.

Известную роль сыграло моё ослепление той выдержкой, тем могучим терпением, с которым творили и завершали своё «великое дело», свой монументальный эпос такие созидатели, как обожествляемые мною Бальзак, Толстой, Вагнер; подражать им, хотя бы в малой степени, было моей мечтой. А Чехов, как и Мопассан, которого я знал, впрочем, значительно лучше, был мастером «малой формы», автором коротких рассказов, не требовавших героического долготерпения на протяжении лет и десятилетий. Их можно было написать, будучи поэтом лёгким и неусидчивым, в несколько дней или недель. Я относился с некоторым пренебрежением к такому творчеству, не замечая того, какую внутреннюю меру, в силу гениальности, могут приобрести краткость и лаконичность, с какой сжатостью, вызывающей, быть может, самое большое восхищение, эти маленькие вещи вбирают в себя всю полноту жизни, достигая эпического величия. По своей художественной интенсивности они превосходят великие творения большого объёма, которые порой неизбежно теряют темп и становятся почтительно-скучными. Если в своей дальнейшей жизни я это понял лучше, чем в молодости, то обязан этим главным образом знакомству с повествовательным искусством Чехова, которое, несомненно, принадлежит ко всему самому сильному и самому лучшему в европейской литературе.

Если говорить обобщённо, то многолетняя недооценка Чехова на Западе и даже в России связана, как мне кажется, с его чрезвычайно трезвым, критическим и скептическим отношением к себе и той неудов-

Статья выдающегося немецкого писателя Томаса Манна написана в связи с исполнившимся в прошлом году пятидесятилетием со дня смерти А. П. Чехова. Несмотря на некоторую субъективность суждений и характеристик Манна, его статья представляет, на наш взгляд, интерес для советского читателя.

летворённостью, с которой он относился к своему труду, короче, с его скромностью, чрезвычайно привлекательной, но не внушавшей тогда никому почтения и, если можно так выразиться, служившей ему во вред. Ибо наше мнение о себе самих, несомненно, сказывается на представлении, которое другие составляют себе о нас, — оно окрашивает его и при известных обстоятельствах даже искажает. Чехов был долго убеждён в своих малых способностях, в своей художественной неполноценности; лишь постепенно, преодолевая собственную предубеждённость, он обрёл некоторую веру в себя, столь необходимую, чтобы другие верили в нас; до конца жизни в нём не было ничего от литературного вельможи, ещё меньше от мудреца или пророка типа Толстого, который взирал на него ласково и, по выражению Горького, видел в нём прекрасного, тихого, скромного человека.

Похвала такого гиганта, нескромность проповедничества которого не уступала вагнеровской, звучит как-то снисходительно. Чехов выслушал бы это, по всей вероятности, с тихой, вежливой и иронической улыбкой, ибо вежливость, безусловная почтительность да некоторая доля иронии — вот что определяло его отношение к всеильному из Ясной Поляны; а изредка, конечно, не в непосредственном общении с этой подавляющей личностью, но в письмах к другим, ирония перерастала у него в открытый бунт. После возвращения из сопряжённой со многими жертвами «поездки в ад», на каторжный Сахалин, он пишет: «... Какой кислотности я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки «Крейцера соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой...» Деспотическое и притом сомнительное проповедничество Толстого раздражало его. «Чёрт бы побрал философию великих мира сего! — пишет он. — Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности». Эти слова были вызваны главным образом ругательным отзывом Толстого о докторях как о невежественных мерзавцах. А Чехов был врачом, любил свою профессию, был человеком науки и верил в неё, видел в ней прогрессивную силу и великую противницу позорных явлений, видел силу, просветляющую умы и сердца людей. Мудрость же «непротивления злу» и «пассивного сопротивления», презрение к культуре и прогрессу, которые позволял себе этот великий человек, казались ему довольно реакционной болтовнёй. Нельзя трактовать важные проблемы с позиции невежества, будь ты хоть очень велик, — в этом он и упрекает Толстого. «Толстовская мораль, — пишет он, — перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно... Во мне течёт мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс... Расчётливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании...»

Одним словом, Чехов рисует жизнь, исходя из фактов действительности, опять же из скромности; он простой слуга очищающей правды, ни на секунду не претендующий на официальное признание своего величия. Однажды, по поводу «Ученика» Бурже, он выступил весьма недвусмысленно против тенденциозного принижения научного материализма. «Подобных походов я, простите, не понимаю... Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет истины».

Длительное неверие Чехова в себя как художника переросло, как мне кажется, масштабы его личности и распространилось на искусство, на литературу в целом, существовать с которой «в четырёх стенах» ему претило. Ему казалось, что работа в этой области требует дополнения в виде энергичной практической общественной деятельности в окружаю-

щей его действительности, среди людей, в гуще жизни. Литература была, употребляя его собственное выражение, его «любовницей», наука же — медицина — его «законной женой», перед которой он чувствовал себя виноватым за измену с другой. Отсюда и предпринятое им изнурительное и для его уже подорванного здоровья опасное путешествие на Сахалин, и его потрясший всех отчёт об ужасающих условиях тамошней жизни, в результате чего были действительно проведены кое-какие реформы. Отсюда и его постоянная неутомимая деятельность в качестве земского врача наряду с литературной работой, заведование окружной больницей в Звенигороде, под Москвой, и борьба с холерой, которую он вёл в Мелихове — своём маленьком поместье, где он добился постройки бараков; к тому же он был ещё и попечителем сельской школы. Слава Чехова как писателя всё росла, но он относился к ней скептически, со смущённой совестью. Чехов постоянно спрашивал у себя одно и то же: не обманывает ли он читателя, не зная, как ответить на самые главные вопросы?

Ни одно из высказываний Чехова не поразило меня так, как это. Именно оно заставило меня заняться более подробно биографией писателя — одной из самых трогательных и располагающих к себе среди известных мне. Чехов родом из Таганрога, захолустного городишка на юге России у Азовского моря; отец его, богомольный мещанин, сын крепостного крестьянина, содержал бакалейную лавку и всячески тиранил жену и детей. Он бездарно писал иконы, сам обучился игре на скрипке, имел пристрастие к церковной музыке и собрал церковный хор, в котором должны были петь и его мальчики. Скорей всего, все эти посторонние увлечения и были причиной того, что ещё в школьные годы Анто́на Павловича отец его разорился и вынужден был бежать от кредиторов в Москву. Но в этой ханжески-мещанской среде крылось нечто от непроявленной музы. Ей дано было ярко проявиться и полностью раскрыться лишь в одном отпрыске — в Антоне. И всё же из его старших братьев один стал публицистом, другой — художником; оба — незначительные публицист и художник, утопившие свой талант, если он у них был, в водке; оба — слабые, болезненные натуры, которых Антон, этот единственно стойкий из всех братьев, призванный к жизни и творчеству, тщетно пытался поддержать.

На первых порах мальчики должны были помогать отцу при продаже товара, ходить по его поручениям, а по праздникам вставать в три часа утра, чтобы отбывать повинность на спевках церковного хора. А таганрогская гимназия, эта бездушная казарма, была предназначена властями для истребления даже подобия свободомыслия у преподавателей и учеников. Жизнь, как принудительная работа, скучна, удручающе пуста. Но у одного, у Анто́на, этого избранника судьбы, обнаруживается своеобразное противоядие, способность всё возмещать весельем и развлечением, плутовскими и мимическими шутками, подсказанными наблюдательностью и перевоплощающими виденное в карикатурное подражание. Мальчуган умеет до того смешно, хорошо и точно, как в жизни, изображать глупого дьякона, отплясывающего на балу чиновника, зубного врача, молящегося в церкви полицмейстера, что все поражаются и требуют: «Ну-ка, повтори ещё раз! Ну, что ты скажешь! Мы ведь тоже видели всё это, но тогда не было так потешно, как это получается у сорванца. Раз мы так смеёмся, когда он передразнивает, значит было, видимо, смешно. Такого ещё не было, чтобы один из нас умел так изображать и делать всё естественнее, чем это происходило на самом деле. Ха-ха-ха, что за чушь! Хватит дурачиться, сорванец! А как полицмейстер шествует в церковь? Покажи-ка ещё раз!»

Это и есть всплывшая на поверхность примитивная, обезьянья первооснова искусства — талант к подражанию, охота к скоморошеству, способность веселить, — которая позже обратится к совсем иным средствам, выльется в совсем иные формы, породится с разумом, морально облагородится, от смешного поднимется до потрясающего, но никогда не утратит чувства смешного, даже в самых серьёзных, горьких ситуациях, навсегда сохранит многое от талантливого пародирования полицмейстера или пляшущего чиновника...

Итак, отец вынужден был закрыть свою лавку и бежать в Москву, в то время как шестнадцатилетний Антон Павлович остался ещё на три года в Таганроге, чтобы продолжать учение. Гимназию необходимо было окончить, иначе не осуществится его самое заветное желание — изучить медицину. Он одолел последние три класса гимназии, живя на крохотную стипендию и на средства от плохо оплачиваемых частных уроков, которые он давал младшим школьникам, получил аттестат зрелости и смог последовать за родителями в Москву, чтобы поступить в университет.

Счастлив ли он, живя в большом городе после бегства от провинциальной узости? Дышит ли он полной грудью? Русская жизнь того времени не давала возможности никому дышать полной грудью. Она была удушающей, приглушённой, подобострастно-покорной, запуганной и забитой грубой силой. Это была униженная жизнь, в которой именем государства лишь приказывали, ограничивали и орали. Вся страна изнемогала под гнётом самодержавно-реакционного режима Александра III и его свирепого Победоносцева — режима уныния.

В уныние, в буквальном смысле слова, впали многие, более тонкие натуры из тогдашнего окружения Чехова, нуждавшиеся в освежающем воздухе свободы. Уделом Глеба Успенского, честно изображавшего жизнь русского крестьянства, было помрачение рассудка. Гаршин, чьи меланхоличные рассказы Чехов высоко ценил, покончил самоубийством. Попытку покончить с собой сделал в отчаянии и художник Левитан, с которым Антон Павлович поддерживал дружеские отношения. Водка приобретала всё большую притягательную силу в среде интеллигентов. Пили от беспросветности. Оба брата Чехова тоже пили и быстро опускались, несмотря на то, что младший умолял и убеждал их взять себя в руки. Может статься, они пили бы и не будь Победоносцева, но, к сожалению, они могли сослаться среди прочих и на милейшего поэта Пальмина, ещё одного приятеля их брата, который тоже пил.

Антон Павлович не пил, не впал в уныние, не стал душевнобольным. Во-первых, он старательно изучал медицину, которая существовала и без вмешательства господина Победоносцева; а что до общего мрачного настроения, то он противился ему на тот же весёлый лад, как когда-то в Таганроге противился пустой и унылой жизни: он балагурил, копировал полицмейстера, глупого дьякона, чиновника на балу или им подобных, но не мимически, а письменно. В квартире родителей, которую он с ними делил и где было шумно и беспорядочно (двух пансионеров он сам привёз из Таганрога), он сидел и писал для каких-то юмористических листков, любивших понемножку помещать осторожную сатиру, всякие маленькие смешные вещички, совсем крохотные, как-то легко набросанные: анекдоты, диалоги, забавные пустячки, эскизы, высмеивавшие мещанские свадьбы, пьяных купцов, ворчливых и неверных жён, вышедшего в отставку, но всё ещё на всех орущего унтера, да так, что люди восклицали, как в своё время в Таганроге: «Ну, что ты скажешь! Как это у него ловко получается! А ну, повтори-ка ещё!» И он писал ещё и ещё свои искрящиеся выдумкой рассказы, неиссякаемый в своих маленьких наблюдениях будничного быта и в забавном пародировании, несмотря на то, что для молодого человека это было порядочной нагруз-

кой — совмещать изучение медицины, отнимавшее много времени, с увлечением общества. Над этими вещами надо было всё же работать, придавать им острую форму, что всегда требует умственного напряжения, и поставлять их надо было в огромном количестве, для того чтобы мизерный гонорар мог вырасти в какую-то сумму не только для покрытия расходов на обучение, но и быть ещё серьёзным подспорьем для содержания родителей и младших братьев и сестры, потому что отец почти ничего не зарабатывал. В девятнадцать лет Антон был опорой семьи. Как поставщик юмористических журналов он именовал себя «Антоша Чехонте»...

Но вот происходит нечто странное, что характерно для духа и своеобразия литературы и что показывает, какие неожиданные последствия могут возникнуть, когда вступаешь с ней между делом в какие-нибудь отношения, будь то даже весьма практичные и шуточные. Дух её «хлопает немилосердно по совести», балагур Антоша Чехонте говорит об этом сам. В одном из писем он рассказывает, как в квартире своих родителей, под детский крик и хлопанье дверей, под звуки музыкальной шкатулки и громкое чтение отца в соседней комнате он сидит за столом, то и дело отвлекаемый пустыми разговорами, а перед ним его литературная работа, «хлопающая немилосердно по совести»¹. Но этого ей не следовало бы делать, потому что она ведь только забава и развлечение для мещан. Но вот что я называю удивительным, характерным и неожиданным: постепенно, по существу без его желания и без того, чтобы этот процесс был им замечен, в маленькие фельетоны Чехова проникает нечто, с чем эти фельетоны вначале не имели ничего общего и что идёт от совести самой литературы и в то же самое время от собственной совести их автора, нечто, хотя всё ещё весёлое и занимательное, но в то же самое время горькое, печальное, обвиняющее и разоблачающее жизнь и общество, выстраданное, критическое, короче — литературное. Ибо то, что проникает в его короткие рассказы, связано непосредственно с самим творчеством, с формой и языком: критическая грусть и строптивость. А это ведь стремление к лучшей, более чистой, правдивой, красивой, благородной жизни, к более приемлемому человеческому обществу, и это стремление находит своё отражение в языке, в обязательстве — трудиться для искусства, в «немилосердном» обязательстве, возникающем из того, что пронизывает легковесные писания Антоши Чехонте. Пятнадцать лет спустя Горький высказал следующее суждение о нём: «Как стилист Чехов недосыгаем, и будущий историк литературы, говоря о росте русского языка, скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов».

Это было сказано в 1900 году. Тогда же шёл ещё только 1885 год. Двадцатичетырёхлетний Чехов закончил курс университета и поступил практикантом в Воскресенскую уездную больницу, где он занимался также и вскрытием трупов самоубийц или же людей, умерших при подозрительных обстоятельствах. Юмористические рассказы он продолжает писать, это вошло у него уже в привычку. Неожиданно для себя самого он написал «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Злоумышленник», работа над которыми доставила ему поразительное наслаждение, однако большинству его читателей эти вещи вряд ли пришлись по душе, потому что юмор их горек: но кое-кто при чтении их был удивлён и обрадован, как, например, Д. В. Григорович. Кто знает Дмитрия Васильевича Григоровича? Я его не знаю. Должен признаться, что до того, как я решил заняться биографией Чехова, мне не приходилось слышать об этом писателе. И тем не менее он был в своё время широко признанным писателем, представителем большой литературы, заслужившим своими рома-

¹ Подчёркнуто Т. Манном.

нами из жизни крепостных честь и уважение. От него, из Петербурга, адресованное молодому доктору Чехову в Воскресенск, под Москвой, пришло письмо, очень серьёзное письмо, ставшее в жизни Чехова, может быть, самым трогательным, поразительным, даже эпохальным событием. Знаменитый, уже старый человек — он дружил ещё с Белинским, потом с Тургеневым и Достоевским и умер в 1899 году, — писал ему: «у Вас настоящий талант... Талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения... Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который даётся так редко».

Это было написано чёрным по белому, и стояла подпись: имя большого человека. Антон Павлович прочёл и был до того ошарашен, взволнован, потрясён, как, по всей вероятности, никогда больше в своей жизни. «Я едва не заплакал и теперь чувствую, что письмо оставило глубокий след в моей душе. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена ли эта высокая награда или нет... Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его... Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин...¹ Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря... Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги² и которые я, бог знает почему, берёг и тщательно прятал».

Так писал он старику Григоровичу в своём ответном благодарственном письме, ставшем известным уже позже. Как только письмо было написано, он отправился в уездную больницу — не то на вскрытие, не то лечить тиф; предположим, лечить тиф. А через некоторое время Чехов написал рассказ «Тиф», мастерский рассказ о болезни поручика Климова, выливающийся как бы из души заболевшего. После письма Григоровича он больше не называл себя Антошей Чехонте.

Ему был дан короткий срок жизни. Первые признаки туберкулёза появились у него уже в двадцать девять лет, а он был врачом и понимал всю опасность болезни. Вряд ли он убеждал себя, что его жизненные силы позволяют ему достигнуть патриаршего возраста Толстого. Невольно возникает вопрос: не содействовало ли весьма существенно это обстоятельство развитию в нём своеобразной, скептической и бесконечно обаятельной, тихой скромности, определившей весь его духовный и художнический облик? Сюда следует отнести и инстинкт, превративший скромность в отличительное качество его писательского таланта и придавший его жизни особую прелесть. Примерно двадцать пять лет — вот всё, что ему было дано для творческого раскрытия и совершенствования, и, право же, этот срок он использовал до конца. Более шестисот рассказов написано им, из которых немало размером с повесть (long short story); среди них — такие мастерские, как «Палата № 6». В этом произведении рассказывается, как врач, раздражённый глупым и жалким миром нормальных людей, настолько тесно сходится с интересным сумасшедшим, что этот мир признаёт врача умалишённым и изолирует его. Хотя этот большой рассказ, написанный в 1892 году, никого прямо не обвиняет, он до жути символичен, раскрывая безнадежную развращённость нравов

¹ Подчёркнуто Т. Манном.

² То же.

тогдашней России и унижение человеческого достоинства в последний период самодержавия. Молодой Ленин сказал по поводу «Палаты № 6» своей сестре: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Но если уж приводить пример и хвалить, то надо обязательно назвать «Скучную историю», рассказ, которым я больше всех других дорожу. Это совершенно необыкновенная, чарующая вещь, во всей литературе не сыскать ничего похожего на неё: сила её воздействия, её особенность — в тихом, грустном тоне. Эта история вызывает хотя бы уже по одному тому удивление, что именуется «скучной», в то время как она потрясает; вдобавок она написана молодым человеком, которому не было ещё и тридцати лет; вложена она с предельным проникновением в уста старика, учёного с мировым именем, генерала по званию, «его превосходительства», который в своих излияниях сам себя часто так и именует: «моё превосходительство», что должно означать: «подумаешь, важность какая!» Ибо, несмотря на то, что он стоит достаточно высоко на официальной иерархической лестнице, он не утратил способности к самокритике и критике, духовно не оскудел настолько, чтобы свою знаменитость и то почтение, которое ему оказывают, не находить глупыми и в итоге не прийти в отчаяние, обнаружив, что его жизни со всеми её заслугами недоставало духовного центра, «общей идеи», что по существу это была бессмысленная жизнь, жизнь отчаявшегося человека.

«Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, — говорит он, — и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе... даже самый искусный аналитик не найдёт того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего...¹ Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие... И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеет значение только симптома и больше ничего. Я побеждён. Если так, то нечего же продолжать ещё думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет». «And my ending is despair» («И конец мой безнадежен») — эти последние слова Просперо из шекспировской «Бури» невольно приходят на ум, когда читаешь признания знаменитого старика Николая Степановича, которые гласят: «Не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло». Антон Чехов не был стариком, он был молод, когда заставил своего героя произнести всё это; но жить ему оставалось недолго, и, очевидно, поэтому-то он и смог невероятно точно, до жути правдоподобно проникнуться настроением старости. Он вложил в уста своего старого умирающего учёного многое от самого себя, прежде всего это: «Не люблю я своего популярного имени». Потому что и Чехов не любил своей растущей популярности, ему было по неведомой причине боязно. Не обманывает ли он своих читателей, ослепляя их своим талантом, а на самые главные вопросы не знает, как ответить? Зачем он пишет? Какова его цель, его вера, «бог живого человека»? Где «общая идея» его жизни и писаний, «без которой нет ничего»? «Осмысленная жизнь», — писал он своему другу, — без определённого мировоззрения — не жизнь, а тягота, ужас».

Знаменитого учёного спрашивает его воспитанница Катя — потерпевшая жизненное крушение актриса, единственное существо, к которому он

¹ Подчёркнуто Т. Манном.

ещё привязан и питает скрытую стариковскую нежность,— спрашивает в тяжёлую минуту своей жизни: «Николай Степаныч! Ради истинного бога... что мне делать?» И он вынужден ей ответить: «Ничего я не могу сказать тебе, Катя. По совести, Катя: не знаю». Тогда она его покидает.

Вопрос этот «Что делать?» беспрестанно то появляется, то исчезает во всех чеховских рассказах в преднамеренно конфузной форме; он чуть ли не высмеивается, потому что чеховские персонажи обсуждают этот жизненно важный вопрос в такой странной, беспомощной и неестественной манере. Я уже не помню, в каком рассказе, но где-то встречается у него дама, объявляющая: «Жизнь проходит как бы сквозь призму, то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы... и каждый элемент надо изучать в отдельности».

Такого рода разговоров полным-полно в его рассказах да и в пьесах. Частично это просто насмешка над безграничной и бесплодной любовью русских к философствованию и спорам, которую можно встретить, кстати, и у других авторов. Но у Чехова всё это имеет весьма своеобразную подоплёку, особую, предельно комическую художественную функцию. Рассказ «Моя жизнь»¹, ведущийся от первого лица, к примеру, сплошь заполнен такими диспутами. Главный герой — никчёмный человек, по прозвищу «Маленькая польза». Он социальный идеалист, восставший против существующего общественного порядка, верящий в необходимость физического труда для всех; он покидает свой класс, среду образованных людей и ведёт тёмную, тяжкую, уродливую жизнь пролетария, и в результате грубая действительность приносит ему много мучительных разочарований. Верного условностям среды отца он своей эксцентричностью толкает в могилу; он виноват в том, что его сестра оказывается в беде. Некто доктор Благово говорит ему: «Вы — благородная душа, честный, возвышенный человек! Не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим учёным или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?..» «Нет, — отвечает ему «никчёмный человек», — прежде всего необходимо, чтобы сильные не угнетали слабых, чтобы меньшинство не становилось паразитом для большинства; необходимо, чтобы все — и сильные и слабые, богатые и бедные — принимали равное участие в борьбе за существование, а для этого не существует более подходящего нивелирующего средства, как общий, для всех обязательный физический труд». «А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие учёные, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битие щёбня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьёзною опасностью?» Сказано хорошо. Но не настолько хорошо, чтобы собеседник не мог дать лучший или же по крайней мере такой же хороший ответ. И раз уж речь зашла о прогрессе, то заговорили, естественно, и о его целях. По мнению Благово, пределы и цели общечеловеческого, мирового прогресса — в бесконечности, и говорить о каком-то прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, он находит странным.

Какая аргументация! Если пределы прогресса в бесконечности, то и его цели неопределённые. «Жить и не знать определённо, для чего живёшь!»² Пусть! Но это «не знать» не так скучно, как ваше «знать». Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилиза-

¹ В немецком переводе рассказ называется «Der Taugenichts» — «Никчёмный человек». (Примеч. перев.)

² Подчёркнуто Т. Манном.

цией, культурой, иду и иду, не зная определённо, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живёте,— ради того, чтобы одни не поработали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мешанская, кухонная, серая сторона жизни, и для неё одной жить — неужели не противно? Надо думать о том великом иксе, который ожидает всё человечество в отдалённом будущем».

Благово говорит горячо, но в то же самое время можно заметить, что его занимает какая-то посторонняя мысль. «Должно быть, ваша сестра не придёт, — говорит он, посмотрев на часы. — Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас». Он, значит, пришёл лишь для того, чтобы встретиться с сестрой «никчёмного человека», в которую он влюблён, и говорил-то он лишь в ожидании прихода девушки. Благодаря этому, спрятанному за его речами и написанному на его лице человеческому побуждению всё, что он говорил, потеряло всякую ценность, над всем этим Чехов иронизирует. Радикальная перемена в жизни «никчёмного человека» обесценена или, во всяком случае, проблематична из-за мерзких разочарований, пережитых им, и той вины, которую он взвалил на себя; во время беседы гость сам себя высмеивает, ибо разговор весь затеян в ожидании прихода девушки. Жизненная правда, к которой в первую очередь обязан стремиться писатель, обесценивает идеи и мнения: она по природе своей полна иронии, и часто это приводит к тому, что писателя, который превыше всего ценит истину, упрекают в отсутствии своей точки зрения, в равнодушии к добру и злу, в недостатке идей и идей. Чехов протестовал против такого рода упреков: он доверяет читателю настолько, чтобы тот сам восполнил отсутствующие в рассказе, скрытые «субъективные» элементы, то есть положительную точку зрения, моральную позицию. Откуда же тогда его боязнь, неприязненное отношение к своей славе и чувство, будто он талантливо околпачивает своих читателей, не давая ответа на самые главные вопросы? Откуда эта пугающая способность забираться в душу отчаявшегося старца, сознающего, что его жизни не хватало «общей идеи», «без которой вообще ничего нет», и который на вопрос растерянного человека «Что мне делать?» вынужден ответить: «По совести: не знаю?»

Если правда жизни по природе своей полна иронии, то искусство, значит, по природе своей нигилистично? А ведь оно основано на трудолюбии. Оно, так сказать, — труд в своём чистом виде, высший пример труда, труда как такового. Чехов любил работать, как никто другой. Горький сказал о нём, что он «не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне», как Чехов. И в самом деле, он работал непрерывно и без усталости, невзирая на свою хрупкую конституцию, невзирая на болезнь, поглощавшую множество сил, изо дня в день, до конца своей жизни. Более того, он проделывал эту героическую работу, не переставая сомневаться в её смысле, невзирая на чувство вины, что ей недостаёт центральной «общей идеи», что на вопрос «Что делать?» у него нет ответа и что от этого вопроса он ловко увиливает, описывая одну только жизнь, какова она есть. «Мы пишем жизнь такую, какая она есть, — говорил он, — а дальше — ни тпру ни ну...» Или: «При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок».

«Существующий порядок» — это нетерпимый порядок девяностых годов в России, при котором жил Чехов. Но его скорбь, его сомнения в смысле работы, ощущение странности и непонятности его роли как художника связаны не только с тем временем и с тогдашними русскими усло-

виями. Я хочу этим сказать, что подобные же условия, при которых существует непроходимая пропасть между правдой и реальной действительностью, не уничтожены ещё в обществе, в котором я живу; и ныне у Чехова есть братья по душевным мучениям, чувствующие себя нехорошо, несмотря на свою славу, оттого что им приходится забавлять гибнущий мир, не представляя себе, как ему дать хоть каплю спасительной истины. Они так же, как Чехов, могут перевоплотиться в старика — героя «Скучной истории», не сумевшего дать ответ на вопрос «Что делать?», и они не в состоянии сказать, в чём смысл их работы, и они, несмотря ни на что, работают, работают до конца.

Это странное «несмотря ни на что» имеет какое-то значение, в нём есть какой-то смысл, а следовательно, есть смысл и в работе. Хотя она и выглядит, как пустое развлекательство, но, может быть, в ней содержится нечто нравственное, полезное, социальное, что в итоге приведёт всё же к «спасительной истине», которую так ждёт наш растерянный мир? Несколько раньше я говорил о своеобразии литературы и о неожиданных последствиях этого и как природа её, помимо желания молодого Чехова и совершенно неожиданно для него самого, проникла в его забавные писания, невольная возвышая их нравственно. Этот процесс можно наблюдать вновь и вновь на протяжении всей жизни писателя. Один из его биографов говорит, что для развития Чехова характерно его изменившееся отношение к своему времени по мере овладения им мастерством формы¹. Это новое отношение сказалось на выборе материала, определило развитие сюжета и рисунок его персонажей, в этот период он нередко поднимает своих героев до сознательного размышления, что доказывает его неоспоримое чутьё и способность видеть, какие силы скоро отойдут в прошлое и какие симптомы времени нужно отнести к будущему. В этом высказывании меня заинтересовала констатация связи между достигнутым мастерством формы и возросшей морально-критической реакцией, иными словами, между возросшим пониманием того, что обществом отвергнуто и уже отмирает и что должно прийти на смену ему; иными словами, связь между эстетикой и этикой. Разве эта связь между этикой и эстетикой не придаёт трудолюбиво искусства достоинство, смысл, полезность, и не здесь ли кроются истоки любви Чехова ко всякому труду вообще и истоки осуждения им всех бездельников-трутней и всякого тунеядства, не здесь ли кроются истоки его всё яснее проступающего отрицания жизни, построенной на рабстве?

Это — суровое осуждение буржуазно-капиталистического общества, которое бахвалится своей гуманностью и слышать ничего не желает о рабстве. И Чехов-новеллист проявляет поражающее читателя острое чутьё, считая, что после освобождения крестьян в его родной России гуманность и социально-моральные условия не прогрессировали — положение, которое в известной степени наблюдается повсюду.

«Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных, — заставляет он говорить своего «никчёмного человека», — наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато (он мог бы вполне сказать: поэтому) растёт капитализм. И в самый разгар освободительных идей... большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно². Мы уже не дерём на конюшне наших лакеев, но мы придаём рабству

¹ Подчёркнуто Т. Манном.

² То же.

утончённые формы, по крайней мере, умеем находить для этого оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи — идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих ещё также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в своё оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие учёные станут тратить своё золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьёзная опасность».

А вот пример, как он высмеивает самодовольство прогрессивного буржуа. Как врач он питает абсолютное недоверие к паллиативным средствам, с помощью которых этот прогрессивный буржуа лечит социальные болезни. Очень забавно звучат в рассказе «Случай из практики» разглагольствования, за стерильдью и мадерой, гувернантки в доме богатого фабриканта по поводу того, сколь благостны паллиативные средства: «Рабочие нами очень довольны, — говорит она, — на фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну, чтения с волшебным фонарём, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные и, когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют».

Человек же, о чём случае из практики рассказывает автор, ординатор Королёв, которого зовут, собственно, Антон Чехов, качает лишь головой, слушая это. «Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, — говорится в рассказе, — он опять думал о том, о чём думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но всё же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно, в детстве, когда ещё не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней». «А если уж лечить, — говорил он, — то не болезнь, а причину их. Врачебные пункты, школы, читальни и аптеки при данных обстоятельствах служат только порабощению — вот в чём я глубоко убеждён». Хотя Чехов и говорит, что в этом убеждён, но следует помнить, что он сам тоже сооружал в своём уезде школы и больницы. Покою он, тем не менее, не находил. Фраза, к которой сводились все его размышления, чем дольше он жил и писал, была: «Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не нужно».

Но как это сделать, если «даны» твёрдые условия и всё течёт в силу неотвратимой необходимости? Как ответить на вопрос: «Что делать?» Беспокойством по этому поводу Чехов наделяет многих персонажей своих рассказов. В ранее упомянутом рассказе «Случай из практики» Чехов применяет выражение «почтенная бессонница». Речь идёт об умной, несчастной девушке, наследнице фабриканта-миллионера, к которой пригласили доктора Королёва, потому что ей не спится и у неё частые нервные припадки. Она сама говорит: «Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может». Ему ясно, что ей следует сказать: «Оставьте как можно скорее все пять фабричных корпусов и миллион, оставьте этого дьявола!» Ему, кроме того, ясно, что она сама так думает и лишь ждёт, чтобы кто-нибудь, кому она доверит, ей это подтвердил. Но как сказать ей это? «У приговорённых людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нём своё несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, не-

ловкий, длинный». Поэтому он ей отвечает, хотя и откровенно, но как бы утешая: «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в своё право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что всё сбостоит благополучно. У вас почтенная бессонница¹; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немислим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и всё решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот — правы они или нет — будет уже решён. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят...»

Будет ли? Приходишь к убеждению, что совесть человека — плод его рассудка — по всей вероятности, никогда не будет полностью гармонизировать с его характером, с действительностью, с общественным положением, и у тех, кто из каких-то неясных побуждений чувствует себя ответственным за судьбу и жизнь людскую, всегда будет существовать «почтенная бессонница». Если кто-либо страдал от бессонницы, то это художник Чехов, да и всё его творчество было «почтенной бессонницей», поисками правильного, спасительного ответа на вопрос: «Что же нам делать?» Ответ тогда ему было трудно найти. Одно лишь он знал твёрдо, что праздность хуже всего и что нужно работать, потому что праздность означает: заставлять работать других на себя, эксплуатировать и угнетать. «Поймите же, — говорит в последнем чеховском рассказе «Невеста» студент Саша, который, как и Чехов, болен чахоткой и должен умереть, девушке Наде, которой тоже не спится. — Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша бабушка ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?.. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!.. Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь. Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернёте вашу жизнь, то всё изменится. Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не нужно. Итак, значит, завтра поедем?» И Надя действительно уезжает. Она покидает свою семью, своего ничтожного жениха, отказывается от брака и бежит. Это — бегство от оков своего класса, от строя жизни, который воспринимается как отмирающий, неправильный и «грешный»; этот тезис повторяется в рассказах Чехова неоднократно. Это то самое бегство, на которое в последнюю минуту, в глубокой старости, решился Лев Толстой.

Когда Надя, сбежавшая невеста, снова навещает свой родной дом, ей кажется, «что в городе всё давно состарилось, отжило и всё только ждёт не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь!.. Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где всё так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, — будет же время, когда от этого дома не останется и следа...» Бедный Саша ведь сказал ей: «От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, — всё полетит вверх дном, всё изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди, и каждый будет знать, для чего он живёт...»

Это — одно из видений будущего, которые писатель изредка позволяет кому-нибудь из своих персонажей или даже самому себе, ибо он знал, что в жизни много нерешённых проблем. Видения эти могут показаться

¹ Подчёркнуто Т. Манном.

хрупкими мечтами лёгочного больного, особенно когда он говорит «о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлой и радостной, как это тихое воскресное утро». Контуры его картины будущего социального совершенства ещё расплывчаты. Это картины основанного на труде союза правды и красоты. Но разве в его мечте о громадных, великолепнейших домах, чудесных садах и необыкновенных фонтанах, которые поднимутся на месте отжившего, ожидающего лишь своего конца города, нет чего-то от созидательного пафоса социализма современной России, которая, несмотря на вызываемые ею страх и ненависть, оказывает столь сильное воздействие на буржуазный Запад?

К рабочему классу Чехов не имел никакого отношения, и Маркса он тоже не изучал. Он не был писателем трудящихся, как Горький, хотя и был поэтом труда. Но он нашёл такую тональность социальной скорби, которая задела за живое его народ, как, например, в горькой и величественной картине нравов — «Мужики», где по случаю религиозного праздника носят из деревни в деревню «живоносную» икону. Громадная толпа народа — местных и чужих — идёт в шуме и пыли навстречу иконе, и все простирают руки к ней, жадно глядят на неё и говорят плача: «Заступница, матушка! Заступница! Все как будто вдруг поняли, что между землёю и небом не пусто, что не всё ещё захватили богатые и сильные, что есть ещё защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки. Заступница, матушка!.. Но отслужили молебен, унесли икону, и всё пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса». Это Чехов в своём чистом виде: он умиляется и в то же самое время горюет, что всё идёт по-старому; меня не удивит, если окажется, что популярность писателя, проявившаяся как-то внезапно при его кончине и на похоронах, основывалась именно на таких описаниях. Одна из верноподданнических газет сочла нужным в связи с этим заметить, что Антон Павлович принадлежал, видимо, тоже к «буревестникам революции».

Но он не был похож ни на буревестника, ни на мужика, воплотившегося в гения, ни на бледного преступника Ницше. С фотографий на нас глядит худощавый мужчина в одежде конца XIX века, в крахмальном воротничке, в пенсне на шнурке, с острой бородкой и правильным, несколько страдальческим, добрым и меланхоличным лицом. Черты его выражают умную сосредоточенность, скромность, скепсис и доброту. Это лицо и поза человека, не любящего обращать на себя внимание. Ни следа претенциозности. И если он даже толстовскую учёную мудрость воспринимал как «деспотическую», романы Достоевского находил «хорошими, но нескромными, претенциозными», то можно себе представить, какими карикатурными ему казались надутые пустышки. Когда он их изображает, он делает это невероятно комично.

Несколько десятков лет назад я видел в Мюнхене одну из его пьес, которые все звучат приглушённо и полны ощущения того отмирающего, что стало уже ненужным и существует лишь фиктивно, — жизнь помещичьего класса, — я видел пьесу, в которой все драматические эффекты заменены сильнейшим и тончайшим лирическим настроением, настроением конца и прощания, — пьесу «Дядя Ваня». Там фигурирует дряхлая знаменитость, карикатура на героя «Скудной истории», профессор в отставке, тайный советник, пишущий об искусстве, в котором он ничего не смыслит, а в основном тиранивший весь дом плаксивым старческим брюзжанием, своим мнимым значением и своей подагрой. Нуль, убеждённый в своём величии. На прощание одна из немногочисленных его поклонниц говорит ему, целуя: «Александр, снимите с меня опять¹ и пришлите

¹ Подчёркнуто Т. Манном.

мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги». Всю жизнь, как только я вспоминал это «снимитесь опять, Александр», мне неудержимо хотелось смеяться, и Чехов виной тому, что я иногда о ком-нибудь думал: «Этому тоже необходимо сняться!»

Ну что ж! Он сам тоже снимался, когда это было необходимо. Снимки его — воплощение скромности. Они не свидетельствуют о бурной, эмоциональной жизни. Создаётся впечатление, что этот человек и для страсти был слишком скромен. В его жизни не было всепоглощающей любви к какой-нибудь женщине, и его биографы считают, что он, умеющий рассказывать о любви, сам никогда не испытал эротического опьянения. На даче в Мелихоее в него страстно влюбилась Лидия Мизинова — красивая, темпераментная девушка, гостившая там подолгу. Он вступил с ней в переписку. Но говорят, что его *lettres d'amour* выдержаны в ироническом стиле и что в них проскальзывает опасение перед более глубоким чувством; возможно, это было вызвано его болезнью. Красивая Лидия сама призналась, что была дважды отвергнута им, после чего она удовольствовалась Потапенко (кстати, женатым человеком), тоже часто гостившим в Мелихове. Но если с Чеховым ничего нельзя было поделаться, то он сам знал, что сделать с этой историей. Этот эпизод он вставил в свою пьесу «Чайка», которая идёт у нас чаще всех остальных его пьес.

Лишь за три года до своей смерти он всё же женился. Союз этот осуществился благодаря его счастливым отношениям с Московским Художественным театром и его дружбе со Станиславским; избранницей его была одарённая артистка Ольга Книппер. Имеются письма к ней, начертанные его рукой, но и в них он чрезвычайно сдержан в проявлении своих чувств, письма выдержаны в шутливо-иронических тонах.

Последние годы, проведённые в Крыму, в Ялте, где он вынужден был жить из-за болезни лёгких и где его навещал Художественный театр в полном составе, чтобы сыграть перед ним его пьесы, были благодаря его женитьбе, дружбе с Горьким и почётному общению со Львом Толстым, который временно, после тяжёлой болезни, проживал в особняке недалеко от Ялты, может быть, самыми счастливыми в его жизни. К своему избранию в почётные академики по разряду изящной словесности большой отнёсся с ребяческой радостью. Когда же спустя два года правительство запретило избирать Горького в академики ввиду его радикальных взглядов, он вместе с Короленко отказался от почётного звания, выразив этим свой протест. «Невеста» (1903) — его последний рассказ, «Вишнёвый сад» — его последняя пьеса, — творения, в которых он, с самоотдачей ожидавший развязки и не делавший шума ни из болезни, ни из смерти, стоя уже у края могилы, утвердил надежду.

Всё его творчество — отказ от эпической монументальности, и, тем не менее, оно охватывает всю огромную Россию, без конца и края, с её извечным естеством и безотрадной противоестественностью дореволюционных социальных условий. «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость...» Но чем ближе конец, тем трогательнее вырисовывается туманная картина его веры в будущее, тем ярче предстаёт перед любящим взором художника будущее гордое, свободное и деятельное сообщество людей, «новый, высокий и разумный строй жизни, в преддверии которого мы, возможно, уже стоим и который мы порой чувствуем».

«Прощай, милый Саша!» — шепчет Надя-невеста покойнику, который в своё время уговорил её бежать от неправильной жизни. «И впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, ещё неясная, полная тайн, увлекала и манила её». Так писал умирающий Чехов перед

кончиной. Может быть, это лишь предсмертные грёзы, лишь то, что влечёт и манит? Или — хочется этому верить — мечта поэта действительно способна преобразить жизнь?

* * *

Должен сказать, что эти строки я писал с глубокой симпатией. Творчество Чехова мне по душе. Его ироническое отношение к славе, его сомнения в ценности своего труда и своего значения полны спокойного, скромного величия. «Недовольство собой,— говорил он,— основа всякого подлинного таланта». В этой фразе скромность превратилась в нечто положительное. Будь доволен своим недовольством — означает она. Этим ты доказываешь, что ты выше самодовольных, что ты, может быть, даже велик. Но по существу это ничего не меняет в искренности его сомнений и недовольства; а отсюда вытекает, что надо трудиться до самого конца — постоянно, неутомимо, несмотря на сознание, что у тебя всё ещё нет ответа на «самые важные вопросы», несмотря на угрызения совести, что читатель может быть обманут в своих ожиданиях. В нашем отживающем обществе попрежнему не снимается пресловутое «несмотря ни на что», и художник, забавляя рассказами, не может дать читателям и «капли спасительной истины». На вопрос бедной Кати «Что мне делать?» пока даёшь лишь один ответ: «По совести: не знаю». И, несмотря на всё это, продолжаешь работать, рассказываешь истории, усердно лепишь правду и забавляешь этот заслуживающий сожаления мир в смутной надежде, в чаянии, что правда, облачённая в весёлую форму, способна воздействовать на души освежающе и подготовить мир к жизни лучшей, более красивой и соответствующей разуму.

Перевод с немецкого Л. Рудной.



ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ

НА ВТОРОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

(Цифры и факты)

С 15 по 26 декабря 1954 года в Москве проходил Второй Всесоюзный съезд советских писателей.

Первое заседание съезда состоялось в Большом Кремлёвском дворце. Съезд открыла Ольга Форш — старейший делегат съезда.

На открытии съезда присутствовали руководители Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства — Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. Молотов, Н. С. Хрущёв, Н. М. Шверник, П. Н. Поспелов, М. А. Суслов, Н. Н. Шаталин.

С огромным воодушевлением делегаты и гости съезда встретили приветствие Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Второму Всесоюзному съезду советских писателей.

«В нас, советских писателях, партия видит борцов за великие идеи гуманизма, против империалистической идеологии, борцов за мир и дружбу народов. Партия говорит нам о том, какой духовной силой может стать наша литература в борьбе с пережитками капитализма в сознании людей, напоминает нам о неизмеримо возросшей общественно-преобразующей и воспитательной роли советской литературы, о том, что «наша литература призвана не только отражать новое, но и всемерно помогать его победе».

(Из речи А. Фадеева)

«О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством».

(Из речи М. Шолохова)

738 делегатов съезда — 626 с решающим и 112 с совещательным голосом — представляли 3 695 писателей Советского Союза.

На Первом съезде писателей (1934 год) присутствовал 591 делегат от 1 500 писателей.

«Количественный рост ССП свидетельствует и о больших качественных изменениях, происшедших в советской литературе. В Союз советских писателей влились новые силы».

(Из доклада мандатной комиссии)

«Мы не хотим и не можем оставаться на прежней, уже достигнутой ступени развития нашего искусства. Нам надо и мы обязаны быстрее двигаться вперёд и подниматься выше. Для того и съехались в Москве писатели 45 советских национальностей. За нашим съездом стоит вся масса литераторов Союза ССР, трудами и талантами своими создавших великую советскую художественную литературу. Они готовы совершить то, к чему призовет их съезд».

(Из речи К. Федина)

Среди избранных делегатами на Второй съезд 128 писателей являлись делегатами Первого Всесоюзного съезда писателей: И. Абашидзе, А. Авдеенко, Б. Агапов, П. Антокольский, Н. Асеев, М. Бажан, А. Барто, В. Бахметьев, А. Бегимов, А. Безыменский, П. Беспощадный, В. Билль-Белоцерковский, С. Бородин, Н. Браун, П. Бровка, С. Вургун, Е. Габрилович, Б. Галин, В. Герасимова, Ю. Герман, А. Гидаш, Ф. Гладков, П. Глебка, А. Головкин, И. Гришашвили, Г. Гулям, И. Гурский, М. Гусейн, Ш. Дадниани, Д. Демирчян, Р. Джалил, В. Ермилов, А. Жаров, Б. Жгенти, Н. Забила, П. Замойский, Н. Зарьян, К. Зелинский, Б. Зернит, С. Зорян, В. Иванов, В. Ильенков, В. Инбер, Н. Иркаев, В. Каверин, В. Казин, А. Караваева, Л. Кассиль, В. Катаев, Т. Керашев, Л. Киачели, В. Кирпотин, С. Кирсанов, Я. Колас, А. Коптелов, А. Копыленко, А. Корнейчук, К. Крапива, Б. Лавренёв, Г. Лахути, И. Ле, Г. Леберехт, Л. Леонов, Ю. Либединский, В. Лидин, К. Лордкипанидзе, В. Луговской, М. Лыньков, К. Маликов, М. Мариджан, С. Маршак, М. Миршакар, И. Молчанов, Н. Мординов, С. Муканов, К. Наджми, Н. Никитин, Л. Никулин, Ю. Олеша, Ф. Панфёров, П. Панч, Б. Пастернак, К. Паустовский, Л. Первомайский, Е. Пермитин, Н. Погодин, А. Прокофьев, Б. Ромашов, Н. Рыбак, Н. Рыленков, М. Рыльский, Б. Рюриков, В. Саянов, М. Светлов, И. Сельвинский, С. Сергеев-Ценский, Л. Славин, М. Слонимский, Ю. Смолич, Л. Соколов, А. Сурков, А. Твардовский, Н. Тихонов, А. Токомбаев, П. Тычина, С. Улуг-заде, П. Усенко, А. Фадеев, А. Файко, К. Федин, Г. Фиш, О. Форш, А. Черненко, С. Чиковани, К. Чуковский, П. Хузангай, М. Шагинян, С. Шаншиашвили, Д. Шенгелая, М. Шестериков, Е. Шварц, В. Шкловский, М. Шолохов, М. Шошин, И. Шухов, И. Эренбург, С. Эули, А. Яшин.

«Два десятилетия между съездами были для подавляющего числа писателей братских литератур, принадлежащих к старшему поколению, годами плодотворной творческой реализации новых идейных ценностей.

Примерно такие же процессы происходили и в русской советской литературе».

(Из доклада А. Суркова)

За период между двумя съездами ряды советских писателей пополнились многими новыми именами. 206 делегатов съезда начали свою литературную деятельность после Первого съезда советских писателей.

«За двадцать лет между двумя съездами в советской литературе произошли огромные изменения... Укрепились, пополнились новыми людьми, обогатились новыми книгами литературы, представленные на Первом съезде. Возникли и развились новые братские литературы. С воссоединением народов влились в советскую литературу новые большие отряды талантливых писателей Латвии, Литвы, Эстонии, бессарабской части Молдавии, Буковины, Закарпатской Украины, западных областей Украины и Белоруссии.

Рост советской литературы сопутствовал общему гигантскому росту культуры в стране».

(Из доклада А. Суркова «О состоянии и задачах советской литературы»)

В составе делегатов съезда — 274 прозаика и 241 поэт.

«История нашей прозы — история жизни нашего общества, отражение его духовных интересов, связанных как со взглядами на современность, так и со взглядами на историю».

(Из содоклада К. Симонова «Советская художественная проза»)

«Сегодняшнее состояние нашей поэзии напоминает состояние орла перед взлётом — он мерит глазами широкое пространство для этого взлёта и набирает силы. Мы твёрдо верим, что этот взлёт свершится. Есть для этого у нас могучий орёл — это наша великая поэзия. Есть перед нами и большой простор — это простор нашей жизни, нашей социалистической действительности; есть и высота для большого взлёта — это высота наших коммунистических идеалов».

(Из содоклада С. Вургуна «Советская поэзия»)

Среди делегатов съезда — 64 драматурга и 12 кинодраматургов.

«Судьба нашей советской драматургии — это родное дело всей нашей литературы и всего нашего театрального и кинематографического искусства. Но, конечно, никакая помощь драматургам не даст результата, если мы, драматурги, сами не осознаем глубоко свои ошибки, если мы, драматурги, не будем искренне воспринимать справедливую критику по нашему адресу, если мы не научимся быть самыми суровыми судьями своих произведений, если в нашей душе не будет огромного волнения и страстного желания постичь глубокие процессы жизни с высоты тех великих исторических задач в строительстве нового, коммунистического общества, которые поставила перед нами наша родная партия».

(Из содоклада А. Корнейчука «Советская драматургия»)

30 делегатов съезда — поэты, прозаики и драматурги, пишущие произведения для детей и юношества.

«Советская литература для детей и юношества за 20 лет, прошедших между двумя писательскими съездами, неизмеримо выросла, окрепла, расцвела, она стала более глубокой, мудрой, а в лучших своих произведениях — более увлекательной и прекрасной. Фронт её тем небывало расширился. И если С. Маршак, докладывая по тому же вопросу, назвал Первому нашему съезду десятки имён авторов, работающих в этой области, я могу назвать уже сотни».

(Из содоклада Б. Полевого «Советская литература для детей и юношества»)

В составе делегатов съезда — 66 критиков и литературоведов.

«Советская литературная критика поставлена на огромную высоту. Она призвана играть действительную роль в развитии советской литературы, влиять на её формирование, на развитие творчества писателей. К ней прислушиваются, за ней следят и писатели зарубежных стран».

(Из содоклада Б. Рюрикова «Основные проблемы советской литературной критики»)

Среди делегатов съезда также 18 переводчиков, 14 очеркистов, 1 сказитель.

На съезде присутствовали 28 делегатов от Азербайджанской ССР, 35 — от Армянской ССР, 28 — от Белорусской ССР, 54 — от Грузинской ССР, 25 — от Казахской ССР, 5 — от Карело-Финской ССР, 13 — от Киргизской ССР, 16 — от Латвийской ССР, 13 — от Литовской ССР, 9 — от Молдавской ССР, 10 — от Таджикской ССР, 8 — от Туркменской ССР, 24 — от Узбекской ССР, 73 — от Украинской ССР, 10 — от Эстонской ССР.

В работе съезда приняли участие делегаты от писательских организаций автономных республик: от Адыгейской — 1, Башкирской — 8, Бурят-Монгольской — 3, Дагестанской — 5, Кабардинской — 2, Коми — 3, Марийской — 4, Мордовской — 5, Северо-Осетинской — 6, Татарской — 11, Тувинской — 2, Удмуртской — 3, Хакасской — 1, Чувашской — 6, Якутской — 6.

На Втором Всесоюзном съезде писателей были представлены писатели 45 национальностей. В числе делегатов: русских — 250, украинцев — 71, евреев — 72, грузин — 45, армян — 36, белорусов — 28, азербайджанцев — 28, казахов — 20, латышей — 15, татар — 14, узбеков — 14, литовцев — 12, киргизов — 10, таджиков — 10, осетин — 9, эстонцев — 8, молдаван — 7, туркменов — 6, чувашей — 6, якутов — 6, башкиров — 5, кара-калпаков — 4, марийцев — 4, мордвинцев — 4, поляков — 4, венгров — 4, абхазцев — 3, бурят-монголов — 3, коми — 3, удмуртов — 3, карелов — 2, кабардинцев — 2, тувинцев — 2, корейцев — 2, финнов — 1, адыгейцев — 1, кумыков — 1, лаков — 1, даргинцев — 1, аварцев — 1, лезгинцев — 1, дунган — 1, хакассов — 1, уйгуров — 1, курдов — 1.

«Союз писателей СССР обязан способствовать всемерному развитию братской дружбы между национальными литературами путём взаимной помощи, обмена

творческим опытом, дальнейшего улучшения качества и увеличения количества переводов как на русский язык, так и на братские языки народов Советского Союза».

(Из доклада Л. Леонова «Об изменениях в Уставе Союза советских писателей»)

«Замечательным свойством всей советской литературы является её национальное многообразие.

Советская литература — подлинная литература братства и дружбы народов, и не только по общим идейным мотивам, но и потому, что она создала запоминающиеся художественные образы героев — представителей братских народов, пробуждающих любовь в сердце читателя».

(Из речи И. Абашидзе)

Московская организация писателей послала на съезд 223 делегата, ленинградская — 55.

На съезд приехали делегаты из краёв и областей: из Архангельской области — 1, из Воронежской — 3, Горьковской — 2, Ивановской — 2, Иркутской — 3, Куйбышевской — 2, Молоотовской — 2, Новосибирской — 3, Ростовской — 4, Саратовской — 2, Свердловской — 3, Смоленской — 1, Ставропольской — 2, Сталинградской — 2, Челябинской — 1, Читинской — 1, Чкаловской — 1, Ярославской — 1, Алтайского края — 1, Краснодарского края — 1, Красноярского края — 1, Приморского края — 1, Хабаровского края — 3.

«На Первом съезде упоминалось лишь несколько книг, вышедших на периферии. А попробуем-ка теперь представить себе, если можно так выразиться, географию русской литературы, карту с обозначением мест рождения лишь некоторых из широко популярных книг.

«Даурия» К. Седых — Чита, очерки В. Овечкина — Курск, «Кавказские записки» В. Закруткина — Ростов, рассказы Г. Троепольского — Воронеж, «Хребты Саянские» С. Сартакова — Красноярск, «Быстроногий олень» Н. Шундика — Хабаровск, «Семья Рубанюк» Е. Поповкина — Симферополь, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского — Ставрополь, «Сталь и шлак» В. Попова — Сталино, «Строговы» Г. Маркова — Иркутск, «Великое кочевье» А. Коптелова — Новосибирск, «Северные рассказы» С. Залыгина — Омск.

И это далеко не всё, что могло быть названо. Новые крупные культурные центры, выросшие в нашей стране, дали советской литературе новых писателей; отсюда пришли книги, включавшие в поле зрения читателя громадные пространства нашей Родины с их настоящим и прошлым».

(Из содоклада К. Симонова «Советская художественная проза»)

372 делегата съезда — участники Великой Отечественной войны.

«Нынче небо мира опять заволочлось мрачными тучами. Мы отстаиваем мир и хотим служить его победе всеми силами души. Но если совершится злодейство и будет развязана новая мировая война, советские писатели отдадут в помощь социалистическому Отечеству свои дарования, своё искусство, свои жизни так же беззаветно, как они отдавали их в прошлой войне с германским фашизмом до его разгрома».

(Из речи К. Федина)

682 делегата съезда награждены орденами и медалями Советского Союза. 3 делегата — П. Вершигора, С. Борзенко и Ю. Збанацкий — Герои Советского Союза.

Среди делегатов съезда — 161 лауреат Сталинских премий.

В составе делегатов съезда — 31 депутат Верховного Совета СССР, 41 депутат Верховных Советов союзных республик, 11 депутатов Верховных Советов автономных республик.

Многие из делегатов съезда являются членами Советского Комитета защиты мира, 4 делегата — А. Корнейчук, А. Сурков, А. Фадеев, И. Эренбург — члены Бюро Всемирного Совета Мира.

«Неизмеримо выросло активное участие советского писателя в общественной и политической жизни страны. 150 писателей, удостоенных высокого доверия народа, избраны депутатами в Верховный Совет СССР, Верховные Советы братских республик, депутатами местных Советов. В истекшее двадцатилетие советские писатели принимали самое деятельное участие во всех важнейших прогрессивных движениях мировой общественности. В послевоенные годы советские писатели стали активными участниками развернувшейся в мире борьбы за мир».

(Из доклада А. Суркова «О состоянии и задачах советской литературы»)

Среди делегатов Второго съезда — 522 члена и кандидата КПСС, или 72,6 процента общего состава делегатов. На Первом съезде коммунисты составляли 52,8 процента делегатов.

В числе делегатов Второго Всесоюзного съезда — 654 мужчины и 66 женщин. На Первом съезде мужчин было 570, женщин — 21.

359 делегатов Второго съезда имеют высшее образование, 205 — незаконченное высшее, 134 — среднее и 22 — незаконченное среднее образование. 56 делегатов имеют учёную степень и звание. Среди делегатов — 22 действительных члена и члена-корреспондента Академии наук СССР и академий наук союзных республик: В. Виноградов — действительный член Академии наук СССР, А. Корнейчук — действительный член Академии наук СССР и Академии наук Украинской ССР, С. Сергеев-Ценский — действительный член Академии наук СССР, М. Шолохов — действительный член Академии наук СССР, А. Еголин — член-корреспондент Академии наук СССР, Д. Благой — член-корреспондент Академии наук СССР, М. Ауэзов — действительный член Академии наук Казахской ССР, А. Венцлова — член-корреспондент Академии наук Литовской ССР, С. Вургун — действительный член Академии наук Азербайджанской ССР, П. Глебка — член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР, И. Гришашвили — действительный член Академии наук Грузинской ССР, Г. Гулям — действительный член Академии наук Узбекской ССР, Д. Демирчян — действительный член Академии наук Армянской ССР, А. Исаакян — действительный член Академии наук Армянской ССР, Б. Кербабаев — действительный член Академии наук Туркменской ССР, Я. Колас — действительный член Академии наук Белорусской ССР, К. Корсакас — член-корреспондент Академии наук Литовской ССР, К. Крапива — действительный член Академии наук Белорусской ССР, Г. Леонидзе — действительный член Академии наук Грузинской ССР, М. Рыльский — действительный член Академии наук Украинской ССР, Г. Табидзе — действительный член Академии наук Грузинской ССР, П. Тычина — действительный член Академии наук Украинской ССР.

На съезде присутствовали зарубежные гости — прогрессивные писатели мира. На Первом съезде советских писателей их было 42 человека и они представляли 15 стран. На Второй съезд прибыли 70 писателей из 34 стран.

«Двадцать лет назад прогрессивных писателей было значительно меньше, чем сегодня. В наши дни лучшие мастера литературы, писатели многих стран связали свою личную и творческую биографию с великим делом борьбы за мир, за национальную независимость, за социальный прогресс...»

(Из доклада Н. Тихонова «Современная прогрессивная литература мира»)

«Наш друг, славный французский поэт Луи Арагон, цитируя Гильома Апполинера, сказал про наших поэтов: они изобрели огонь! Мы хотим сказать нашему славному французскому собрату и всем присутствующим здесь: мы непоколебимо верим в то, что неугасимый огонь нашей общей дружбы, нашего общего

творчества, огонь наших сердец будет широко светить народам всех стран в их борьбе за мир во всём мире! Пусть огонь нашего творчества рассеивает мрак над всем земным шаром».

(Из выступления П. Тычины, приветствовавшего посланцев зарубежных литератур от имени делегатов съезда)

В работе съезда принимали участие: Эрнст Фишер (Австрия), Димитр Шутерики, Фатмир Гьята (Албания), Джек Линдсей (Англия), Георгий Караславов, Христо Радевский, Веселин Андреев (Болгария), Жоржи Амаду, Альфонсо Шмидт, Маркос Ребелло (Бразилия), Петер Вереш, Лайош Тамаш (Венгрия), Нгуэн Дин Тхи (Вьетнам), Анна Зегерс, Вилли Бредель, Эрвин Штриттматтер, Альфред Курелла, Стефан Гейм (Германская Демократическая Республика), Тойн де Фриз (Голландия), Алексис Парнис (Греция), Ганс Кирк (Дания), Ахмад Аббас, Али Сардар Джаффи, Балвант Гарги (Индия), Акбар Нафиси Сеид Али (Иран), Хуан Рехано, Сесар Арконада (Испания), Джованни Джерманетто (Италия), Чжоу Ян, Дин Лин, Лао Шэ, Чэнь Бин-и, Гао Ман (Китай), Луис Видалис (Колумбия), Ли Ги Ен, Хон Сун Чер (Корея), Николас Гильен (Куба), Хуссейн Муруве, Жорж Ханна (Ливан), Дамдинсүрэн Цендийн, Сенге Дашшевгийн (Монголия), Одд Банг Хансен (Норвегия), Леон Кручковский, Ярослав Ивашкевич, Генрих Маркевич (Польша), Михаил Садовяну, Михай Бенюк, Валериу Галан, Флориа Варжела (Румыния), Мавахиб Эль Кайали (Сирия), Назым Хикмет (Турция), Альфредо Гравина, Энрикэ Аморим (Уругвай), Оскар Парланд, Матти Куриенсаари (Финляндия), Луи Арагон, Жан Лаффит, Эльза Триоле, Мадлен Рифо (Франция), Мария Майерова, Франтишек Гечко, Ян Дрда (Чехословакия), Пабло Неруда, Валентин Тейтельбойм (Чили), Артур Лундквист, Мария Вине (Швеция), Марин Франичевич, Добрин Чосич (Югославия), Токунага Сунао, Иваками Дзюнити (Япония).

С приветствиями и речами выступил 31 иностранный писатель.

«Прогрессивные читатели всего мира ждут, чтобы советские писатели со всем своим замечательным художественным мастерством правдиво отобразили народное движение всех стран. Советские писатели должны взять на себя эту почётную интернациональную обязанность».

(Из речи Чжоу Яна, Китай)

«Я не преувеличу, товарищи, если скажу, что советская литература стала для нашего народа хлебом насущным. Её глубокое и правдивое знание жизни, её социалистический гуманизм, её смелая воинственность во имя народа и в интересах народа открыли для неё путь к сердцам сотен тысяч простых читателей. Советская художественная литература стала замечательным помощником в деле воспитания нового, социалистического человека в Чехословакии.

Спасибо вам за это, товарищи!»

(Из речи Яна Дрды, Чехословакия)

«Ваш съезд, который явится решительным шагом вперёд в теории и практике социалистического реализма, во многом поможет прогрессивной литературе всего мира. Он имеет огромное значение для нас, писателей капиталистических стран, для нашей деятельности во имя мира и счастья наших народов. Этот съезд вооружит нас для решения стоящих перед нами задач».

(Из речи Дожека Линдсея, Англия)

В дни работы съезда гость советских писателей кубинский поэт Николас Гильен был удостоен международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». 24 декабря в Колонном зале Дома союзов в присутствии делегатов и гостей съезда состоялось торжественное вручение Николасу Гильену Золотой медали и диплома лауреата.

Второй Всесоюзный съезд писателей заслушал и обсудил доклад А. Суркова «О состоянии и задачах советской литературы», содоклады: К. Симонова «Советская художественная проза», С. Вургуна «Советская поэзия», А. Корнейчука «Советская драматур-

гия», С. Герасимова «Советская кинодраматургия», Б. Полевого «Советская литература для детей и юности», Б. Рюрикова «Основные проблемы советской литературной критики», П. Антокольского, М. Ауэзова и М. Рыльского «Художественные переводы литератур народов СССР».

Доклад Н. Тихонова был посвящён теме «Современная прогрессивная литература мира».

Доклад Ревизионной комиссии ССП СССР сделал Ю. Либединский.

Съезд заслушал доклад Л. Леонова «Об изменениях в Уставе Союза советских писателей» и принял новый Устав Союза советских писателей СССР. В прениях по докладам и содокладам на съезде выступило около двухсот делегатов и иностранных гостей.

Съезд писателей горячо приветствовали делегации московских пионеров, учащихся школ трудовых резервов, представители Советской Армии, комсомола, профсоюзов, советских учёных и другие. В адрес съезда были получены многочисленные телеграммы от рабочих и колхозников, от учителей и врачей, от студентов и школьников, от экипажей кораблей, находящихся в далёких плаваниях, от зимовщиков полярных станций.

«Мы хотим, чтобы советские писатели создавали такие произведения, которые бы с большой художественной силой отражали лучшие качества советских людей, по силе своего воздействия были бы равны лучшим классическим произведениям и удовлетворяли бы многогранные интересы молодого читателя».

(Из выступления секретаря ЦК ВЛКСМ А. Рапохина, приветствовавшего съезд от имени Ленинского комсомола)

«Культура в нашей стране за последние двадцать лет пошла вглубь, и теперь мы гордимся не только количеством читателей, но и их глубоким, страстным восприятием художественной литературы. Прежде так читали сотни избранных, может быть, тысячи, а теперь художественная литература стала действительно достоянием всего народа, и весь народ следит за работой нашего съезда. Это накладывает на нас величайшую обязанность: сделать всё, чтобы наша литература была достойной нашего великого народа».

(Из речи И. Эренбурга)

Съездом были получены приветствия от старейших советских писателей — С. Сергеева-Ценского, А. Исаакяна, Д. Гулиа, Н. Телешова, Д. Демирчяна.

В адрес съезда поступили телеграммы и письма от друзей советской литературы, от писателей и общественных деятелей разных стран.

Съезд избрал руководящие органы Союза советских писателей СССР: Правление и Ревизионную комиссию.

В состав Правления Союза советских писателей СССР избраны: И. Абашидзе, Б. Агапов, В. Ажаев, М. Алигер, И. Анисимов, П. Антокольский, С. Антонов, Н. Атаров, К. Атрахович (Крапива), М. Ауэзов, С. Бабаевский, М. Бажан, Г. Баширов (Разин), А. Башкиров (Талвир), Д. Благой, П. Бровка, К. Ваншенкин, В. Василевская, А. Веншлова, С. Вургун, Б. Галин, Р. Гамзатов, С. Герасимов, Ф. Гладков, В. Гольцев, А. Гончар, Д. Гранин (Герман), Н. Грибачёв, В. Гроссман, М. Гусейн, В. Друзин, В. Ермилов, А. Жукаускас (Виенуолис), Н. Зарьян, М. Ибрагимов, В. Иванов, А. Исаакян, М. Исаковский, Исраилова Зульфийа, Кави Наджми, Э. Казакевич, С. Капутикян, А. Каравасва, М. Каримов, В. Катаев, А. Каххар, Б. Кербабаев, В. Кетлинская, Л. Киачели, С. Кирсанов, В. Кожевников, П. Козланюк, А. Корнейчук, В. Кочетов, С. Кудаш, С. Кулачииков (Эляй), А. Кулешов, К. Курбансахатов, Б. Лавренёв, Г. Лахути, В. Лацис, Г. Леберехт, Г. Леонидзе, Л. Леонов, В. Лукс, А. Лупан, М. Лыньков, А. Малышко, Г. Марков, С. Маршак, С. Михалков, К. Мицкевич (Якуб Колас), С. Муканов, Г. Мусрепов, Г. Мустафин, Х. Намсараев, В. Некрасов, Г. Николаева, Л. Новиченко, К. Нугманов (Яшен), В. Овечкин, С. Олейник, С. Орлов, В. Панова, К. Паустовский, Н. Погодин, Б. Полевой, Д. Поликарпов, Е. Поповкин, А. Прокофьев, С. Рагимов, Я. Ругоев, М. Рыльский, Б. Рюриков, А. Саксе, С. Сартаков, В. Саянов, С. Сергеев-Ценский,

К. Симонов, В. Смирнов, С. Смирнов, Ю. Смолич, И. Смуул, В. Собко, Л. Соболев, М. Соколов, А. Софронов, А. Сурков, Т. Сыдыкбеков, И. Тарба, А. Твардовский, Т. Тильвитис, Н. Тихонов, А. Токомбаев, Э. Топчиян, М. Турсун-заде, П. Тычина, С. Улуг-заде, А. Упит, А. Фадеев, К. Федин, М. Храпченко, М. Цагараев, А. Чаковский, А. Черненко, С. Чиковани, Н. Чуковский, М. Шагинян, И. Шамякин, М. Шолохов, С. Щипачёв, И. Эренбург, А. Якобсон, А. Яшин.

В состав Ревизионной комиссии Союза советских писателей СССР избраны: А. Арбузов, Е. Буков, С. Вишневский, С. Голубов, А. Григулис, Г. Гулиа, Т. Жароков, А. Кешоков, П. Кириллов, К. Корсакас, Ю. Либединский, М. Миршакар, Н. Михайлов, Г. Мухтаров, Л. Никулин, П. Панч, Л. Первомайский, М. Петров, М. Прилежаева, Н. Рогаль, Н. Рыленков, С. Рустам, Х. Сеитов, С. Скляренко, М. Танк, Г. Фёдоров, С. Чилая, Б. Чирсков, А. Штейн.

26 декабря 1954 года делегаты Второго съезда советских писателей и иностранные гости посетили Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Потом делегаты съезда возложили венок к подножию памятника основоположнику советской литературы А. М. Горькому.

Вечером в Большом Кремлёвском дворце под председательством Ф. В. Гладкова состоялось заключительное заседание Второго Всесоюзного съезда советских писателей. На заседании присутствовали секретари ЦК КПСС товарищи П. Н. Поспелов и М. А. Суслов.

С огромным воодушевлением съезд принял приветствие Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза.

«Спасибо партии за всё, что она сделала для советской литературы.

Нет для писателя большего счастья, чем жить, сознавая, что есть в мире такая партия, которая сделала литературу частью общенародного дела, что есть в мире такой народ, как советский народ, который строит коммунизм во имя счастья трудящихся всего мира».

(Из заключительной речи Ф. Гладкова при закрытии съезда)

По окончании съезда, 26 декабря, Правление Союза советских писателей СССР устроило в Большом Кремлёвском дворце приём в честь иностранных писателей — гостей Второго Всесоюзного съезда советских писателей.

На приёме присутствовали товарищи Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. Молотов, М. Г. Первухин, Н. С. Хрущёв, Н. М. Шверник, П. Н. Поспелов, М. А. Суслов, иностранные писатели, принимавшие участие в работах Второго Всесоюзного съезда советских писателей, делегаты съезда, деятели науки и искусства, представители прессы. Приём прошёл в тёплой, сердечной обстановке.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КАРАГАНОВ

★

КАНОНЫ И ТВОРЧЕСТВО

В разговорах об отставании советской драматургии мы иногда забываем о её богатствах. Дело дошло до того, что некоторые режиссёры стали признавать только одну форму общения с современной пьесой — «дотягивание»; неуважительное отношение к пьесе часто мешает им глубоко постигнуть и раскрыть её идеи и образы, увидеть стоящие за ними явления и факты реальности; процесс сценического творчества низводится в таких случаях до более или менее грамотного переложения пьесы на язык сцены, при этом утрачиваются радости и муки исканий, пафос дерзаний.

А между тем советская драматургия пришла ко Второму Всесоюзному съезду писателей с десятками пьес, в которых правдиво отражены важные черты народной жизни и страстно заявлены великие идеи нашего времени. Пьесы эти не только держат современный репертуар. Сосредоточенный в них опыт важен и для дальнейшего развития самой драматургии. Ведь искать найденное, имитируя пафос первооткрывателей, — занятие странное по малой своей полезности. Нельзя, скажем, рассуждать сегодня о воплощении современного конфликта так, словно у нас не было ни «Моего друга», ни «Глубокой разведки», ни «Великой силы»... Всякое продвижение вперёд становится осязаемой реальностью, когда новшества возникают на фундаменте накопленного опыта, складывающегося из побед и поражений прошлого и живой практики настоящего.

Уроки этого опыта разнохарактерны и многогранны. Я хотел бы сосредоточиться в этой статье лишь на одном из них. Каждый год в театрах и редакциях появляется очень много пьес, похожих одна на другую. На сцене и в памяти народной остаются только непохожие пьесы. Искусство

«косяками» не плодятся, серийности не терпит. Оно уникально. «Любовь Яровая», «Разлом», «Гибель эскадры» двойников не имеют. У «Человека с ружьём», «Беспокойной старости» нет ни копий, ни вариантов. В повседневности театральных будней они были, конечно, — и двойники, и варианты, и копии, но история обошлась с ними с безжалостной справедливостью: строка петиции в репертуарном справочнике — это всё, что от них осталось. В естественном течении жизни отбор эстетических ценностей идёт рядом с забвением пустяков и скороспелок, ничего нового в искусство не вносящих, ничего не дающих ни уму, ни сердцу читателя и зрителя.

У произведений, определяющих облик нашей драматургии, есть много общего. Когда мы говорим о чертах социалистического реализма — о правдивом изображении действительности в её революционном развитии, о сочетании правдивости и конкретности художественных изображений с задачей воспитания трудящихся в духе коммунизма, — мы говорим обо всём лучшем, что есть в советской драматургии, о её тенденциях и свершениях, о её прошлом, настоящем и будущем. Но эти общие качества советской драматургии у каждого писателя, если он истинный художник, проявляются по-разному. Социалистический реализм, как известно, предполагает величайшее художественное разнообразие, а значит — активность творческих исканий и дерзаний, своеобразие, оригинальность художественных решений в воплощении правды жизни, в реализации идейных задач искусства.

Драматическая литература, как и всякий иной вид искусства, имеет свои объективные законы, и искусство жестоко мстит за их нарушение. Но при анализе произведений драматургии всегда очень

важно видеть границы любого закона и не расширять их беспредельно путём канонизации устоявшихся привычек, влияний или модных и поэтому кажущихся общепризнанными приёмов.

В разговорах о современной драматургии можно часто слышать такие решительные слова: «писатель должен был...», «писатель обязан...» Употребляя их, мы далеко не всегда задаёмся вопросом: а где кончается власть должностований и начинается свобода творческих решений?

Канонизация художественных принципов и приёмов ведёт к утверждению в искусстве духа нормативности, сковывающей творческую инициативу художника, мешающей его смелым исканиям в области содержания и формы. Каноны, возведённые в ранг законов, часто становятся прокрустовым ложем жизненной правды, регламентируемая ими мысль художника обращается всё к одним и тем же «испытанным» сюжетам и коллизиям, робко жмётся к привычному, страшась новшеств, рождаемых развитием самой реальной действительности, жизненными наблюдениями художника и его раздумьями о жизни.

Каноны внешне враждебны субъективизму в искусстве — они претендуют на объективность и общезначимость. По своей же глубочайшей сущности они сродни худшим формам субъективизма. Ведь любой канон потому и называется каноном, что он вырастает не из данного жизненного содержания, не из конкретного писательского опыта, а из поклонения каким-то догматам и рутинным привычкам. А поклонение канонам, штампам, догматам неизбежно связано с обтёсыванием жизненной правды, с насилием над правдой: сочинённые законы искусства волонтаристски навязываются изображаемой действительности. Истинные законы искусства всегда согласны с закономерностями реальности, ибо являются их эстетическим выражением, а сочинённые — враждуют с ними.

Каноны не страшны тем художникам, которые упрямо идут в драматургии дорогой разведчиков и землепроходцев и при любых критических «веяниях» бескомпромиссно верны основным принципам социалистического реализма. Драматурги, писавшие остро конфликтные пьесы в пору самого широкого половежья «бесконфликтности», достаточно прочно защищены от увлечений канонами и догмами. Каноны

чаще всего становятся идолами писателей, творчески пассивных и робких, склонных к подражательству.

Но если бы речь шла только о ремесленниках, не способных на большее, как вечно следовать в чьём-то фарватере, тогда не стоило бы и огород городить. К сожалению, канонические истины и трафареты часто если и не покоряют, то отягощают творческую мысль драматургов, обладающих и жизненной наблюдательностью и способностью к самостоятельному творчеству. В результате и появляются у нас на сценах десятки однотипных пьес, шаблонно повторяющих друг друга. А это уже вопрос большого значения, и не только внутрилитературного, но и общественного: ведь речь идёт о реальной опасности нивелирования современного репертуара, об однообразии пьес, показываемых зрителю.

Плохими помощниками в борьбе против власти шаблона и эстетических канонов являются отвлечённые призывы к свободе творчества и искренности. Отвлечённость в таких вопросах неизбежно приводит в объятия идеалистической эстетики, как это и случилось с В. Померанцевым. Искренность и свобода, взятые в отвлечении от идейного направления и содержания творчества художника, — это фраза, какой чаще всего прикрываются те, чья искренность враждует или не совпадает с коммунистической идейностью. Отвлечённые рассуждения о свободе, об искренности — защитная краска субъективизма и мешанинского индивидуализма. Истинная свобода советского художника рождается от ощущения органичной связи с партией, с народом, когда убеждения, мысль и чувство художника объединены коммунистической идейностью, стремлением правдой искусства служить великим идеям коммунизма.

Эстетические каноны и шаблоны способны только мешать выполнению искусством этой великой его роли. Поэтому речь должна, очевидно, идти не об отвлечённой свободе творчества, а об освобождении творческой мысли художника от ограничительных влияний канонов и штампов, враждебных правде жизни.

Одно время среди драматических писателей и критиков получил довольно широкое распространение тот ограниченный взгляд на задачи современной драматур-

гии, согласно которому характер советского человека может быть раскрыт в труде только тогда, когда действие пьесы развёртывается непосредственно на производстве, а действующие лица изображаются среди машин и в разговорах о машинах. Перелистывая критические статьи трёх-четырёх-летней давности, можно найти в них немало самых категорических формулировок на сей счёт. Дело доходило до подсчётов: сколько в пьесе сцен разворачивается непосредственно на производстве и сколько — в домашней обстановке, и если первых было меньше, чем вторых, — автора начинали упрекать в недооценке темы труда и многих других грехах.

Канон «производственной пьесы» рождён клявовой мыслью.

Традиций и опыта в драматургическом решении темы труда накоплено не так уж много, а тема очень сложная. И вот некоторые драматурги под одобрительный шум критики, вместо того чтобы атаковать трудности, пошли в обход. Появились пьесы, в которых всё ограничивается непосредственным изображением столкновений людей на почве производства, то есть официально-деловой стороны явления; люди в этих пьесах низведены на положение персонажей, каждый из которых олицетворяет тот или иной принцип, ту или иную линию поведения, но полной жизнью в пьесе не живёт. Пьесы эти открывали новые разновидности производственных конфликтов, но не открывали новых людей: под разными именами мы знакомимся всё с теми же типами новатора, консерватора, предельщика и т. д., не успевая разглядеть в них ничего, кроме качеств, непосредственно связанных с их производственными функциями в жизни и сюжетными — в пьесе.

Такого рода пьесы давно уже стали достоянием эстрадных острословов, а критика их считается общим местом. «Не производство, а человеческие характеры!» — эта фраза повторяется ныне как аксиома. Но так ли уж всё ясно в этом вопросе? Ведь тема труда, изображение того места, которое занимает труд в жизни, думах и чувствах советского человека, остаётся одной из самых коренных и важных тем нашей драматургии, и рецензентскими остротами насчёт влюблённых, обсуждающих на свидании нормы выработки, нельзя отделаться от всей сложности вопросов, связанных с художественным во-

площением этой темы. Одними только критическими гонениями против любых разговоров действующих лиц о делах, которыми они в жизни заняты, этих вопросов не решишь. Можно истребить в пьесе малейшие намёки на производство, можно заставить героев пьесы все четыре действия вести умственные разговоры о музыке или объясняться в любви — и всё же не создать живых характеров, в которые поверил бы зритель, не раскрыть духовный облик человека.

Искусственное «очищение» пьесы от производственных мотивов ради выявления общечеловеческого содержания характеров — такая же односторонность, как и изображение людей только среди машин и в разговорах о машинах. Общечеловеческое существует в конкретно-исторических формах, реальные люди, которых изображает драматург, живут не в абстрактных сферах общечеловеческого, а в реальной обстановке труда и быта, в борьбе интересов, чувств, страстей, в решении задач, выдвигаемых обществом, короче говоря, в конкретных обстоятельствах, которые в совокупности образуют то, что мы зовём широким словом — жизнь.

При обсуждении вопроса о роли и месте «производственных» разговоров и деталей в пьесе часто говорят о необходимости соблюдать «меру». Но что такое мера в данном случае? Где её границы? Рационалистическое дозирование и старательная расчётливость — плохие помощники художника. Истинно драматический герой, сильный своей самостоятельностью, постигнутый автором во всей его жизненности, во всей сложности и глубине его внутреннего развития, может и пренебречь соображениями о мере. Он может, как Морис в «Глубокой разведке» А. Крона, целую сцену проговорить о производстве, не став от этого скучным резонёром, — сама его увлечённость, ощущение труда как творчества придаст его характеру необходимую поэтичность; а может быть и так, что он на протяжении целого акта, а то и двух, и не вспомнит о том, что он делает в рабочее время, но в конечном итоге, в результате всей пьесы, неизбежно скажется его отношение к труду.

И вообще постановка вопроса в такой категорической альтернативе: либо производство, либо характер — отдаёт метафизической. Любую из сложных проблем драма-

тической литературы нельзя решать разрозненно: сегодня «навалились», скажем, на конфликты, завтра занялись психологической разработкой характера... Искусственно изолируя и обособляя ту или иную проблему, можно легко убить её жизненное содержание и отдать её во власть схоластики. Художественное творчество — процесс диалектический; в образах искусства воссоздается целостность жизненной правды. Даже тогда, когда художник выделяет, заостряет одну из сторон изображаемого жизненного явления, он не забывает, если он истинный художник, о живой многогранности этого явления, о том, что каждая из его сторон существует во взаимосвязях с другими.

Поэтому вместо сочинения очередных критических рецептов на тему о том, как преодолевать канон «производственной пьесы», всегда интереснее обратиться к практике и опыту самой драматургии.

Сколько бы мы ни говорили о слабостях нашей драматургии, бесспорной реальностью её творческой практики была и остаётся глубочайшая современность — умение вторгаться в сегодняшнюю жизнь, нести в массы идеи партии, помогать решению тех задач по созданию новой жизни, по воспитанию человека нового типа, которые выдвигает партия.

Пьесы «Чудак» А. Афиногенова и «Поэма о топоре» Н. Погодина появились на заре движения передовиков производства, когда энтузиаст Борис Волгин мог ещё прослыть на своей фабрике «чудаком», а неутомимый рационализатор Степашка поражал воображение необычностью и непривычностью дел своих.

И Волгин и Степан — рядовые люди: рядовой служащий заводууправления и рядовой рабочий. Но они чувствуют себя внутренне ответственными за своё предприятие, за общее дело. Это чувство одухотворено и возвышено страстностью, энергией, творческой инициативой.

История искусства знает немало образов людей, которые горячо, иной раз с нечеловеческим напряжением сил, с вспышками страстей, доходящих до смертельных поединков, защищали свои личные интересы. История искусства знает образы подвижников, борцов за общее дело, выдающихся героев. Но в ней мало было до Волгина и Степана рядовых тружеников, которые вот с такой же страстностью отстаива-

ли бы общественное дело, воспринимая его как самое что ни на есть личное. Родословная их восходит к горьковскому Нилу с его знаменитым афоризмом: «Хозяин тот, кто трудился», к тренёвскому Шванде, который все события «в мировом масштабе» считал своим кровным делом...

Для драматургов Волгин и Степан были открытием нового типа человека. И вместе с тем — открытием новой большой правды народной жизни: раз появились среди рядовых тружеников такие люди, раз их дело подхватывают всё новые энтузиасты социалистического наступления, чтобы дать дорогу движению миллионов, значит народ поднялся ещё на одну ступень своего исторического развития.

В творческой работе создателей «Чудака» и «Поэмы о топоре», этих первых побед советской драматургии на подступах к темам пятилеток, есть что-то общее с тем стилем жизни и мышления, который утверждался их героями. С такой же одержимостью и смелостью, с какой решали свои новаторские задачи Волгин и Степан, искали писатели новые качества героя, не ожидая, когда они станут бросающейся в глаза очевидностью. Волнение первооткрывателей охватывало их, когда наблюденные в жизни зародышевые факты нового движения складывались в цельное художественное представление об образе человека нового типа. Это волнение не могло не передаться зрителю — даже недостатки «Чудака» и «Поэмы о топоре» не могли тому помешать. Рождался тот духовный контакт художника и зрителя, который делает произведение искусства событием и жизненным уроком.

Понятие «открытие» в драматургии может быть более или менее чётко ограничено только негативно — оно не имеет ничего общего с повторением пройденного, с варьированием уже созданных сюжетных ситуаций и образов. В своём позитивном содержании оно безгранично по богатству смысла. Не говоря уже об индивидуальной неповторимости людей, сами социальные типы не остаются неизменными: рождаются новые, приобретают новые качества уже известные — и всё это в великом разнообразии индивидуальных проявлений. Можно назвать любую из оставшихся в истории нашей драматургии пьес о строителях коммунизма, и в каждой из них мы увидим неповторимую конкретность реальных собы-

тий и людей, обобщающих в себе важные процессы советской жизни, раскрывающих в развитии идейный и моральный облик советского человека. И это вернейшая примета творческого, а не канонического подхода их авторов к решению тех жизненных и художественных задач, которые они перед собой ставили.

Творческие искания в этой области продолжаются и в нынешней драматургии, что бы ни говорили о ней некоторые скептики. «Весенний поток» Ю. Чепурина, «Опасный спутник» А. Салынского, «Беспокойная должность» А. Кожемякина, «Шестьдесят часов» З. Аграненко, «Годы странствий» А. Арбузова, «Сердце не прощает» А. Софронова, «Светлая» В. Лаврентьева — пьесы, разные по своим художественным достоинствам и слабостям. О каждой из них можно сказать много критических слов. Но все они — живые явления нашего искусства, идущие не от знакомой сцены, а от знакомой жизни. Каждая из этих пьес близка лучшим традициям драматургии прошлых лет тем, что в ней живёт стремление драматурга раскрыть столкновения людей на почве трудной практики как столкновения, связанные с различиями в их мировоззрении и морали, в подходе к решению коренных вопросов человеческой жизни.

Возьмём хотя бы пьесу «Весенний поток» Ю. Чепурина.

Драматургический «нерв» пьесы образует борьба между руководителями Степного строительного района Барсуковым и Тальяновым. Их столкновение приобретает большую остроту и поучительность, потому что в его основе не только разный подход к организации земляных работ, но и разные моральные принципы, убеждения, стремления.

Барсуков начинает свою жизнь в пьесе с ночного штурма: приехав во вверенный ему район с группой рабочих, он, что называется, с ходу, без отдыха, бросает их на разгрузку оборудования, хотя на улице «метёт, гудит и зги не видать». Уверенно, заигательно говорит он с рабочими, с Тальяновым... На фоне его возвышенных речений как-то тушуются трезвые слова Тальянова о том, что лучше бы дать рабочим отдохнуть с дороги, а тем временем подготовить навесы для оборудования... Но за скромной деловитостью этих слов ощущается и подлинная забота о человеке и

организованность в работе. а барсуковская «романтика» с каждой новой сценой блёкнет, так как под её тонким слоем всё отчётливее проступают уродливые черты авантюризма и карьеризма.

Барсуков воспользовался гостеприимством колхозников соседнего хутора для того, чтобы не заниматься жилищным строительством и бросить все силы на земляные работы. Спекулируя на энтузиазме строителей, он не заботится об их элементарных бытовых нуждах. Ему нужны темпы, рапорты, первенство. Во что бы то ни стало и любой ценой! Для того чтобы вырваться вперёд, Барсуков отдаёт приказ: используя всю наличную в районе взрывчатку, одним махом проложить ещё двести метров трассы канала. А когда в районе образовался очередной прорыв, рождённый неорганизованностью и вспышечностью, Барсуков не останавливается перед тем, чтобы перебросить технику с дамбы на ликвидацию прорыва... Дорого обошёлся строителям в часы паводка этот барсуковский приказ.

Поведение Барсукова имеет свои моральные основы, свою философию, вне зависимости от того, осознана она самим Барсуковым или нет. Правда, надо признать, что в пьесе эти основы не раскрыты с достаточной глубиной, но пьеса всё же даёт и актёру и зрителю немало материала для «додумывания» её центрального образа.

Все поступки и распоряжения Барсукова убеждают, что дело для него — прежде всего средство самоутверждения. Строительство он воспринимает делячески, без глубокого понимания гуманистической сущности труда советских людей. Человек с его потребностями исчез из поля зрения Барсукова. Барсуков может с бездумной, отдающей цинизмом лёгкостью пожертвовать интересами, здоровьем людей ради того, чтобы блеснуть звонким рапортом. Люди для него — лишь орудие, а не объект первой заботы. Высокие идеи о народе-хозяйине, о рабочих государства как слугах народа он воспринимает как прописные истины политграмоты, они живут только в его памяти, не затрагивая сердца. На митинге он может назвать себя и слугой народа, но в душе считает себя стоящим над массой «руководителем», «хозяйином» и не в коллективе, а в себе видит решающую силу строительства...

Деятельность Барсукова лишена политической мысли. А между тем политика властно врывается в его жизнь. Ведь строить ли сначала жилгородок или пренебречь этим делом и бросить все силы на трассу — это тоже политика. Политический смысл приобретает и борьба вокруг методов прокладки трассы. Предложение Викторова и Тальянова — полное использовать землеройные машины, которые государство дало строителям, — связано с тем, что они верят в советских людей, в их умение и решимость оседлать технику и в свою способность организовать людей, воспитать в них лучшие качества строителей коммунизма. Барсуковская установка на взрывчатку связана с тем, что в делах строительства он рассчитывает больше всего на себя, на свою личную находчивость, на свою способность одинолично решить сложный вопрос каким-нибудь неожиданным и всеспасительным распоряжением. Где-то, в каких-то извилинах запуганной барсуковской души мерцает стародавняя идея о «толпе» и «герое». Инициативность и самостоятельность в работе вырождаются под её смутным влиянием в оголтело индивидуалистический культ собственной личности, в беспардонное самомнение авантюриста.

Почти за каждым «производственным» столкновением в пьесе «Весенний поток» встают вопросы идеологии и морали, имеющие прямое и глубокое отношение к читателю и зрителю вне зависимости от того, где он работает и сколь активно интересуется техническими проблемами гидростроительства. Речь ведь идёт не только о том, как лучше прокладывать трассы каналов, а и о том, как жить, каких держаться взглядов, чтобы человек всегда был человеком, чтобы коммунистическая чистота нашей нравственности не засорялась индивидуалистическими пережитками, мелкобуржуазным анархизмом и авантюризмом.

Не всё удалось автору пьесы в изображении основного её конфликта. В некоторых сценах драматург отступает от своего замысла и начинает одновременно с развенчиванием барсуковской философии и практики дополнительно чернить Барсукова, наделяя его чертами интеллектуальной ограниченности. Но разве дело в простой человеческой глупости, когда речь идёт о пороках морали, о неверной политике, ведущей к извращению важнейших принципов социализма! Пьеса многое теряет и от того, что характе-

ры людей, борющихся с Барсуковым и барсуковщиной, — Викторова и Тальянова — отягощены налётом риторичности.

Однако недостатки пьесы не могут заслонить того ценного, что есть в ней и что связано прежде всего с интересной попыткой Ю. Чепурина раскрыть философское и моральное содержание «производственного» конфликта, творчески, а не канонически решить проблему драматургического изображения характеров людей и их отношений, возникающих на почве трудовой практики.

Каноническое решение драматического характера начинается с подбора высказываний и действий героя, соответствующих «заранее обдуманному намерению» автора. Раз изображается новатор, значит он должен сделать то-то, сказать так-то; герой — человек умный, сильный, значит он должен быть спокойным, рассудительным, неторопливым в словах, уверенным в поступках... Такова примерно логика создания образа по принципу идеальных долженствований. Бывает и так, что автор идёт «от обратного», наделяет своего героя качествами, противоположными тем, которые уже примелькались на сцене. Но и в том и в другом случае лепка характера «через соображение» ничего путного не даёт и дать не может, такой способ создания драматургических образов легко увлекает творческую мысль писателя по накатанной дорожке штампов.

Каноны в этом деле поддерживаются той частью критики, которая качается между двумя концепциями положительного образа: «герой должен быть во всём идеальным, чтобы быть положительным», и «герой должен обладать недостатками, противоречиями характера, чтобы быть по-человечески живым». Концепции эти сформулированы здесь схематично, — в памятной всем нам предсъездовской дискуссии они часто усложнялись системой оговорок и вариаций, но суть их примерно такова.

Расписание драматического характера по шкале нормативных долженствований способно только подорвать его жизненность. Сила заключённого в драматическом герое «примера для подражания» определяется не рассудочной идеальностью или сконструированной «живостью» характера, а значимостью воплощённой в нём и выражающей его сущность социальной идеи, убеждающей его яркостью её воплощения. Только в этом смысле и можно говорить о нормах поведе-

ния драматического героя — о тех нормах, которые определяют его место в жизни, в конфликте пьесы, в борьбе нового против старого.

Человек может быть добрым или злым, уравновешенно-спокойным или экспансивным, быстрым или неторопливым в действиях. Но истинно положительным героем драмы он станет лишь тогда, когда любое из этих индивидуальных качеств не помешает ему найти верную линию социального поведения. Если добрейший человек не сумеет стать очень злым в драке, когда такая драка общественно необходима, идеал же он герой! Точно так же злой станет добрым и даже нежным, экспансивный сдержит себя, спокойный взволнуется, когда возникнут соответствующие обстоятельства...

Идейная целеустремлённость и социальная активность — это качества, общие для самых разных людей, если идёт речь о положительных героях. Без полного и глубокого раскрытия этих качеств нет яркого драматического героя.

Коэффициент полезного использования жизненного материала в драме не поддаётся арифметическому исчислению. Но можно с полной уверенностью сказать, что и наповину не реализует возможностей драмы для раскрытия человеческих характеров тот писатель, который «потребительски» использует обстоятельства жизни, благоприятствующие победе героя, — не обрекает героя на трудную борьбу, а делает его лишь исполнителем несложных сюжетных функций, с очевидностью вытекающих из благоприятствующих ему обстоятельств. Ведь когда, скажем, жулик «насквозь ясен» и припёрт, что называется, к стенке, засудить его могут даже недалёкий прокурор и слабохарактерный судья — у них под руками уголовный кодекс, подсудимого охраняет милиционер... На истинно драматическую борьбу со злом способны только сильные. И только сильные люди, идейные борцы, волевые и твёрдые, с широким размахом мысли и дела, способны пойти в атаку на серьёзные трудности, способны решать сложные задачи.

В жизни чрезмерные надежды на обстоятельства объективно связаны со ставкой на самотёк: кто слишком часто уповает на то, что «всё образуется», «всё будет, как надо», «ведь мы живём в такое время», тот обычно мало делает. В драме самотёк образуется от слабой загрузки драматического героя. Герою в такой драме легко живётся и всё лег-

ко даётся: противники похожи на одуванчики — дунул, и нет их, трудности — на картонные барьерчики, — стоит только пальцем пошевелить... О каком уж тут раскрытии характеров может идти речь, когда взрослые люди заняты делами, приличествующими только детскому возрасту: расправой с одуванчиками и сокрушением картонных барьеров!

Обстоятельства нашей жизни, строй и стиль её, законы и нравы нашего общества способствуют победе всего светлого, хорошего, человеческого, способствуют утверждению в жизни только самых высоких народных идеалов. Но победа в любом деле не приходит сама, её завоёвывают люди — они всё решают. Победа завоёвывается действием. Однако само по себе простое воспроизведение действия ещё не открывает героя до конца. Ведь мы ещё не знаем, с какой степенью готовности совершил он это своё действие. Совершил потому, что не мог иначе, даже оставаясь наедине с собой, или же его подстёгивало общественное внимание? Действовал он в полную силу, с напряжением, или у него ещё оставались внутренние резервы? Могут возникнуть и другие аналогичные вопросы, и на них на все драматург ответит раскрытием мотивов действия. Обнажение мотивов даёт возможность оценить не только данное действие, но и прошлое человека — как он был к действию подготовлен, и будущее его — каких действий от такого человека можно ожидать.

Тут мы подходим к вопросу о самостоятельности драматического героя. Вопрос этот давно уже интересует поэтику драмы, ибо драма изображает человека в действии и нет у неё иных путей показать его силу, кроме как в непреклонной самостоятельности его действий.

В идеалистической эстетике вопрос о самостоятельности драматического героя наиболее отчётливо и последовательно был поставлен Гегелем. Гегель писал, что «героический период» истории имеет для искусства то преимущество по сравнению с позднейшим, более развитым состоянием общества, что действия отдельного человека тогда всецело сохраняли индивидуальную форму, исключительно зависели от индивидуумов, не стеснённых необходимостью, которая создаётся присоединением личности к «объективной разумности независимого от субъективного произвола государства» с его правовыми и нравственными нормами. Не

случайно, например, что Шекспир черпал материал для многих своих трагедий из старинных новелл и хроник, повествующих о таком состоянии, в котором индивидуум остаётся господствующим в отношении решений и исполнения решений. Важнейшей особенностью шекспировских произведений Гегель считает то, что в них «почин установления известных состояний и совершения важных действий исходит от суровой самостоятельности и своеволия индивидуальных характеров».

Идеалист Гегель не мог понять реальной диалектики развития свободы и необходимости, реальных взаимоотношений человека и общества.

В позднейшие периоды развития буржуазной драматургии эти положения гегелевской эстетики послужили основой для проповеди голтелого индивидуализма и волюнтаристского своеволия взбесившегося мещанина. Упадочная буржуазная драма на все лады воспекает личность, «свободную» от общества, от общественных связей и законов, в основе всех действий которой лежит только субъективистский произвол. Надо ли говорить, что этой проповедью свободы человека от общества прикрывается жесточайшее порабощение личности, иллюзией мнимой «свободы» реакционная литература пытается убить в человеке волю к борьбе за реальную свободу.

Разумеется, самостоятельность героя советской драмы не имеет ничего общего с волюнтаристским своеволием — она противоположна по своему социальному смыслу субъективистской иллюзорной «самостоятельности» буржуазного мещанина. Герой советской драмы действует не с безрассудной произвольностью, а во всеоружии знания объективных законов общественного развития, с трезвым учётом обстоятельств, в которые он жизнью поставлен, используя могучую силу коллектива, опираясь на эту силу. Его мысли и чувства проникнуты пониманием норм и традиций советского общества, его действия целеустремлённо подчинены общественным задачам, которые перед ним ставят партия, государство, народ.

Но ролью простого помощника обстоятельств он довольствоваться не может. И когда иной неумелый драматург заставляет его быть исполнителем лишь ограниченных сюжетных функций — «от селе до селе», — он, этот герой, перестаёт быть самим собой.

Самостоятельность драматического героя проявляется прежде всего в его инициативности. Положительный герой, воплощающий в себе лучшие черты советского человека, — герой инициативный. Он реализует свои идеалы и цели через инициативное действие. Этим определяется его место в развитии конфликта.

В пьесе новосибирского драматурга В. Лаврентьева «Светлая», показывающей такого героя, его называют так: «верный человек». Очень точное слово! Когда на том или ином участке нашей многотрудной строительной работы стоит такой верный человек, партия и народ, поставившие его, могут быть уверены: не подведёт. Ему не нужно каждодневной подсказки и мелочной опеки, чтобы он делал всё, что нужно и как надо. Он сделает даже больше, чем нужно по должности, — ведь для него нет ничего такого, что было бы «больше, чем нужно» по долгу и обязанности коммуниста, передового человека. Он не видит различий между «могу» и «должен»: раз могу, значит и должен!

Когда на его жизненном пути встречается какое-то зло, он не обойдёт его стороной из желания сохранить своё спокойствие или в надежде, что нелёгкую работу по уничтожению зла сделают другие. Честность для него — это действие, борьба, а не пассивная охрана своей нравственной невинности. Его внутренний мир, строй мыслей и чувств таковы, что он будет себя считать последним подлецом, если в какую-то минуту душевной слабости переложит на других честь повоювать со встреченным им злом. Поэтому он вступает в борьбу не только по необходимости, когда его к тому понудят люди или обстоятельства, но и по доброй воле, по зову своей гражданской совести, по велению своих коммунистических убеждений. Он не ждёт врага, а нападает на него, атакует и уничтожает.

Положительный герой, наделённый таким строем души, такой последовательностью убеждений и принципов, глубоко конфликтен, он сам создаёт конфликты, без которых мог бы обойтись, будь он менее принципиален. А в конфликтах, возникших помимо него, он до конца обнажает таящиеся в них противоречия, обостряет борьбу, чтобы эти противоречия разрешить всерьёз и бесповоротно, а не ограничиться полумерами, когда противоречия решаются лишь в их самых кричащих и бросающихся в глаза проявле-

ниях, а остальное загоняется вглубь, — и они разрастаются там впредь до нового и, может быть, ещё более опасного взрыва.

В отличие от такого героя, обыватель бесконфликтен — в том смысле, что он хочет покойного существования и старается, по возможности, избегать столкновений и конфликтов. Правда, ему приходится ради осуществления своих корыстных целей хитрить, обманывать, ударом в спину сбивать со своего пути честных людей, пускаться во все тяжкие подлости и жульничества — и тут он бывает часто очень агрессивен. Но при этом он всячески избегает «осложнений» — будь то встреча с прокурором или прямая, открытая дискуссия с идейным противником. Его идеал — чтобы всё было шито-крыто и чтобы можно было спокойно заниматься приобретательством или карьерой без риска вступить с кем-то в конфликт.

Передовой советский человек, в противовес обывателю, идёт на любые осложнения и открытые схватки во имя своих идеалов и целей — иначе он просто не может.

Всё это — черты не какого-то придуманного абстрактного героя, составленного из канонических долженствований и правил образцового поведения, — мы их каждодневно видим в поведении и делах самых разных по характеру и облику советских людей. В нашей стране вырос человек нового типа — человек коммунистического миропонимания; идеи партии для него — это своё родное, они определяют его чувства и действия, наполняют жизнь великим смыслом и создают оптимизм мироощущения, прочный и нерушимый не только в дни победных успехов, но и тогда, когда возникают серьёзные трудности в работе или приходится идти на борьбу с очень опасным противником.

К таким высоким нормам социального поведения каждый идёт по-своему — тут сказываются и особенности воспитания, биографии, темперамента, мышления и характер обстоятельств, окружающих героя... Сторонники нормативных концепций «положительного образа» не учитывают этого, недооценивают то, что в искусстве живёт только конкретное, индивидуальное и вне этой конкретности нет идеи дороги в мир художественного произведения, — этот мир создаётся жизнью образов, а не системой намерений и замыслов.

Сторонники нормативных концепций и

канонов как бы перевёртывают творческий процесс с ног на голову. Станиславский в своё время критиковал тех актёров, которые «играют результат». Но ведь ту же ошибку совершают и драматурги, которые начинают работу над образом с результата, с расписывания функций, идей, высказываний героя по контурам заданного характера.

При каноническом решении характера невозможно добиться органичности, цельности в соединении мыслей, чувств, слов, поступков героя, они так и останутся сосуществующими, более или менее умело прилаженными друг к другу. В результате даже герои, задуманные как духовно яркие личности, наделённые богатством идей, мыслей, часто оставляют впечатление блёклости, неинтересности.

Ведь всякая хорошая идея, высказанная героем, только тогда хорошо его характеризует, когда она органична. Даже очень умная и нерушимо верная мысль может прозвучать в его устах в ущерб ему, если её сопровождает душевный холод, — она обернётся равнодушием риторики. Оставаясь лишь в памяти, хорошая идея создаёт эрудита; переходя в сердце, в эмоции, она рождает красоту души. Душевному богатством человека становится только идея, согретая чувством.

С героями «Платона Кречета», например, мы и сейчас встречаемся, как со своими реальными знакомыми. Некоторые проблемы, которыми жили они, уже многое утратили в своей злободневности и не воспринимаются нами во всей полноте их конкретного содержания, а люди эти живут в своей первозданной реальности, словно время бессильно над ними, и о них многое могут порассказать не только актёры, но и зрители.

Перелистаем некоторые сцены пьесы.

...В доме Платона Кречета собрались его сослуживцы: Терентий Осипович, Валя, Стёпа. Вместе с Марией Тарасовной, матерью Платона, они ждут опаздывающего именинника. На столе — вино, закуски. Времени свободного много. Наступает пора лирических излияний.

« — Стёпа и Валя, — говорит, обращаясь к молодым друзьям, Терентий Осипович, — три года я знаю вас. люблю вас, но сегодня мне больно — вы не замечаете, как взволнован механический гражданин, бывший земский врач Терентий Осипович Бублик».

Бублик далее сообщает, что он уже двадцать пять лет работает в больнице, приняв девяносто тысяч больных, выслушал девяносто тысяч пульсов. И вот какие мысли вызвали слова старого доктора у молодых его коллег:

«В а л я. ...Я завидую нашим стратонавтам: они идут в стратосферу. Им дано слышать пульс вечности... Я буду пилотом.

Т е р е н т и й О с и п о в и ч (грустно). А наше дело, Стёпа, слушать пульс больных...

С т ё п а. Девяносто тысяч пульсов, Терентий Осипович, — это двери в нашу атмосферу. Вы тоже пилот».

В каждой из процитированных реплик, помимо непосредственно биографических фактов из жизни действующих лиц, речь идёт о конкретных фактах истории, создающих «колорит времени»: мы понимаем, что действие пьесы происходит после гневных выступлений Горького против «механических граждан», после первых дерзких рывков советских людей в стратосферу. Но упоминание об этих фактах не сводится к иллюстрированию газетной хроникой «обстановки действия». Нет, факты истории, преломляющиеся в сознании действующих лиц — каждый раз по-своему, каждый раз индивидуально, — открывают конкретные особенности психологии советских людей тридцатых годов.

Старый врач Бублик с горькой иронией говорит о себе, как о механическом гражданине. Он не браврирует этим, не хвастается, он просто боится, что в нём ещё есть что-то от «механического гражданина», а он уже не хочет никаких сходств с этой категорией людей. И, очевидно, не раз и не два — особенно после появления знаменитых статей Горького — проверял себя Терентий Осипович перед своей требовательной совестью... Так мы одновременно узнаём и о фактах времени и о том, как они были пережиты старым доктором: мы воспринимаем факты через человека, через призму его чувств и раздумий, а это всегда сильнее, чем просто информационное сообщение о фактах.

Весьма характерна для людей тех лет и мысль, высказанная Стёпой: у каждого советского труженика, на каком бы внешне «негероическом» посту он ни работал, есть своя стратосфера.

В суровые, трудные годы Великой Отечественной войны лучшие производственные

бригады предприятий тыла объявляли себя «фронтовыми бригадами»; сейчас советские труженики самых «спокойных» профессий, когда нужно отметить что-то хорошее в работе товарищей или сосредоточить максимум усилий на трудном деле, вспоминают о тех, кто работает на далёких целинных землях или на дрейфующих полярных станциях... Всё это явления одного ряда. Равняться на самое высокое в советской жизни, на максимальные взлёты энергии и воли советских людей, видеть на каждом участке труда свой полюс, свою стратосферу, свой фронт, свою целину — стало традицией нашей жизни, характерной чертой идейного и морального облика советского человека. Поэтому чувства и мысли, высказанные Стёпой, близки, понятны нам, хотя мы сейчас и меньше, чем в те, уже ставшие далёкими годы, говорим о полётах в стратосферу: изменилось конкретное обличье этих мыслей, осталась обогащённая временем их человеческая сущность.

Образы положительных героев создаются в «Платоне Кречете» не нанизыванием многочисленных положительных функций, слов, действий, а точным отбором таких многозначительных деталей речи и поведения, которые дают возможность ощутить, понять яркость и глубину человека — и не только то, что присутствует в пьесе как непосредственно данное, но и пока что не выявленные душевные качества, силы и резервы.

Сам Платон поначалу, при встрече с Лидой, Берестом и Аркадием, немногословен, даже суховат. Он никогда не аттестует себя торопливой саморекомендацией. Но немногие слова его полны внутренней энергии, за ними — раздумья, переживания, душевные движения. Поэтому в его речах так органично сливаются сухая проза и поэтическое волнение, сдержанная деловитость и возвышенная патетика мысли.

«Л и д а. Вы оперируете только рак?»

П л а т о н. Не только. Разбитые черепа, люди, искалеченные, изуродованные трамваем, авто, — это для нас прекрасный материал, чрезвычайно интересный.

Л и д а. Как могут привлекать искалеченные люди! У меня кровь стынет от ваших слов. Вас занимает такой «материал»?

П л а т о н. Я люблю сложные операции. Хирург обязан быть вооружённым. Или вы, быть может, полагаете, что в будущих боях мы будем спасать раненых героев

нашей армии каплями датского короля, а к ранам будем прикладывать тончайшие переживания вашей лирики?»

То ли из боязни фразы, то ли по застенчивости Платон часто выражает свои мысли вот так сдержанно и строго, иногда даже сухо. Первая из его реплик в процитированном отрывке может показаться и на самом деле холодной, бездушной. Но как согревают её последующие слова — ответ Платона Лиде!

От прозы повседневной хирургии мысль Платона с естественностью возвышается до размышлений о возможных в будущем битвах и о месте хирурга в боевом строю народа. Деловитая немногословность в выражении мысли, решительная ирония по адресу сентиментальной романтики — всё в этом ответе Платона свидетельствует о том, что высказанное им передумано, пережито, устоялось. Однако в его монологе нет ничего от облегчённого сочетания привычных слов: глубокая мысль настоящего человека никогда не бывает штампом, многократно передуманная и высказанная, она всё равно сохраняет неистраченную силу свежести.

В пьесе живёт только пережитое слово. Пережитое героем, а не автором. Автора может взволновать найденный им оборот речи, но, если в этой речи не высказается живое волнение героя, она никого не взволнует и автор останется одиноким, непризнанным в своих стремлениях и чувствах.

Оговоримся: бывают случаи, когда писатель изображает человека, который бездумно сорит словами, не вкладывая в них глубоких эмоций или маскируя ими свои истинные намерения.

В «Платоне Кречете» это Аркадий. Он с упоением отдаётся словесности, щедро усыпая свою речь патетическими афоризмами, которые могли бы — поверь в их искренность слушатель — показаться музыкальной.

« — Ты блестяще, с чувством большого достоинства разбила оппонентов. Они умолкли, как щенята. Что может быть благороднее гордости юного человека — творца! Ты имеешь право на гордость, ибо ты творец...»

Это — в начале разговора с Лидой о проекте санатория. А в конце этого же разговора он говорит Лиде:

« — Ты не имеешь права оставаться здесь. Тот, кто осознал величие наших дней, кто хочет мыслить масштабами эпохи, тому душно здесь, среди мелких дел».

Слова Аркадий использует большие, крылатые, но они созданы для прославления творчества, а Аркадию понадобились только для того, чтобы покрасоваться перед невестой, польстить ей, а затем высокими мотивами попытаться «обосновать» и оправдать мелкие, обывательские стремления.

Получается разительный контраст: Платон говорит мало, но за его словами слышится истинная музыка большой души и чистого сердца. Аркадий щедр на слова, но за словами его всё отчётливее и непригляднее вырисовывается опустошённость, бессердечность, обывательское своекорыстие. Если бы он заговорил «от души», ничего не осталось бы в его монологах от «масштабов эпохи» и «величия дней», остались бы только мелкие и жалкие словечки и присказки обывателя, озабоченного удобствами личного устройства.

Непережитость хороших слов, их почти механическое воспроизведение — в данном случае краска образа, очень точная характеристика Аркадия. Но часто ещё бывает и так, что мы встречаемся с такими же непережитыми словами в речах положительных героев, и тогда результат творческих усилий получается печальный: драматург задумал доброе, а написал карикатуру на советского человека.

В самых плохих и фальшивых пьесах, отвергнутых в последнее время театрами и раскритикованных печатью, есть положительные герои — по крайней мере по номенклатуре, — они совершают положительные действия, говорят верные слова и даже перед финальным занавесом посрамляют зло. Но в правду их борьбы со злом никто не верит. Шаблонный, формально написанный герой подрывает не только сюжетное развитие конфликта, но и силу высказываемых им исходно хороших мыслей. Обычно такой герой торопится, подгоняемый автором, высказать эти мысли, не успев пережить их; идеи и нравственные проповеди идут у него впереди вызвавшего их чувства — из памяти, а не из сердца, становясь оттого бесплотными, декларативно-риторическими, а сам герой приобретает черты бездушного проповедника, говорящего «как по-писаному» о том,

о чём не смог на языке искусства поговорить драматург.

Герой, чьи неповторимо-индивидуальные мысли и чувства не постигнуты автором, обычно реагирует на всё на свете шаблонно. Стоит только возникнуть в пьесе какой-то ситуации, прозвучать какому-то высказыванию или вопросу, как сразу же возникает ответ, всегда такой, какого от него ждёшь, вспоминая аналогичные ситуации в других подобных пьесах. Ну, просто не реплики, а условные рефлекс! С поразительной и — прямо скажем — оскорбительной для его человеческого достоинства автоматичностью реагируют герои на те ситуации, в которые их ставит автор ходом пьесы. Никаких тебе зигзагов и неожиданностей, всё как по расписанию. И всё слышано, видано, привычно! А когда человек в пьесе на всё реагирует шаблонно, по закону условных рефлексов, а не по логике индивидуальных переживаний, он неизбежно становится удручающе безликим, неинтересным и примитивным: богатство души по трафаретам не изготовляется.

В «Платоне Кречете» есть всякие люди: цельные, как монолит, и такие, в которых новое соседствует со старым, и, наконец, такие, в которых ещё прочно господствует индивидуалистическая мораль старого мира. И каждый из них очень индивидуален — его не распишешь по стандартной шкале добродетелей и пороков. Поэтому и душевное богатство и нищета духа получают здесь каждый раз конкретные, убеждающие выражения.

Автор не уклоняется от оценки своих героев, он определёнен и в утверждении и в осуждении, а если и изображает фигуру противоречивую, как Бублик, он не воздерживается от определённости в выделении ведущих начал противоречивого характера. Но он не начинает драматургически «играть результаты», а идёт от индивидуальности каждого человека, всегда неожиданной, неповторимой, интересной. Определённость оценок рождается как результат всего драматического действия, как равнодействующая всей системы человеческих столкновений и отношений, изображаемых в пьесе.

При таком изображении действующих лиц у критика вряд ли появится желание «усовершенствовать» идеальность Платона Кречета, сделав его более общительным,

менее сухим, или «освободить» Терентия Бублика от осложняющих его внутренний мир противоречий... Они, эти герои, — вот такие, какими мы их видим, а сверх этого они ничего не должны изображать собою, чтобы плотнее улечься в сетку какого-нибудь канона.

В писательских организациях и в критике в последнее время заметно повысился интерес к проблеме жанра в современной драматургии. Острота этого вопроса определяется тем, что в нашей драматургии долгое время оставались в загоне некоторые важные жанры. Почти совершенно исчезла со сцены комедия; не разрабатывался жанр трагедии; обращаясь к прошлому, драматурги чаще всего создавали хроникальные биографические пьесы и крайне редко поднимались до исторической драмы.

Однако в обсуждении проблем жанра в драматургии наметилась одна опасная крайность: некоторые наиболее рьяные поборники жанровой определённости настойчиво требуют от драматических писателей, чтобы они в каждом случае соблюдали чистоту жанра; чистота жанра возводится при этом чуть ли не в ранг художественной необходимости, обязательного закона. На самом же деле, конечно, такой необходимости не существует. История литературы знает немало примеров, когда очень интересные произведения создавались как раз на стыках жанров. И начинать борьбу за жанровое разнообразие и богатство драматургии с призывов к «чистоте жанра» — это значит идти не вперёд, а вспять, возвращаться к тем стародавним спорам, которые велись между сторонниками классицизма и их противниками, выступавшими против превращения жанровых канонов в оковы искусства.

Практика современной драматургии показывает, что при обсуждении проблем жанра следует выдвигать на первый план не вопросы жанровой определённости, не, тем более, вопросы «чистоты жанра», а вопрос о более широком использовании возможностей жанра, о более смелых творческих исканиях писателей в разработке каждого из жанров.

С точки зрения «чистоты жанра» трудно предъявить какие-либо претензии к такой, например, пьесе, как «Залп «Авроры» М. Большинцова и М. Чиатурели, а между

тем при работе над этой пьесой Художественный театр испытывал огромные трудности, связанные как раз с недостаточно активным использованием её авторами возможностей избранной ими драматургической формы.

В пьесе «Залп «Авроры» исторически правдиво показаны многие события, сосредоточенные в небольших по количеству времени, но огромных по историческому размаху и значению границах. Но одни только сценические картины событий, одни массовые сцены не могут дать всестороннего и глубокого представления о времени. Нельзя по-настоящему показать народ, не показав крупным планом народные характеры, не дав эмоционально яркого и исторически конкретного представления о людях, которые составляют народ, каждый внося в его величие свою долю. Судьба народная не раскрывается вне судеб человеческих. Историческая хроника может обрести трёхмерность — не только размах, но и глубину, — когда на первый план выйдут в ней люди, творцы истории. Пусть в ней не будет такой же концентрации действия и сюжетной напряжённости, как в драме, но она не может обходить главную задачу драматургии. При ознакомлении же с «Залпом «Авроры» возникает ощущение, что жанровое определение пьесы возникло не из художественной её природы, а в оправдание её недостатков: не получилось исторической драмы — назовём «исторической хроникой». Но вель жанр исторической хроники предъявляет авторам свои требования: без изображения «сквозных характеров», раскрываемых в широком потоке исторических событий, «историческая хроника» не может стать глубоким произведением драматической литературы.

Многие эпизоды «Залпа «Авроры» решены иллюстративно: авторы как бы демонстрируют известные всем события, творчески не углубляясь во внутренний мир их участников. Процесс художественного изображения не стал для них процессом «художественного освоения», познания действительности, они просто показывают познанное, расцветивают диалогами и живыми картинками уже сложившиеся представления о событиях истории.

Иным путём идёт Б. Лавренёв в своём «Лермонтове».

В пьесе есть такая сцена. Бенкендорф и Дуббельт рассматривают дело Лермонтова в связи с распространением по Петербургу его знаменитого стихотворения «На смерть поэта». Всесильный шеф жандармов взбешён, однако считает, что давать волю гневу не следует: «в нынешних обстоятельствах было бы неразумно уделять слишком большое внимание этой выходке», смерть Пушкина произвела невиданную смуту в умах — время не для крутых мер...

Николай, собственной персоной явившийся в Третье отделение, требует самого сурового наказания Лермонтова: «В солдаты мерзавца! Без выслуги! Сгноить в строю!» Но умный Бенкендорф понимает, что такие меры чреваты немалыми опасностями для трона. Сейчас надо успокаивать, а не возбуждать общественное мнение. Потом можно будет как следует расправиться с мятежным поэтом. Теперь же надо уберечь государя от опрометчивых действий. И вот Бенкендорф начинает.. защищать Лермонтова от Николая. Разговор с императором он ведёт хитро, осторожно, умно и настаивает на своём: Лермонтова тем же чином перевести в нижегородские драгуны, приказывает Николай.

Перед Б. Лавренёвым стоял вопрос: почему за такое страшное для самодержавия стихотворение Лермонтов был наказан сравнительно мягко, а позже за пустяковый проступок он понёс неизмеримо более суровое наказание? Своей пьесой он даёт ответ на этот вопрос — даёт не литературоведческими выкладками, а средствами драматического искусства. Он убеждает нас в своей правоте, воссоздавая кусок жизни, показывая характеры людей и их сложные взаимоотношения, проникая в духовный мир участников изображаемого события, раскрывая строй и ход их мысли, мотивы их поступков. Это не статья, превращённая в драматическую сцену, а драматургически воспроизведённая жизнь.

В пьесе Б. Лавренёва не всё равноценно. Автору, например, решительно не удалась сцена встречи Лермонтова с Белинским. В композиционном построении пьесы заметен элемент хроникальности. Но автору не понадобилось называть пьесу хроникой в объяснение её слабостей: «Лермонтов» — это драма и по жанровому определению и по стилю. В ней есть и комедийные сцены и даже фигуры, обрисованные с гротеско-

вым заострением (такова чета Нессельроде), но ощущения жанровой чересполосицы нет — драматургические приёмы и краски, используемые автором, рождаются из органичного видения содержания и смысла изображаемого.

Вопрос о жанровом разнообразии и о максимальном использовании возможностей каждого жанра всегда приобретает особую остроту, когда речь заходит о комедии. Комедия, как известно, понесла наибольший урон в годы распространения «теории» бесконфликтности. Любители канонических истин и эстетического догматизма чаще всего проявляют активность именно в суждениях о комедии. Предъявляя комедии требования, противоречащие её природе, они своей догматической критикой убивают комедию; ратуя за правдивость, осуждают любые формы комедийного заострения; отстаивая принципы высокой социальной комедии, высокомерно третируют лирическую комедию, обозрение, водевиль, а если берутся защищать водевиль, то всей системой своих догматических суждений закрывают дорогу комедии социальной, отказывают в признании комедии героической. Каждая эстетическая идея, защищаемая ими, обычно ставится в исключительное положение некоего универсального правила, становится формой законодательства.

Догматизм чаще всего вступает во враждебные отношения с комедийным смехом. А комедия без смеха — не комедия, поэтому воевать против смеха или тихонько вытеснять его системой ограничителей — значит убивать комедию, лишать её красок, которые наиболее специфичны для жанра.

Но смех, могут сказать любители более сложных жанровых определений, встречается и в драме и даже в трагедии: вспомним великолепные по живому комизму сцены с шутами в шекспировских трагедиях. Всё это бесспорно, и грешно было бы из формальных соображений о чистоте жанра закрывать смеху дорогу в другие жанры, скажем, в ту же драму. Однако в любом ином жанре смех — лишь один из элементов, причём элемент необязательный, а комедия без смеха просто не существует. Более того, сила смеха берётся комедиографом в расчёт уже при определении замысла, при разработке сюжета, а отнюдь не сосредотачивается только в комедийно обработанных диалогах и ремар-

ках. Специфика комедии рождается при выборе предмета комедии и получает своё развитие в способах драматургической обработки материала, в приёмах ведения сюжета и диалога, в насыщении комизмом живой речи персонажей, в манере изображения их отношений и обстановки, в которой они живут.

Можно сказать, что смех — это форма комедийного познания действительности: он возникает, когда изображаемое в комедии явление увидено, понято в своих наиболее уязвимых, то есть наиболее смешных чертах. Над таинственным и страшным не смеются, страх несовместим со смехом. Осмеянием смешного и уродливого комедия помогает человеку возвыситься до понимания преодолённости зла, до светлого чувства возвышения над ним. Смех возбуждает активность в борьбе с безобразиями, ставшими предметом комедии.

Осуждая такие порочные, лживые пьесы, как «Наследный принц» А. Мариенгофа, «Деятель» И. Городецкого, «Гости» Л. Зорина, некоторые критики писали об отсутствии в них сатирической остроты. И этот упрёк справедлив в отношении всех названных пьес, хотя, казалось бы, он мог быть впрямую адресован только пьесе Городецкого, так как остальные не являются по жанровому определению сатирическими комедиями. Справедлив прежде всего потому, что самый выбор предмета изображения в данном случае диктовал необходимость сатиры. Когда драматург со вкусом живописует пакости там, где — жизнь того требует! — должен свистеть бич сатиры, он неизбежно потерпит поражение. Подлинной сатиры нет в названных пьесах. Есть неврастенический испуг перед носителями имеющегося в жизни зла, есть фальшивые ноты в объяснении этого зла, есть брюзжание и жалобы, но нет боевой, победоносной, очистительной сатиры.

Конечно, ошибки этих пьес нельзя объяснять только эстетическим просчётом, отпазом от жанровых красок, которые направились при решении избранной темы. Но этот просчёт сыграл свою роль, ещё раз показав, как глубоко взаимопроникают в художественном творчестве эстетика и политика.

В той же мере, в какой невозможна комедия без смеха, не нужна и комедия, в которой смех рождается не познанием смешного в жизни, а внешним развлека-

тельством, пустопорожним острословием, искусственными приёмами комедийного ремесленничества.

Далеко не всякое смешное событие может служить источником сценического комизма. Простое чередование внешне забавных, а внутренне бессодержательных происшествий — стихия комедийного ремесленничества. Область подлинно реалистической комедии — события и человеческие отношения, в которых отчётливо обнаруживаются тающиеся в жизни противоречия и конфликты.

Естественный и свободный комизм на сцене рождается только тогда, когда объектом осмеяния стали вещи, действительно достойные осмеяния. Нарушение этого условия неизбежно сводит на нет силу комедии.

Старание смешить во что бы то ни стало, когда объект смеха выбран неудачно, может стать прямо-таки безнравственным: нельзя заставлять людей смеяться над тем, над чем смеяться им стыдно, — такой смех будет враждовать с их взглядами на жизнь.

Наряду с выбором предмета комедии, с сюжетным развитием комедийного действия огромное значение для её успеха имеет её язык. Очень часто хорошие комедийные замыслы вянут, не расцветая, а характеры комедийных персонажей утрачивают свою живость из-за того, что автор нивелирует их язык, лишает его остроты, живого юмора, афористичности, заставляя действующих лиц разговаривать тем «приблизительно-правильным» языком, который похож на речь многих, но лишён индивидуальных красок и фактически является языком «ничейным», условным.

Часто это происходит потому, что драматурги односторонне понимают борьбу за чистоту языка, не дополняют её не менее энергичной борьбой за его богатство и разнообразие, а язык «очищают» настолько, что он становится одностильным и у передового образованного человека и у какого-нибудь жуликоватого проходимца и невежды. А ведь в живой речи тоже отражаются жизненные различия и столкновения между людьми!

Недостаток этот присущ не только комедии, но и всем другим жанрам драматической литературы.

К сожалению, театральная критика всё ещё не развернула достаточно активной

борьбы за языковое богатство драматургии. Более того, в критике иногда находит поддержку неправильное, одностороннее понимание принципов работы над драматическим языком.

Много занимавшийся проблемами языка А. М. Горький неоднократно подчёркивал, что крупные, яркие характеры людей нельзя создать без яркого слова, без широкого использования богатств народного языка. Во имя умножения действенной силы слова в литературе он вёл непримиримую борьбу против замусоривания языка местными речениями и просто выдуманскими словами, чуждыми духу общенародного языка. А увлечения словесным мусором в годы, к которым относятся известные выступления Горького о языке, были велики, и Алексей Максимович в полной мере учитывал их опасность: ведь дело доходило до того, что многие страницы литературных произведений просто были непонятны народу — настолько они были захлаплены в языковом отношении.

С тех пор многое изменилось. Редко-редко можно встретить сейчас отзвуки былых увлечений. Писатели, если говорить о современной драматургии, пишут, как правило, чистым, ясным языком, следуя его общенародным нормам. Но и по сей день не изжит другой языковой недостаток пьес, на который тогда же, в тридцатые годы, обращал внимание А. М. Горький, указывая, что «общим и печальным пороком нашей молодой драматургии является прежде всего бедность языка авторов, его сухость, бескровность, безличность» («О пьесах»). Однако в некоторых критических статьях о языке драматургии пишется так, словно за два десятилетия ничего не изменилось в драматургии, словно и сейчас одинаково распространены оба указанных Горьким недостатка в работе писателей над языком. Их авторы снова и снова повторяют горьковские слова о борьбе за чистоту языка, подчас доводя эту борьбу до абсурда, до полного отрицания различий между повествовательным языком литературы и речевым языком пьесы, до требования дистиллирования языка действующих лиц. Вместо действительной борьбы против реальных недостатков современной драматургии они автоматически повторяют статьи прошлых лет и десятилетий, а если обращаются непосредственно к критике языка пьесы, то ограничивают свою роль указанием на отдель-

ные «соринки» и почти никогда не указывают на языковые находки. Дело дошло до того, что в одной из своих статей П. Пустовойт упрекнул автора пьесы «Кандидат партии» А. Крона за такие слова и выражения: «торопили, торопили, а теперь все распозлелись», «какой бес меня за верёвочку дёргает», «это уже называется зажраться», «ехидна», «а после закатимся куда-нибудь» и т. п.

Объективно такая критика толкает драматурга на искусственное приглаживание разговорной речи, на безликое чистописание. И это очень ленивая борьба за чистоту языка. Она не требует изучения особенностей разговорной речи, богатств народного языка. Найти несколько нескладных выражений и на них продемонстрировать свою эстетическую пронизательность — дело нетрудное. А может быть, эти нескладные выражения нужны драматургу, чтобы оттенить какую-то краску образа? И разве можно, как это делает П. Пустовойт, просто вот так, разрозненно, цитировать не поправившись ему слова и выражения, не разбираясь в том, кто их произносит, зачем они понадобились драматургу! Это, по сути дела, самый настоящий субъективизм в критике, навязывание драматургу языковых канонов, придуманных самим критиком.

Рассмотренные здесь канонические ограничения в трактовке жанра, в изображении характеров, в решении темы труда — лишь часть тех догматических верований и увлечений, которые ещё имеют довольно широкое хождение в современной драматургии. Любой из канонов, враждующий с творческим подходом к решению задач драматургии, плодит штампы, шаблонную серийность в искусстве драмы, поверхностные отписки от серьёзных и сложных проблем драматургического творчества.

Борьба против канонов в драматическом искусстве органически связана с овладением объективными законами драматургии. Одно без другого просто не существует. Каноны, сковывая творческую мысль художника, иссушают живую душу искусства, лишают его жизненности и покоряющей эмоциональности. Но творческая мысль, свободная от канонов и не овладевшая законами искусства, обречена блуждать между субъективным расчётом и порывами ничем не управляемой фантазии.

В таких случаях жизненный материал часто остаётся бесформенным, тенденциозность автора не превращается во внутреннюю тенденцию произведения, сила и возможности искусства или совсем не используются, или используются лишь в очень незначительной степени..

Беспомощность писателя, берущегося за пьесу, не обладая пониманием «секретов» драматургии, проявляется с бросающейся в глаза очевидностью в произведениях авторов неталантливых: слабости их пьес лежат на поверхности. В таких случаях не о чем и говорить — всё ясно. Труднее бывает, когда и талант автора бесспорен и знание жизни в пьесе чувствуется, а пьеса не живёт, сценического успеха не завоевывает. Тут-то и должен начаться серьёзный разговор об искусстве драмы и овладении его законами — не школьном их заучивании, разумеется, а о знании, переходящем в творчество, дающем писателю метод решения больших и малых драматургических задач, — ведь речь идёт о поражении, которое могло, должно было стать победой, очень нужной советскому театру.

В основе пьесы «Народный академик» В. Овечкина и Г. Фиша — великолепный жизненный материал, полный общественной значительности и истинного драматизма. Авторы пьесы — талантливые писатели, обладающие не приблизительным, как многие другие драматурги, а точным и глубоким знанием жизненного материала. При чтении пьесы возникает горячий интерес к событиям, в ней изображаемым, к их участникам. Но почему же эта пьеса, по идеям своим, по теме и по важности жизненных явлений, в ней воплощённых, очень нужная театру, всё же не вышла на сцену?

Вне зависимости от того, обращается ли художник к приёмам сознательного преувеличения изображаемого или не обращается, искусство всегда заостряет явления, факты жизни, её краски, характеры людей, делает их более чёткими, ясными. В произведениях искусства человек узнаёт новое не только о чуждалных краях, где он никогда не бывал, но и о виденном им; искусство несёт ему озаряющие и часто поражающие его открытия даже тогда, когда воспроизводит привычное, многократно виденное и, казалось бы, изученное вдоль и поперёк, во всех деталях. Произведение искусства своим появлением каждый раз ломает устоявшийся на каком-то уровне

знания покой мысли, открывает разуму и сердцу человека новые глубины и горизонты. «Объектив» искусства делает всё на свете более чётким и ясным, ведёт наш духовный взор вглубь, в сердцевину вещей.

Таким объективом обладает каждый вид искусства, но у каждого — своя система линз, и поэтому в произведениях разных видов и жанров искусства существует разная мера чёткости, ясности и заострённости в изображении разных явлений, сторон и красок жизни.

Сценические слабости «Народного академика», думается, связаны прежде всего с тем, что В. Овечкин и Г. Фиш недостаточно полно использовали возможности выбранной ими драматургической формы. Они не доказали своим произведением (силой заключённого в нём драматического искусства), что обо всём том, о чём они рассказали, нужно было написать именно пьесу; всё или почти всё, что мы узнали из пьесы, мы могли узнать и из очерка, написанного с присущим авторам талантом и знанием жизни, либо из повести, а то, что должно было в пьесе приобрести более резкие очертания, более отчётливые формы, таких форм и очертаний не приобрело. Это случилось, очевидно, потому, что в работе над «Народным академиком» В. Овечкин и Г. Фиш оказались недостаточно последовательными и строгими в следовании требованиям жанра — не тем, которые кем-то сочинены и потом канонизированы, а тем, которые выражают объективные законы драматургии.

Известно, что конфликт является не только предметом, содержанием драмы, но и формой её развёртывания. Можно легко представить себе поэму, написанную в форме путевого дневника, — с описаниями природы, лирическими отступлениями, зарисовками дорожного быта и рассказами о встречах... Драму такую ни представить себе, ни, тем более, написать просто невозможно. В любом биографическом романе можно найти десятки страниц и глав с пространными описаниями безмятежно спокойного течения жизни героев, с рассуждениями о разных предметах и материях. Эти страницы где-то сменяются изображением драм жизни, острых столкновений, напряжением теснящих друг друга событий. А потом — опять обыденная повседневность, размеренность неторопливого существования, утихомирившегося после драматиче-

ского взрыва... При таком построении пьеса не выдержит испытания практикой сценического воплощения. Драматургия изображает жизнь «под высокой компрессией», ослабление «драматического начала» в пьесе неизбежно ведёт к разрушению её художественной формы.

Сценические недостатки «Народного академика» как раз и связаны с тем, что слаба драматургия пьесы. Сюжет её строится недостаточно интенсивно, разрастаясь вширь и не обретая истинно драматической сосредоточенности; авторам не удалось все его нити и линии свести в единый узел и за счёт большей строгости в отборе событий и эпизодов драматургически углубить основные и главные. Драматические сшибки характеров часто подменяются в пьесе столкновением мнений, иногда просто информацией о столкновениях.

В пьесе много и часто спорят о сроках сева, о направлении в развитии агротехнической мысли и т. п. Эти споры касаются очень важных жизненных вопросов. Но читатель, знающий обо всём, что рассказывается в пьесе, по газетам, мало что нового узнаёт об участниках этих споров. Споры действующих лиц пьесы не перерастают в сшибки характеров, вызванные расхождениями или даже враждой идейных и нравственных принципов и взглядов на жизнь. Поэтому в пьесе нет истинно драматического напряжения, она не создаёт ощущения того, что тут решаются не просто вопросы агротехники и планирования сева, а человеческие судьбы и очень важные идейные и нравственные проблемы жизни. Пьеса содержит много интересного и жизненного, если говорить о фактической стороне дела, но лишь в очень малой степени открывает те глубины в человеческих отношениях, которые могли быть открыты именно драмой.

В пьесе, по сути дела, изображается столкновение внутренне статичных сил. Фактически за пределами пьесы остаётся всегда чрезвычайно интересное для драматургии внутреннее движение человеческих характеров. С наибольшей наглядностью и с наибольшим уроном для пьесы этот недостаток сказался на образе Белоусова.

По внешнему рисунку это очень сложный образ. В первой сцене мы узнаём, что Белоусов — Герой Советского Союза, был боевым командиром на фронте. Теперь он секретарь райкома. В колхозе ему все ра-

ды, всем он люб и симпатичен. В разговорах с людьми он демократичен, доброжелателен, располагает к себе. Но вот в его речь врывается первая настораживающая нотка: в колхоз «Труженик», где собираются чествовать знатного полевода Ермакова, он привёз в качестве докладчика заведующего облземуправлением Шугаева, который «разъяснит вам значение агрокомплекса Ермакова». «Нам разъяснит?» — удивляется один из колхозников. Вскоре выясняется, что и вообще в столкновении Ермакова и Шугаева Белоусов ведёт себя как-то неопределённо, «ни за, ни против», как с горечью говорит Ванин.

Проходит некоторое время. Областная газета раскритиковала колхоз «Труженик» с шугаевских позиций. На совещании в районе резко критикуют и осуждают руководителей колхоза, планирующих сев в со-гласии с агрокомплексом Ермакова. Значит, Белоусов уже прямо держит сторону Шугаева?

В чём же дело? Что с ним произошло? Нам остаётся лишь гадать и недоумевать вместе с Ермаковым и Ваниным, знавшими Белоусова ещё по фронту и не понимающими его теперешнего поведения.

В третьей картине мы с Белоусовым не встречаемся, а в четвёртой Белоусов уже твёрдо и непреклонно защищает Ермакова. В разговоре с секретарём обкома Лариным он признаётся, что пошёл тогда против совести, и просит освободить его от работы: после всего случившегося он не чувствует за собой морального права оставаться во главе района. Тут же мы узнаём, что он десять лет следил за работой Ермакова и хорошо узнал силу разработанного Ермаковым агрокомплекса. После всего этого становится тем более непонятным, почему же пошёл против совести, против своих убеждений этот мужественный, закалённый в боях человек, опытный партийный работник. Велики, знать, были те силы и влияния, которые сначала пошатнули, а потом и вовсе сбили с ног хорошего человека. Но сил и влияний этих мы так и не увидели, не ощутили.

История Белоусова в рамках пьесы — это большая драма: ясно, что и ошибку свою он совершил после тяжёлой борьбы с самим собой, со своими убеждениями, и исправление её стоило ему огромных душевных сил и далось ценой мучительных раздумий, жесточайшей самокритики. В пьесе

ничего этого нет — есть лишь вехи, обозначающие результаты внутренней борьбы, внутреннего развития Белоусова (нельзя же считать драматургическим раскрытием его характера несколько слов, сказанных им в конце пьесы в объяснение своего поведения).

Драматическая напряжённость пьесы снижается и её построением.

В первой картине мы узнаём о существовании споров, которые идут между Шугаевым и Ермаковым: Шугаев боится, как бы опыты Ермакова не стали примером для других колхозов, — тогда рухнет вся привычная система шугаевского руководства, строго регламентированная инструкциями; Шугаев подумывает и о том, а нельзя ли и колхоз «Труженик» «призвать к порядку», загнав Ермакова на небольшие опытные участки... Во второй картине сообщается об уже упоминавшемся совещании в райкоме, где практика колхоза «Труженик» была осуждена с шугаевских позиций. Ванин и другие переживают результаты совещания. Ощущения настоящей борьбы не даёт и эта сцена. Очевидно, самые горячие схватки с их драматическим напряжением прошли как раз на совещании. Здесь слышны лишь их отзвуки, — непонятно, почему для непосредственного выведения на сцену авторы выбирают далеко не самые драматические эпизоды той драмы, которая разыгралась вокруг опытов Ермакова.

В третьей картине колхозники разговаривают о том, что нужно сделать, чтобы сеять в «ермаковские» сроки, а не в сроки, на которых настаивает Шугаев. Опять обсуждается всё тот же вопрос — о преимуществах планирования сева, предложенного Ермаковым. Этот же вопрос обсуждается и в четвёртой картине, в разговоре Ларина с Белоусовым в обкоме. Меняются участники разговоров, место действия, обстановка, а само действие, развитие внутренней драматической темы словно бы остановилось на одной точке.

В этих разговорах каждый раз повторяются примерно одни и те же соображения и аргументы. Количественно их становится всё больше, а качественно они не изменяются. Почти ничего нового не открывается и в характерах действующих лиц.

Всякая борьба имеет свою логику. Борьба на то она и борьба, чтобы достигать в своём развитии всё большего обострения. В ходе её вырастает сила воюющего добра,

но не остаётся статичным и зло — его поборники (в данном случае защитники консерватизма и бюрократического формализма в руководстве сельским хозяйством) мобилизуют все новые резервы и возможности, а значит, и полнее открываются в своих качествах, определяющих их идейную и моральную сущность. Авторы «Народного академика» такого обострения не показывают. Скупые пространства пьесы они не используют с достаточной интенсивностью, требуемой особенностями жанра. При внешней широте жизненного охвата пьеса в своём собственно драматургическом содержании оказалась суженной до одного-двух мотивов, повторяющихся с небольшими вариациями в разных сценах.

В реальной жизни люди с наибольшей силой выявляют своё существо, когда наступает пора решений и действий: либо надо драться за общественное дело, либо защищать свой корыстный интерес. Стоит дурному человеку оказаться в обстоятельствах, когда личные его интересы впрямую столкнутся с общественными, как сразу же обнаружится мера его эгоизма. Или другое: рядом с тобой может долго жить хороший человек, ты питаешь к нему всяческие симпатии, но подчас и не подозреваешь, насколько он хороший. Но вот обстоятельства складываются так, что ради общего дела или просто ради другого хорошего человека надо совершить подвиг, найти в себе и большое мужество, и огромные резервы сил, и непреклонное упорство. И хороший человек вдруг взлетает, поражая воображение такой мощью духа, какая в нём и не предполагалась. Но этого «вдруг» не было бы, если бы он не был хорошим человеком, если бы всей жизнью, воспитанием, воздействием великих идей наших не заложены были в нём, в душе его, в характере внутренние возможности подвига.

Конечно, злое и хорошее проявляются не только в таких полярных крайностях, как преступление и подвиг. Однако и во всех других случаях требуется стечение определённых обстоятельств, событий, столкновений интересов и характеров чтобы человеческие качества и их социальная суть проявились в полную свою силу. Этим, собственно, и определяются и предмет драмы и её границы. Драматический писатель выбирает в потоке жизни такие моменты, когда обстоятельства вынуждают его героев открыться с наибольшей полнотой, и изо-

бражает их по законам драматической борьбы. А законы эти те же, что и в жизни: драматическая борьба — это и есть жизненная борьба, но взятая, может быть, в более острых формах, в более неумолимой последовательности, — ведь драма на всё про всё отводит только три — три с половиной часа сценического времени. То, что называется творческим решением драматургической темы, и состоит в данном случае в том, чтобы подняться от хроникально-дневникового описания событий к драматически концентрированному их воспроизведению, от стенограммы повседневных разговоров — к драматической речи, в которой две-три умело и точно найденные реплики могут стать по ёмкости и содержательности равными десяткам страниц стенограммы.

Пьеса А. Софронова «Сердце не прощает» по широте жизненного охвата уступает «Народному академику». И тем не менее о характерах людей она говорит больше, потому что идеи её замысла выражены драматургически.

В ней взят очень драматический поворот жизни. К Екатерине Топилиной вернулся муж; Екатерина — труженик, передовой человек, бригадир лучшей в колхозе бригады, в партию вступила. А Степан Топилин остался прежним. Он три года мыкался по белу свету в погоне за лёгкой жизнью, за длинным рублём. Ничего хорошего он в жизни не увидел: у него уже выработалась дурная «избирательность» зрения — окружающее он рассматривает только по координатам вот этих самых двух слагаемых: малый труд, большие деньги. Поэтому если он и научился чему-то в своих странствиях, то только предприимчивости. Он и государственные решения, касающиеся колхозных дел, рассматривает как стяжатель: а нельзя ли тут словчить, урвать что-нибудь?

К жене своей он приезжает с продуманной до деталей «программой»: пусть Катерина работает в колхозе, пусть в передовых ходит — это даже лучше для его планов, — а он будет «при ней» чем-то вроде батрака, занимающегося личным хозяйством. Ему мерещится доходное хозяйство, личные виноградники, тысячи рублей дохода с каждой сотки приусадебной земли. А колхоз... В колхозе — Катерина. Так отразились в запутанном, замутнённом собственнически пережитками сознания Степана госу-

дарственные указания насчёт поддержки личного хозяйства колхозников.

Столкнись Екатерина и Степан просто в «производственном» споре об общественном и личном хозяйстве — получилась бы ещё одна скучная пьеса с грамотным изложением сути дела, но без драматургии, невысказанной вне шпик характеров. Не спасло бы положения и введение в пьесу осложняющих ситуаций или «оживляющих» действующих лиц мотивов... А тут столкнулись не принципы, а люди. И речь идёт о судьбах их, о жизни, а не о том, чтобы установить, какая из отстаиваемых борющимися сторонами идей верна, какая неверна, — это и без пьесы ясно.

Многое сосредоточило в себе столкновение Екатерины со Степаном — тут и поруганное человеческое достоинство, и распотанная любовь, и радость возрождения, и гордость человека, нашедшего место в большой жизни, ощутившего свою великую слитность с народом, с партией. В испытании, вызванном встречей со Степаном, новым светом засияли в Екатерине Топилиной качества человека нового типа, передового человека социалистической деревни. Степан — муж. Но итти с ним — это значит отказаться от всего самого хорошего, что есть в её жизни и душе. А не итти — придётся семью нарушить. Эта драма в семье Топилиных с силой обнажает и подчёркивает основную идею, основной конфликт пьесы.

Столкновением Степана и Екатерины не ограничивается драматическое развитие пьесы. В сложной системе взаимных отношений, освещая друг друга дополнительным светом, раскрываются характеры и бесшабашной вдовушки Новохижиной и фельдшера Конькова, и Домны Егоровой, и её мужа, парторга колхоза Егорова... Все мотивы сюжета — основные и сопутствующие — прочно связаны в единый узел: при всей своей многоплановости пьеса отмечена отчётливым драматургическим единством и цельностью (за исключением разве финала, где начинают брать верх мелодраматизм и поучительство, нарушающие строй и стиль пьесы).

Ощущение достоверности изображаемого в пьесе усиливается плодотворным использованием красок народной речи — в языковом строе пьесы чувствуются активные творческие искания писателя, не останавливающегося перед попыткой пересмотреть

некоторые привычные представления о нормах драматического языка.

Содержание пьесы не сводится, как это часто бывает (например, у того же А. Софронова в пьесах «В наши дни» и «Варвара Волкова»), к драматургическому изложению проблем и внешней передаче обстановки. При острой сюжетности, насыщенности действием в пьесе ясно ошутимы поиски глубины характера, не всегда кончающиеся полным успехом, но всегда активные. Всё лучшее, что есть в пьесе, связано с раскрытием характеров в действии. «Сердце не прощает» — драма, и то, что в ней сказано, очерком не заменишь.

В разговорах о драматургии нередки случаи, когда смелость писателя измеряется только тем, какие вопросы он ставит в своей пьесе, куда направлен её критический пафос, а не тем, как он решает драматургические задачи, выдвинутые жизнью.

По внешности тематика новых пьес, появившихся за последние два-три года, необычайно разнообразна; создаётся впечатление, что драматурги смело вторгаются в самые различные области жизни. Следуя за драматическими писателями, мы попадаем на заводы и в колхозы, на шахты и в научные институты, в редакции газет и архитектурные мастерские... Мы знакомимся с людьми разных профессий и разных человеческих судеб. И если итти по номенклатуре действующих лиц и списку затронутых в пьесах жизненных явлений и фактов, лучшего, кажется, и желать не надо: перед нами предстаёт советское общество в великом многообразии своих дел и проявлений.

Но стоит только повнимательнее взглянуть в открываемый пьесами мир человеческих деяний, мыслей и чувств, как первое впечатление начинает блёкнуть. В репертуаре театров есть сейчас несколько современных пьес, правдиво показывающих важные явления жизни, своеобразных по художеству, целеустремлённых по идее. Но таких пьес мало. Зато очень часто ещё появляются пьесы, лишь варьирующие одна другую, не несущие в себе больших творческих открытий. Хотя действие такого рода пьес происходит то в колхозе, то на заводе, то в научном учреждении, хотя производственные и научные проблемы ставятся в них разные, — пьесы эти очень похожи своей внутренней драматической идеей, нравственные проблемы в них решаются одни и те

же, конфликты разнятся только производственной и научной конкретностью, повторяясь в своей идейно-нравственной сущности.

Повторяемость одних и тех же тем, коллизий, характеров связана прежде всего с творческой робостью в подходе к явлениям жизни.

Вопрос об освобождении творчества драматического писателя от канонических стеснений, об овладении законами драмы и драматургическим мастерством органически связан с проблемами творческого отношения к изучению жизни. Мастерство драматического писателя не существует отдельно от всего того, о чём он пишет, какими мыслями, чувствами и страстями он живёт. Истинное мастерство начинается с талантливого отношения к жизни, с умения найти предмет драмы, в котором бы скрещивались потоки и противоречия времени, с умения смело идти в своих художествен-

ных решениях не за каноном и привычкой, а за жизнью, открывающей писателю всё новые свои глубины и стороны, выдвигающей перед ним всё новые требования. Истинное мастерство советского драматурга органически связано с его коммунистической идейностью. Литературное творчество — это художественное освоение мира. А раз так, не повторение пройденного и не поиски спокойной пристани в канонических беспорядках должны занимать художника, а подлинно творческое исследование живой, быстро изменившейся действительности. На этом пути созданы все лучшие произведения советской драматургии — как в прошлом, так и в настоящем. И учиться на её традициях — это значит полнее использовать её опыт в творчески активном, каждый раз своеобразном воплощении правды жизни, в подлинно творческом решении высоких идейных задач советской драматургии.



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Соловьёв. Горький — организатор передовой литературы.— **Л. Михайлова, А. Турнов.** Герои рассказов.— **П. Сажин.** Талантливые повести.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат архитектуры **А. Перемыслов.** За принципиальность в журнале архитекторов.— Кандидат сельскохозяйственных наук **С. Воробьёв.** Первые успехи.— Генерал-майор **И. Зубнов.** Военное наследство декабристов.— **П. Балданжапов.** На пути к социализму.— Кандидат юридических наук **Г. Морозов.** Гангстерские синдикаты в Нью-Йорке.

Литература и искусство

Горький — организатор передовой литературы

В феврале 1900 года А. М. Горький, тогда уже писатель с мировым именем, заключил с книгоиздательством «Знание» договор на издание своих сочинений, а осенью того же года вошёл в издательство и стал его идейным руководителем. Так началась плодотворная работа Горького по сплочению демократических литературных сил вокруг этого товарищества писателей. Незадолго перед этим возникла и регулярная переписка Горького с директором-распорядителем издательства «Знание» К. П. Пятницким, продолжавшаяся до 1912 года.

Насколько важна эта переписка, особенно письма самого Горького, свидетельствует тот факт, что многие из них давно уже вошли в обиход горьковедения. Но отдельные цитаты не могли, разумеется, заменить полной публикации. Теперь, с выходом в свет IV тома «Архива А. М. Горького», письма к Пятницкому доступны читателям. Опубликование этих писем послужит более широкому и точному представлению читателя о многосторонней общественной и литературной деятельности А. М. Горького.

В письмах к Пятницкому мы не найдём многого, чем жил в то время Горький и что определяло его деятельность и творчество,—

в них не упоминается о его тесных связях с революционным движением, с партией большевиков, в них только проскальзывают политические оценки событий, по ним, конечно, нельзя составить цельного представления о взглядах Горького, о росте его мировоззрения. Даже о редакционной работе Горького в «Знании» мы можем получить верное представление только тогда, когда краткие отзывы о писателях и их произведениях, содержащиеся в письмах к Пятницкому, дополним перепиской его с самими авторами и ознакомимся с их воспоминаниями, с горьковской правкой их рукописей.

Но при всём том без писем Горького к Пятницкому теперь немислимо полное представление о деятельности великого писателя в 1900—1912 годы, о замечательном облике Горького — человека, художника и борца.

С самого начала своей литературной деятельности А. М. Горький выступил как писатель пролетарский, певец рабочего класса. Революционное сознание Горького росло вместе с ростом рабочего движения, с ростом революционной партии пролетариата — партии нового типа, созданной гением Владимира Ильича Ленина. Горький черпал из сокровищницы ленинизма вдохновлявшие, «прямые, как мечи», мысли. Они помогали ему разбираться в политических течениях того времени. Горький чувствовал и видел в самой жизни подтверждение пра-

А. М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому. (Академия наук СССР. Институт мировой литературы имени А. М. Горького. «Архив А. М. Горького», том IV). Гослитиздат, М. 1954.

вильности идей Ленина, идей большевизма. И чем больше и глубже постигал писатель эти идеи, тем мужественней становился его художественный гений и тем громче и уверенней раздавались его революционные призывы к трудящимся массам.

Конечно, это не означало, что Горький сразу стал марксистом-ленинцем, но уже в первые годы переписки с Пятницким все симпатии его были на стороне революционной социал-демократии, организованной ленинской «Искрой». Это нашло своё выражение и в его письмах. «Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей. — читаем в письме от 22—23 января 1901 года из Нижнего Новгорода. — Они — верная порука за то, что новый век воистину будет веком духовного обновления». И Горький видел, что это обновление будет совершенно подлинно демократическими силами, а не либеральной буржуазией, претендовавшей на роль руководителя оппозиции царизму. В письмах к Пятницкому Горький много раз возвращается к оценке либералов, «легальных марксистов» и прочих мещан, быстро слинявших при первых политических выступлениях рабочего класса. «Живя здесь, лицом к лицу с действительной, не выдуманной жизнью, — продолжает он то же письмо, — и злишься, и смеёшься, когда читаешь журнальные и газетные lamentации премудрых питерских берендеев, вроде П. Б. Струве и всех иных ортодоксальных и не ортодоксальных любителей добродетели». Позднее Горький в письмах отмечает дальнейшую эволюцию этих геростратовски знаменитых поборников «культуры», будущих «веховцев» к идеализму, к слиянию с мистиками и декадентами.

Насколько ясно понимал Горький пред-революционную обстановку в России, говорит его широкий замысел создания четырёх пьес. «Вы знаете, — сообщает он Пятницкому в письме от 13—17 октября 1901 года. — я напишу цикл драм... Одну — быт интеллигенции. Куча людей без идеалов, и вдруг! — среди них один — с идеалом! Злоба, треск, вой, грохот. Другую — городской, полунинтеллигентный рабочий — пролетариат. Совершенно нецензурная вещь. Третью — деревня... Понимаете: сектант-мистик, сектант-рационалист, деревня — косная, деревня — грамотная, мышьяк, снохач, кулак, зверство, тьма, и в ней — ог-

ненные искры стремления к новой жизни. Ещё одну — босяки». Этот замысел почти целиком впоследствии был осуществлён («На дне», «Дачники», «Враги», повесть «Лето»). В нём Горький развивал идеи таких своих произведений, как «Фома Гордеев», «Варенька Олесова», «Бывшие люди» и другие, выдвигая на первый план революционного рабочего и протестующего крестьянина.

Горький видел новые движущие силы, выступавшие в русской буржуазно-демократической революции, стремился философски осмыслить интересы и настроения поднявшихся к историческому творчеству народных масс. Сначала он называет их мировоззрение «практически-демократическим идеализмом существ, кои чувствуют близость чего-то нового, светлого, оживляющего — близость начала новой жизни в новом веке» (письмо от 13 сентября 1901 года). Затем он находит более точные слова: «...демократы, — люди, ещё не жившие, — ...в силе выработать свою культуру, своё миропонимание, — прямо противоположное буржуазно-христианскому взгляду на дело жизни...» (письмо от 7—11 января 1902 года). И эти слова, конечно, далеко не точны, хотя Горький ясно подразумевает пролетарскую демократию и мировоззрение рабочего класса. Горький, стремясь выразить активное, революционное отношение пролетариата к миру, ещё не мог тогда сформулировать это отношение со всей научной точностью и прямо признавался в этом: «Чувствую я, что в воздухе носится новое миропонимание, миропонимание демократическое, а уловить его — не могу, не умею. А — носится и зреет». Это, впрочем, не мешало ему резко выступить против богоискательства Бердяевых и К^о, осудить религиозные увлечения В. Поссе, Миролюбова, Леонида Андреева. Даже в годы реакции, когда Горький сам находился под влиянием богостроительства «вперёдовцев», особенно А. Луначарского, он всё время напоминал Пятницкому о необходимости выступить «Знанию» против идеализма и мистики ренегатствующих писателей и декадентов. «Необходимо дать отпор гг. идеалистам, мистикам и всякой всячине, ютящейся в «Русской мысли», «Живой жизни», «Факелах» и других щелях литературных», — писал он.

Горький всегда был по мироощущению своему материалистом, влюблённым в жизнь, в человека-творца, создателя мате-

риальной и духовной культуры. Его идейно-философские искания объясняются тем, что он не сразу нашёл точное, научное выражение своему по существу глубоко правильному мироощущению. Известно, что найти правильный путь ему помог В. И. Ленин своими письмами, глубоко дружескими и принципиальными, и своей гениальной книгой «Материализм и эмпириокритицизм», заложившей теоретические основы Коммунистической партии. При встрече на о. Капри писатель рассказал В. И. Ленину и о своём мировосприятии и о недоверии к философии, ловко и убедительно одетой в красивые фразы. В своих воспоминаниях о В. И. Ленине Горький сохранил для нас его ответ:

«— Ну, это — юридика... А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придёте, куда вам давно следует придти»¹.

Мир только начинается, становится. — это было новое мироощущение пролетариата, выступающего против старого мира и творящего новый, подлинно человеческий мир, свободный от зверств эксплуататорского общества. С этим мироощущением выступил Горький и с ним он пришёл в ряды великой партии — преобразовательницы старого мира, глубоко осознал и осудил свои ошибки и разногласия с партией, стал основоположником нового, социалистического искусства.

В письмах к Пятницкому мы находим и эстетическое «кredo» Горького, которое прямо вытекает из его активного, боевого мировосприятия. «Какая вообще задача у литературы, у искусства? — писал он ещё в 1900 году. — Запечатлеть в красках, в словах, в звуках, в формах то, что есть в человеке наилучшего, красивого, честно-благородного. Так ведь? В частности, моя задача — пробуждать в человеке гордость самим собой, говорить ему о том, что он в жизни — самое лучшее, самое дорогое, святое и что кроме него — нет ничего достойного внимания...» Разумеется, это ничуть не означало «установки» на прикрашивание жизни вопреки правде о ней, на обход всего тяжёлого, мрачного, грязного. Это значило — видеть тех людей в настоящем, которые победят в будущем и построят новый мир. «Вам, в туманном вашем городе,

не видно, как быстро жизнь идёт вперёд, не видать, как растёт человек и крепнет дух его и возвышается чувство собственного достоинства в нём», — писал он Пятницкому спустя полгода. Это значило — бесстрашно смотреть в глаза правде жизни, из неё черпать энергию преобразования мира, а не уходить в улаживающие сны поэзии. Горький выражает глубокое презрение к мешанской «публике», к сборищу «мерзавцев», которые «питаются кровью писателя, — кусая его книгу, — не ради жажды испытать яда — горького яда знания жизни, — но лишь ради удовольствия». Как бы заканчивая и уточняя эту мысль, писатель возвращается к ней через месяц: «Тяжело говорить правду, когда она не поднимает человека, а унижает его. Хорошо говорить правду, когда она вызывает ненависть».

Искусство — борьба за новое в жизни, за нового человека, борьба страстная, вызывающая ненависть к врагу и ненависть врага, а путь к такому искусству — только правда, — вот чему учит А. М. Горький.

При этом он в самой действительности открывает героя с идеалом, способного отдать жизнь святой борьбе за его осуществление, духовно растущего в огне беспощадных битв. Таков Нил, таковы рабочие во «Врагах», таков Павел Власов. И они, эти строго правдивые образы, — пример для подражания. Создание этих образов — великая заслуга Горького перед нашим народом, перед нашей литературой.

Известно, что Горький уже в то время отстаивал право художника на преувеличение и заострение, на типизацию нового, ещё не распространённого, на широкое обобщение действительности. Он выступал как новатор в литературе.

На этом пути громадную помощь оказали Горькому В. И. Ленин, большевистская партия. Горький понимал действительную сущность различных течений и партий, в которых не было подлинной революционности. Он шёл к пониманию партийности идеологии. 26—27 декабря 1902 года он писал Пятницкому: «Писатель должен быть свободен — прежде всего», — свободен, конечно, не от общества, а от старого в нём, от прошлого, ибо «прошлое — цепь, приковывающая человека к стене предрассудков и предубеждений, авторитетов, привычек и пр.». В подобных размышлениях о свободе художника — свободе от «прошлого», от мешанской идеологии — нельзя не видеть своеоб-

¹ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 17, стр. 20.

разной формы подхода Горького к идее большевистской партийности литературы, выдвинутой и обоснованной В. И. Лениным. Ленинская идея партийности литературы оказала на Горького сильное влияние, помогла ему в творческих поисках нового художественного метода, складывавшегося у него в огне революционных боёв рабочего класса.

Горький был в Москве, когда там готовилось и происходило декабрьское вооружённое восстание. Он видел партию в действии, восхищался героизмом и организованностью рабочих. «Дорогой друг,— пишет он Пятницкому,— спешу набросать вам несколько слов — сейчас пришёл с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине — идёт бой. Хороший бой!.. Рабочие ведут себя изумительно!.. Ей-богу, — ничего подобного не ожидал! Деловито, серьёзно — в деле — при стычках с конниками и постройке баррикад — весело и шутивно в безделье. Превосходное настроение!.. Победит, разумеется, начальство, но это не надолго, и какой оно превосходный даёт урок публике! И не дёшево это будет стоить ему». О многом из того, что Горький знал и видел, он не мог писать Пятницкому. Но вскоре он создал два классических произведения, полных энергии этой битвы пролетариата, — пьесу «Враги» и роман «Мать», — произведения, которые справедливо принято считать первенцами социалистического реализма.

Начиная с 1903 года — с этого года Горький считал себя большевиком, ленинцем, — в письмах к Пятницкому проскальзывают всё более резкие политические оценки писателей. Чувствуется, что пролетарский художник сознаёт необходимость идти дальше демократизма Чехова (сдержанный отзыв о «Вишнёвом саде» в одном из писем), как всё более зорко вглядывался в политическое лицо Леонида Андреева, в его анархизм, раньше казавшийся «любопытным», как до глубины души возмутила Горького проповедь непротивления, с позиций которой Лев Толстой оценивал события революционного 1905 года, как сурово отнёсся он к эсеровскому уклону поэта Скитальца и т. д.

Характерно, что в одном из писем, где Горький рисует картину Москвы в декабре 1905 года, он резко осуждает натуралистический метод Боборыкина. «Рассказ — плох, к тому же — как всегда у Боборыки-

на — списан с природы, без особенных отступлений от правды факта. С этим своеобразным пониманием реализма автору давно бы пора уже нарваться на глупейший скандал». Перед лицом героической борьбы рабочего класса натурализм выглядел особенно беспомощным и неуместным, чуждым демократической литературе. Горький решительно отказал Боборыкину, желавшему печататься в сборниках «Знание».

Пролетарский писатель сознательно отстаивал новый метод типизации жизненных явлений, который он полностью развернул в романе «Мать». Когда В. В. Воровский в статье о «Матери» усомнился в типичности образа Пелагеи Ниловны, Горький решительно протестовал против его сомнения в возможности типизации нового, ещё не распространённого. Он стремился теоретически и историко-литературно осмыслить новый этап развития мирового искусства, собирал материалы для разработки истории всемирной литературы. В письмах к Пятницкому он сообщает ему свои планы и просит прислать на о. Капри десятки и сотни книг. В результате огромной работы писателя им был прочитан курс лекций по истории русской литературы в Каприйской школе (опубликован в 1939 году), а в сборнике «Знание» напечатана статья «Разрушение личности».

Эти работы Горького (как и отдельные письма к К. П. Пятницкому) не свободны от ошибок, от некоторого влияния богостроительства и богдановской фразеологии. Но в них отражены не только слабые стороны идейных поисков Горького, а и сильные, которые брали в нём верх. В. И. Ленин, прочитав один из вариантов «Разрушения личности», писал Горькому, что большая часть этой статьи никак не связана с философией Богданова, и предлагал из этой части сделать ряд статей для большевистской газеты «Пролетарий».

Выдвинутые в то время Горьким мысли о значении народного творчества — сокровищницы и источника большого реалистического искусства, — о распаде буржуазной личности, об антидемократизме разлагающегося буржуазного искусства и т. д. имели вовсе не только теоретическое значение. Горький выступал в своих статьях и лекциях того времени против реакции в общественной мысли, он разоблачал явления литературного упадка и раскрывал их сущность, стремился организовать отпор

реакции в искусстве. «Это — русская литература? — с глубоким возмущением писал он около 29 марта 1908 года Пятницкому. — Какая гадость, какое нищество мысли, нахальство невежества и цинизм! Людей, кои идут на святое поле битвы, чтобы наблеть на нём, — таких людей надо бить». В письме от 17 апреля того же года он вскрывает политические корни этого повального литературного ренегатства: «Я решительно против литературного шарлатанства и цинизма, против торговли чувством и мыслью, против литературы, «услуживающей» обывателю-мещанину, который желает и требует, чтобы Куприны, Андреевы и прочие талантливые люди закидали и засыпали вчерашний день всяким хламом, чтобы они избавили обывателя от страха перед завтрашним днём». И Горький требует от Пятницкого: «Пусть мещанский романтизм, возникающий для ради того, чтобы ликвидировать страхи вчерашнего дня, — пусть он развивается, если это суждено, — вне «Знания».

Оградить «Знание» от развала, от потока «модной» ренегатской писанины Горькому не удалось. «Видя, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вод «Знания», Тимковские, Бруснянины, Измайловы и другие пескари осыпают меня своим творчеством», — печально иронизировал он. Но идея расширения задач издательства — развёртывания не только беллетристической, но и публицистической пропаганды демократизма и реализма — не получила отклика у Пятницкого. В письме от 17 апреля 1908 года Горький слагает с себя ответственность за подбор и содержание сборников «Знание», а через год отказывается от просмотра рукописей.

Издательство «Знание» сыграло громадную роль в развитии русской демократической литературы начала XX века главным образом благодаря колоссальной работе А. М. Горького. Великому пролетарскому писателю многим обязаны в своём творчестве такие участники «Знания», как Бунин, Андреев, Куприн, Вересаев, Гусев-Оренбургский, Скиталец, из горьковской школы сборников «Знание» вышел А. С. Серафимович.

Благодаря Горькому издательство не только пропагандировало многие годы демократическую и реалистическую литературу, — оно выпустило по договору с большевистским ЦК партии множество обще-

ственно-политических книг в «Дешёвой библиотеке», среди них — «Манифест Коммунистической партии», «Анти-Дюринг» и другие сочинения классиков марксизма.

С выходом из «Знания» Горький, разумеется, не отказался от своих замыслов и планов. Он организовал вокруг себя оставшихся верными демократизму писателей, поддерживал молодые силы, вступающие в литературу, особенно писателей-рабочих. В. Маяковский, К. Тренёв, В. Шишков, С. Подъячев, И. Вольнов, А. Новиков-Прибой и многие другие пользовались дружеской поддержкой Горького.

Многообразное содержание писем А. М. Горького к К. П. Пятницкому невозможно, разумеется, сколько-нибудь полно обрисовать в кратком обзоре.

Голос живого Горького слышен в этих письмах, голос борца, влюблённого в жизнь, в красоту её, в человека, в счастье жить на земле. «Вы, ей-богу, так много работаете, — обращался он к Пятницкому, — что, я боюсь, не замечаете, — и не имеете времени заметить, — как интересна жизнь и какое это удовольствие жить на земле...» Через несколько дней: «Я охвачен неким пламенем! Хочу работать, хочу — страстно.. Вообще — прекрасная штука — жизнь! Я всё больше проникаюсь этим убеждением». И ещё: «Здоровая, славная штука — жизнь! Вы чувствуете это?»

Горькому, столько видевшему «свинцовых мерзостей» старого строя, были до глубины души противны дешёвый пессимизм и богема, оказавшие тогда пагубное влияние на некоторых писателей и среди них на Леонида Андреева, одно время бывшего другом Горького. «Видел Леонида пьяным — это ствратительно и ужасно», — сообщает он Пятницкому 15 февраля 1903 года, а через день, описав аморальные похождения Андреева, заключает: «...мне противно видеть Леонида Андреева, так омерзительно, так гадко, что по всей вероятности — мои к нему отношения уже не возобновятся в той форме, в какой были возможны до сей поры. Видеть литератора во образе скота — достаточно один раз, для того чтоб потерять к нему уважение».

Когда в годы реакции буржуазные литераторы опустелись до ренегатства и оплёвывания революции, до хулиганства и порнографии, Горький негодовал против этого, болел душой за русскую литературу. «Вчера получил №№ «Русской мысли» и «Образо-

вания», прочитал несколько статей и — всю ночь не мог уснуть с тоски и со зла...» — пишет он около 29 марта 1908 года. Через некоторое время опять: «У меня, видимо, развивается хроническая нервозность... Я не преувеличиваю.

В чём дело? Дело в том, что я люблю русскую литературу, люблю страну и верю

в её духовные силы. Это — большая любовь».

Таким встаёт великий русский писатель со страниц его писем — в его большой любви к родной стране, к родной литературе и в его непримиримой ненависти ко всем тёмным, человеконенавистническим силам.

Г. СОЛОВЬЕВ.



Герои рассказов

Три-четыре года назад много говорили и писали о рассказе как об отстающем жанре. Это отставание сделалось особенно заметным после Отечественной войны, во время которой рассказ и очерк стали самым боевым видом прозы. Военные рассказы и очерки Павленко, Тихонова, Горбатова, Гроссмана, Галина и других возникли как страстный отклик на происходившие события, казались продолжением самой жизни с её острыми переживаниями и грозной значительностью.

Первые послевоенные годы ознаменовались большими полотнами, в которых нашла своё отражение тяга к широкому эпическому показу величественных событий народной жизни.

Хороших рассказов, посвящённых новой теме, теме мирного строительства, появилось в ту пору не много. Привыкнув изображать внутренний мир человека крупно, в минуты высокого нравственного подъёма, героического мужества, писатели словно застеснялись показывать своего вчерашнего героя, героя в доподлинном значении этого слова, в быденной, повседневной жизни.

Можно, пожалуй, сказать, что существовавшая до недавнего времени боязнь вдаваться в «мелочи» быта, ошибочное стремление обрисовать героя односторонне, главным образом в его общественной деятельности, и осторожно обойти его «личные» переживания, с опаской отвернуться от «частных» конфликтов и происшествий повредили развитию рассказа больше, чем любому другому литературному жанру.

И это понятно. Рассказ ведь не имеет далеко уходящей перспективы. Картина, нарисованная в нём, сразу, целиком, близко видна читателю. У автора нет времени и места для разгона, для постепенного «нала-

живания» повествования, для дорисовки того, что, допустим, плохо обозначилось в первых главах романа. Он живописует, по большей части, не весь путь и не большой отрезок в жизни человека, а всего лишь одно или несколько событий, в ходе которых образ героя должен предстать перед читателем, что называется, во всех измерениях. Персонаж-схема, переползающий кое-как до своей естественной кончины по страницам романа, в рассказе «забуксует» и, если так можно выразиться, самораскроется сразу. Тогда сюжет рассыпается на глазах, и тщетно автор пытается спасти положение, разъясняя свою идею речами от лица персонажа или от собственного лица.

Декларативная многоречивость — злейший бич иных современных рассказов. Говоря об этом в своих «Письмах о рассказе», опубликованных в конце 1952 года в «Литературной газете», С. Антонов пришёл, однако, к довольно спорному выводу: «Я всё более склоняюсь к тому, чтобы дословную передачу споров и размышлений не в меру разговорчивых персонажей заменять кратким изложением их беседы, передавать не самый разговор, а то впечатление, какое должно быть создано в результате этого разговора».

Так ли это необходимо? Нужна ли такая передача, если персонаж ярко характеризуется в «броском диалоге» «смыслом того, что он говорит» и если в таком диалоге «характер... ясно чувствуется», как пишет сам С. Антонов, ссылаясь на рассказ Г. Радова «Пётр Егорыч». И, во-вторых, есть ли гарантия от длиннот (чего добивается С. Антонов) в случае, если автор примется излагать содержание, смысл и характер беседы персонажей?

В тех же «Письмах» много говорится о действии как о решающем способе обрисовки характера, о последовательной обуслов-

«Рассказы. 1951—1952». «Советский писатель», 1954.

ленности поступков героев, о композиционных связях сюжета. Однако только ли в действии или главным образом в действии можно убедительно очертить характер героя и успешно реализовать тему рассказа? Возможности этого многообразного жанра куда шире! Встречаются рассказы, в которых, по сути дела, никакого действия не происходит и, тем не менее, в них бьётся пульс жизни и ясно видны взаимоотношения, настроения, симпатии и антипатии, все особенности, свойственные живым людям.

Как, может быть, помнит читатель, подобные доводы высказал в своей статье «Ещё о рассказе» В. Матов («Новый мир», № 9, 1953 год).

Он возражал также против того, чтобы, говоря о процессе творчества, сводить всё к выбору темы и приёмам её воплощения, сбросив со счётов столь немаловажный элемент писательского труда, как вдохновение.

В то же время, отвергая всякую «технологическую» систематизацию и считая, что «следует ограничиться советом писать просто, экономно, ясно, стремиться употреблять точные слова и выражения, не жалея на это труда», В. Матов, вольно или невольно, ставит под сомнение пользу и необходимость знакомства с какими-то определившимися законами и приёмами мастерства, то есть того самого «изучения техники», которого так добивался в своё время от писателей Горький.

Уже тот факт, что два писателя начали спор о рассказе, был косвенным свидетельством плодотворных сдвигов, творческих поисков в этой области.

О качественном и количественном росте жанра свидетельствует и новый сборник «Рассказы. 1951—1952», выпущенный недавно издательством «Советский писатель».

Это второй опыт такого издания. Два года назад вышло трёхтомное собрание, фактически «Антология» советского рассказа, вобравшая почти всё значительное, что было создано нашими писателями.

Можно было опасаться, что рядом с этим трёхтомником новый сборник будет выглядеть «худосочным». И тем не менее книга в целом оказалась добротной и интересной. Составитель Н. Атаров отобрал материал, за немногими исключениями, вдумчиво и со вкусом, дав читателю ясное представление о достижениях советского рассказа в последнее время.

Радует прежде всего появление новых имён: Б. Бедного, В. Дудинцева, С. Залыгина, С. Никитина, Г. Радова. Некоторые рассказы этих авторов завоевали и симпатии читателей и признание критики.

«Рассказы» привлекают тематическим и стилевым богатством, многообразием способов воплощения жизни. Чекаянная сжатость гневных и скорбных рассказов Н. Тихонова о Пакистане и мягкий лиризм антоновских «Дождей», романтический «Посёлок среди скал» К. Паустовского и непосредственно выросший из реального факта «Вклад» Б. Полевого — уже одно это перечисление говорит о большом охвате жизненных явлений в творчестве советских рассказчиков и о разнообразии писательских манер.

Сборник даёт примеры удачного решения проблемы положительного героя. Многие рассказы отличаются смелостью и новизной в показе черт современника, когда характеры не конструируются в соответствии с некоей положительно-отрицательной таблицей, а рисуются в целостном комплексе живых человеческих свойств.

Иногда можно услышать покаянное признание писателя: «Мы пишем о профессиях, а надо писать о людях». Но ведь это вещи неотделимые! Разве мы не мерим отношение к жизни отношением человека к труду, к той роли, которая отведена ему лично в процессе общего создания? Ведь профессия не внешний атрибут — мозолистые руки кочегара или нервные пальцы хирурга!

Прекрасно сказал М. Пришвин в своём рассказе «Заполярный мёд»: «Если бы писать книгу об открытии мёда на севере, нужно бы записывать этапы развития сознания каждого работника».

И в рассказе самого М. Пришвина в свойственной этому удивительному писателю форме, своеобразно сочетающей интонацию сказки с предельно реалистическим содержанием, поведано о том, как наше время сделало возможным «раскрытие таланта, подобного личному счастью».

«Трудно — и в то же время как хочется, как интересно самому первому сказать о том небывалом, о чём никто ещё никогда не говорил!» — восклицает автор, описывая упорство и вдохновение скромного труда людей простых профессий. Значение этого труда не исчерпывалось «устройством на работу» в Заполярье пчелы заокских лугов. Здесь всё было связано с необходимостью широких и точных научных наблю-

дений. И хотя затевалось как будто всего лишь получение бесполезно пропадавшего мёда, «самое дело было в том, чтобы тут создался интеллигентный человек», способный действовать как хозяин природы и как советский патриот, для которого, по верному определению М. Пришвина, «в состав сложного чувства родины входит движущая сила неизвестного, небывалого, нового».

Совсем другой жизненный материал лёг в основу рассказа Г. Радова «Пётр Егорыч». Но своим пафосом «Пётр Егорыч» глубоко родственен «Заполярному мёду» и словно бы даже подтверждает пришвинские слова: «И разве не в этом одна из главных мыслей нашего времени, чтобы отсталых людей сделать первыми?»

Участок, которым руководил пожилой мастер, герой рассказа, пользовался на заводе обидной репутацией самого застойного. Можно сказать, что на производстве Пётр Егорыч Черкасов занимал то же место, что и его дом на улице — в самом конце, над обрывом.

Но такова уж логика нашей советской жизни, что и на черкасовском участке наступают перемены: одна из работниц предлагает изменить технологический процесс, и эта мысль постепенно заражает всех, даже добродушно-пассивного Петра Егорыча.

Ещё недавно он был безразличен к подобным поискам:

«Заспорили — значит решат. Это уж непременно: где спор, там и находка...

Снова взял газету, сказал уверенно:

— Решат. Тогда и напишут.

Добавил равнодушно:

— Почитаем...»

Теперь же Пётр Егорыч смущённо и весело объясняет: «Липкая штука. Как мёд. Подступились к ней — оторваться не можем...»

Введение новой технологии позволило целиком упразднить черкасовский участок. «Скажи — сам себя ликвидировал...» — удивляется Пётр Егорыч. В этих словах заключён и другой, более важный смысл: прежнего Черкасова, того самого, который слыл образцом отсталости и мерилом застоя, больше нет.

Вслед за этим рассказом, появившимся в «Огоньке», Г. Радов напечатал там же ещё несколько талантливых рассказов, свидетельствующих о хорошем знании автором жизни и о стремлении активно вмешаться

в неё. Только традиционным невниманием нашей критики к работе «тонких» журналов можно объяснить долгое отсутствие какого бы то ни было отзыва о дебюте нового рассказчика, а затем несправедливый упрёк в «поверхностном отношении к важным жизненным темам», который сделал Г. Радову за «Петра Егорыча» А. Тарасенков в своей рецензии на сборник рассказов 1951—1952 годов («Известия», 23 ноября 1954 года).

Вообще отдельный рассказ, как правило, редко получает оперативный отклик. Иногда, попав в «толстый» журнал, рассказ упоминается в обзорной рецензии. Но авторы, систематически печатающиеся в «Огоньке» или «Смене» и дающие как раз наибольший «выход продукции», бывают удостоены разговора лишь тогда, когда выпускают книжку. А в ней подчас можно встретить и слабые произведения, которые при своевременном критическом разборе писатель мог бы исправить или, может быть, не предлагать для издания.

Новому в советских людях, гармоническому сочетанию общественного и личного в их повседневной жизни, поэтичности и романтике наших будней посвящены рассказы Б. Бедного «В сплавной конторе» (прежнее название — «Комары») и В. Дудинцева «Лыжный след».

«В сплавной конторе» — это, в сущности, рассказ о размолвке влюблённых. Но никогда бы мы не поняли природы сильного и требовательного чувства Воскобойникова к Анне, не составили бы себе представления о его цельности, энергии, отзывчивости, обо всей его жизнелюбивой, щедрой натуре, если бы не увидели главного героя в сплавной конторе и на реке, в водовороте обычных и в то же время полных большого смысла дел, среди которых его, инженера Воскобойникова, дело воспринималось им как «пусть не очень великое, но, в конце концов, и не такое уж малое».

Автор остро начинает рассказ, сразу обрушивает на читателя лавину огорчений, колебаний, сомнений и забот главного персонажа. Приём внутреннего монолога позволяет ощутить сменяющуюся гамму настроений героя в момент ссоры и после неё.

Мысль об Анне не оставляет его ни на минуту: «Всюду была она; что бы он ни делал, всё какими-то гранями обязательно соприкасалось с Анной...» И всё же «его хватало на большее, чем он предполагал,

на большее, чем только на одну любовь».

Он любил ещё и свою работу — «суетливую, бессонную, с неожиданными препятствиями на каждом шагу». Побороть такое препятствие, стать над слепым случаем, над стихией — для этого стоило жить! И вот в такую минуту Воскобойников «с какой-то совсем новой стороны вспомнил об Анне. Никогда раньше он не думал об этом, но, оказывается, вполне была возможна жизнь и без Анны, и в такой жизни были свои радости. Не в её воле было закрыть ему все пути-дороги, выбить из колеи, — другие прочные якоря держали Воскобойникова в жизни.

Это было как встреча с новым, душевно богатым и не до конца знакомым человеком. Встреча с самим собой.

В рассказе есть любопытный антипод Воскобойникова — «красивая заведующая», как упорно именуется автор чёрствую и грубую женщину, которая по недоразумению руководит детским садом. Иного имени у неё в рассказе нет, и не случайно. Автор как бы хочет сказать, что это существо, лишённое живого интереса к своему делу, того, чем так полон главный герой, — безлично и, как это ни кажется парадоксальным, даже и непривлекательно.

Выразительны художественные средства Б. Бедного, свободно владеющего различными повествовательными интонациями. Забавны по-мальчишески озорные сравнения: «Продавщицы морса в тюлевых кокошниках скучающими царевнами сидели в голубых фанерных теремах»; «Степановна долго крепилась, но под конец не выдержала — надела перчатки и облачилась в накомарник. Сквозь чёрную марлеву сетку накомарника таинственно мерцали крупные роговые очки — скромная секретарша стала походить на мудрую марсианку».

«Лыжный след» В. Дудинцева — тоже рассказ о любви. В нём, как и вообще в творчестве этого молодого прозаика, утверждается мысль, что счастья достоин лишь тот, в ком сочетаются беспокойный творческий талант и большая моральная чистота. Это лейтмотив цикла рассказов «У семи богатырей», та же идея положена в основу первой повести В. Дудинцева «На своём месте».

Лыжный след, долгие вёрсты тянувшийся через занесённую вьюгой равнину, привёл рассказчика в большое село Дугино, дал ему в руки ключ к истории робкой и цело-

мудренной любви механика Лёши и учительницы Катерины Матвеевны и с новой стороны приоткрыл перед ним давнего знакомого, Панкратия Савельевича.

«Механик — это то же, что врач, — горделиво говорит этот учитель Лёши. — День ли, ночь ли — будь в готовности, лечи больных».

Случается так, что Панкратию Савельевичу приходится не только врачевать машины, но и разбираться в сложной «механике» человеческих отношений, с удивительным, бережным тактом направлять влюблённых к верному решению. Он чувствует прямо-таки личную ответственность за исход этого — никем ему не порученного — «дела».

Панкратий Савельевич — новый человек для деревни не только потому, что он тесно связан с техникой. Само его отношение к людям основано на несравненно более высоких, чем прежде, нравственных нормах.

В отличие от Б. Бедного, который подчас прямо формулирует, какова его идея, в чём пафос созданных им образов, В. Дудинцев придерживается другого, также закономерного приёма. Он оставляет для себя роль добросовестного рассказчика, и только. Однако характер происшедших в советской деревне изменений ясен и из основного сюжетного действия и даже из весьма второстепенных художественных деталей, точно соответствующих месту и времени рассказа. Атмосфера современности создаётся, между прочим, и такими «проходными» репликами, как, например, напутствие колхозницы кучеру: «Не бойсь, поезжай... Тут лыжник полчаса как прошёл. Вот тебе и трасса (разрядка наша. — Л. М., А. Т.)».

В рассказах Б. Бедного и В. Дудинцева тема любви тесно и явно переплетена с другими темами. В «Неопубликованном рассказе» П. Павленко речь идёт только о любви. «Прости меня, если я много, может быть, слишком много, говорила о своей любви, — просит сама героиня в одном из писем к мужу, которые, собственно, и составляют рассказ. — Я — кукушка по однообразию песни. Всё «ку-ку» да «ку-ку» — на все случаи жизни».

«Неопубликованный рассказ» доказывает всю никчёмность и пустоту схоластических доктрин о дозировке в описании «общественной» и «личной» жизни. Несмотря на то, что в рассказе лишь изредка мелькают упоминания об общественной стороне жизни героини, несмотря на то, что главное в

нём — это «только» самоотверженная любовь, — какой огромной духовной силой женщины, нашей соотечественницы и современницы, дышат эти страницы — силой «праздничной, влекущей вперёд, как мечта».

Нежная настойчивость, с которой героиня стремится внушить своему тяжелобольному мужу бодрость и веру в выздоровление, заботливое желание уверить его, что у неё и у мальчиков всё в порядке (хотя по случайным обмолвкам можно понять, что им живётся вовсе не легко), гордое и мужественное отношение к терзающим её сердце ревнивым мыслям, стойкость при вести о смерти любимого, умная и взыскательная любовь к детям (потому-то «уже и сейчас они настоящие маленькые большевики») — всё, чем овеяны эти письма, заставляет повторить слова рассказчика: «— Да, хорошие у нас люди... А женщины — шапку перед ними скидывай». Так за историей этой семьи возникает прекрасный образ всей «чистой и честной страны нашей».

Этот же образ встаёт и в таких, посвящённых куда более обыденным делам рассказах и очерках, как «Районные будни» и «День тракториста» В. Овечкина, «Серафима» В. Фоменко, «Народный суд» Ю. Лаптева и «Разговор в парикмахерской» Е. Дороша.

Героев этих произведений — мы говорим о положительных героях — роднит глубоко партийное отношение к окружающему, вошедшее в их плоть и кровь чувство ответственности перед народом за всё, к чему они причастны. Этому сопутствуют свойственные подлинным коммунистам любовь к живому делу и стремление не останавливаться на достигнутом, отвращение к бюрократическому верхоглядству, рутине, парадной шумихе.

Всем памятен второй секретарь райкома Мартынов, фигурирующий почти во всех очерках В. Овечкина последних лет. Это зрелый, дальновидный и образованный партийный руководитель. А вот перед нами молодой агротехник — почти девочка — Серафима, героиня одноимённого рассказа В. Фоменко. Только что избранная секретарём колхозной парторганизации, она робеет: «Сколько людей, годящихся Серафиме в отцы, в матери, людей, у которых свои дела, думки, заботы о семье, вдруг сразу доверены ей...»

Не сегодня-завтра на поля колхоза придёт большая вода: завершается строитель-

ство Волго-Донского канала. И как совсем по-мартыновски, государственно, прозорливо и деловито оценивает Серафима происходящее:

«Областная газета и в стихах и так просто каждый день про нас печатает — поздравляет да приветствует; областное радио, районное радио с рассвета до ночи приветствуют; а как же конкретно хуторам готовиться к орошению — никто ни звука. Только и слышишь: придёт, мол, живительная вода, пахнёт, мол, радостным запахом... Портим людей, не мобилизуем на то, что задачи трудные, может, даже ужасно трудные!»

Беспокоит Серафиму и то, что «молодёжь не видит в колхозе нового себе дела». Надо отдать должное чуткости В. Фоменко, который сумел своевременно заметить это отрицательное явление.

Серафима ужасается своей неопытностью, подчас излишне горячится, но со страстной убеждённостью приступает к решению «ужасно трудных» задач, зорко присматриваясь и прислушиваясь ко всему, что может оказаться ей полезным. И когда она, ещё совсем по-девчоночьи, втайне одобряет себя за удачную мысль: «Умница Фимочка», читатель охотно и весело соглашается с ней.

Людей с творческой жилкой рисует в своих рассказах Е. Дорош. Это председатель колхоза Колиенко («Разговор в парикмахерской») и Иван Федосеевич, занимающий ту же «центральную должность в государстве», герой одноимённого рассказа, недавно опубликованного в «Огоньке».

В колхозе у Ивана Федосеевича не такие уж благоприятные природные условия для хозяйствования. «Забота об общественной выгоде» подсказывает этому умному, «строптивому с недальновидным начальством» человеку единственно верный принцип ведения дела — принцип смелой и продуманной инициативы: «У нас вот в войну командиром части один майор был... так он всегда Суворова нам приводил: «Каждый солдат должен знать свой манёвр». Что бы и председателю колхоза так говорили: применяйся, дескать, к местности и к обстоятельствам — знай свой манёвр!»

Благородная традиция советской литературы — стремление чутко уловить новое, проникнуть в самую сердцевину рождающихся и развивающихся явлений, подметить то небывалое, что складывается в общественной жизни и в человеке, — эта тра-

диция, в которой написаны все названные выше рассказы, ясно ощущается и в тех произведениях, где речь идёт о жизни и борьбе простых людей за рубежами нашей родины. Таковы, например, рассказы Н. Тихонова о Пакистане и В. Кожевникова о Китае.

Каждый новый рассказ или очерк В. Кожевникова (а их за последнее время появилось довольно много) делает картину жизни освобождённого Китая всё более полной, добавляет к ней какой-то новый и важный штрих. Иные рассказы, построенные на биографии человека, позволяют отчётливо видеть рубеж между прошлым и настоящим, крутой поворот в жизни простого китайца. Другие сделаны в форме путевых зарисовок, где одна картина сменяет другую и персонажи вначале кажутся случайными, подобно прохожему, встреченному на дороге, но где всё подчинено стремлению писателя показать то новое, что родилось в Китае, и те своеобразные формы, в какие отливаются это новое.

К числу таких зарисовок принадлежит и включённый в рецензируемый сборник рассказ «У северных ворот Инчжоу». Это, собственно, описание того, что происходило однажды днём на улице старинного уездного городка. Пожилой крестьянин озабоченно диктует уличному писцу послание деревенскому старосте о том, как по пути на народную стройку «Ван Ши-шань в день заучивает по пять иероглифов, как он обещал партии», а другие запоминают «всё полезное для нашего кооператива». Автор не называет даже имени крестьянина, но перед нами — точно обрисованный характер деревенского философа, сердце которого зажгло жаром новых открывшихся ему истин.

Тут же, на улице, — библиотека для неграмотных, где они рассматривают книги-картинки — «увлекательные изобразительные рассказы о методах отличного труда, о преобразованиях в стране, осуществляемых народным правительством Китая». И, забываясь о «читателях», милиционер приказывает разносчику, бряцавшему жестяной посудой, перейти на другую сторону улицы.

Чувствуется, что автор влюблён в Китай, в его талантливых, трудолюбивых и обаятельных людей, и это творческое пристрастие, желание поделиться с читателями всем богатством нахлынувших впечатлений

очень привлекает в рассказах В. Кожевникова.

Знакомство с его героями приводит на память прекрасные слова из рассказа П. Павленко «Хлеб жизни»: «— Вот какие люди нас догоняют... И идти нам с вами надо изо дня в день быстрее, из году в год резвее, раз мы их опытнее».

К сожалению, размеры рецензии не дают возможности в равной мере останавливаться на всех удачах сборника. Упомянем ещё о двух рассказчиках. Один из них — Ю. Нагибин — более опытен, другой — С. Никитин — дебютировал совсем недавно. Но оба, по нашему мнению, очень плодотворно работают в жанре рассказа и быстро растут как писатели.

«Осенний день на Мшарах» С. Никитина — это рассказ о раздумьях, навеянных природой и случайной встречей с несколькими людьми. Сначала рассказчик, занятый ужением рыбы, лениво перебрасывается словами с бакенщиком дядей Васей, потом стряпает уху и приглашает к обеду двух незнакомых художников, расположившихся неподалёку с этюдниками, и какого-то человека, молчаливо сидевшего с удочкой под одинокой прямой сосной, на стволе которой было огромными буквами вырезано: «Оля».

Неподвижность, статичность окружающего оттенена уже в начале рассказа пейзажем: «Мшары — это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь усыпано сухими листьями дубов, рябин, черёмухи, липы, орешника. Лодка скользит по его поверхности с тихим шуршанием, мокрые листья липнут к её бортам, виснут на вёслах».

Могучий дубовый лес стоит по берегам озера, закрывая его от ветров, и оно всегда спокойно, точно наполнено не водой, а тяжёлой ртутью».

Эти фразы, как иногда первые медленные музыкальные аккорды, рождают настроение созерцания, спокойной, чуть грустной задумчивости. Но вот это настроение разбивается комически звучащим, напыщенным рассказом дяди Васи о том, как он поймал двухпудовую щуку. Появляется гомонливая стайка ребят, охотников за желудями: «Мы собираем для колхоза, дубовый лесок хотим развести...» Они притаились, заболтали шёпотом за спинной рыболова — и будто весёлые солнечные зайчики заискрились на затенённой глади

озера. Деревенские девушки идут мимо, и одна из них, с веточкой рябины в тёмных волосах, заговаривает с молчаливым человеком, который оказывается деревенским фельдшером. Высокая и смуглая, похожая на «молодую осень» Настя — его вторая дочь. Старшая, Оля, когда над ней надругались фашисты, утопилась в озере... Так вот чьё имя было вырублено на сосне! Война оставила грозный, памятный след и здесь, хоть этот тихий мирок «казался таким недоступным для людских скорбей. Он остался как будто прежним, но вызывал теперь совсем иные чувства и мысли», — задумчиво обращается автор к читателю, справедливо уверенный в том, что тот поймёт его без дальнейших пояснений.

Можно подивиться экономности письма молодого прозаика. Как много живых фигуры находим в маленьком рассказе, по виду сделанном, как поэтическая зарисовка дня на лоне природы!

Новые рассказы С. Никитина, появившиеся после «Осеннего дня на Мшарах», — «Семь слонов», «Дальние родственники» и другие — убеждают в том, что дарование молодого автора крепнет.

Много говорилось в нашей критике о «Трубке» Ю. Нагибина, напечатанной в сборнике. Опубликованные впоследствии рассказы «Комаров», «Старая черепаха», «В школу» и другие дают нам основание утверждать, что этот талантливый писатель переживает пору творческого подъёма. В его произведениях всё отчётливее просупает стремление уловить и показать момент, когда в жизни героев — взрослых и детей — происходит что-то очень важное, подчас определяющее их судьбы. Ю. Нагибин тонко изображает столкновение противоположных качеств в человеке, трудную, постепенную победу героев в этой борьбе, будь то «первый добрый подвиг» мальчика Васи («Старая черепаха») или крушение индивидуализма молодого геолога («Четунов, сын Четунова»).

Разумеется, в каждом сборнике рассказов есть произведения и более удачные и менее нравящиеся читателям. Подчас неприятие того или иного рассказа зависит просто от субъективных эстетических пристрастий читателя, иной же раз оно является следствием художественного несовершенства этого произведения, неверного понимания автором изображаемых явлений.

Герой «Тревожной ночи» Д. Осина, кол-

хозный зоотехник, недавно подал заявление о приёме в кандидаты партии. Это, как можно судить из того, что сообщает о его биографии автор, закономерный итог всей честной трудовой жизни Медведкина. Движимый понятным желанием подчеркнуть значительность этого события, Д. Осин, однако, пошёл по неверному пути. Глубокий в н у т р е н н и й пафос происходящего показался ему недостаточным, и он придумал историю с пожаром, во время которого Медведкин действует самоотверженно и получает серьёзные ожоги. Решение о его приёме в партию predetermined. Но разве не было оно predetermined всей предшествующей жизнью героя? Ещё в начале рассказа второй секретарь райкома, бывший ученик Медведкина по техникуму, Яковенко, по его собственному выражению, объясняется старому зоотехнику в любви: «Я учился у вас и даже тогда не считал вас... как бы это сказать... беспартийным. Для меня, как и для всех, вы всегда были...» Правда, смущённый Медведкин не даёт ему договорить, но характеристика уже и без того достаточно ясна. Поведение героя на пожаре не раскрывает в его облике никаких новых черт. Автор хочет компенсировать это многочисленными похвалами поступку Медведкина со стороны других действующих лиц, и в результате образ живого человека всё более приобретает иконописный характер.

Значительность душевных переживаний героя, связанных с его решением стать коммунистом, явно принижается безвкусной, напыщенной олеографичностью.

«И всем невольно стало хорошо оттого, что Ольховый, Лука Северьяныч и Колесников, давшие поручительство зоотехнику, поступили правильно, рекомендовав в партию достойного человека», — умилённо повествует Д. Осин.

Привкус легковесности ощущается и в изображении такого бедствия, как пожар. Женщина, по чьей вине сгорели и её собственная изба, и дома соседей, и часть колхозного имущества, больше всего расстраивается оттого, что у её детей теперь нет коляски.

Трудно поверить в подобные переживания человека, которому всего несколько часов назад из горящей избы «только детей удалось вынести да кое-что из одежды». Но ведь, как упоминалось выше, пожар понадобился Д. Осину лишь для того, чтобы по-эффектней обставить сюжет.

Приукрашивание, лакировка действительности, обратной стороной чего являются бесцеремонность, фальшь в показе внутренней жизни человека, портят и некоторые другие, более поздние рассказы Д. Осина, например, не так давно напечатанную в журнале «Огонёк» «Алмазную грань».

Проблеме взаимоотношений искусства с жизнью посвящён рассказ Н. Атарова «Магистральная горка». К сожалению, однако, выбранная автором сюжетная коллизия — спор между скульптором Потехиной и представителями общественности областного города о месте установки памятника девушке-партизанке — по характеру своему не соответствует важности темы. Мы уже не раз читали о том, как талантливого, но несколько профессионально ограниченного, самолюбивого и капризного деятеля искусства терпеливо вразумляли «люди практики», и, по совести сказать, сомневаемся, так ли уж типичен сей сюжет, чтобы постоянно служить выражением взаимоотношений искусства и жизни. Напомним, что на подобной ситуации построен и другой рассказ сборника — «Узорчатая рама» И. Егорова.

Читатели знают Н. Атарова как вдумчивого рассказчика, тяготеющего к изображению сложной интеллектуальной жизни человека. И в «Магистральной горке» немало живых сценок, метких деталей, интересных подробностей в характеристике главной героини. Но крылья писательского таланта связаны схематическим замыслом, и, чтобы оживить повествование, автор подчас вынужден прибегать к чисто внешним беллетристическим уловкам, каких особенно много в сцене беседы Потехиной с сестрой погибшей партизанки.

Менее удачен, чем обычно, рассказ Н. Емельяновой «Любовь». Большая и трогательная тема истинной любви к детям решается в этом рассказе в не свойственной автору рассудочно-декларативной манере.

В рассказах И. Котенко «Новый адрес» и, особенно, Д. Холендро «Друг рыбака» повествование как бы движется неверными шагами, без ясной цели, словно авторы так до конца и не решили, на какой из тем надо окончательно остановиться. И. Котенко пытается говорить и о воспитании мужества в ребёнке, и о любви, увиденной глазами девочки Наташи, и, наконец, о том, как «переезжает» донская станица перед приходом большой воды. Д. Холендро то рассказывает о помощи авиации рыбакам, то начинает развёртывать любовную интригу.

За годы, прошедшие после появления обранных в рецензируемой книге рассказов, этот жанр продолжал успешно развиваться, что мы и пытались показать, рассматривая произведения отдельных авторов. Хочется ещё упомянуть и о дальнейшей плодотворной работе в жанре рассказа В. Матова, А. Шарова, Б. Гусева, Ю. Лаптева.

Несколько лет назад на страницах «Правды» появилась статья «Больше рассказов хороших и разных». С тех пор положение в жанре рассказа существенно изменилось к лучшему, но действенность этого призыва не ослабела. Советские читатели ждут новых рассказов, написанных в разных манерах и раскрывающих всё многообразие нашей жизни.

Л. МИХАЙЛОВА,
А. ТУРКОВ.

★

Талантливые повести

В новом издании вышли в свет повести писателя Василия Смирнова «Сыновья» и «Открытие мира».

Василий Смирнов принадлежит к тому поколению литераторов, которых имел в виду Горький, когда двадцать лет тому назад сказал на Первом Всесоюзном съезде советских писателей: «Мы должны вырабатывать целую армию отличных литераторов — должны!»

В. Смирнов. Повести. «Советский писатель», М. 1954.

Призыв Горького не остался, да и не мог остаться лишь благим пожеланием. Советская литература подобна многоводной реке: её непрерывно пополняет приток свежих сил, обогащающих её, двигающих вперёд. За двадцать лет, отделяющих нас от Первого съезда писателей, окрепли таланты многих новых писателей. Среди них заслуженным уважением и любовью читателей пользуется писатель В. Смирнов.

В 1940 году появилось первое большое произведение В. Смирнова — повесть «Сыновья». Она сразу же обратила на себя вни-

мание свежестью, отличным мастерством, глубоким проникновением автора в жизнь и правдивым изображением её. Было видно, что В. Смирнов — писатель многообещающий. И это подтвердилось выходом в свет его новой повести — «Открытие мира».

Обе повести В. Смирнова написаны с глубоким пониманием той большой ответственности перед читателем, к осознанию которой неоднократно и настойчиво призывал писателем Алексей Максимович Горький. Они завоевали успех у широких кругов читателей, но не обратили на себя заинтересованного внимания критики. Критика хвалила их, но как-то вяло и неинтересно. В сущности говоря, творчество такого своеобразного художника, каким является В. Смирнов, нашей критикой до сих пор не оценено должным образом.

Повести В. Смирнова создавались основательно, с большим расходом времени и душевных сил. Не поэтому ли рассказанное писателем и вызывает подлинное и глубокое волнение у читателя? Писатель сумел, по выражению Тургенева, «оживотворить» то, что услышал, увидел и пережил. В его повестях нет захватывающей интриги, каких-либо эффектных сюжетных поворотов, а между тем трудно оторваться от них. «Секрет» простой, как всякий «секрет» настоящего мастерства: книга В. Смирнова согрета теплотой и искренностью повествования, наглядностью и конкретностью изображения. Всё, о чём рассказывает писатель, настолько зримо и близко, что кажется, вы сами участвуете во всех делах, которыми заняты герои книги: запрягаете лошадей, косите, пашете, ворошите пахучее, подсыхающее сено, собираете землянику, ловите рыбу, ходите в лавку, купаетесь в реке — словом, живёте всем тем, чем живут герои книги. Простое, почти хроникальное повествование о жизни простых людей настолько увлекает своей поэтичностью, что процесс чтения перерастает в сопереживание.

Это ли не признак настоящего мастерства? Героиня повести «Сыновья» — обыкновенная, рядовая крестьянка приволжского села Анна Михайловна Стукова. Содержание повести — история её жизни. Писатель обстоятельно показывает очень трудный и сложный, порой трагически складывающийся путь Анны Михайловны. Лишь революция подняла её из мрака прошлого к свету новой, свободной жизни. Рисуя путь Анны Стуковой, писатель подчёркивает,

что эта женщина — самый обыкновенный человек. Анна Стукова потому понятна и близка читателю, что её думы, мысли, поступки — это думы, мысли и поступки тысяч таких же, как и она.

Биография Анны Стуковой могла бы уместиться на четвертушке бумажного листа: перед первой империалистической войной она в одиночку билась с нуждой — муж был в Питере, на заработках; в империалистическую войну — солдатка. После Октябрьской революции муж ненадолго вернулся домой, вместе с другими фронтовиками взбудоражил, «перевернул» всю деревню, налаживая новую жизнь, а затем ушёл добровольцем в Красную Армию и не вернулся. Осталась Анна вдовой с двумя близнецами на руках. В хозяйстве у неё, кроме хоровёнки, — ничего. Тяжёлая работа с утра и до ночи. Трудно Анне — ни помощь комбеда, ни ссуды волостного комитета взаимопомощи не в состоянии полностью избавить её от нужды. Только с организацией колхоза меняется её жизнь: она становится зажиточной колхозницей, передовой льноводкой. Вырастают и сыновья.

Такова схема. Просто? Обычно? Да, если смотреть на всё это с точки зрения «тиража» подобных биографий. Сколько в нашей стране таких женщин, ныне работающих председателями колхозов, бригадами, звеньевыми! И вместе с тем повесть волнует оттого, что всё это простое и обычное принимает в ней, по выражению Горького, «значение символа». Перед нами не просто хроника жизни Анны Стуковой и её сыновей Алексея и Михаила, хотя повесть и носит в себе элементы хроникальности. «Сыновья» — произведение большого плана, показывающее на примере одной типичной судьбы эпоху, время. Художник живо и интересно нарисовал старую, дореволюционную деревню, показал то новое, что пришло в село после революции, и, наконец, начало и развитие колхозной жизни. Мы видим острую классовую борьбу и становление новых, социалистических отношений, формирование новых людей. Раскрывая этот исторический процесс, В. Смирнов создаёт широкие, реалистические картины. Особенно великолепны картины труда. Тут и пахота земли, и косьба, и сев, и тербление льна. И всё это написано ярко, талантливо. Люди, вещи осязаемы, живы. В. Смирнов, выходец из крестьянской среды, отлично знает

крестьянский труд и умеет изображать его, как поэт.

Необычайно поэтичны и описания природы в повести. Природа живёт вместе с героями, и потому пейзажи тесно связаны с действием, сюжетом произведения. Вот одно из таких описаний:

«Весна в 1936 году шла ранняя, но с обильными снегопадами. В начале марта было морозно и ветрено, как в январе. Днём таяло, а к вечеру крепко подмораживало, казалось, зиме конца не будет. На матовом чешуйчатом снегу был такой наст, что держал человека. Доярки ходили на ферму напрямик от изб, как по паркету, минуя скользкую, в рывтинах и проступах, дорогу.

Скупое светило солнце, скрытое за серой пеленой облаков. Ветер раскачивал колючие ёлки, и крупный, пушистый иней струился с ветвей молочными ручейками.

Но тринадцатого марта, в полдень, ветер затих. Нежданно проступила в небе голубая проталина, другая, третья. И в одну из них, как из окошка, радостно и ярко, точно хорошо выпавшись, глянуло на землю солнце. Тотчас же зазвенела капель. Выскочили со двора, закудахтали куры. Беспокойно заржали кони, выведенные на прогулку.

И тогда на серую, набухшую водой дорогу откуда-то сверху, с синего потеплевшего неба, чёрной молнией упал грач. Тяжело и важно прошёл он по талой дороге и, склонив набок грузный белый клюв, задумчиво наполнил из золоченой солнцем лужицы».

Умно, тепло — и по-настоящему поэтично!

Есть в повести «Сыновья» ещё одна пленительная особенность — это изображение любви Анны Стуковой к сыновьям. Радость материнства проходит через всю повесть как одна из главных линий личной жизни Анны. Но воспринимается она как характерная черта, как примета нашего времени. Сыновья Анны не только её сыновья — они дети государства. Как ни тяжело было Анне после потери мужа, она верила, что государство не оставит её. И советская власть помогла ей вырастить замечательных сыновей. Отношение Анны к детям овеяно необычайной красотой и радостью. И это счастье матери передано писателем с большим мастерством.

Любовь матери к детям вознаграждается ответной любовью сыновей.

«Они, — пишет В. Смирнов, — приносили из школы много нового, чего мать не знала. Сыновья как бы связывали её невидимыми

нитьями с окружающей жизнью, не всегда понятной, то радующей, то огорчающей, но не похожей на прошлую жизнь».

Да, ничто не похоже на прошлую жизнь: ни любовь матери к детям, ни любовь детей к ней, ни труд, ни образ жизни...

Повесть заканчивается проводами сыновей в Красную Армию. Расставание матери с сыновьями дано в маленькой сценке, однако в ней много простора для больших чувств! Мы видим молча стоящую за оклицей, постаревшую, седую Анну Стукову. Она стоит прямо. Лишь глаза её слегка затуманены слезами. На сердце матери не только грусть, но и гордость за сыновей, за свою жизнь. Двадцать с лишним лет тому назад она провожала мужа в солдаты. Как не похожи те проводы на эти! Да и кем она была тогда? Нищей. Теперь она богатая и знатная колхозница-льноводка, награждённая орденом Ленина. Гордость за детей, гордость за советскую власть, за Коммунистическую партию, давшие ей возможность вырастить и поставить на дорогу жизни детей, наполняет её сердце.

Повесть «Сыновья» ценна тем, что она выразительно показывает лучшие черты нашего народа, свершившего героический подвиг в строительстве новой, социалистической деревни. В произведении точно, убедительно и ярко запечатлена большая эпоха. Написана повесть в традициях классической русской прозы. Что ж, на таком солидном фундаменте здания стоят долго...

Вторая повесть Смирнова — «Открытие мира» — впервые была напечатана в журнале «Звезда» в 1947 году. В этой повести писатель рисует жизнь старой, дореволюционной деревни перед империалистической войной 1914 года.

Писатель показывает эту жизнь через сознание ребёнка. Нужно быть знатоком детской психологии, чтобы избежать фальши в таком произведении, найти не только правильное, но и поэтичное решение художественной задачи, не попасть в плен дидактике — этой матери скуки, не превратить юного героя в мудрого, всепонимающего старичка. Что греха таить, в нашей современной детской литературе найдётся немало примеров, когда произведения для детей и о детях написаны так, как будто их авторы забыли о том, что книга создаётся не только для высказывания полезных идей, но и, между прочим, для чтения.

В своей повести «Детство» Максим

Горький писал: «Не только тем изумительна наша жизнь, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт всё-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни «светлой, человеческой».

Эта же идея прорастания доброго, яркого и здорового человеческого начала проницывает повесть В. Смирнова.

Действие в «Открытии мира» охватывает небольшой отрезок времени: всего лишь несколько летних месяцев. Но сколько событий показано писателем, как разнообразны его персонажи, как чудесны картины природы! С первого взгляда кажется, что события, показанные в повести, уж очень будничны: семилетний мальчик Шурка и его друзья — Яшка Петух, Катька Растрёпа и Колька Сморчок — ведут свои детские игры, нянчат братишек и сестрёнок, лазят по деревьям, собирают грибы, купаются в бездонных бочажках, бегают к шоссе встречать «питерщиков» и незнакомых господ в надежде получить гостинец, спорят, дерутся и так далее. Но обо всём этом В. Смирнов рассказывает языком поэзии. Глазами и умом ребят автор как бы заново открывает старый, знакомый мир — мир необычной значительности.

«Мир был велик, таинственен и чудесен. Он начинался в избе, в тёмном подполье, где лежала картошка и жили домовый и скребучие мыши. Мир выходил на улицу, простирался по шоссе, гумну, проулкам, куда Шурка бегал играть в «шары», «бабки» «городки» и «куру». Кончался мир за околицей села, у Косого мостика. Там, в густой сосняк, падало небо. Туда, за чёрный лес, скатывалось по вечерам красное солнце и, надо быть, засыпало, прикорнув жар-птицей на большущей моховой кочке. За поворотом шоссе, у полосатого верстового столба, пропадали обычно из глаз пешеходы, грачи, подводки, собаки — пропадало всё живое. Там был конец шуркиного мира.

Но однажды, в пасху, залез Шурка с ребятами на колокольню и с трепетом обнаружил, что за Косым мостиком и чёрным лесом идут поля, деревни, и шоссе видна, и небо падает где-то дальше. Шурке очень хотелось знать: что же там, за этим взавраулу упавшим небом? Он обратился к матери. Ей было недосуг, она прогнала его прочь, и Шурка придумал своё объяснение.

Если итти всё вперёд и вперёд, туда, где падает на землю небо, можно найти облако. Оно лежит на луговине, как студень, свалившись с неба кусищем величиной с амбар. На вкус облако солёное, и его ночью лешие хлебают ложками».

Любознательность Шурки, стремление понять и объяснить окружающий мир толкают его иногда на необдуманные поступки: то он пропарывает себе ножом икру ноги, чтобы узнать, в самом ли деле ноги у людей набиты икрой; то роняет нарочно нож и весь день ждёт, не придёт ли кто (мать говорила, что если уронить нож, то мужик придёт); то он ходит задумчивый, пытаясь разгадать, что бы это значило: про неудачника, пьянчугу Сашу Пупу говорят, что он «прогорел» и «вылетел в трубу», а Саша ходит живой...

Непосредственное восприятие Шуркой явлений жизни часто сталкивается со всякой «скотской дрянью». В этом столкновении гибнут иллюзии, утрачивается наивность ребёнка и появляются первые зачатки общественного сознания. Шурка любил бывать, например, в лавке Устина Быкова не только потому, что ему удавалось выклянчить тут же у матери дешёвые лакомства, но и потому, что хозяин лавки был так мил и ласков, словно готов всё отдать даром. Но вот однажды Устин Быков застал Шурку в своём саду, где Шурка собирал червивые паданцы, подошёл к мальчику, насовал ему в штаны крапивы и заставил бежать домой. Много видит Шурка. Трудно достаётся ему познание жизни. Он видит жизнь то в фантастическом свете, то в страшной, доходящей до кошмара реальности — и всё это откладывается в его пылливой головке, формируя сознание. Мальчик начинает думать о том, что где-то должна быть другая, лучшая жизнь. Он не сам придумал её — о лучшей жизни говорят такие люди, как мать и отец, уважаемый Шуркой дядя Родя (отец Яшки), обуховский рабочий Афанасий Горев, пастух Сморчок. И Шурка сам начинает мечтать о такой жизни, где можно жить «...без серебряных полтинников: бери даром, без обмана, и гостинцы, и гармоники, и ножички — что душа пожелает». Нужно лишь забраться на облако и «уплыть на нём вместе с Катькой и Яшкой далеко-далеко, на край света».

Этому наивному восприятию своего героя автор противопоставляет жестокую реальность жизни. Мы видим дела и события как

бы в двух плоскостях, смотрим на них глазами основного героя — ребёнка — и глазами взрослого, писателя.

Повесть кончается проводами мужиков на войну 1914 года. На войну уходят и отец Шурки и дядя Родя. Шурка с матерью едет на станцию провожать отца. Шурка не может понять, отчего все взрослые ходят хмурые и подавленные, — Шурка до отъезда на станцию успел с Яшкой и Катькой поиграть на гудне в войну, и она ему очень понравилась. «Ему было жалко отца и завидно, что тот уезжает на войну, а его, Шурку, не берёт». Когда поезд с солдатами ушёл, мать Шурки всплакнула, а затем сказала:

«— Один ты у меня остался... мужик в дому».

Вот в этот момент и произошло главное открытие автора. Шурка ответил матери:

«— Я и один управлюсь. Вот увидишь...»

Он смело взял из рук матери вожжи и весело и грозно прикрикнул на лошадь:

«— Но-о, пошёл! Я тебе побалую... смотри у меня!»

Лошадь, пишет автор, «почувствовав верную руку, побежала рысдой».

С этой последней сценкой как бы заканчивается пора наивного детства героя — перед ним открывается другой мир, о котором автор надеется рассказать в новой книге.

Повесть написана превосходным языком. И нельзя не согласиться с Константином Паустовским, который писал об этой повести: «Эта повесть — одно из значительных явлений нашей литературы. Она свежа, талантлива, пленительна. По самой сути она является выражением поэзии. Мерки прозы к ней не подходят... «Открытие мира» для нас, читателей, является открытием подлинного художника и мастера — Василия Смирнова».

Ко Второму Всесоюзному съезду советских писателей наша литература пришла с большими достижениями. В литературу влились кадры новых талантливых писателей. Среди них Василий Смирнов занимает видное место.

П. САЖИН.

★

Политика и наука

За принципиальность в журнале архитекторов

В нашей стране строительство — дело первостепенного государственного значения. Масштабы строительных работ поистине грандиозны. Они являются реальным свидетельством великой заботы Коммунистической партии и Советского правительства о благе советских людей.

На Всесоюзном совещании строителей, созванном Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР в конце 1954 года, были сообщены замечательные факты. Только за послевоенный период на капитальное строительство в народном хозяйстве государством израсходовано свыше 900 миллиардов рублей. За это время восстановлено, построено и введено в действие более восьми тысяч крупных промышленных предприятий; трудящиеся в городах и рабочих посёлках получили 200 с лишним миллионов квадратных метров новой жилой пло-

щади, а в сельской местности — около 4,5 миллиона домов.

Эти цифры говорят о большом созидательном труде и вместе с тем об огромной ответственности перед народом строителей и архитекторов.

К архитектуре, к творчеству архитектора больше, пожалуй, нежели к чему бы то ни было, применима поговорка: «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Мы знаем, что, каким бы неудачным ни оказалось выстроенное здание, оно будет стоять долгие годы, переживёт многие поколения людей. В отличие от других искусств, произведения которых в случае неудовлетворительного их выполнения могут быть изъяты из музея или библиотеки, сняты с репертуара, архитектурное произведение, даже самое слабое, нецелесообразно уничтожать.

От творческих усилий архитекторов, от их инициативы, стремления к новаторству во многом зависит наиболее экономное использование огромных материальных ресурсов и денежных средств, отпускаемых государ-

Журнал «Архитектура СССР». Орган Академии архитектуры СССР, Союза советских архитекторов СССР и Управления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР.

ством на промышленное, сельскохозяйственное и жилищно-гражданское строительство.

В практике строительства жилищ, производственных предприятий, культурно-бытовых зданий идёт непрерывный процесс отбора лучших качеств архитектурных сооружений. Проверяется опытом степень соответствия их требованиям удобств, красоты, экономичности. Однако, как показало Всесоюзное совещание строителей, в наши дни архитектура серьёзно отстаёт от растущих потребностей советского народа. В творчестве отдельных архитекторов и в работе руководящих архитектурных учреждений наличествуют формалистические и реставраторские тенденции, эстетское понимание архитектуры.

Вскрывать недостатки в этой важной области общественной жизни, помогать их изживанию, всемерно способствовать плодотворному развитию советского зодчества призвана архитектурная критика. Наибольшей действенности она может достигнуть в печати, в первую очередь на страницах журнала «Архитектура СССР».

В своё время этот всесоюзный ежемесячный журнал советских архитекторов опубликовал в достаточной степени широкую программу своей деятельности. В обращении редакции «К читателям» указывалось, что задача журнала состоит в том, чтобы содействовать популяризации творческих достижений архитектуры; активно бороться за снижение стоимости строительства, за улучшение качества архитектуры и строительного производства; широко развернуть критику недостатков в проектировании и строительстве; участвовать в научной разработке вопросов теории и истории архитектуры.

Против такого определения главных направлений в работе журнала было бы трудно возразить.

Выполняя эти свои обязательства, журнал осуществил ряд полезных начинаний. Следует отметить инициативу редакции в подготовке тематических номеров, посвящённых практике многоэтажного жилищного строительства, ансамблевой застройке городов, развитию крупнопанельного домостроения. Удачными, на наш взгляд, являются подборки материалов, в которых рассматриваются вопросы типизации строительства жилых домов, проектирования и строительства сельских зданий, архитектуры интерьера жилища. Значительный интерес представляют статьи С. Яковлева «О мастер-

стве архитектора», М. Сергеева «Соблюдать градостроительные принципы при планировании жилищного строительства», И. Николаева «Творческие задачи промышленной архитектуры на современном этапе» и некоторые другие, где авторы выдвигают новые и важные положения.

Публикация такого рода материалов, затрагивающих большие и неотложные проблемы советской архитектуры, несомненно, помогла развитию архитектурной критики. И всё же редакция сделала ещё очень мало для того, чтобы журнал стал, в подлинном смысле этого слова, трибуной самых широких кругов советских архитекторов, организатором деловых споров и застрельщиком боевых «схваток» по актуальнейшим вопросам архитектурной деятельности.

Что же мешает этому?

Причину главных бед журнала, по нашему мнению, надо искать прежде всего в том, что у его редколлегии слова расходятся с делами. Поэтому оказалось забытым многое из той самой программы работы, которая некогда была декларирована в обращении «К читателям». Мы имеем в виду, в частности, обещания журнала содействовать разработке теории архитектуры.

Вряд ли требуется доказывать, что научно-теоретическая деятельность журнала не может быть полноценной, если журнал не станет активно помогать развитию архитектурной теории, способствуя развёртыванию критики и самокритики в архитектурной среде. Для этого редакция должна иметь своё чёткое, твёрдо установившееся мнение по каждому вопросу принципиального значения.

Архитекторы (да и не только они!) хотят получить ясный ответ на коренные вопросы, то или иное решение которых непосредственно влияет на творческую направленность в архитектурно-строительном деле: что такое архитектура, что такое советская архитектура, в чём заключаются особенности становления и развития метода социалистического реализма в архитектуре?

Социалистический реализм безоговорочно признан единственно правильным, материалистически обоснованным творческим методом всего советского искусства. Необходимо, однако, продолжать углублённую разработку вопросов, связанных с применением метода социалистического реализма в архи-

текстуре, учитывая специфику этого вида искусства.

Пропаганда материалистического понимания природы архитектуры, подлинно научное освещение путей её развития — прямая обязанность журнала «Архитектура СССР». Наряду с этим он должен вскрывать ещё имеющиеся буржуазно-идеалистические пережитки в архитектурной теории. Наиболее ярко эти пережитки выражаются в одностороннем, эстетски-субъективистском толковании архитектуры как только искусства; по мнению сторонников такой точки зрения, все задачи и цели архитектуры якобы состоят лишь в чисто художественном творчестве. Естественно, что подобные взгляды неизбежно влекут за собой всякого рода формалистические и эклектические извращения в архитектурной практике, поощряют тех, кто, ратуя на словах за метод социалистического реализма, на деле занимается эстетским украшательством, нерасчётливо расходует народные средства, затрудняет работу строителей.

Откликнуться на такую принципиально важную тему журнал пытался ещё в декабре 1952 года. В передовой статье редакция подчёркивала тогда, что «сосредоточение внимания только на эстетических задачах архитектуры не способствует полноценному решению даже и этих частных задач, не говоря уже о том, что это приводит к игнорированию функциональных, экономических и других требований, предъявляемых к архитектурным сооружениям».

Казалось бы, что журнал и дальше должен отстаивать и развивать намеченную им правильную линию. Но вот спустя три месяца в статье члена редколлегии А. Фёдорова-Давыдова читаем: «У нас сохранилось, например, представление о реализме в архитектуре как о правдивом выражении назначения здания, его конструкции, материала и т. п. Это ошибочное понимание реализма игнорирует главное — образ в архитектуре, в отношении которого и надо говорить о реализме... Что же касается до законной необходимости, чтобы театр был похож на театр, а не на баню или чтобы материал в архитектуре использовался с максимальной эстетической и экономической целесообразностью, то эти справедливые требования лежат совсем в иной плоскости вопросов, чем вопросы реализма» (№ 3, 1953 год, стр. 4—5).

Налицо — та самая теоретическая односторонность, о которой мы уже говорили. Самая суть реализма в архитектуре сводится автором статьи к воплощению в том или ином здании архитектурного образа, искусственно оторванного от назначения здания и технико-экономических требований. Предостережение же против одностороннего понимания природы архитектуры, высказываемое противниками этой надуманной точки зрения, автор статьи воспринимает как игнорирование образа в архитектуре.

Только на основе органического единства назначения здания, его конструкций, его художественной выразительности достигается правдивость архитектурного образа. Добиться её нельзя без учёта планировки здания, его места в системе застройки, равно как и применяемых в строительстве материалов. Всё это в комплексе значительно усиливает степень художественной выразительности архитектурного образа. Естественно поэтому, что здание, внешний облик которого не соответствует его назначению, не может считаться реалистическим произведением архитектуры.

Со времени публикации статьи А. Фёдорова-Давыдова прошло около двух лет, но редакция так и не вернулась к обсуждению этого серьёзнейшего вопроса. Таким образом, последнее слово в журнале осталось за автором, высказавшим неверный взгляд на проблему реализма в архитектуре.

Научный уровень архитектурной критики в печати несомненно зависит от общего состояния науки и идейно-творческой жизни в архитектурных организациях. Ряд пробелов в теоретическом разделе журнала объясняется беспомощностью научных учреждений (в первую очередь, Института истории и теории архитектуры Академии архитектуры СССР) в разработке теоретических вопросов, а также пренебрежительным отношением к критике со стороны правления Союза советских архитекторов. Журнал «Архитектура СССР» мирится с недостатками в деятельности этих организаций, не боролся по-настоящему за принципиальность критики в архитектурной науке.

Ограниченное понимание природы и специфики архитектуры ведёт к отрыву архитектурной науки от практики проектирования и строительства, усугубляет ещё не преодоленный разрыв между архитектурой и индустриализацией строительного производства.

Рост индустриализации строительных работ неизбежно вносит в архитектурную практику всё более глубокие изменения. Это требует от архитекторов настойчивого изучения передовых достижений строительной науки и техники. В то же время необходимо, чтобы и строителям стали понятнее, ближе очередные задачи советской архитектуры. Сама жизнь диктует необходимость усиления такой взаимосвязи.

Участники состоявшегося недавно Всесоюзного совещания строителей резко критиковали архитекторов за крупные провалы и ошибки в их работе, за игнорирование насущных нужд советских людей, за увлечение показным украшательством в ущерб удобствам и экономичности сооружений. Совещание потребовало, чтобы архитектурная наука и практика незамедлительно вплотную приступили к решению задачи подчинения архитектуры насущным нуждам нашего общества, установления тесной связи архитектуры с современной техникой и со строительством.

В своей практической деятельности советские архитекторы должны добиваться снижения стоимости строительства, стремиться к рациональному использованию художественных средств, бережному расходованию материальных ресурсов. В этом направлении журналу «Архитектура СССР» надо было бы проявить значительно больше инициативы, смелее и настойчивее разоблачать вредные тенденции некоторых архитекторов к неоправданному «обогащению» фасадов бутафорскими средствами и пренебрежению к внутренним удобствам зданий.

В отдельных статьях по этому поводу, опубликованных в журнале, к сожалению, недостаточно придавалось значения экономическим вопросам строительства; при разборе качества архитектуры тех или иных сооружений не выявлялись причины необоснованного роста стоимости квадратного метра их площади. Такова, в частности, статья С. Колесникова «К итогам архитектурной практики в городах РСФСР за 1953 г.» (№ 11, 1954 год).

Тема творческого освоения архитекторами новой строительной техники и новых строительных материалов не находила должного места в журнале. Выступления производителей на его страницах — пока что редкое и случайное явление. Показателен и тот факт, что в составе редколлегии журнала нет ни одного инженера — конструктора,

технолога, организатора строительного производства.

Журнал не всегда правильно освещает роль строительной техники в развитии социалистического зодчества. Примером может служить статья В. Коссаковского по поводу унификации архитектурных деталей (№ 9, 1954 год). Автор явно недооценивает те перспективы, которые открывает архитектурному творчеству наша передовая строительная индустрия, и тем самым вольно или невольно игнорирует необходимость новаторской переработки архитектурных форм. Он забывает, что строительство, например, из крупнопанельных и крупноблочных элементов требует таких композиционных приёмов, таких деталей, которые, отвечая особенностям этих конструкций, позволяли бы извлечь из них одновременно и технико-экономический и художественный эффект.

В материалах журнала, показывающих практические достижения нашего градостроительства, заметно ощущается, что редакция не ориентировала авторов рассказывать прежде всего, какими средствами, руководствуясь какими именно принципами, добивался успешной реализации своего замысла тот или иной архитектор, какими путями шёл он к цели в процессе проектирования и строительства. Этим самым снижалось познавательное и воспитательное значение статей, они не волновали читателя, не помогали ему вскрыть новое, оригинальное в творческих методах.

Для журнала характерно то, что многие его хорошие начинания так и засыхают «на корню», остаются без продолжения и развития. Целеустремлённая разработка темы зачастую ограничивается рамками одного номера. «Архитектура СССР» редко возвращается к вопросам, которые подняты на страницах журнала и заинтересовали читателей. Отсутствие дискуссий по насущным проблемам практики и теории нашей архитектуры — серьёзный недостаток журнала.

Как нам представляется, журнал «Архитектура СССР» напрасно суживает свою деятельность, не стремится стать более популярным. Как по тематике, так и по языку публикуемых материалов он является узкопрофессиональным. Повидимому, редколлегия не учитывает заинтересованности народных масс в судьбах советского зодчества. А заинтересованность эта очень велика: ведь архитектура окружает человека постоянно и повсюду — в жилище, на произ-

водстве, в общественных учреждениях, на улице. Мало давая широким кругам советской общественности, журнал, к сожалению, и не берёт от неё ничего. Не найти в журнале статей, в которых обобщалось бы мнение трудящихся о работе наших архитекторов.

На страницах журнала обычно обсуждаются уже выстроенные здания или утверждённые проекты. Между тем своевременный критический анализ проектов помог бы архитекторам и строителям избежать многих ошибок.

Естественно, что замкнутость критики в журнале не даёт ему возможности расширить авторский актив. Правда, редакция проводила совещания авторов по вопросам организации проектного дела, по архитектуре промышленных сооружений, по теоретическим вопросам и т. д. Но эта массово-организационная работа не ведётся систематически. Вот почему всё ещё слабо участвуют в журнале архитекторы и строители, работающие в краевых, областных, республиканских организациях. Крайне редко выступают в журнале и наши ведущие архитекторы.

Работа журнала «Архитектура СССР» значительно улучшится, если он будет охва-

тывать всё многообразие творческих проблем архитектуры в их неразрывном единстве, будет содействовать теснейшему сближению архитектуры и строительного искусства, ликвидации разобщённости архитекторов и строителей. Журнал обязан как можно скорее преодолеть эстетский крен в своей работе, должен последовательно бороться за прогрессивную, экономичную архитектуру, за воспитание материалистического творческого мышления архитекторов, за принципиальность, смелость, высокую идейность и научную объективность архитектурной критики. Критические выступления журнала не должны ограничиваться рассмотрением лишь отдельных произведений, но и глубоко анализировать основные процессы, происходящие в нашей архитектуре, помогать развитию её лучших тенденций, искоренению пороков и помех на пути этого развития.

Недостатки журнала «Архитектура СССР» несомненно будут изжиты в результате перестройки не только работы редакционной коллегии, но и деятельности научных и творческих организаций, издающих журнал.

Кандидат архитектуры
А. ПЕРЕМЫСЛОВ.



Первые успехи

По масштабам освоения целинных и залежных земель одно из первых мест занимает Алтайский край. В 1954 году колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции края вспахали свыше 2 300 тысяч гектаров не использовавшихся ранее земель. Из них более одного миллиона гектаров (вместо 553 тысяч по плану) было засеяно весной. Только за счёт включения в сельскохозяйственный оборот новых земель в крае было получено дополнительно 100 миллионов пудов отборной пшеницы.

Накопленный алтайцами ценный опыт массово-политической, организационной и агрономической работы по выполнению решений февральско-мартовского (1954) Пленума ЦК КПСС может быть использован в дальнейшем не только на Алтае, но и в других районах, поднимающих целину. В этом деле значительную пользу принесёт

книга «В борьбе за освоение целинных и залежных земель» — сборник статей партийных работников, директоров передовых МТС, колхозников-опытников, научных работников и специалистов сельского хозяйства Алтайского края.

Просто, доходчиво, по-деловому конкретно рассказывают авторы — люди, непосредственно участвующие в борьбе за высокие урожаи и крутой подъём зернового хозяйства в нашей стране, — об успехах в весеннем севе 1954 года, достигнутых механизаторами, колхозниками и работниками совхозов. Посевная площадь под яровыми культурами в крае увеличилась на полтора миллиона гектаров. На новую ступень поднята культура земледелия; широко применялись такие прогрессивные агротехнические приёмы, как перекрёстный, узкорядный, квадратно-гнездовой способы посева, внесение фосфоробактерина.

В минувшем году весна наступила на Алтае позднее обычного и была богата

«В борьбе за освоение целинных и залежных земель. Из опыта МТС и колхозов Алтайского края». Сельхозгиз, М., 1954.

осадками. Это требовало чёткой организации работ и напряжения всех сил для того, чтобы в короткий срок обработать почву и провести сев на высоком агротехническом уровне. В статьях секретарей Алтайского крайкома КПСС Н. Белыева и Ф. Лебедева отмечается, что в успехах по освоению целинных земель огромную роль сыграли партийные, комсомольские и профсоюзные организации. На полях развернулось мощное социалистическое соревнование. С самого начала сева повсюду была поставлена задача добиться наибольшего урожая на каждом гектаре посевной площади.

Вся страна оказывала помощь труженикам сельского хозяйства в их борьбе за увеличение производства зерна. Только за первые пять месяцев 1954 года машинно-тракторные станции Алтайского края получили от государства около десяти тысяч тракторов (в переводе на 15-силные) и много другой техники. Осваивать целинные и залежные земли на Алтай прибыло свыше двадцати тысяч добровольцев из Москвы, Ленинграда, Воронежской, Брянской областей, Ставрополя, Кубани и других мест Советского Союза.

Из статьи кандидата экономических наук Л. Флорентьева читатель узнаёт о том, как шло наступление советских людей на Кулундинскую степь. На колхозы и МТС этой зоны выпала наибольшая доля труда по освоению целинных и залежных земель Алтая. Лучшее других районов справился со своим заданием Кулундинский район, первым в крае завершивший весенний сев. Успех дела и здесь решила организаторская и политическая работа в массах. При плане сева в 87,4 тысячи гектаров колхозы этого района фактически посеяли свыше 100 тысяч гектаров. Коммунисты и комсомольцы личным примером увлекали всех механизаторов и колхозников и добились резкого повышения темпов полевых работ. Тракторная бригада, руководимая Героем Социалистического Труда, коммунистом С. Пятницей, за весенний период вспахала и засеяла почти 1800 гектаров целины и залежи, вдвое перевыполнив план. С таким же результатом закончила сев бригада коммуниста М. Перепелицы. Комсомольско-молодёжная бригада Василия Минакова выполнила план сева за семь дней и освоила весной около полутора тысяч гектаров целинных и залежных земель.

С интересом читаются статьи, помещённые в разделе «Из опыта МТС и колхозов». Директор Ново-Егорьевской машинно-тракторной станции Т. Жилин рассказывает, что эта МТС, одна из самых крупных в Алтайском крае, увеличила посевную площадь в обслуживаемых колхозах по сравнению с 1940 годом в два раза. Весной 1954 года было распахано и засеяно около восьми тысяч гектаров целинных и залежных земель при плане 6300 гектаров.

В статье подчёркивается, что в достижении этих успехов существенное значение имело тесное содружество старых и новых кадров механизаторов. «Приезд московских комсомольцев, — пишет Т. Жилин, — внёс новую свежую струю в социалистическое соревнование. Механизаторы обменивались опытом, помогали друг другу, стремились вместе добиться лучших результатов». Для каждого участка целины или залежи применялись различные агротехнические приёмы с учётом особенностей данного массива. На тяжёлых, каштановых почвах проводили предпахотное дискование целины, сеяли перекрёстным способом. На лёгких, слабо задернённых почвах дискование не потребовалось. Здесь оказалось необходимым произвести предварительное лущение для сохранения влаги в почве.

Такой глубоко продуманный дифференцированный подход к применению агротехники практиковался и в других машинно-тракторных станциях Алтайского края. Как указывают в своей статье директор Подсосновской МТС И. Ашихин и главный инженер станции И. Бернгарт, особое внимание механизаторы уделили своевременной обработке целинных и залежных земель. Все работы по освоению семи тысяч гектаров, включая и посев, были проведены за восемь—десять дней. Всё это оказало большое влияние на урожай.

Знатные алтайские колхозники-новаторы М. Ефремов и И. Черногоров поделились на страницах сборника опытом выращивания высоких урожаев яровой пшеницы на целинных землях. М. Ефремов впервые применил перекрёстный посев на участке свежеподнятой целины, разработал новый метод установления нормы высева по числу зёрен на единицу площади. И. Черногоров занимается опытной работой уже более двадцати лет. Он пишет, что даже на богатых питательными веществами целинных землях нельзя допускать шаблона в полеводстве, а

нужно разрабатывать в каждом случае особую агротехнику, применительно к составу почв. Оба опытника придают большое значение внесению удобрений в виде двух-трёх подкормок. В своё время М. Ефремов сумел получить по 60,9 центнера твёрдой пшеницы с гектара, а И. Черногоров на опытном участке вырастил урожай по 78,2 центнера.

К сожалению, среди авторов сборника нет передовиков-колхозников, собравших столь же высокий урожай за последние годы. В книге приведено немало примеров получения урожаев в 20—30 центнеров с гектара на больших площадях. Но опыт этих колхозов не нашёл достаточного освещения.

В разделе, озаглавленном «Советы специалистов», напечатаны статьи, в которых даются рекомендации для лучшего освоения целинных и залежных земель, достижения высоких урожаев.

Авторы сборника на фактах убедительно доказали несостоятельность опасений о том, что в связи с освоением новых земель кормовая база будет ухудшена. В 1954 году наряду со значительным расширением посевов яровой пшеницы на Алтае перевыполнены планы посева кормовых культур почти в два с половиной раза. Сверх плана посеяно 90 тысяч гектаров силосных культур и 220 тысяч гектаров однолетних трав. Вопросу укрепления кормовой базы посвящены также специальные статьи, в которых кандидаты сельскохозяйственных наук С. Князев и Д. Сокольский знакомят читателей с агротехникой возделывания кукурузы и однолетних трав. Опытными учреждениями и практикой передовых колхозов и совхозов доказано, что кукуруза на Алтае может давать высокие урожаи зерна и зелёной массы на силос.

Ценным в книге является и то, что авторы опубликованных в ней статей вскрывают и анализируют недостатки в проведении весенних полевых работ в Алтайском крае, выявляют резервы дальнейшего повышения производительности труда.

Борьба алтайских хлеборобов за освоение целинных и залежных земель, начатая в 1954 году, дала первые большие успехи. На 14 октября был досрочно выполнен план заготовок и закупок хлеба, сдано государству свыше 192 миллионов пудов зерна. Государственный план по урожайности зерновых перевыполнен. Многие колхозы со-

брали с целинных и залежных земель по 180—200 и более пудов пшеницы.

Перед Алтайским краем открываются новые перспективы. Жаль, что никто из авторов рассматриваемого сборника должным образом не показал этого. Край имеет большие резервы для подъёма всех отраслей хозяйства как посредством дальнейшего вовлечения новых земель в сельскохозяйственное использование, так и путём повышения урожайности, роста культуры земледелия. В этом отношении существенную роль должны сыграть крупные открытия учёного-колхозника Т. С. Мальцева в области обработки почвы, использования однолетних культур для повышения плодородия почвы, правильного подбора сортов, применения лучших сроков и способов посева. Эти новаторские методы не нашли отражения в книге об опыте борьбы за высокие урожаи.

Большая работа предстоит по обобщению и внедрению передового опыта возделывания новых кормовых культур. Между тем в статье Д. Сокольского агротехника однолетних трав изложена довольно схематично. Параллельное изложение одних и тех же агротехнических приёмов сразу для нескольких культур не даёт цельного представления об агротехнике каждой культуры в отдельности. К особенностям возделывания однолетних трав на семена автор относит размещение семенных участков на незасорённых землях (стр. 213), забыв, очевидно, что тремя страницами раньше он то же советовал и для посевов трав на сено и зелёный корм. Где же тут особенности?

В приложенных в конце сборника агроуказаниях по возделыванию сельскохозяйственных культур не дана агротехника ряда однолетних трав, о посевах которых рассказывается в книге. При редактировании статей следовало бы обратить внимание на излишние повторения одних и тех же цифровых данных, фактов, фамилий.

Однако не эти недостатки определяют качество книги. В ней подведены первые итоги поучительного опыта борьбы за освоение целинных и залежных земель в одном из крупнейших зерновых районов страны. Использование этого опыта поможет работникам сельского хозяйства выполнить историческую задачу круглого подъёма всех отраслей сельского хозяйства.

Кандидат сельскохозяйственных наук
С. ВОРОБЬЕВ.

Военное наследство декабристов

Советский народ высоко ценит деятельность декабристов — русских дворянских революционеров, первыми в России поднявших вооружённое восстание против царского самодержавия. Являясь передовыми людьми своей эпохи, декабристы взяли на себя задачу революционной ломки феодально-абсолютистского строя в России. Решение этой задачи потребовало тщательной разработки всех проблем, связанных с развитием общественного движения того времени, и в первую очередь военных вопросов.

Большое военное наследство, оставленное декабристами, объясняется, конечно, не только тем обстоятельством, что подавляющее число участников декабрьского вооружённого восстания 1825 года находилось в рядах армии. Главное — то, что руководители и видные деятели этого движения правильно понимали роль армии в системе государства, значение передовой военной идеологии в борьбе с крепостническо-феодальной идеологией России Александра I.

Царизм и его военные историки принимали все меры к тому, чтобы в памяти народа, армии не осталось и следа о самих декабристах, и ни в какой степени не были заинтересованы в научном исследовании их трудов в области военного искусства. Материалы, раскрывающие военные воззрения декабристов, были преданы забвению.

Поэтому закономерно, что книга Е. А. Прокофьева «Борьба декабристов за передовое русское военное искусство» должна привлечь внимание советских читателей. Работа эта является, как говорится в книге, «первой попыткой поднять архивные материалы и забытые труды декабристов и поставить их на службу советской науке».

В введении автор определяет поставленную перед собой цель работы: освещение взглядов декабристов на организацию вооружённых сил, стратегию и тактику, обучение и воспитание войск, показ их борьбы за передовое русское военное искусство; определение роли и места декабристов в историческом процессе развития русской военной мысли. При этом Е. Прокофьев делает оговорку, что он вынужден отказаться от освещения вопросов теории и практики

вооружённого восстания декабристов, так как эта тема является самостоятельной исследовательской проблемой. Книга состоит из четырёх глав, в которых автор рассматривает социально-экономические предпосылки декабристского движения, даёт его краткую характеристику, исследует военные преобразования, намечавшиеся декабристами в результате революционного переворота. В последней главе рассказывается о военно-теоретической и пропагандистской деятельности декабристов.

Начало XIX века было временем победы и утверждения в ряде европейских государств нового общественного строя — капитализма. Новый господствующий класс — буржуазия — принёс с собой свою военную идеологию, резко отличавшуюся от взглядов на военное дело, характерных для периода феодализма. Под военное искусство впервые начала подводиться подлинная научная база, делались попытки разобраться в том сложном комплексе специальных вопросов, которые были поставлены войнами французской буржуазной революции и Наполеона I и Отечественной войны 1812 года.

Однако в силу своей классово-ограниченности военная наука того времени была не в состоянии полностью освободиться от примитивных, мистических взглядов на войну. Буржуазные военные идеологи, такие, например, как Жомини, Клаузевиц и другие, не смогли подняться до материалистического понимания происхождения войн, не сумели надлежащим образом оценить роль личности и народных масс в войне и в развитии военного искусства. Они оставались в плену идеалистических и метафизических концепций, сводящих всё военное дело к нескольким «вечным» принципам, к свободному творчеству ума «великих» полководцев. В представлении этих теоретиков война — стихия, где всё предоставлено случайности, где нет места законам и закономерностям.

Как правильно отмечает Е. Прокофьев, историческая заслуга декабристов состоит в том, что они первыми дали научно обоснованное решение многих основных вопросов военного характера, оставив в этом отношении далеко позади общепризнанных военных идеологов Запада. Находясь под влиянием ложных теорий об извечности войны, о врождённых «воинственных инстинктах»

человека, декабристы, тем не менее, подошли к анализу происхождения каждой войны конкретно, исторически, что уже являлось крупным шагом вперёд, так как позволяло правильно вскрыть внутренний механизм данной войны, выявить её сущность.

«Можно определить войну, — писал декабрист Н. Муравьёв, — насильственным состоянием народов, цель которого есть приобретение некоторых преимуществ или сохранение своей безопасности. К первому разделу относятся войны так называемые торговые и политические, ко второму — народные... В первом случае правительства ведут войну за выгоды торговли, колонии и т. д., во втором дело идёт о существовании народа или о его внешней независимости». Это положение Н. Муравьёва говорит о том, что декабристы не рассматривали все войны с одних и тех же позиций, что они ясно видели, чем в первую очередь определяется характер каждой, отдельно взятой войны. Больше того, разделение декабристами войн на два типа — народные, которые ведутся в интересах народа, и торговые или колониальные, ведущиеся в корыстных интересах отдельных групп, — подводило декабристов к правильному объяснению сущности войны как общественного явления, пониманию причин её возникновения.

В полном соответствии со взглядами декабристов на роль и место войны в общественной жизни находились и их взгляды на армию как главное орудие войны.

Рекрутская система устройства вооружённых сил, введённая в России Петром I, на протяжении долгого времени оставалась наиболее передовой и обеспечила русской армии определённые преимущества перед наёмными армиями феодальной Европы. Капиталистический строй вызвал к жизни новую военную систему. Основанная на всеобщей воинской повинности, она привела к созданию массовых национальных буржуазных армий и во многом превосходила устаревшую теперь русскую военную систему. Это видели и декабристы. Вот почему в своём наброске Манифеста к русскому народу, определявшем ряд немедленных преобразований в стране, как и в других программных документах, они декларируют и новые принципы военной системы, которые сводятся прежде всего к уничтожению рекрутчины и военных поселений как феодально-крепостнических пережитков и введению всеобщей воинской повинности.

Автор книги посвящает отдельную главу этим планам преобразования русских вооружённых сил, в которой показывает взгляды декабристов на будущую военную организацию нового государственного строя России, освобождённой от крепостного гнёта, их борьбу против реакционных военных институтов, насаждаемых в России Александром I и Аракчеевым.

Как и в некоторых других вопросах ведения войн, декабристы не были свободны от ошибок в оценке роли армии в государстве и её классовой принадлежности. Но они были достаточно последовательны в своей борьбе за передовую военную систему, видя в ней одно из средств установления новых общественных отношений в раскрепощённой России. Среди декабристов существовало несколько точек зрения на форму организации русской армии. Так, например, П. И. Пестель был сторонником постоянной массовой армии, построенной на регулярных началах, тогда как Н. М. Муравьёв высказывался за смешанную военную систему — постоянную армию и земское войско. В то же время декабристы были единодушны в своих взглядах на способы комплектования и устройства армии.

Изменившееся международное положение, новый способ ведения войны, рост массового движения в стране — всё это требовало иной по численности и качественному составу армии. «Для России, — говорится в книге Е. Прокофьева, — переход к армии, основанной на всеобщей воинской повинности, стал жизненной необходимостью». Система эта соответствовала интересам капиталистического строя. На тех же принципах тогда строились и вооружённые силы Франции, бывшие грозой для феодальных армий Европы. Одна только русская армия могла противоборствовать и являться достойным противником французских войск. Но мощь её была скована господствовавшими в стране феодально-крепостническими отношениями. Сломать, уничтожить эти отношения — значило вдохнуть в русскую армию новые, свежие силы, неизмеримо увеличить её боевые возможности. Так понимали декабристы реорганизацию военного дела.

Революционные взгляды декабристов на сущность переустройства вооружённых сил России нашли своё выражение в выдвинутых ими основных проблемах новой военной организации. Как справедливо указывает

Е. Прокофьев, декабристы, «взявшие на себя задачу революционной ломки общественного и государственного строя, могли поставить и радикально решить вопрос о создании такой системы комплектования, которая отбрасывала в мусорный ящик истории те крепостнические институты в этой области, подправить и обновить которые безуспешно пытался Александр I».

В начале XIX века военная наука находилась ещё в процессе становления. Отправляясь от опыта войн, которыми так богато было это время, видные военные деятели Западной Европы, такие, как Бюлов, эрцгерцог Карл, Жомини, выпустили ряд теоретических трудов по стратегии, тактике и военному искусству вообще. Однако в научном отношении все эти работы стояли на довольно низком уровне. Их авторы, указывает Е. Прокофьев, встали на «путь догматизма, разработки мёртвых геометрических и географических схем, «изобретения» шаблонных правил, приносящих победу». Эти военные теоретики рассматривали войну как особую деятельность людей, где господствуют неизменные принципы, доступные пониманию лишь немногих избранных лиц или военных «гениев», одарённых особой интуицией. То обстоятельство, что в их трудах можно было встретить отдельные рациональные положения, не меняло существа дела. Методологическая основа оставалась порочной и несовершенной.

Передовые политические и философские взгляды декабристов проявлялись и в их военно-теоретических трудах. Как правильно подчёркивает Е. Прокофьев, декабристы в вопросе о войне смогли подняться до понимания закономерной связи политики и войны. Важнейшее значение они придавали моральному фактору, его влиянию на ход и исход войны. «Организаторская и пропагандистская деятельность в армии выдвигает декабристов на передовое место среди военных идеологов и теоретиков двадцатых годов XIX в.», — пишет автор книги.

Декабристы оставили после себя большое военно-теоретическое наследие, которым мы по праву можем гордиться. Та передовая русская военная школа, которая была создана Румянцевым, Суворовым и Кутузовым, не исчерпала себя временем, связанным с практической деятельностью этих замечательных полководцев, а продолжала жить и после их смерти, развиваясь и совершенствуясь применительно к новым исто-

рическим условиям. Эта сторона деятельности декабристов разработана Е. Прокофьевым с большой тщательностью.

Приведём лишь один пример. Важнейшее положение передовой русской военной школы, на которое мы не всегда обращаем достаточно внимания, можно выразить следующими словами: побеждают не числом, а умением.

На этой точке зрения всегда стояли основатели русской военной школы. Её же прокламировали в своих программных документах и декабристы. Так, Пестель в «Русской Правде» пишет по этому поводу: «...опыты всех веков показали, что число войска менее действует, нежели искусство и хорошее образование оного...»

Признание того факта, что победа в войне достигается прежде всего высокой боевой выучкой войск, что сложное военное искусство может и должно быть изучено каждым солдатом и офицером (в части, его касающейся), явилось по существу признанием определяющей роли масс в судьбах войны, отчётливым представлением о том, что война, в конечном счёте, есть особая деятельность людей, подчинённая своим законам и правилам, понимание которых доступно каждому.

Декабристское движение выдвинуло крупных военных теоретиков — Н. Муравьёва, П. Пестеля, И. Бурцова и других. Они создали немало значительных военно-теоретических работ. Некоторые из них были опубликованы, другие сделались достоянием следственных архивов канцелярии Николая I. Во всех этих трудах декабристы выступают перед нами как пламенные патриоты и подлинники революционеры, как носители передовой военной мысли. В своей борьбе с военной реакцией они наносили сокрушительные удары по идеалистическим и метафизическим взглядам на войну и военное дело «научных авторитетов» Европы того времени.

Книга Е. А. Прокофьева «Борьба декабристов за передовое русское военное искусство» — хорошая и нужная книга. Она помогает лучше и глубже понять, какое всестороннее влияние на развитие общественной мысли России первой четверти XIX века оказало движение декабристов и каким значительным был их вклад в передовую русскую военную науку.

*Генерал-майор
И. ЗУБКОВ.*

На пути к социализму

Книга Ш. Цэгмида «Наша Родина», подготовленная Монгольским комитетом наук, рассказывает о Монгольской Народной Республике, об особенностях географического положения и природных условий этой страны, ее экономическом и культурном развитии.

Монгольская Народная Республика занимает значительную часть территории Центральной Азии. Её площадь составляет свыше полутора миллионов квадратных километров — в три раза больше Франции, в пять раз больше Италии. Это горная страна с резко континентальным климатом: лето здесь жаркое, а зимой морозы доходят иногда до 50 градусов. Своеобразен растительный и животный мир МНР. На севере проходят лесные массивы, где водятся много промысловых зверей, к югу преобладает травяная растительность. Степи Монголии — это безбрежный океан густых и высоких трав, основная кормовая база скотоводства. Примерно треть всей территории республики занимает пустыня Гоби. Страна богата полезными ископаемыми. Во многих местах здесь имеются залежи каменного угля, железных руд, золота, серебра, меди, драгоценных камней.

Дореволюционная Монголия была одной из наиболее экономически отсталых стран Азии. Её главное богатство — земля и скот — принадлежало светским и церковным феодалам. Трудовое население подвергалось жестокой эксплуатации и находилось в стадии вымирания. Лишь в результате победы революции 1921 года, совершённой под непосредственным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в России, монгольский народ стал хозяином своей страны и под руководством народно-революционной партии начал перестраивать свою жизнь. В 1924 году собрался первый Великий Хурал — всемонгольский съезд народных представителей. Великий Хурал объявил страну Народной Республикой и утвердил первую в истории Монголии конституцию.

Автор книги приводит много убедительных фактов, характеризующих повседневную заботу народно-революционной партии

и народного правительства об улучшении материального положения трудящихся Монголии. Жизненный уровень монгольского народа повышается из года в год. Население страны по сравнению с дореволюционным периодом (1918 год) увеличилось почти в два раза и сейчас составляет около миллиона человек.

В старой Монголии не было ни одного врача, здесь свирепствовали эпидемии чёрной оспы, чумы, тифа, широкое распространение получили и другие болезни. После революции арат (крестьянин-скотовод) впервые получил возможность пользоваться услугами лечебных учреждений. По просьбе правительства МНР Советский Союз прислал своих врачей, которые помогли создать в Монголии национальные медицинские кадры. С тех пор сеть больниц, врачебных и фельдшерских пунктов, женских и детских консультаций расширяется всё больше. Растёт число кумысолечебниц, санаториев, домов отдыха. На финансирование здравоохранения в 1954 году ассигновано почти 39 миллионов тугриков, что составляет 9 процентов всех расходов государственного бюджета.

С большим интересом читаются страницы книги, где Ш. Цэгмид рассказывает о замечательных достижениях монгольского народа в области укрепления и дальнейшего развития экономики республики.

Испокон веков монголы занимаются скотоводством. На протяжении многих столетий скот был почти единственным средством существования аратов. Животноводческое хозяйство велось самыми примитивными методами, носило экстенсивный характер. Сенокосением, заготовкой кормов на зиму тогда не занимались. Скот всё время находился на подножном корму, переходя от одного естественного пастбища к другому. Падёж скота от бескормицы и эпизоотий был обычным явлением.

Животноводство и теперь составляет основное богатство страны, являясь ведущей отраслью народного хозяйства МНР. «Однако, — пишет Ш. Цэгмид, — скотоводство современной Монголии, идущей вперёд по пути социализма, это не то скотоводство, которое имела дореволюционная феодальная Монголия». Прежде всего в корне изменилась социально-экономическая основа ведения животноводства. Народная

Ш. Цэгмид. «Манай Эх Орон». Улсын Хэвлэл. Улаанбаатар. (Ш. Цэгмид. «Наша Родина». Монгольское государственное издательство, Улан-Батор).

власть передала трудовым аратам миллионы голов скота, ранее принадлежавшего феодалам и монастырям. Были приняты решительные меры по улучшению скотоводства. Особое внимание правительство обратило на создание прочной кормовой базы. В техническом перевооружении скотоводческого хозяйства Монголии огромную роль сыграли машинно-сенокосные станции. Первые десять МСС были созданы и подарены МНР Советским Союзом в 1937 году. Сейчас в республике действует более 60 механизированных сенокосных станций. Впервые проводится большая работа по орошению пастбищ. Развёртывается строительство скотных дворов для улучшения условий зимовки.

В результате всех проведённых мероприятий поголовье скота в МНР возросло по сравнению с 1924 годом почти в три раза, резко улучшилась его породность, повысилась продуктивность. Республика занимает первое место в мире по количеству скота, приходящегося на душу населения.

Основываясь на многочисленных фактах, автор книги показывает тот новый путь, по которому пошло правительство Монгольской Народной Республики в области аграрных преобразований. Земля стала государственной собственностью, всенародным достоянием; она предоставляется в бесплатное пользование трудовому крестьянству. Земледелие является по существу новой отраслью народного хозяйства, возникшей в послереволюционный период.

Создание в стране животноводческих и зерновых государственных хозяйств (гозхозов), развитие и укрепление новой формы производственной кооперации в сельском хозяйстве — добровольных производственных объединений аратов — свидетельство серьёзных успехов, достигнутых народно-революционной партией и правительством Монголии.

Число аратских производственных объединений возросло в 1954 году по сравнению с 1948 годом в два раза, а число их членов — в три раза. Роль общественных хозяйств в экономической жизни МНР становится всё более видной.

До революции Монголия не имела никакой промышленности, механизированного транспорта. Колониальный гнёт и феодально-крепостнические порядки обрекали страну на всё более растущую экономическую отсталость. Только сбросив иго духовных и

светских феодалов, освободив свою родину от внутренних и внешних эксплуататоров, монгольский народ смог приступить к промышленному строительству. Монгольская народно-революционная партия и правительство республики взяли курс на создание отечественной индустрии.

В книге рассказывается о том, как с братской помощью Советского Союза в МНР были построены фабрики и заводы. В республике теперь создана своя обрабатывающая, электроэнергетическая, лесная, текстильная, кожевенная, пищевая промышленность. За последние годы быстрыми темпами развивается горнодобывающая промышленность, предприятия которой оснащены новейшей советской техникой. Вместе с возникновением промышленности в республике появился рабочий класс, идущий в авангарде строителей новой жизни.

На смену вьючному и гужевому транспорту, являвшемуся в прежней Монголии единственным средством передвижения, пришли железнодорожные поезда, автомобили, авиация. Силами и средствами Советского Союза построена железная дорога Наушки—Улан-Батор, имеющая исключительно важное значение для экономики МНР. В 1955 году вступит в эксплуатацию железная дорога от Цзинина до столицы республики; она строится по соглашению, заключённому между правительствами МНР, СССР и Китайской Народной Республики.

Достижениям монгольского народа в области культурного преобразования страны посвящена глава «МНР — страна растущей передовой культуры». Трудящиеся дореволюционной Монголии были поголовно неграмотными, они не знали ни школ, ни театров, ни клубов, ни библиотек. Зато было свыше семисот монастырей, помогавших угнетателям держать трудовой народ в темноте и рабстве. Ламаизм был средством одурманивания масс, он проповедовал смирение и покорность маньчжурским завоевателям и монгольским князьям.

Сегодняшняя Монголия — это страна, в которой осуществляется культурная революция. Первая в истории монгольского народа начальная школа была открыта в Улан-Баторе в 1921 году. Коренная ломка крайне устаревшей сложной письменности ускорила распространение грамотности среди населения.

Теперь в МНР насчитывается более 400 начальных, семилетних и средних школ, 16 техникумов, четыре высших учебных заведения. В Монгольском государственном университете имени Чойбалсана, открытом в 1942 году, работает 30 кафедр, изучается более 200 научных дисциплин. Ныне число студентов и аспирантов в университете превышает 1 300 человек.

Много сделано революционной партией и правительством МНР в области культурно-просветительной работы. В республике действуют профессиональные театры, несколько ансамблей песни и пляски, кинотеатры, государственный цирк, кукольный театр и т. д. Успешно развиваются и другие виды искусства.

Государственное издательство МНР выпускает много политической, научно-популярной, учебной и художественной литературы. Проникнутая идеями борьбы за свободу, независимость и расцвет родины, монгольская художественная литература идёт по пути творческого усвоения метода социалистического реализма. Писатели правдиво показывают современную жизнь монгольского народа, его решимость бороться за построение нового, социалистического общества, резко бичуют пережитки прошлого. Тема укрепления дружбы со всеми миролюбивыми народами и прежде всего с великим советским народом является ведущей темой художественных произведений.

В своей книге «Наша Родина» Ш. Цэгмид

сумел ярко показать, как под руководством Монгольской народно-революционной партии, при всесторонней братской помощи Советского Союза монгольский народ добился завоевания и укрепления своей свободы и независимости, осуществил в стране глубокие социально-экономические преобразования. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для успешного движения вперёд по пути строительства основ социализма. Вместе с другими странами народной демократии Монгольская Народная Республика является активным борцом за дело мира, демократии и социализма, занимая видное место в могучем социалистическом лагере, возглавляемом Советским Союзом.

Сейчас экономика и культура Монгольской Народной Республики находится на новом подъёме. XII съезд Монгольской народно-революционной партии, состоявшийся в ноябре 1954 года, принял директивы по второму пятилетнему плану развития МНР на 1953—1957 годы.

Монгольский народ прошёл трудный, но славный путь. Победы, одержанные трудящимися МНР, являются наглядным свидетельством огромной жизнеспособности и прочности народно-демократического строя, они показывают, какую широкую дорогу указало экономически и культурно отсталым в прошлом народам всепобеждающее учение марксизма-ленинизма.

П. БАЛДАНЖАПОВ.

★

Гангстерские синдикаты в Нью-Йорке

Американская пропаганда на разные лады твердит о «совершенстве» политической и общественной системы современной Америки. Однако действительное положение, реальные факты на каждом шагу наглядно опровергают эти вымыслы, и кризис, который переживает выродившаяся буржуазная демократия в США, предстаёт во всей его неприглядности.

В фактах такого рода нет недостатка. Ими изобилует и книга Э. Рейда «Позор Нью-Йорка».

Э. Рейд — известный американский журналист. Автор далёк от прогрессивных

взглядов, он находится целиком во власти буржуазной идеологии, и тем симптоматичнее его книга. Она рассказывает о нью-йоркских преступниках, об их связях с полицией, властями и политическими деятелями. Рейд отнюдь не пытается проникнуть вглубь собранных им фактов, вскрыть политические и социальные корни, породившие массовый гангстеризм в Соединённых Штатах Америки. Но, помимо воли автора, материал, собранный в его книге, убедительно показывает, что организованная преступность является одной из неотъемлемых особенностей «американского образа жизни».

Нью-Йорк, гигантский город из стали и камня, пишет Рейд, является оплотом

E. Reid. „The Shame of New York“. New York, 1953. (Э. Рейд. «Позор Нью-Йорка». Нью-Йорк, 1953).

разветвлённого синдиката бандитов, организованного на манер монополистического треста, поделившего весь город на сферы влияния. «Влияние этого синдиката простирается на все учреждения города, штата и федерального правительства, его связи охватывают всю страну». Подобно миру капиталистического бизнеса, преступный мир Америки раздирается противоречиями, которые выливаются в ожесточённую борьбу его заправил за власть и барыши.

Немало страниц книги посвящено Лючесу, своими делами затмившему известного главаря гангстеров — Фрэнка Костелло. Томас Лючес — фигура, типичная для прогнившей американской демократии. Его преступная карьера началась давно. От автомобильных краж и скупки краденого Лючес поднялся до руководства могущественным преступным синдикатом рэкетиоров. «Его подъёму, — указывает Рейд, — годами помогали и способствовали люди, близкие к экономическому и политическому сердцу города». И это понятно, ибо правящим классам США нужны убийцы и провокаторы, которые могут действовать в интересах крупных монополий, поддерживая господство финансовых магнатов и терроризируя население.

Основным видом деятельности синдиката Лючеса является рэкет — система массового насильственного вымогательства с предпринимателей и торговцев. В то же время рэкетеры оказывают им важные «услуги», помогая эксплуатировать трудящихся, срывать забастовки, убирать с дороги неугодных им лиц.

Характерной чертой современной американской преступности является участие её заправил в «легальном бизнесе». Главари синдикатов гангстеров и рэкетиров в американских условиях, указывает Рейд, «являются уважаемыми общественными лидерами». Деньги, нажитые мошенничеством и открытым грабежом, они вкладывают в промышленные и торговые предприятия и занимают почётное место в мире бизнеса и политиканства. Капиталы, например, того же Лючеса помещены в пятидесяти крупных фирмах Нью-Йорка (речь не идёт о сотнях предприятий, с которыми он связан по линии рэкета). Таким образом, пишет Рейд, босс гангстеров, «стоя одной ногой в мире преступном, а другой — в высшей сфере, многие годы имеет возможность поднимать воров, же-

лающих выглядеть респектабельными людьми, и оказывать влияние на респектабельных людей, которые нуждаются в его финансовой и политической поддержке».

С точки зрения морали господствующего класса США, бандит Лючес — вполне респектабельная личность. Его сын Балтасар окончил закрытое военное училище в Вест-Пойнте, куда принимают только отпрысков избранного круга семей Америки. Роскошный особняк Лючеса охотно посещают видные представители делового и политического мира Нью-Йорка — банкиры и конгрессмены, судьи и прокуроры. Со многими из них Лючеса свёл его друг Арманд Чанкалиан, пробывший тридцать пять лет на высоких постах в прокуратуре США и в качестве её представителя служивший ангелом-хранителем Лючеса. Лючес — на дружеской ноге с бывшим мэром Нью-Йорка О'Двайром и его преемником Импеллитери, которым он в своё время оказал значительную финансовую поддержку на выборах.

Автор приводит интересные официальные документы, иллюстрирующие ту огромную роль, которую играет преступный мир Америки в политической жизни страны. В период избирательных кампаний гангстеры широко используются для давления на избирателей и фальсификации их воли. Дело доходит даже до того, что организованные преступники определяют кандидатов на ту или иную общественную должность. Так, по вопросу о кандидатуре на пост мэра, например, происходило специальное совещание крупнейших гангстеров — Джо Адониса, Костелло, Дженовеца и Лючеса. На выборах победил Импеллитери — близкий друг Лючеса.

В книге довольно подробно описывается, как гангстерские корпорации всё больше прибирают к своим рукам контроль над политической машиной и над деятельностью государственных органов Нью-Йорка.

Вот, к примеру, крупнейший воротила преступного мира Нью-Йорка и не менее известный бизнесмен Вильям Маккормик, который «никогда никуда не избирался, но уже более десятилетия представляет собой большую силу в городском управлении, и каждый мэр — от Джимми Уоркера до Импеллитери — искал его совета и оказывал ему всяческое уважение». Маккормик незаменим, когда речь идёт о подавлении забастовок, он поставщик чуть ли не даро-

вого труда в нью-йоркском порту, он крупный капиталист — его финансовые интересы охватывают десятки компаний, а его средства и власть среди преступных элементов позволяют ему «быть главным фактором в экономической и социальной жизни города».

Одно время главным помощником мэра Нью-Йорка был некий Джемс Моран, ранее отбывший тюремное заключение за уголовные преступления, в том числе за рэкетирство. Используя служебное положение, он с помощью полиции расправлялся со своими противниками в области преступного мира. Крупный гангстер Винцент Мангано, как это было признано в комиссии по расследованию преступности штата Нью-Йорк, имел такое влияние, что без него не мог получить назначение на должность в Бруклине ни один чиновник, включая и прокурора. Федеральный судья Томас Мэрфи однажды открыто признал, что в бытность начальником полиции Нью-Йорка он широко пользовался информацией Лючеса, на основании которой производил чистку департамента полиции. Главарь бандитов, как заявил этот блюститель американского закона, произвёл на него «впечатление приличного, respectable человека, который, выполняя свой долг перед обществом, стремится воспитывать свою семью в американских традициях».

Американская полиция уже давно окончательно скомпрометирована своими связями с крупными гангстерами. Много фактов такого рода содержится и в книге Рейда. Он рассказывает о массовом взяточничестве американских полицейских, от которых преступные синдикаты и притоны откупаются регулярными взносами. Капитан Вильям Девери, возглавляя в своё вре-

мя городскую полицию, разбил город на четырнадцать районов, с тем чтобы обеспечить сбор «дани», которая, по его собственным признаниям, превышала три миллиона долларов в год. Кстати сказать, не так давно в Нью-Йорке разразился очередной скандал — получили огласку связи полицейского комиссара города О'Брайена с крупным подпольным синдикатом гангстера Гарри Гросса, платившим полиции ежегодно более 12 миллионов долларов за то, что она не вмешивалась в его тёмные дела. Однако подобного рода разоблачения происходят далеко не часто, причём обычно они, пишет Рейд, стоят жизни тем, кто осмеливается предать гласности деятельность виднейших «мастеров» бандитизма.

В книге Рейда говорится о преступном мире только одного американского города. Но такое же положение наблюдается во всей Америке. Не кто иной, как председатель сенатской комиссии по расследованию организованной преступности сенатор Кефвер был вынужден признать, что «господство гангстеров и политическая коррупция являются зловещим явлением, имеющим место во многих американских городах».

Всё это ложится тяжким бременем на плечи трудящихся США. По американским источникам, организованная преступность обходится населению в 17 миллиардов долларов ежегодно! Гангстеры и бандиты всех мастей используются реакцией для террора и политического порабощения трудящихся.

Вся передовая американская общественность борется против организованной преступности, клеймит позором тех, кому она на служит.

*Кандидат юридических наук
Г. МОРОЗОВ.*



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Лев Толстой, как зеркало русской революции.— Л. Н. Толстой. 24 стр. Цена 25 к.

В. И. Ленин. О пролетарской культуре. 48 стр. Цена 50 к.

С. Алексеев. ГДР — оплот миролюбивых сил немецкого народа. 112 стр. Цена 1 р.

Болгарский народ в борьбе за социализм. 228 стр. Цена 4 р. 30 к.

К переговорам между Правительством СССР и Правительством США по атомной проблеме. 56 стр. Цена 65 к.

Листовки Московской организации большевиков 1914—1925 гг. 408 стр. Цена 7 р. 45 к.

М. Налбандян. Избранные философские и общественно-политические произведения. 752 стр. Цена 10 р. 50 к.

В. Пешников. Ленинский призыв в партию и идейно-политическое воспитание коммунистов. 152 стр. Цена 1 р. 80 к.

Торжество советской демократии. 64 стр. Цена 55 к.

Д. А. Чугаев. Коммунистическая партия— организатор Советского многонационального государства. 120 стр. Цена 1 р. 45 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

Московское совещание европейских стран по обеспечению мира и безопасности в Европе. 160 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Бушмин. Роман Фадеева «Разгром». 240 стр. Цена 5 р. 75 к.

Муса Джалил. Из маобитской тетради. 118 стр. Цена 2 р.

Илья Котенко. За морем Цимлянским. 420 стр. Цена 7 р. 55 к.

Константин Симонов. Стихи 1954 года. 156 стр. Цена 3 р. 40 к.

А. Софронов. Дон мой. 254 стр. Цена 4 р. 25 к.

М. Юнович. М. Горький в борьбе за равенство и дружбу народов. 136 стр. Цена 3 р. 70 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Никола Бажан. Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 232 стр. Цена 7 р. 75 к.

С. Васильев. Взирая на лица. Сатирические стихи. Рисунки Бор. Ефимова. 175 стр. Цена 13 р. 35 к.

Д. В. Григорович. Избранные сочинения. 700 стр. Цена 14 р. 70 к.

Антонин Запотоцкий. Бурный 1905 год. Перевод с чешского. 384 стр. Цена 7 р. 60 к.

С. В. Михалков. Сочинения в двух томах. Том 1. Стихи, песни, басни, фельетоны. 328 стр. Цена 8 р. 25 к. Том 2. Пьесы. 311 стр.

Цена 8 р. 80 к.

М. Мендельсон. Уолт Уитмен. Критико-биографический очерк. 256 стр. Цена 6 р. 75 к.

Адам Мицкевич. Пан Тадеуш или последний наезд на Литве. Шляхетская история 1811—1812 годов в двенадцати книгах стихами. Перевод с польского. 316 стр.

Цена 6 р. 65 к.

Б. Полевой. Горячий цех.— Повести и рассказы. 568 стр. Цена 10 р. 50 к.

А. Прокофьев. Стихотворения. 436 стр. Цена 8 р. 15 к.

Болеслав Прус. Сиротская доля. Повесть. Перевод с польского. 96 стр. Цена 1 р.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 536 стр. Цена 9 р.

Максим Рыльский. Избранное. Перевод с украинского. 592 стр. Цена 13 р. 70 к.

М. С. Трескунов. Виктор Гюго. Очерк творчества. 423 стр. Цена 11 р. 10 к.

Цюй Юань. Стихи. Перевод с китайского. 158 стр. Цена 3 р. 80 к.

Тарас Шевченко. Кобзарь. Перевод с украинского. 744 стр. Цена 10 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Барашев. В краю Большой Медведицы (Записки репортёра). 136 стр. Цена 2 р. 35 к.

Е. Г. Богоров. Жизнь моря. 304 стр. Цена 8 р. 65 к.

С. Гарбузов, Г. Ошеверов. Дела и люди одного райкома. Очерки о новом в комсомольской работе на селе. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

М. Златогоров. Крепкие нити. Повесть. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

Галина Зыбина. Заветная черта. Литературная запись Е. Шатрова. 224 стр. Цена 4 р. 80 к.

Илья Копалин. В стране горных орлов. 128 стр. Цена 1 р. 85 к.

Алексей Ласуриа. Киабрунское утро. Рассказы. 152 стр. Цена 2 р. 90 к.

Г. Нагаев. Дегтярёв. 280 стр. Цена 4 р. 45 к.

А. Прокофьев. Самое важное, самое главное. 64 стр. Цена 50 к.

Павел Фёдоров. В августовских лесах. Роман. 299 стр. Цена 6 р. 65 к.

И. Шевцов. Юность Болгарии. Очерки о молодёжи новой Болгарии. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

Георг Эмин. В нашем доме. 200 стр. Цена 3 р. 70 к.

ДЕТГИЗ

Ю. Анненков. Правда путешествует без виз. Повесть. 144 стр. Цена 3 р. 20 к.

Арк. Васильев. Смело, товарищи, в ногу. Повесть. 288 стр. Цена 5 р. 60 к.

И. Ефремов. Алмазная труба. Рассказы. 208 стр. Цена 5 р. 75 к.

С. Заречная. Ивонна и её друзья. 216 стр. Цена 4 р. 15 к.

Ло Дань. Боевой приказ. Рассказы. Перевод с китайского. 88 стр. Цена 2 р. 20 к.

Монгольские сказки. 144 стр. Цена 2 р. 90 к.

Г. Фиш. Повести и рассказы. 416 стр. Цена 8 р.

С. Царевич. За отчизну. Исторический роман. 448 стр. Цена 8 р. 75 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

С. А. Андреев-Кривич. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. 150 стр. Цена 5 р.

История Монгольской Народной Республики. 422 стр. Цена 19 р.

А. Ф. Клешнин. Растение и свет. Теория и практика светокультуры растений. 456 стр. Цена 28 р. 60 к.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Том 1. 322 стр. Цена 19 р. 50 к.

Е. Н. Мишустин, М. И. Перцовская. Микроорганизмы и самоочищение почвы. 551 стр. Цена 30 р. 50 к.

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII века. Преобразования Петра I. 814 стр. Цена 40 р. 50 к.

Передовой опыт новаторов машинностроения. 206 стр. Цена 13 р. 80 к.

К. Э. Циолковский. Собрание сочинений. Том 2. Реактивные летательные аппараты. 453 стр. Цена 23 р.

В. И. Шраг. Поименные почвы и их сельскохозяйственное использование. 112 стр. Цена 1 р. 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Г. Бауман. Хозяева западногерманских монополий. Перевод с немецкого. 186 стр. Цена 11 р. 35 к.

М. Пуйманова. Трилогия. Люди на перепутьи.—Игра с огнём.—Жизнь против смерти. Перевод с чешского. 830 стр. Цена 31 р. 15 к.

КРЫМИЗДАТ

В. С. Кучер. Черноморцы. Роман. Перевод с украинского. 624 стр. Цена 11 р. 80 к.

ЛЕНИЗДАТ

Первая встреча. Сборник стихов молодых ленинградских поэтов. 192 стр. Цена 5 р. 30 к.

М. Подзелинский. На рассвете. Повесть. 340 стр. Цена 7 р. 10 к.

В. Розанов. Люди из Пяквы. Повесть. 312 стр. Цена 5 р. 95 к.

СВЕРДЛОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Рассказы писателей Урала. 368 стр. Цена 9 р. 85 к.

ТАДЖИКГОСИЗДАТ

С. Улуг-заде. Обновлённая земля. Роман. Перевод с таджикского. 335 стр. Цена 7 р. 25 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

С. П. Антонов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 8/XII-54 г. Подписано к печати 31/XII-54 г.
А 00401. Формат бумаги 70×108¹/₄. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 3076.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 7 руб.